Н. И. ТОЛСТОЙ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том III

ОЧЕРКИ ПО СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА

Н. И. Толстой

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том III

ОЧЕРКИ ПО СЛАВЯНСКОМУ — ЯЗЫКОЗНАНИЮ

«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1999

ББК 81.2Р
Т 53

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 97-04-16427

Толстой Н. И.

Т 53 Избранные труды. Том III. Очерки по славянскому языкознанию. — М.: «Языки русской культуры», 1999. — 464 с.

ISBN 5-7859-0081-5

В томе III публикуются статьи акад. Н. И. Толстого по славянскому языкознанию, объединенные в четыре тематических раздела. В первом разделе обсуждаются общие вопросы этногенетической интерпретации данных языка и традиционной духовной культуры, а также связанные с ними проблемы славянской ареалогии. Во втором – содержатся конкретные исследования нескольких ключевых проблем сравнительной грамматики славянских языков (первая палатализация задненебных, происхождение постпозитивного артикля) и палеославистики (семантика кратких и полных прилагательных в старославянском языке). В третьем – предлагается анализ трех явлений из болгарской диалектной фонетики и грамматики. Четвертый раздел включает статьи по истории славистики, в которых анализируются работы И. И. Срезневского, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. А. Потебни, Д. К. Зеленина, Д. Джуровича, Р. Бошковича. В приложении помещена библиография трудов акад. Н. И. Толстого и литературы о нем.

Книга адресована как специалистам по славянскому языкознанию, так и более широкому кругу читателей, интересующихся перечисленными темами.

ББК 81.2Р

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0081-5
9 785785 900813 >

© Н. И. Толстой, 1998
© А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 1995
© В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 7

Часть I

Славянские языки и культура в историческом и этногенетическом аспекте

О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии 10

Этногенетический аспект исследования древней славянской духовной культуры 31

Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте 40

К вопросу о классификации славянских диалектов 48

Часть II

Материалы по сравнительной грамматике и типологии славянских языков

Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке 52

К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных 171

Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля 191

Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах 194

О непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках 197

1. Слова с корнем **geg-* 198
2. Слова с корнем **gep-* 205
3. Слова с корнем **kek-* 208
4. Слова с корнем **kev-* 214
5. Слова с корнем **kep-* 218

Часть III

Из блокнота диалектолога

Странджанский предикатив *нѐма* 228
Рефлекс *ѣ* и *'а* в говоре Кондолово (Мързево) 236
Контракция гласных в с. Горска Поляна, Елховско 242

Часть IV

Из истории славистики

Опыт карты праславянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 г. 252
И. И. Срезневский–диалектолог 267
О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку 285
О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни 302
Д. К. Зеленин–диалектолог 316
Предисловие к книге Р. Бошковича «Основы сравнительной грамматики славянских языков» 331

* * *

Курс «Введение в славянскую филологию» и его отношение к курсу «Старославянский язык» 346

Литература 357
Первые издания публикуемых работ 386

Приложение

Библиография печатных трудов Н. И. Толстого 390
Литература о жизни и трудах Н. И. Толстого 441
Основные даты жизни и деятельности Н. И. Толстого 456

Сокращения 462

От редактора

Настоящим, третьим томом завершается издание «Избранных трудов» Н. И. Толстого по языкознанию. Вместе с книгами «Славянская географическая терминология» (М., 1969) и «История и структура славянских литературных языков» (М., 1988) «Избранные труды» (т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997; т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998) достаточно полно представляют лингвистическое наследие ученого (тогда как многочисленные публикации Н. И. по проблемам традиционной духовной культуры, рассеянные по разным сборникам, еще ожидают своего переиздания). Неопубликованной остается докторская диссертация Н. И. «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии» (М., 1972, т. I–III, 923 с.); в архиве хранятся работы, которые автор считал неоконченными; несколько статей находится в печати. Некоторые лингвистические работы, касающиеся этнокультурных аспектов языка, переизданы в книге: Н. И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Состав и структура настоящего тома определены самим автором. В отличие от первых двух томов, посвященных магистральным для научного пути Н. И. темам и представляющих собой по существу монографии, которые лишь по условиям своего времени не могли быть опубликованы в виде книг, третий том не является монографией и не составляет в тематическом отношении единого целого. Тем не менее вопросы фонетического и грамматического развития славянских языков и диалектов, не будучи центральными, неизменно входили в круг интересов Н. И. — и в связи с его работой над кандидатской диссертацией о полных и кратких прилагательных в старославянском языке, и в связи с чтением им на протяжении нескольких десятилетий университетских курсов по введению в славянскую филологию, по старославянскому языку и др., и, наконец, в связи с его многолетней полевой диалектологической работой в Бессарабии и Приазовье, в Болгарии и в Полесье. Отличительной

чертой работ этого круга, объединяющей их с другими исследованиями того же автора, является их «погруженность» в лексику, стремление проследить действие фонетических и грамматических законов на всей толще лексического материала со специальным вниманием к периферии, к лексическим и семантическим ограничениям в действиях правил, к колебаниям, непоследовательностям, конкуренции форм и т. п.

Особое место в наследии Н. И. занимают труды по истории славистики. В разное время ему приходилось писать о таких выдающихся ученых прошлого и нынешнего века, как Потебня и Срезневский, Бодуэн де Куртенэ и Трубецкой, Караджич и Даничич, Виноградов и Ларин, Мошинский и Унбегаун и многие другие. Это были специальные исследования, предисловия к книгам и публикациям, юбилейные статьи, некрологи. У Н. И. была потребность обращаться к предшественникам и вдумываться в логику развития научных идей. Ему было присуще живое ощущение причастности к великой научной традиции и ответственности перед ней.

Дополнительно к работам, отобранным автором, в третий том включена полная библиография трудов Н. И. Толстого и библиография литературы о нем, оказавшейся доступной на сегодняшний день.

В подготовке тома к печати принимали участие Н. А. Замятина и М. Н. Толстая.

I

Славянские языки и культура в историческом и этногенетическом аспекте

О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии

Проблема центра и периферии в географическом, а не структурно-грамматическом плане возникла почти одновременно с зарождением ареального исследования языков. Уже теория волн патера Иоганна Шмидта поставила вопрос о противопоставленности «основного», как полагал исследователь, очага индоевропейских языков их окраинному западному ареалу, вопрос о так называемой лингвистической непрерывности, о переходных зонах и общих чертах географически соседствующих языков. И. Шмидт осознал проблему центра и периферии как проблему соотношения инноваций и архаизмов. Ему и принадлежит знаменитая образная аналогия, по которой отдельные инновационные языковые явления распространяются из центра с убывающей силой подобно кругообразным волнам от брошенного в воду камня (см. Серебренников, 1957; Серебренников, 1977).

Свое наибольшее применение идея противопоставленности центра и периферии нашла на материале романских языков. При изучении диалектов современной Романии, помимо отмеченных выше в связи с идеями И. Шмидта проблем, возникли проблемы этнического субстрата, «хронологии», т. е. разного времени заселения романоязычным этносом отдельных территорий нынешней Романии, государственных образований после постепенного распада Римской империи. При решении проблем «центра и периферии» со временем все большую роль стал играть лексический материал, упорядоченный в виде лингвистических карт, сопоставлений, словарей и т. п.[1].

---

[1] Известно, что в романистике при решении проблемы диалектного членения современной Романии представителями «субстратной» теории были Г. Шухардт и Г. Асколи, «колонизационно-хронологической» — Г. Грёбер, «государственной» — В. Мейер-Любке и др. В связи с затронутыми теориями и вопросами на индоевропейском материале можно указать на труды М. Бартоли, Дж. Бонфанте, В. Пи-

Нашей целью является краткое определение основного комплекса проблем, связанных с глобальной лингвогеографической темой центрального и периферийного ареалов, — комплекса, выявляющегося отчасти на индоевропейском, в большей мере на романском языковом фоне, и рассмотрение его на фактах современных славянских языков и диалектов. Естественно, что проблемы, выявляющиеся на романской основе, ближе к задачам исследования славянского языкового континуума и в хронологическом, и в типологическом, и в географическом аспекте, чем на основе индоевропейской.

Основные проблемы, на наш взгляд, сводятся к следующему. Во-первых, взаимоотношение центра и периферии может быть рассмотрено в современном чисто пространственном, вернее пространственно-типологическом, плане в целях обнаружения территориально противопоставленных элементов. Во-вторых, соотношение центра и периферии может быть гипотетически дополнено известным содержанием, значимым исторически или историко-генетически, прежде всего признаком «инновация—архаизм». В-третьих, может быть поставлен вопрос о внелингвистических причинах этого соотношения: проблема субстрата, проблема миграционных волн (их хронология), затем проблема образования государств, княжеств, их границ и т. п.

С отмеченными моментами связана проблема интерференции и взаимопроницаемости близкородственных языков и диалектов и вопрос о постепенной, «тотальной» переходности лингвистического ландшафта в крупных ареалах или массивах. Существен и вопрос хронологической направленности исследования: стремиться ли к характеристике современного состояния или на его основании — к реконструкции более ранних эпох, вплоть до эпохи славянской прародины (позднего или среднего периода), а также вопрос о ситуации в отдельных ареалах и подареалах (подзонах) в пределах всего славянского языкового мира, затем в южно-, западно- и восточнославянских массивах и даже в отдельных зонах типа русского Севера, Полесья, Восточной Болгарии и т. п. Будем, однако, вести речь обо всей Славии в целом, притом о современной Славии, а не о «доисторической».

зани, Дж. Девото и др. Однако это не входит в нашу задачу, тем более что рассмотрению взглядов этих ученых посвящены отдельные работы на русском языке, где указана литература (см. Макаев, 1964; Бородина, 1977; Десницкая, 1977).

Если исключить азиатские славянские территории — земли относительно поздней колонизации, современная Славия может быть представлена как некий прямоугольник или ромб с крупными островными включениями венгерской и румынской иноязычной среды. При проведении двух условных диагоналей и при учете различной плотности распределения языков и диалектов в географическом пространстве центр окажется где-то в Карпатах, а без учета плотности центр слегка переместится на северо-восток, ближе к Полесью. Во всяком случае Карпаты и Полесье находятся на границе западно- и восточнославянских языковых групп (комплексов). Карпаты же при этом до конца IX в. были южно-западно-восточнославянским пограничьем.

Лингвистическая непрерывность, т. е. зоны переходных говоров, наблюдаются в современной Славии лишь в пределах отдельных славянских языковых групп: восточнославянской, южнославянской и западнославянской. Типичными представителями переходных зон являются Смоленщина на белорусско-великорусском пограничье, хотя в общеславянском масштабе типологически, при исключении момента национального самосознания этноса, белорусские говоры можно было бы рассматривать как русские, как это делали Н. Н. Дурново и Е. Ф. Карский в своих трудах в 1924 г. (Дурново, 1924; Карский, 1924), средневеликорусские говоры между массивами северно- и южновеликорусских говоров, затем шопско-торлакские говоры между болгарским и сербскохорватским основными массивами, кайкавское наречие между словенским и сербскохорватским языками, восточноморавские говоры и крайнезападнословацкие между остальными чешскими и словацкими диалектными группами и т. д. Переходность и «непрерывность» еще ярче выступают при рассмотрении говоров в более мелких масштабах. (См.: Stieber, 1938; Dejna, I–II; Utěšený, 1960; Ивић, 1957–1958; Назарова, 1965, а также работы М. Малецкого, Ф. Травничка, А. Келлнера, Я. Белича, М. Карася, Е. Лотко, П. А. Бузука, Ф. Т. Жилко и др.).

Характерно, однако, что переходных говоров между отдельными группами славянских языков — южно-, западно- и восточнославянских — нет. Правда, южные славянские языки отделены от западных и восточных широким венгерско-румынским языковым поясом, но западные с восточными смыкаются на большом протяжении и издавна, а пере-

ходные говоры все-таки не существуют. Случай с русинским литературным языком особый, и в нем мы все же наблюдаем уже литературноязыковой феномен, а не диалектный[2].

Обратимся к некоторым общеизвестным, хрестоматийным фактам, необходимым, однако, для рассмотрения интересующей нас проблемы.

Славянские языки делятся на три основные группы (восточную, южную и западную) на основании десятка историко-фонетических показателей-признаков. Они могут быть дополнены рядом признаков морфологического и словообразовательного характера (приставки *vy-*, *iz-*, суффикс *-ača* и др.). Среди них наиболее релевантны: 1) судьба начальных сочетаний **kv-*, **gv-* перед **ě₂* (из **oi̯*), 2) судьба сочетаний **tort*, **tolt*, **tert*, **telt*, 3) судьба начальных **ort-*, **olt-* под циркумфлексной интонацией, 4) судьба сочетаний **tl*, **dl* (*radlo*, *modlitva*), 5) судьба *l*-эпентетикум, 6) судьба слоговых плавных в определенных сочетаниях, 7) начальное *je-* или *o-* (*jezero/озеро*), 8) судьба сочетаний **tj*, **dj* и др. Последний признак, т. е. судьба **tj*, **dj*, обособляет, как известно, каждую группу славянских языков и даже отдельные южнославянские языки (диалекты).

Ряд черт объединяет южные и восточные славянские языки: переход *kv-*, *gv-* в *cv-*, *ʒv-*; утрата *t* в сочетаниях *tl*, *dl*; наличие *l*-эпентетикум (в X–XI вв. и в болгарском, и в македонском). Эти факты позволили А. А. Шахматову и другим ученым говорить о первоначальном разделении единого праславянского массива на западную часть (празападнославянские языки) и восточную (правосточно- и южнославянские языки) (Шахматов, 1916, с. 42–43).

Есть черты, объединяющие западные и южные языки Славии: начальное *je* (*jezero*), сочетание *trat*, *tlat* в чешском и словацком языках (но *trot* в польском — *wrona*), началь-

---

2 Диалект, на основе которого возник русинский литературный язык, вероятно, восточнословацкий со значительным числом украинизмов (не исключена возможность, что у прежних носителей этого диалекта в XVI—XVII вв. словацкая речь наслоилась на восточнославянскую — украинскую), вероисповедание у носителей диалекта — униатское, национальное самосознание — восточнославянское, «русинское» (реже украинское, еще реже русское), современное территориальное расположение — в среде южнославянского, сербскохорватского диалектного массива. (См. Дуличенко, 1972; Дуличенко, 1971; Duličenko, 1974).

ное сочетание *rat-*, *lat-* (из **ort-*, **olt-* под циркумфлексной интонацией) в среднесловацких говорах.

Ряд лексических соответствий побудил Ф. П. Филина в 1962 г., развивавшего идеи А. А. Шахматова, противопоставить «севернославянский» ареал (западно- и восточнославянские языки) ареалу южнославянскому. В качестве материала использовались географические апеллятивы (*багно, болонь*), ботанические названия (*гриб, сосна*) и другие — типа *пирог, обилье, обух* и т. д. (Филин, 1962, с. 205–214). Через шесть лет, в 1968 г., с обширной аргументацией и тоже на примере географических терминов, топонимов и нескольких других слов (**krak-*, **nakъl-*, **sopot-*, а также **bar-*, **gvozdъ*, **tymĕno* и др.), Е. Налепа выдвинул обратное положение — об общих элементах западно- и южнославянского ареалов и их противопоставленности восточнославянскому (Nalepa, 1968). Эти расхождения в подходах и взглядах связаны, вероятно, и с различными определениями территории славянской прародины — с «днепровской» гипотезой и гипотезой «висло-одерской». В нашу задачу, однако, сейчас не входит ни критика концепций Ф. П. Филина или Е. Налепы, ни тем более рассмотрение вопроса о славянской прародине.

Отметим только, что основные из приведенных историко-фонетических признаков служили некоторым лингвистам в качестве аргументов для построения схемы миграции славян из прародины. Эту схему в 1958 г. обобщил И. Хамм следующим образом. Еще в III в., т. е. до эпохи переселения народов, западные славяне отделились от основной массы остальных славян, не пережив изменения начальных сочетаний *kv-*, *gv-* в отличие от других славян. В III–IV вв. н. э. ряд славянских племен из оставшегося «восточного» массива устремился через Карпаты на юг, на Балканы. Эти племена в Паннонии контактировали вновь с западными славянами, с их южной частью — с прачехами и прасловаками — и пережили с ними общий процесс метатезы группы **tort*, **tolt* (**borda*, **golva*): польск. *broda*, *głowa*, чеш. *brada*, *hlava*, южнослав. *brada*, *glava*, русск. (вост.-слав.) *борода*, *голова*. Затем, в V–VI вв., проникают в Паннонскую низменность авары, а в конце IX в. — венгры, прочно отмежевавшие южных славян от западных, и уже результаты перехода **tj*, **dj* в другие согласные или сочетания согласных у западных, восточных и южных славян оказываются различ-

ными. Неодинаковы они, как хорошо известно, и в границах южнославянского массива. Западные славяне, добавляет к этому И. Хамм, обособляются еще сохранением в своем языке групп *tl*, *dl*, *l*-эпентетикум и особым результатом палатализации *x* (из *s*) > *š* перед *ě*$_2$ (ср. чеш. дат. ед. *touše* от *toucha*) (Hamm, 1958, s. 5–6).

Естественно, что изложенная схема вызывает сомнения определенного порядка. Достаточно ли языковых фактов для предлагаемых исторических и хронологических построений? Столь ли прямолинейно или последовательно происходила дифференциация славянских языковых групп и языков? Подобные сомнения заставляли многих лингвистов искать новых, еще не введенных в обиход аргументов, нового материала, прежде всего в сфере топонимии (Nalepa, 1968; Stieber, 1974), славянских заимствований и реликтов в других языках (Bidwell, 1961) славянской апеллятивной лексики.

Тем не менее лингвистические факты, о которых шла речь, хотя и малочисленны и недостаточны для решения многих вопросов, в том числе и этногенетических, но все же приемлемы для того, чтобы служить ориентиром (или даже базой, исходной моделью) для ряда научных построений.

О чем же говорят эти факты в аспекте противопоставления центрального и маргинальных (окраинных) ареалов славянского мира? Они свидетельствуют о том, что славянский языковой мир делится на три значительные части — западную (северо-западную), южную (юго-западную) и восточную на основе пучков дифференциальных признаков, базирующихся на упомянутых фактах. При этом центр не противопоставлен периферии, а противопоставлены друг другу в различных комбинациях отдельные большие массивы.

Следует, однако, сделать одну оговорку. Зафиксировано несколько фактов, хотя и спорных во многих отношениях, когда именно на окраинах сохранялись древние реликты, свидетельствующие, что в этих маргинальных микрозонах в отдельных случаях не прошел до конца тот или иной процесс, характерный для всей, скажем, южно- или западнославянской диалектной территории в целом. И эти случаи, в общем, также довольно хорошо известны в славистике.

Таково, например, сохранение группы согласных *tl*, *dl* в словенских корушских (каринтийских) говорах (Tésnière, 1933), вероятно, и рудиментарных *кл*, *гл* в древних и совре-

менных среднерусских псковских диалектах (*са́глице*, *жере́гло*, *прицклась* [причлась], *поведли*), хотя есть и другие объяснения (Филин, 1962, с. 181–188; Филин, 1972, с. 278), или, возможно, сохранение группы *tort*, т. е. состояния до метатезы плавных в ряде слов в полабском и в некоторых кашубских говорах (полаб. *borna*, кашуб. *barna* и *brona*, русск. *борона́*) (Селищев, 1941, с. 424–425), в некотором отношении и отсутствие метатезы начального **olt-* в отдельных весьма немногочисленных словах в старославянском языке (*алдии*, *алкати*) (Ван-Вейк, 1957, с. 87), затем наличие в южнорусских говорах начального *е* в словах типа *есень* (рязанск. *есень*, *есенью*, тамбовск. *есенясь*)[3].

На маргинальный характер реликтов **tort-*, **olt-* уже указывали некоторые исследователи. В частности, А. Лампрехт писал, что «особенно важное значение имеет для развития фонетической системы так называемая перестановка плавных». «Мы не будем заниматься этим вопросом в целом, — продолжает известный чешский диалектолог, — но обратим внимание только на типы *gard*, *starna*, встречающиеся в полабской и прибалтийской группе славянских языков... Эти сочетания гласных с сонантами сохранились на окраинах славянской территории, куда не проникли в такой степени общие тенденции развития славянской фонетической системы» (Лампрехт, 1956, s. 21).

Тем не менее тот же А. Лампрехт по поводу форм типа *gard* отмечал следующее: «Однако на все эти явления можно смотреть и с другой точки зрения. Сочетание *ar* сохранилось на той же самой территории и в соседних областях, где в немецком языке встречаются подобные сочетания, ср., например, слово *born*, возникшее из первоначального *brun*, сохранившегося в Южной Германии, путем перестановки. Слова *born* и *brun* находятся в том самом географическом отношении, что и слова *gard* и *grad* (*born* : *brun* = *gard* : *grad*). Нельзя исключать взаимные связи этих явлений. Их объяснение будет общей задачей специалистов по герман-

---

[3] Относительно восточнославянских слов типа *ежевика*, *ёж*, *еще* и других см. полемику Г. А. Ильинского и Н. Н. Дурново в журнале «Slavia» (Praha, 1923, roč. II, 2–3, s. 232–276; 1924, roč. III, 2–3, s. 225–271; 1925, roč. IV, 2, s. 389–394). Ср. также мнения П. Бузука и В. Волк-Левановича в кн.: Працы Акадэмічнае конфэрэнцыі па рэформе беларускага правопісу і азбукі. Мінск, 1927, с. 87, 93–94.

ской и славянской лингвистике» (Лампрехт, 1956, s. 21)[4]. Не лучше обстоит дело с аргументацией в пользу «современных» рудиментов праславянского начального **olt-*. Единственный пример с болгарской, как считали некоторые ученые, «редкой диалектной формой *alne* 'маленькая серна', которая непосредственно восходит к старославянскому *алнии*» (Бернштейн, 1961, с. 223) принадлежит, надо полагать, к числу непреднамеренных мистификаций[5]. Не менее сомнителен и вопрос о подлинности старославянской формы **алнии*[6].

Перечисленные маргинальные факты неоднородны по своей сущности и достоверности. В некоторых случаях — это лишь рудименты праславянского состояния, если они к таковым относятся (как примеры с *tort-* и *olt-*), которые встречаются изредка в единичных словах в отдельных кашубских говорах и старославянских текстах и не определя-

---

4 Этого же мнения придерживался и А. Вайан (Vaillant, I, p. 163).

5 Слово «*алне́, алне́нце* с. ум. стб. *Алнь* рус. Лань сърне. Насреща иде кошута, кошута с младо алненце» дано в словаре Ст. Младенова (Младенов, 1951, с. 69, без указания места записи и источника). В других словарях это слово нами не обнаружено. Предположение об общности корня и происхождения этого слова со старославянским **алнии* повторил К. Мирчев (Мирчев, 1963, с. 138), а за Мирчевым С. Б. Бернштейн. Есть, однако, основания предполагать, что слово *алне* и рус. *лань* не родственны и что его не следует причислять к классу славянских слов с начальным **olt-*, так как оно может быть арготического происхождения. Ср. рус. «*алынья́, и́*, с. ж. корова. Владим. Костр.» (Опыт, 1852), «*алы́нь*, и, ж. Корова. Какую пулил алынь. Какую купил корову. К. Кич. (с. Красное и с. Кичанзино)» (Бондалетов, 1965, с. 144). Число общих болгарско-русских арготических слов, по нашим наблюдениям, довольно значительно (*кензать* и т. п.). Ф. П. Филин считает недопустимым ставить арготическое слово *алынья* 'корова' в один ряд со старославянскими формами *алдии, алкати*, как это делал Л. П. Якубинский (см. Филин, 1962, с. 230–231).

6 Ст.-сл. **алнии* фактически не существует; имеется лишь форма *мьнии* в контексте «ѥдина ѿтъ мьнии сѫштинхъ въ лаѡдикии въ пискоупи градѣ». С. Северьянов к этой форме дает следующее примечание: «мьнии ошибочное написание вместо альнии, греч. τῶν ἐλάφων» (Северьянов, 1904, с. 232). Вероятно, это мнение слишком категорично. Достаточно достоверны лишь формы *алдии, алкати* наряду с *ладии, лакати*. Однако почти во всех грамматиках и руководствах по старославянскому языку и по сравнительной грамматике славянских языков форма *альнии* приводится. Формы *алдии* и *алкати* в южнославянских говорах не обнаруживаются.

ют отношения кашубских или древнемакедонских говоров в целом (или даже их части) к другим славянским говорам, ибо ареалы этих явлений столь микроскопичны, что трудно говорить о их географической противопоставленности остальному славянскому миру.

В отношении случаев с «отсутствием» метатезы плавных в сочетаниях типа *tort* есть, кроме приведенного, и другие довольно хорошо аргументированные мнения, указывающие на вторичный характер этого явления (из *tъrt*) (подробнее см. Бернштейн, 1961, с. 225).

В иных же случаях, таких как сохранение *tl*, *dl* в словенских корушских говорах, речь идет о соотношении небольшой окраинной зоны со всем западнославянским массивом. Споры ведутся лишь об одном: является ли это праславянским рудиментом или западнославянским, хотя и достаточно древним, влиянием (ср. обратные случаи в ряде словацких говоров). Что касается примеров с рязанским *есень*, то они очень малочисленны и еще мало изучены (так же как и география рус. слов *ежевика, ожевика, аживика*, укр. *ожи́на*, белор. *ажы́на* и др.). В них можно предположить церковнославянизм, но трудно это доказать. Был бы полезен сбор нового диалектного материала. Существеннее для поставленной проблемы наличие довольно большого чакавско-словенского (с добавлением относительно небольшого разреженного дробно-островного рудиментарного штокавского) ареала употребления приставки *vy-* (см. Белић, 1913; Ivić, 1956, S. 143–147), противопоставленного остальному южнославянскому массиву и корреспондирующего с западно-восточнославянским массивом. Если бы примеры со словом *есень* были бесспорными, их ареальное соотношение было бы обратным соотношению приставок *vy-/iz-* — большой юго-западнославянский массив и малая, отнесенная далеко на восток, микроостровная восточнославянская зона.

Любопытно, что в западнославянском массиве из отмеченных фиксируется только одна черта (и то спорная) — отсутствие метатезы **tort* на кашубской территории. К ней можно прибавить, как будет видно из дальнейшего, полабское *-ika* вместо ожидаемой по прогрессивной палатализации суффиксальной формы *-ica*. И это все. Почти все остальные перечисленные колебания (кроме еще случаев словацкого *dl* > *l*) относятся к южно- и восточнославянской территории, в том числе и факты единичного употребления

kl-, *gl-* в псковских говорах. Прежде всего, следует отметить особенности географии этих сочетаний. Они окраинны лишь для восточнославянского массива, а не для всего славянского диалектного континуума в целом. Их распространенность на западно-северо-западной границе русского ареала дала повод ряду ученых считать это любопытное явление «ляшским» (Шахматов, 1915, с. 101) и даже балтийским (Ларин, 1960, с. 12–13). Есть также мнение, что псковское *kl-*, *gl-* — инновация (Борковский, Кузнецов, 1963, с. 95. См. разбор этой и других точек зрения в кн.: Филин, 1972, с. 272–278).

К числу других «непоследовательностей» и архаизмов, не носящих окраинного характера, следует отнести случаи отсутствия палатализации перед *ě*$_2$ задненебного *k* (и в сочетаниях *kv-*, *gv-*) у восточных славян и в суффиксе *-ika* у славян восточных и южных. Эти случаи во многом лексикализованы, т. е. связаны с конкретным не очень многочисленным кругом лексики, но и в таком виде они подчинены определенному, хотя и не очень четкому, географическому распределению.

Переход *kv-*, *gv-* в *cv-*, *zv-* не обнаруживается в таких словах, как *квет* (*твет* и т. п.), *квелый, квесть, огвездить* (последнее может быть и ономатопоэтического происхождения) в бывших губерниях Оренбургской, Вологодской, Псковской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, к востоку от Москвы, на обширных территориях Белоруссии и Украины (Глускина, 1968). Такие факты толковались по-разному. С. Б. Бернштейн, Л. А. Булаховский, В. Курашкевич и отчасти А. Вайан воспринимали это явление как полонизм (в первую очередь такие формы, как *квітка* и т. п.), А. А. Шахматов и М. Р. Фасмер видели в этих формах результат аналогии с формами **kvьtǫ*, **kvьsti*, А. М. Селищев в глаголах типа *kvičati* — ономатопоэтический элемент, наконец, В. Поржезинский находил их архаическими, т. е. не пережившими палатализации (см. более подробное изложение взглядов ряда ученых у М. Юрковского: Jurkowski, 1963). Мнение В. Поржезинского поддержал М. Юрковский на основе тщательного рассмотрения примеров (Jurkowski, 1963, s. 60). Видимо, следует принять точку зрения В. Поржезинского и М. Юрковского с учетом, однако, того, что в украинских, белорусских и части южновеликорусских говоров могло отразиться и польское влияние (в таких словах, как *квітка* и т. п.). Мы наблюдаем, таким

образом, у восточных славян не до конца и непоследовательно прошедший переход **kv-*, **gv-* в *cv-*, *zv-*. Трудно, однако, солидаризироваться с высказанным З. Штибером мнением, что такого перехода у восточных славян вообще не происходило и что примеры с сочетанием *cv-*, *zv-*, прежде всего слово *цвет*, церковнославянского происхождения (Stieber, 1968). Судьба других церковнославянизмов в русских народных говорах и особенно в говорах украинских и белорусских, в первую очередь ограниченная представленность (проникновение) их, свидетельствует против мнения известного польского слависта.

З. Штибер сопоставил и в каком-то отношении даже связал упомянутое явление с другим фактом — с фактом отсутствия в ряде слов палатализации *k* перед *ě*$_2$ в северо-западных великорусских говорах, в говорах северных и к востоку от Москвы: *кедить, кеп, кеж, кепец* и т. д.[7] Это явление действительно очень примечательно, но оно как раз говорит о том, что русским говорам свойственны и палатализованные, и непалатализованные формы: *кедушка, кедилка — цедилка*; *кивец, кевина, кивца — цевка, цывца*; *кепец — цепки, цыпы*; *киповина — цыповина* и т. п., причем семантика и характер большинства этих слов свидетельствуют о том, что палатализованные формы не могли появиться под церковнославянским влиянием. Что касается географии отсутствия палатализации *k* перед *ě*$_2$, то она тоже показательна. В общеславянском плане это явление не окраинно и не оказывается таковым даже в плане восточнославянском, так как распространено более всего в полосе переходных средневеликорусских говоров[8].

---

7 См. факты в цитированной статье С. М. Глускиной и в Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы (М., 1957, карты № 202–204).

8 Следует отметить, что ни одна из палатализаций в славянском мире не была проведена последовательно, с охватом всего словарного состава. Помимо случаев отсутствия результатов второй и третьей палатализации, о которых кратко речь шла выше, есть случаи отсутствия и первой палатализации, например, в украинском диалектном слове *гепа* 'задница' (см. словарь Б. Гринченко), или южно- и восточнославянск. *гега, геги* 'пастушеская палка', 'длинные ноги', 'кремень' (вопреки мнению В. Георгиева об албанском происхождении этого слова и Е. Смулковой — о балтийском). Подробнее см. в моих ответах на анкету (Толстой, 1971а, с. 78–79). Таким образом, в этом случае архаизмы наблюдаются в южно- и восточнославянском массивах. [См. также наст. изд., с. 197–226. — *Прим. ред.*]

Колебания в употреблении суффикса *-ika* или *-ica* можно отнести также к явлениям архаического, остаточного порядка, хотя для определенных лексикализованных случаев не исключены факты действия аналогии, вернее образований по определенной суффиксальной модели (в том числе и по модели *-ika*). Тем не менее архаическое *-ika* довольно широко распространено в южнославянских языках, особенно в сербскохорватском и болгарском, менее широко — в восточнославянских и отсутствует в современных западнославянских. На восточнославянской территории суффикс *-ika* не распространен в украинских и белорусских говорах, а представлен лишь в говорах великорусских. Однако и в этой зоне он чаще встречается в южнорусских (рязанских и тамбовских) говорах, редко в средневеликорусских (подмосковных и тверских) и еще реже в северновеликорусских (преимущественно вологодских) говорах[9]. Некоторое число примеров зафиксировано в полабских, древнечешских и древнепольских памятниках: полаб. *tücaiką* 'крот', *bezaiką* 'бегун', *tåcaiką* 'ткач', *låzaiką* 'лжец', *peraiką* 'прачка', *pajaiką* 'пьяница', др.-чеш. *drzika* 'дерзкий человек', *lazika* 'бродяга', *mačika* 'чертополох', др.-польск. *kolika* 'хвойная иголка', *loczika* 'латук'[10].

В общем, на основании приведенных и довольно подробно рассмотренных примеров можно говорить об очень слабой противопоставленности центра отдельным периферийным, совсем затухающим или затухшим диалектным островкам, где отмечены перечисленные факты. Аналогичное положение наблюдается в морфологии. Славянский синтаксис в ареальном плане почти не изучался и не изучается. Естественно, что в последнее время пристальное внимание привлек к себе богатейший источник — славянская лексика.

Не будем сейчас останавливаться на отдельных опытах определения географического расположения славянских диалектов (языков) по отношению друг к другу в праславянский период по данным лексики, на опытах ранней (прасла-

---

9 Общее число великорусских примеров в отдельных зонах в три-четыре раза меньше, чем в южнославянских. Почти все примеры связаны с семантической сферой ботанических названий (более всего ягод), небольшая их часть относится к nomina agentis (см. Вендина, 1973; 1973а).

10 Реликтовые примеры употребления агентивного *-ika* находим и в старославянском — блнжнка, жжнка.

вянской) классификации языков (диалектов)[11]. Они носят слишком предварительный характер и будут, вероятно, возобновлены на новой, более широкой фактической основе. Остановим свое внимание на современных фактах, тоже, к сожалению, недостаточно упорядоченных и полных, а потому и не позволяющих сделать достаточно четкие выводы. Исследования географии слов ведут к выявлению ряда изолекс, выделяющих отдельные окраинные зоны (и тем самым и зоны противопоставленного им центра), но, как правило, лишь в пределах отдельных славянских массивов — южного, восточного и западного, а не всей Славии в целом.

В южнославянском массиве, согласно гипотезе М. Гавацци (Gavazzi, 1936), поддержанной Б. Братаничем и др., выделяются центральная и латеральные зоны, о чем уже шла речь в нашем докладе на конференции по ареальным исследованиям в языкознании и этнографии в феврале 1971 г. (см. Толстой, 1974, с. 23–26). В этих зонах противопоставляются слова типа *киша—дажд, десни—прави, сађа—чађ, ватра—огањ* и т. д. Во всех этих случаях слова, зафиксированные в латеральных зонах, воспринимаются теперь как архаизмы, хотя в общеславянском масштабе они могут не быть таковыми, а для праславянского языка при обращении к фактам других индоевропейских языков некоторые из них могут оказаться и инновациями, как например слово *pravъ* 'dexter' (Толстой, 1965). В случае с *desni—pravi* общеславянский (праславянский) архаизм занимает центральную зону, а общеславянская (праславянская) инновация — зону латеральную. Обратная ситуация наблюдается с парой *kiša—dažd*: центральную зону занимает инновация **kys+ja* (> **kyša* > *kiša*) (Толстой, 1962). В других славянских массивах — в западном и восточном — **dъždžь* и **pravъ* не образуют отдельных ареалов, а заполняют всю территорию сплошь. Центрально-ареальные южнославянские лексические пары типа указанных и другие неравнозначны по характеру своей противопоставленности остальному славянскому языковому миру во многих планах: историко-хронологическом (инновация/архаизм), синхронно-географическом (наличие или отсутствие конкретной лексемы в западно- или восточнославянском массиве, территориальное рас-

---

[11] Одним из опытов такого рода была статья О. Н. Трубачева (Трубачев, 1968).

положение конкретной лексемы в этом массиве) и синхронно-семантическом (общность семантики с южнославянским словом или отличия при учете географии этих отличий)[12].

Некоторые наблюдения позволяют предварительно наметить поясную зону, которая прерывисто вырисовывается на западе восточнославянского диалектного массива: от русского Севера, преимущественно от его части, связанной с новгородской колонизацией, через Псковщину, Белоруссию, иногда через западную, иногда через восточную ее часть, через Полесье до Карпат (с частым продолжением на славянский Юг, реже на славянский Запад, Юго-Запад). Этот пояс лишь условно можно назвать латеральным, так как он на значительном протяжении граничит с западнославянским языковым массивом и латерален лишь для восточнославянского диалектного континуума. Нередко изолексы этого пояса имеют соответствия в зоне балтийских языков. В качестве примера можно привести слова *+dęga*, *+dęglъ*, *+dęgnǫti*; арханг., новгор. *дягнуть* 'становиться сильней, крепче, здоровей', 'расти', пск. *дяг* 'рост', *дя́глый* 'сильный', укр. (карпатск.?) *дя́га* 'здоровенное', 'большое' (об опухоли и т. п.), белор. (могил.) *дзягно* 'молоко из конопельного семени' (ср. пск. *дя́гло* 'молоки у рыб'), словен. *déga* — вид ремня, *degáti* 'бросать', 'кидать' (видимо, с силой. — *Н. Т.*), где 'ремень', 'пояс' связаны с понятием силы (и физической, и социальной)[13]. Того же рода слово *+snaga* 'сила', 'усилие', 'успех', известное в южно- и западнославянских языках и в ряде восточнославянских говоров — новгородских, белорусских (*сна́глиць* 'силою принудить'), украинских (Строгова, 1970),

---

12 Латеральное на южнославянской территории *+sadja* (центральное *+čadja*, *+čadъ* 'сажа') имеет соответствие с западно- и восточнославянским ареалом, кроме островка в украинских Карпатах, т. е. в зоне, центральной для всей Славии, но латеральной для восточнославянской ее части, где зафиксировано *+čadъ* 'сажа', как и в центральной южнославянской зоне. При некотором разграничении в семантике, как известно, у русских существует и *сажа*, и *чад*. Еще большее разграничение в семантике наблюдается в русских словах *пот* и *зной*. На южнославянской же территории *znoj* 'пот' занимает латеральные зоны и им же соответствует польск. *+znoj* 'пот', зафиксированное также в Карпатах (см. Толстой, 1972). Вопрос об архаичности и инновационности слов *+sadja* — *+čadъ* и *+potъ* — *+znojь* в общеславянском (праславянском) масштабе достаточно сложен и требует специального рассмотрения.

13 См. мои ответы на вопросы анкеты: Толстой, 1973а, с. 86–87.

или +*krętati* (*sę*) 'сдвигать', 'трогать с места', 'усиленно работать', известное у южных и западных славян (с несколько иными значениями), а у славян восточных — на великорусском Севере, в новгородских говорах, в смоленско-калужской зоне, в белорусских витебских и могилевских говорах и на Карпатах в бойковско-закарпатской зоне[14]. Нет возможности привести все примеры, предположительно относимые к упомянутому поясу. Отмечу, что они наблюдаются и на уровне семантики, фразеологии и словообразования. Таковы, например, архаизмы типа **sinь* 'черный' и связанный с ним фразеологизм типа **sine za nogъtemь* (Толстой, 1973) или суффикс *-akъ* в слове **kolakъ* (Клепикова, 1970, с. 67–71) и т. п. Характерно при этом, что изоглоссы рассматриваемого пояса, как правило, проходят не непрерывной линией, а через ряд островов, что они имеют прерывистый характер и что часто ряд упомянутых звеньев (Полесье, Псковщина, Карпаты и т. п.) отсутствует.

Весьма значительно число изоглосс, идущих от восточно- и западнославянских Карпат на славянский Юг. Об этом явлении уже имеется большая научная литература (КДА I–II; Можаева, 1975, с. 249–254), и потому можно ограничиться лишь их упоминанием. Часть карпатско-южнославянских изоглосс (изолекс) продолжается на север в Полесье (Толстой, 1968а, с. 12–17). Есть и изолексы, идущие далее на север, и в этих случаях карпатско-южнославянский мост продолжается упомянутым поясом (см., например, случай с **sinь* 'черный' и др.).

Ряд изоглосс, однако, создает как бы отрезок, отсек упомянутого пояса, притом часто без промежуточного карпатского звена. Таковы непосредственные белорусско- и полесско-болгарско-македонско-сербскохорватские соответствия (*су́кры — су́кар, шу́пля — шуплик, дадзява́ць — додявам, абкля́пацца — оклепвам са, разла́тый — разла́т; ве́рне снег — врне снег, забе́львае — забе́ли се* 'светать' и др.) (Цыхун, 1974).

Есть также изоглоссы (изолексы), которые идут из Полесья через Карпаты и затем направляются не резко на юг, в болгарско-македонско-сербскую зону, а продолжаются на запад, на словацкую диалектную территорию, а затем еще дальше, иногда в южнославянскую — словенскую, иногда в

---

[14] См. Толстой, 1973а, с. 84–85.

лужицкую и кашубскую. К числу таких примеров можно отнести слова типа *lipina* 'ветки липового дерева' (вернее, суффикс *-ina* в значении 'ветки' при сочетании с основой, означающей дерево), зафиксированные в южнопсковских говорах, в карпато-украинских и карпато-польских, в некоторых словацких и чешско-моравских и словенских говорах (в отдельных кашубских и лужицких также)[15]. Интересна и обнаруживающаяся в Полесье частота употребления суффикса **-otъ* у существительных определенного семантического класса — *стукот, громот, трескот* (*стукіт, тріскіт, піскіт, чавкіт* — 'стук', 'гром', 'треск', 'писк', 'чавканье') и т. п., увеличивающаяся в словацких говорах и достигающая наибольшей фреквентности в говорах лужицких (Толстая, 1971).

Исследования географии отдельных словообразовательных моделей дали в последнее время довольно любопытные результаты. Так, И. Винклер-Лещинская, анализировавшая некоторые славянские суффиксы прилагательных (Winkler-Leszczyńska, 1964), пришла к выводу, что по суффиксам *-at*, *-ast*, *-it*, *-ist* славянские языки можно разделять каждый раз на две противопоставленные друг другу части: *-at* — в западнопольских диалектах, в кашубском, лужицких и чешском языках, а *-ast* (наряду с *-at*) — в южнославянских, восточнославянских, в словацком языке и в восточнопольских диалектах; *-it* в западных диалектах польского языка, в лужицких, чешском, словенском, сербскохорватском и македонском, а *-ist* в восточнославянских языках, в болгарском, словацком (отчасти), в кашубском и в восточнопольских диалектах (там же, s. 65–66)[16]. Связь словенского материала то с западно-, то с восточнославянскими языками (не говоря уже о естественной связи с остальными южнославянскими) довольно типична для статута (особенно лекси-

---

15 Подробнее см. Толстой, 1972а, с. 19.

16 И. Винклер-Лещинская отмечает, что установленные границы могут быть в какой-то мере изменены, если иследовать диалектный материал славянских языков (с. 66). Полагаю, что это утверждение совершенно справедливо. Не случайно, что только польский язык расщепляется изоглоссой на две части, ибо только польский диалектный материал обильно представлен в монографии. Все же общие выводы, как выводы предварительные, представляют интерес. В дальнейшей работе в этом направлении могут большую роль сыграть диалектные инверсарии.

ческого и словообразовательного) этого языка[17]. Другая польская исследовательница, В. Будишевская, на материале лексики живой природы выявила ряд словенско-западнославянских изолекс и изолекс словенско-западно-восточнославянских, причисляя их к архаическому пласту (Budziszewska, 1965).

Известный хорватский этнограф М. Гавацци, которому принадлежит честь открытия (в 1936 г.) славяно-балканского этноязыкового «латерального» пояса, обратил в 1960 г. внимание на другую архаическую зону, которую он назвал «западнопаннонской» (Gavazzi, 1960). Согласно его представлениям (которые, как подчеркивает автор, отчасти существовали и ранее), у хорватов-кайкавцев, у большинства словенцев и у чехов, моравов и словаков есть целый ряд общих лексем — апеллятивов и топонимов, общих обычаев и элементов материальной культуры, общих антропологических показателей и археологических фактов.

Естественно, нас интересуют в первую очередь лексические факты, которые, как правило, противопоставляются центральному штокавскому ареалу и которые, по списку М. Гавацци, насчитывают 15 единиц (этот список автор не считал исчерпывающим): 1) *prelog* кайк. и словен. 'преложена њива'[18] : словац. *prieloh*; 2) *polevka* кайк. и словен. (*polivka*) 'житко јело, јуха, слаба јуха' : чеш. и словац. *polévka*, *polívka*; 3) *ščava* кайк. и словен. (*ščav*, *ščavje*) 'напој за свиње' : чеш. *šťáva*; 4) *smetana* словен. (на кайкавской территории не зафиксировано) 'врхња' : чеш. и словац. *smetana*; 5) *kečka* кайк. и словен. 'плетенице косе', 'кика' : чеш. и словац. *kečka*, *kečice*; 6) *onuča*, *vnuča* словен. и кайк. (*nuče* отмечено и в Хорватском Загорье) 'обојци' : чеш. *onucka*, *onučka*, *onuc*(*i*); 7) *zastor* кайк. и словен. 'прегача' : чеш. *zástera*; 8) *rubača* кайк. и словен. (*robača*) 'кошуља' : чеш. *rubáč*, *rubáš*; 9) *scati* кайк. и словен. 'мокрити' : чеш. и словац. *scáti*; 10) *dude* кайк. и словен. 'врста гајда' : чеш. и словац. *dudy*; 11) *veko* кайк. и словен. 'покровац (напосе шкриње)' : чеш. *víko*; 12) *lun*(*j*)*ek* кайк. и словен. 'клинчић

---

[17] Отметим, что словенско-инославянские изоглоссы, привлекающие все большее внимание ученых, дают интересный материал для различных, в том числе и этногенетических, исследований. Особое значение имеют работы Ф. Безлая (см. Bezlaj, 1967; 1974; 1974a).

[18] Сохраняем сербскохорватский литературный перевод для противопоставления штокавскому лексическому типу.

уз котач кола' : чеш. *lon*, *-ek*, *-ik*, *lun*, *lunik*; 13) *snubok* кайк. и словен. (*snobok*) 'просац' : чеш. *snoubce*; 14) *letnice* словен. 'Ускрс' (в кайк. не фиксируется) : чеш. *letnice* 'Духови' (!); 15) *stekel* (*steklina*) кайк. и словен. (*vztekel*, *vzteklina*) 'бијесан, бијеснило' : чеш. *vzteklý*, *vzteklina* и т. д. «Во всех этих случаях, — поясняет М. Гавацци, — слова фиксируются только в словенском и хорватско-кайкавском ареале — и у остальных южных славян их нет (или они встречаются очень спорадично)» (Gavazzi, 1960, s. 163). К этому списку добавлены топонимы *Pleso*, *Ples*, *Plesmo*, *Turovo polje*, *Turopolje*, описание молодежной игры «мост», обычая бросать венки в воду в день рождества Иоанна Крестителя, обычай прыгать, чтобы рос лен, и др.

М. Гавацци в этой работе ничего не говорит о восточнославянском, русском материале, хотя он ему хорошо известен. Между тем добрая часть из упомянутых слов и обычаев бытует и на Карпатах, и в Полесье, и на матушке-Руси. Можно без особого пояснения привести слова *перелог*, *сметана*, *кичка* 'бабий головной убор' (но не 'коса'), *онучи*, *рубашка*, *сцать* (*ссать*), *дудка* (но не со значением 'волынка'), *ве́чка* 'крышка' (в Полесье, на Украине и других территориях). Также известны у восточных славян топонимы *Плёс* и *Турово* (или *Турово поле*), молодежная (детская) игра «ворота» (по Е. А. Покровскому), купальский обычай бросать венки в воду, прыгать, чтобы росли злаки и лен. Все это свидетельствует о соотношении «западнопаннонского» пояса с восточнославянским этноязыковым массивом, о соотношении, еще слабо изученном, но существенном для ряда этногенетических построений. «Западнопаннонский» пояс может рассматриваться в связи с «латеральными» ареалами на славянских Балканах и в связи с полесско- (и иными) западнославянско-словенскими (resp. кайкавскими) изолексами. При увеличении материала, числа изоглосс взаимоотношения отдельных поясов и соотнесенных зон будут, надо полагать, проясняться и упорядочиваться.

Естественно, что отмеченными поясами, поясными зонами и корреспондирующими лексическими ареалами не ограничивается диалектно-лексический ландшафт современной Славии. Наше основное внимание было направлено на соответствия лексики в достаточно удаленных друг от друга, часто островных ареалах, и были оставлены сознательно вне поля зрения лексически корреспондирующие соседствую-

щие зоны, даже если они относятся к разным языковым массивам (например, зоны мазовецкая и полесская) (Tarnacki, 1939), не говоря уже о разных языках одного массива (например, соответствия белорусско-русские, белорусско-украинские[19] или чакавско-словенские [Tentor, 1950] и т. п.). На данном этапе исследований славянской лексики, который все еще можно назвать первоначальным, существенно обратить внимание на корреспонденции в несмежных зонах, учитывая при этом положение во всей Славии в целом, как на корресподенции в общем более древние. В смежных зонах в идентичном фонде лексики больше инноваций, больше относительно новых и недавних заимствований, и сам характер ряда лексических процессов может носить во многих случаях локальный и тем самым довольно поздний характер. Это утверждение не отрицает, однако, возможности наличия общих архаизмов в отдельных смежных зонах (например, в чакавско-словенской). Эти архаизмы обычно хорошо подтверждаются несмежными и достаточно удаленными островными ареалами.

Лексические соответствия достаточно удаленных друг от друга зон имеют принципиально иное значение для реконструкции древнего состояния, чем зон смежных. Путем наложения смежных компактных и удаленных разорванных изоглосс друг на друга можно делать важные выводы о диалектном («прадиалектном») статуте отдельных зон и о лексическом ландшафте всей Славии в целом. Важно при этом оперировать не крупными зонами (ареалами), например, ареалами распространения того или иного языка — польского, болгарского, великорусского, а более дробными зонами, например, мазовецкой, польско-карпатской, родопской, псковской, вологодской. Такие зоны, как полесская или северновеликорусская, могут быть в свою очередь расчленены.

Было бы любопытно исследовать соответствия лексики окраинных славянских зон — отдельных словенских, чакавской, кашубской, южномакедонской, севернорусских, лужицких и т. п. Однако уже сейчас на основании имеющихся материалов, словарей и исследований можно сказать, что трудно будет выявить соответствия окраинных зон, которые бы не обнаруживались в зонах неокраинных и в зонах центральных. В течение ряда лет мною велись наблюдения над

---

[19] См. БРІ, БЎІ.

чакавско-великорусскими лексическими параллелями[20]. При этом учитывались лишь те параллельные слова, которых нет в стандартном (литературном, Вуковом) наречии[21]. Было обнаружено около 250 таких параллелей, однако ни одна из них не оказалась чисто чакавско-великорусской или даже чакавско-восточнославянской, почти все они имели еще фиксацию в западнославянских языках или в словенском, болгарском, также в украинском, белорусском. Менее десятка слов имело относительно ограниченный ареал. В их числе: чак. *zābît* 'забыть', *pozabit* 'позабыть', словен. *zábiti* 'забыть', белорус. *забы́ць*, укр. *забу́ти*, др.-польск. *zabywać* 'забывать'; чак. *zadrohnit*, словен. *dríhati* 'дрыхать', словац. *drichmat'* — *drichnat'*; чак. *gruzît* 'погрязать', чеш. *hrouziti*, *hrouziti* 'погружать', словац. *hrúzit'*, польск. *grązić*, белорус. *грузіць*, укр. *грузи́ти*, ст.-сл. погрѫзити; чак. *hjûst* 'ливень', 'хлыст', словен. *hlíšč* 'ливень, буря с дождем', *hliščati* 'хлестать дождем (при ветре)', чеш. (ляшск.) *chl'usnút'* 'хлестнуть (водой)', 'брызнуть', польск. *chlustać* 'плескать, литься, хлестать', 'хлестать, ударять', русск. диал. *хлюстать* 'шлепать по лужам, по грязи' и т. д.

Эти, как и многие другие, факты говорят о том, что если искать в славянской лексике архаику и устанавливать изоглоссы таких лексем, то значительное число этих изоглосс пройдет через центральные зоны (помимо периферийных), через Карпаты, Полесье, Словакию, Мазовию и т. п. Центрально-периферийная противопоставленность в общеславянском плане (масштабе) едва ли может оправдать себя при решении кардинальных диахронических и этногенетических проблем, и, видимо, правильнее для тех же целей оперировать условными понятиями «архаических» и «неархаических» зон. К относительно архаическим будут принадлежать отдельные зоны Словении, чакавского приморья, Черногории, Македонии, западной и юго-восточной Болгарии, Родоп, Карпат, Кашубии, Полесья, Псковщины и Новгородчины, русского Севера (этими зонами список, однако, не следует ограничивать). Следует учитывать, что так называемые архаические зоны оказываются также зонами, где немало заимствований и локальных инноваций. Это, как пра-

---

20 Наблюдения эти не опубликованы и сохраняются у меня в виде картотеки.

21 Аналогичным образом М. Тентор исследовал чакавско-словенские параллели (см. Tentor, 1950).

вило (кроме Полесья и западной Болгарии), зоны славянско-неславянской языковой интерференции. Разграничение «архаических» и «неархаических» зон можно принимать лишь как рабочую гипотезу, которая должна быть или лучше обоснована, или отвергнута. В связи с этим возникают особые вопросы определения понятия архаизма, относительной архаики, ее отношения к инновациям, а затем и понятия «архаическая изолекса» (resp. «неархаическая» изолекса, «инновационная» изолекса). В решении этих вопросов большую роль может сыграть этнолингвистика и просто этнография, особенно факты мифологического и обрядово-сакрального плана.

Выявляемые изоглоссы (изолексы) следует подкреплять изопрагмами и изодоксами, что позволит во многих случаях точнее определять и хронологию, и культурно-этническую характеристику фактов, и весомость (valeur) отдельных «поясов», «направлений» и «островов»[22].

---

[22] Примером такой «ведущей» изопрагмы может служить изопрагма определенного типа антропоморфных деревянных надгробий, идущая от Странджи (юго-восточная Болгария) к Трынско и Годечско (западная Болгария), через запад Сербии на украинские Карпаты, Проскуровщину, украинское Полесье и далее на крайний русский Север (Мезень, но уже прялок, а не надгробий) и имеющая ответвление в западном углу литовских (жемайтских) диалектов (см. Толстой, 1973б).

Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры

Весьма часто в прошлом, но нередко и в настоящем лингвистический аспект этногенеза славян воспринимался и воспринимается как дополнительный, добавочный к археологическому, как аспект, который должен компенсировать относительную немоту археологических культур, способствовать этнической атрибуции той или иной культуры, подкрепляя и дополняя археологические данные данными лингвистическими, в первую очередь топонимическими (а в их пределах прежде всего гидронимическими).

Считалось и справедливо считается до сих пор, что лингвистика может выявить или способствовать выявлению исторических фактов тех эпох, от которых до нас не дошло прямых исторических свидетельств, что лингвистика может быть «лопатой для историка» при выяснении древнейших этнических контактов, этнического родства, культурной общности, культурных влияний и т. п. В этих случаях, помимо уже упоминавшейся топонимии (гидронимии), большую роль играли словарные и иные заимствования и, конечно и более всего, компаративные, сравнительно-исторические исследования в области фонетики, грамматики и лексики.

Однако этим не ограничивается лингвистический аспект этногенетической (resp. «доисторической») славянской проблематики. Роль лингвистики в ней гораздо шире и значительнее, хотя именно эта широта ведет к тому, что лингвистика присутствует не столь явственно, как бы в скрытом виде. Это объясняется тем, что лингвистика в основной этногенетической проблематике выступает не сама по себе, а в комплексе дисциплин, и только такой комплексный подход при общей или близкой методологии (во многом разработанной прежде всего на языковом материале) и может обеспечить значительные результаты. Поясним это положение.

Проблема этногенеза славян важна и интересна не только сама по себе, как призванная ответить на вопрос: «Отку-

да суть пошли славяне?», — вопрос, который в несколько иной форме ставил еще древнерусский летописец: «Откуда есть пошла Русская земля?». Проблема этногенеза славян имеет более общее, более генеральное значение, как платформа или основное связующее звено для целого ряда иных проблем, как некий генератор, механизм (структура) которого организует и связывает механизмы других систем, систем, решающих другие проблемы.

По своей сути проблема славянского этногенеза — это проблема реконструкции праславянского состояния, проблема создания и описания такой максимально приближенной к конкретному прасостоянию модели, которая бы отражала жизнь древних славян во всех ее формах и проявлениях — общественное устройство, юридические отношения, быт, материальную и духовную культуру, мифологию.

Такая модель должна строиться как динамическая модель, так как необходимо учитывать фактор исторического развития в праславянский период всех элементов жизни, материальной и духовной культуры и языка славян.

Для более ясного представления о том, какого характера может быть такая реконструируемая модель, обратимся к одной части проблемы славянского этногенеза, к проблеме глоттогенеза, т. е. происхождения славянских языков. Такой глоттогенетической моделью можно считать праславянский язык, выявляемый сравнительно-историческим методом и базирующийся на данных сравнительной грамматики славянских языков. Праславянский язык — это система звуков и форм и их соотношений (а также слов), не зафиксированных памятниками и потому представляемых под звездочкой, т. е. реконструированных. Подобным же образом реконструируется, или описывается, индоевропейский праязык.

Следует отметить, что еще на ранних этапах развития сравнительно-исторического лингвистического метода возник вопрос о реальности или о степени реконструируемости такого языка. Мнение крайних оптимистов, к которым принадлежал Август Шлейхер, написавший, как известно, во второй половине XIX в. даже басню на индоевропейском языке, сменилось к началу XX в. пессимистическими настроениями, которые лучше всех, на наш взгляд, выражены Антуаном Мейе.

Мейе писал: «Сравнительная грамматика индоевропейских языков находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика романских языков, если бы не был известен латинский язык: единственная реальность, с которой она имеет дело, это соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе представление только путем гипотез и притом таких гипотез, которые проверить нельзя; поэтому только одни соответствия и составляют объект науки. Путем сравнения невозможно восстановить исчезнувший язык» (Мейе, 1938, с. 73).

Приведенная точка зрения ценна не только и не столько своею критичностью, сколько довольно четким и новым для своего времени определением принципов типологического анализа, применимого как к родственным, так и к неродственным языкам. И именно способность систематизировать и организовывать материал делает праязыковую модель («праязык») или надъязыковую модель («метаязык») жизненной и необходимой для исследователя. Такая модель может быть построена (и будет выполнять ту же роль) и для других сфер славянской (и неславянской) духовной культуры (мифологии, эпического творчества, семейного или календарного обрядового цикла и т. п.), о чем подробнее будет сказано ниже.

Лингвист-типолог отдает себе полный отчет в «фиктивности» (нереальности) метаязыка и тем не менее успешно им пользуется; что же касается «фиктивности» (нереальности) индоевропейского языка и особенно языка праславянского, то эти опасения в наше время отступают все больше и больше на задний план, о чем свидетельствуют и работы над праславянским и общеславянским словарем, и опыты реконструкции праславянского текста, и анализ отдельных праславянских фразеологизмов и т. п.

Возвращаясь теперь от вопросов глоттогенеза к более широкой и объемлющей проблеме этногенеза, следует сказать, что реконструкция праславянского существования (в которой проблема прародины славян есть лишь часть всей проблемы) нуждается тоже в системе соответствий фактов археологических, этнографических, лингвистических, фольклористических и исторических, взятых порознь, но также и в системе соответствий фактов интердисциплинарных, рассматриваемых не одной дисциплиной, а несколькими. Это

уже означает, что устанавливается внутренняя связь, внутренняя система соответствий археологии, этнографии, лингвистики, фольклора, истории. Для каждой из перечисленных дисциплин в отдельности и для всех их вместе взятых славянское прасуществование служит своего рода «системой отсчета» при исследованиях древнего периода[1]. Однако, как и в случае с праязыком, прасуществование может выявляться и реконструироваться не только как определенная модель или исходная система положений, но и как определенная реальность, которую мы устанавливаем с той или иной степенью приближения. При выявлении этой реальности и обнаруживается значительное взаимодействие и взаимозависимость археологии, этнографии, лингвистики и истории.

Тесную связь этих дисциплин ощущали и в прошлом, часто называя отдельной наукой — науку о славянских древностях. Ее существование актуально и сейчас, а ее возникновение относится к периоду становления славяноведения как научной дисциплины и связывается непосредственно с выходом в свет книги П. И. Шафарика «Славянские древности» (1836). Следующий этап в развитии этой науки был связан с появлением многотомной серии Л. Нидерле «Славянские древности» (кн. I–IV, 1902–1924) и серии того же автора «Жизнь древних славян» (кн. I–III, 1911–1925). Нидерле был последним крупным ученым, умело сочетавшим в себе талант археолога, историка, этнографа и отчасти лингвиста. В дальнейшем обобщающие исследования славянских древностей распались на две ветви — одна с преимущественно археологическим уклоном (труды П. Н. Третьякова, И. И. Ляпушкина, Б. А. Рыбакова, Ю. В. Кухаренко, В. В. Седова, Й. Костшевского, Г. Ловмянского, В. Гензеля, Е. Налепы, Я. Филипа и др.), другая — с уклоном этнографическим. Ко второму направлению принадлежит многотомная работа К. Мошинского «Народная культура славян» (т. I–II, 1929, 1934–1939) и относительно недавно вышедшая работа Э. Гаспарини «Славянский матриархат» (1973).

---

[1] Именно поэтому, видимо, и во время популярности марровской школы в нашей стране, отрицавшей генетическое родство языков, и позже, после языковедческой дискуссии на страницах «Правды», проблемы этногенеза славян считались в равной мере актуальными и кардинальными для археологов (историков) и лингвистов.

Эти работы приведены нами как определенные вехи в развитии науки о славянских древностях, подобно тому как появление отдельных фундаментальных сравнительных грамматик славянских языков (от Ф. Миклошича до А. Ваяна) определяло этапы в истории славянской компаративистики[2]. Из этих работ можно сделать вывод о возрастающем значении этнографического и лингвистического материала при решении проблемы этногенеза славян, которая продолжает оставаться достаточно сложной и многосторонней.

При всей комплексности проблемы славянского этногенеза и общности задач реконструкции древнего состояния и установления соответствий фактов, относящихся к разным хронологическим и «семантическим» (сферы быта, труда, общественных отношений и т. п.) пластам, эта проблема может решаться и решается на первых этапах исследования разными конкретными дисциплинами, конкретными специалистами, оперирующими определенным и часто ограниченным (или, лучше сказать, отграниченным) кругом источников. Такими выделившимися и автономными научными отраслями являются археологическое изучение материальной культуры (формы и типы керамики, жилища, поселений, утвари, украшений, оружия, погребений и т. п.), антропологические исследования, а в сфере языкознания — топонимические разыскания. Весьма интересные результаты новейших антропологических исследований, как можно судить по белорусскому и балтийскому материалу, часто совпадают или четко соотносятся с результатами диалектологических (лингвогеографических) исследований крупных славянских этнических зон. К сожалению, такое сопоставление еще не произведено нашими учеными — славистами и балтистами. Более принятым и уже устоявшимся приемом, как мы уже отмечали, является прием сопоставления топонимических (в первую очередь гидронимических) изоглосс и археологических изопрагм.

Однако, на наш взгляд, при разысканиях такого рода должно выполняться следующее необходимое условие. На первом и достаточно длительном этапе археологические и

---

2 Естественно, что при все большей специализации отдельных отраслей науки и накоплении фактов все большую роль играют коллективы, а не отдельные ученые, однако в крупномасштабных обобщающих работах, равно как и в работах перспективных, роль отдельного ученого остается очень значительной.

топонимические исследования должны проходить независимо друг от друга, без оглядки в ту или иную сторону, без подведения лингвистической схемы под археологическую или наоборот. Лишь после независимо добытых результатов в каждой отдельной сфере следует приступать к их сопоставлению и анализу сопоставляемых фактов и выводов. Такое заключение следует сделать не только по отношению к археологическим и топонимическим данным, но и к данным собственно лингвистическим, этнолингвистическим, этнографическим и, как уже говорилось, антропологическим.

При этом важна координация действий, важен последовательный выбор то одного, то другого явления и рассмотрение его представителями разных дисциплин. Так, например, погребальный обряд может быть рассмотрен этнографом (его структура, действия и последовательность), фольклористом (плачи, причитания), лингвистом (терминология, лексика и стиль плача и т. п.), археологом (остатки захоронения, тип захоронения)[3]. При таком «разнодисциплинарном» рассмотрении желателен охват и описание явления с максимальной и равной полнотой. Но равная полнота все же не может быть достигнута, так как археолог при исследовании того же погребального обряда столкнется с элементами материальными, с предметами материальной культуры, которые дадут возможность лишь частично проникнуть в сферу духовной культуры. Кроме того, серьезные трудности возникнут в связи с различной хронологией фактов, добытых представителями разных дисциплин — этнографии, языкознания, археологии.

В связи с этим нельзя не остановиться на двух вопросах: во-первых, на различиях в характере материальной и духовной культуры и, во-вторых, на различии в характере материала и фактов, которыми пользуется археолог, лингвист и этнограф.

Начнем со второго момента. Археолог, имея дело преимущественно с материальной культурой, оперирует элементами или даже «микроэлементами» («атомами», «кирпичиками», «осколками»), которые ему не нужно реконст-

---

[3] При этом не следует думать, что какое-либо отдельное явление, к примеру, тот же погребальный обряд, может служить археологу (и не археологу) надежным определителем этнической принадлежности. Скорее всего для этнической паспортизации нужна определенная сумма показателей, часто разного плана.

руировать. Ему нужно лишь их датировать и на их основании восстанавливать (реконструировать) культуру, тип культуры, которой они принадлежат, затем преемственность или последовательность разных культур на определенных территориях, их соотношение (пространственное и временное) и, что достаточно сложно, — их этническую принадлежность. Но «кирпичи», формальные детали материальной культуры археологу даны. Положение лингвиста, этнографа и фольклориста совершенно иное; им нужно восстанавливать и сами «кирпичи» (слова, элементы обряда, элементы народной поэзии и прозы), и их способ «кладки» (грамматику, структуру обряда, жанр), и все здание (язык, обрядовый цикл, систему фольклора).

Именно поэтому археологи предпочитают свои выводы и результаты сопоставлять с гидронимическими (или топонимическими) показателями, с материалом, дошедшим до нас из глубины веков, хотя и подвергшимся некоторому изменению. Такой материал справедливо представляется археологам почти синхронным их фактам, исследуемым ими культурам и культурным напластованиям. Все остальные лингвистические (и этнографические) показатели (часто не менее древние) им обычно представляются более зыбкими. Но сколь обильно и богато фактами это все остальное!

Что же касается приведенного выше первого момента, то здесь для нас важна прежде всего разница в характере самого развития (истории) материальной и духовной культуры. На наш взгляд, оно заключается в следующем. Если материальная культура в принципе в своей истории, в своем развитии сменяет одну форму другой, замещает одно другим (типы орудий, тип керамики, тип построек, оружие, утварь и т. п.), то духовная культура, принимая новое, в значительной мере сохраняет старое, устанавливает формы сосуществования нового со старым (или, точнее, старого с новым), наслаивает одно на другое. На эту особенность духовной культуры недавно вновь указал Б. А. Рыбаков, четко сформулировав ее по отношению к язычеству. «Спецификой языческого комплекса, — писал он, — которую непременно нужно учитывать при анализе любого его этапа, является своеобразный характер его эволюции: новое не вытесняет старого, а наслаивается на него, добавляется к старому. Анализ показывает, что в сумме религиозных представлений позднейших эпох обязательно присутствуют в том или

ином виде представления предшествующих эпох. Они могут быть ослаблены, отодвинуты на второй план, несколько трансформированы, но они остаются ощутимы почти до наших дней» (Рыбаков, 1974, с. 4).

Это положение, на наш взгляд, чрезвычайно важно. Но важен и другой момент. Материальная культура тесно связана с природной средой и во многих отношениях зависима от нее (материал и типы построек, типы орудий и т. п.), духовная же культура — более автономна по отношению к внешней среде, абстрагирована от нее. Для исследования духовной культуры чрезвычайно существенно еще одно положение. Оно заключается в том, что элементы старого, сосуществующие с новым, по-разному, с разной полнотой и разным соотношением сохранились в разных зонах славянского мира, в разных «диалектах» славянского мира. Такая ситуация давно отмечена в славянском языкознании (сохранение двойственного числа в словенском и серболужицком, аориста и имперфекта в сербскохорватском, македонском, болгарском и серболужицком и т. п.), разработавшем ряд методов лингвогеографического изучения и исторической интерпретации современных изоглосс. Лингвистические, а по сути дела общеэтнолингвистические, методы могут быть с успехом применены к исследованию славянской духовной культуры, и общий географический ландшафт нынешней (или недавней) славянской духовной культуры может быть прочитан как «диахрония, развернутая в пространстве» (Толстой, 1968, с. 342), как определенная историческая последовательность, которая может быть установлена путем анализа разных архаических элементов культуры в разных славянских диалектных зонах.

Именно по этой причине реконструкция праславянской духовной культуры, праславянской мифологии затруднительна и мало плодотворна без предварительной работы по созданию диалектологии славянской духовной культуры, диалектологии славянской мифологии. Диалектные исследования в области славянской духовной культуры нужны еще и потому, что реконструкция древней формы, древнего явления тем надежнее, чем больше разных рефлексов этой формы или явления зафиксировано, и притом зафиксировано в разных зонах. Это дает возможность делать ретроспективный анализ эволюции конкретной формы или явления и находить его место в древней системе. Такого материала часто

оказывается недостаточно, и его надо собирать. Носители славянских территориальных диалектов хранят еще огромные, во многом неизвестные науке богатства древней славянской духовной культуры. Еще не поздно заняться систематической фиксацией этих богатств, по единому плану, по единому вопроснику, так как к началу будущего столетия время уже будет упущено.

Наконец, если считать, что первейшей задачей реконструкции является не столько выявление отдельных праэлементов, сколько реконструкция системы[4], то и в современной славянской духовной культуре нас должны интересовать прежде всего определенные устойчивые системные явления, культурные блоки, институции. К таковым, видимо, в первую очередь следует отнести славянские обычаи и обряды — календарные, семейные и окказиональные. Если календарные обряды цикличны, семейные — не цикличны, но в жизни каждого индивида связаны определенной последовательностью, то окказиональные обряды лишены этих моментов и в значительной степени автономны. Календарные и семейные обряды тесно связаны с фольклором, так как они, как правило, включают в свою структуру значительный пласт песенного, музыкального и драматического народного репертуара. Окказиональные обряды по своей функции и по своей вербальной (словесной) направленности ближе к заговорам, заклинаниям, детскому фольклору. Все эти обряды вкупе с народной медициной и ветеринарией, народной демонологией и метеорологией и со всем примыкающим к ним фольклорным богатством, включая сюда и народное изобразительное искусство (вышивка, узор, резьба, надгробия, писанки, роспись прялок, посуды, мебели и т. п.), являются основным фондом источников для реконструкции славянской мифологии, праславянской духовной культуры.

---

4 Хотя без элементов нет системы, а без системы элементы не могут функционировать и существовать и тем более быть описаны и восстановлены.

Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте

Выдвижение на авансцену лингвистической научной действительности того или иного специального направления — математической лингвистики, социолингвистики и др. нельзя объяснять (как это пытались делать некоторые) исключительно модой, либо неполнотой или даже недостаточностью собственно лингвистических методологических устоев, принципов и задач. В этом явлении следует видеть скорее закономерность общего процесса развития гуманитарных наук в нашем веке, их взаимосвязанность и внутреннее единство. «Новые» или актуальные научные направления, как правило, возникают в пограничных регионах на стыках лингвистики и математики, лингвистики и психологии, лингвистики и социологии и т. п. При этом далеко не всегда в отношении методологии, материала и практических задач лингвистика оказывается в подчиненной или пассивной позиции. Во многих случаях методы, разработанные на лингвистической основе, применяются, оказываясь новыми и перспективными, в смежных с ней науках. Именно такая ситуация характерна для соотношения лингвистики и этнографии, в первую очередь для той части науки об этносе, которая исследует духовную культуру.

Говорить о позиции лингвистики по отношению к этнографии важно по двум причинам. Во-первых, связь этих двух наук почти традиционна и чрезвычайно прочна, во-вторых, современное развитие языкознания, в первую очередь развитие его исторических разделов, выдвигает на передний план такую ключевую во многих отношениях дисциплину, как этнолингвистика.

Этнолингвистика не есть нечто среднее или промежуточное между языкознанием и этнографией, подобно тому как психолингвистика не оказывается некоторым гибридом лингвистики и психологии. Этнолингвистика есть раздел языкознания или шире — направление в языкознании, ориен-

тирующее исследователя на рассмотрение связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции. Во всех разысканиях подобного рода язык как средство общения и как одна из важнейших форм этнической (народной, национальной) культуры оказывается в доминантной позиции. Он всегда является основным предметом исследования вне зависимости от того, какая субстанция (языковая или неязыковая) и какая функция (коммуникативная, обрядовая, мифологическая и т. п.) подвергается анализу.

Само по себе понятие этнолингвистики и даже сам термин не является новым в науке. Начиная с И. Гербера и В. Гумбольдта, идея рассмотрения языка в широком культурологическом аспекте вдохновляла многие поколения лингвистов. Эта идея стала руководящей для группы ученых первой трети XX в., обратившихся к исследованию языков, лишенных письменной и исторически зафиксированной традиции, языков американских индейцев. Среди них наиболее известными были этнограф Ф. Боас и языковед Э. Сепир. Последний утверждал: «... речь есть чисто историческое наследие коллектива, продукт длительного социального употребления. Она многообразна, как и всякая творческая деятельность, быть может, не столь осознанно, но все же не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных народов» (Сепир, 1934, с. 6). На этом основании он делал по крайней мере два вывода — язык нельзя признать «чисто условной системой звуковых символов», и различия в языках и диалектах «при переходе нашем от одной социальной группы к другой никакими рамками не ограничены».

Как известно, идеи Э. Сепира два десятилетия спустя развил Б. Уорф, добавив к ряду «язык — литература» еще и звено «нормы поведения». Б. Уорф ставил акцент на нормах поведения и на характере мышления, в то время как для нас, как будет видно из дальнейшего изложения, существеннее более гомогенный ряд «язык, религия, верования, обычаи, искусство». Как бы то ни было, в нашу задачу не входит рассмотрение отдельных и различных подходов, методов и их вариантов в этнолингвистике. Нам важно сейчас отметить, что современная этнолингвистика (так же как и этнолингвистические идеи прошлого века) направлена почти

исключительно на рассмотрение общеязыковедческих и синхронно-лингвистических тем, довольно далеких от историко-лингвистических, диахронических, генетических проблем и задач. Но именно историческая направленность может придать этнолингвистике статус цельнооформленной, внутренне непротиворечивой и неоднoплановой дисциплины, с одной стороны, и дать возможность использовать достижения этнолингвистики в области сравнительно-исторических (в первую очередь индоевропейских и балто-славянских) штудий, с другой. Речь идет не об отдельных уже проводившихся опытах, а о планомерной, методологически и методически организованной серии работ.

Тема, выдвинутая в заглавии, — неравномерность развития звеньев языковой и звеньев мифологической систем — существенна для восприятия этнолингвистики как исторической дисциплины. Фактический материал, послуживший основой для доклада и оставшийся почти целиком вне его рамок, — славянские языковые и мифологические системы. Изложение наших суждений начнем с некоторых общих, в принципе хорошо известных, фактов.

Большинство индоевропейских языков имело относительно давнюю историческую фиксацию, т. е. развивалось в двух формах — устной и письменной. Что касается письменной фиксации мифологии, то эта «привилегия» свойственна лишь отдельным индоевропейским этносам; такие этносы, как балтийский и славянский, ее почти лишены. Однако ранняя письменная фиксация языка и мифов (религиозных представлений) не является единственным историческим источником для лингвистов и мифологов. Более того, этот источник может во многих случаях отражать лишь одну «книжную» форму языка (resp. мифологии), давая мало сведений о народном бесписьменном языке и совсем не давая сведений о народных мифологических представлениях. Весьма щедрым и до сих пор еще далеко не исчерпанным источником для истории языка (и языков) почти во всех ее аспектах является диалектология, диалектологический материал. Та же народная изустная традиция в сфере обрядов, поверий и обычаев, т. е. та же диалектология духовной культуры, оказывается надежным и зачастую единственным источником для истории мифологии, для диахронических мифологических штудий, для определения динамики развития отдельных мифологических систем, для их

этнического, территориального и хронологического приурочения.

При этом, вероятно, можно настаивать на изоморфизме структуры языка и отдельных блоков народной духовной культуры в отношении книжности/некнижности (письменной фиксации / отсутствия ее), нормированности/ненормированности, недиалектности/диалектности, и т. п. Язык и народная духовная культура могут быть описаны одинаковым набором признаков, с применением одинаковых понятий, относящихся к одному логическому аппарату, поскольку на язык и народную духовную культуру можно смотреть как на различные семиотические (знаковые) феномены, связанные, как отмечалось выше, с определенным социумом и, что еще важнее, с определенным этносом. Последний момент позволяет усматривать в народной духовной культуре наличие территориальных и социальных «диалектов», наличие культурных семей, культурных союзов (по модели языковых семей и союзов) и применять к народной духовной культуре понятия и термины «субстрат», «адстрат» в сфере «диалектологической» и «двоекультурье», «гомогенное/гетерогенное двоекультурье (многокультурье)» — в сфере «книжной» и т. п.

Обратив взгляд на отдельный крупный диалектный континуум, например славянский, и рассматривая его в лингвогеографическом аспекте как множество отдельных диалектных систем или микросистем, мы можем зафиксировать очень важное для всего хода, всей последовательности наших рассуждений и доказательств положение о неравномерности развития отдельных звеньев, отдельных блоков и элементов системы диалектов и языков. Такая неравномерность четко выявляется на материале близкородственных языков и диалектов, чья первоначальная единая структурная основа не вызывает сомнений.

Например, почти во всех славянских языках доведены до минимума или вовсе утратили склонение основы на *-*ū* типа **svekry* 'свекровь' или **kry* (ст.-слав. уже кръвь 'кровь' по склонению основ на -*i*), и лишь только южновеликорусский говор в р-не Зарайска сохранил до наших дней форму *свякры* 'свекровь' и словенские говоры — форму *kri* 'кровь'. По-разному в славянских диалектах сохранились и распределились остатки двойственного числа, и лишь словенский и лужицкие сберегли его как последовательно проведенную

категорию (как в старославянском). Однако, согласно данным Л. Теньера, сами словенские диалекты сохраняют двойственное число в разном виде и в разной степени. Различна и степень сохранности славянских простых прошедших времен (аориста и имперфекта) в славянских языках и диалектах: в болгарском и македонском она очень значительна и в связи с общей структурой системы прошедших времен весьма высока и прочна, в сербскохорватском в отдельных диалектах уже несколько ослаблена, в лужицком — формально упрощена и подчинена видовой глагольной корреляции, в остальных славянских языках простые прошедшие времена утрачены. Эти диалектные данные могут быть интерпретированы исторически. Они, возможно, сами по себе внесли бы не много нового по сравнению с тем, что дают нам в историческом аспекте по этому вопросу памятники письменности. Однако в методологическом отношении важна сама возможность исторической интерпретации современных диалектных фактов, которые затем могут быть при необходимости сопоставлены с данными памятников. Но, во-первых, есть такие языки (например, словацкий, словенский), памятники которых немногочисленны и относятся к довольно позднему периоду, есть языки (диалекты), не имеющие памятников вовсе, и во-вторых, есть явления, не зафиксированные памятниками.

Следует отметить, что, как показывает современная славянская лингвогеография и диалектография, неравномерность обнаруживается на всех уровнях языка, как в отдельных блоках системы, так и в элементах и минимальных звеньях системы, хотя во многих случаях она сглаживается давлением системы. Давление системы оказывается максимальным в фонологии, меньшим в морфологии и минимальным в лексике. Мозаичность лексики ведет к консервативности отдельных ячеек мозаики, отдельных слов, к их автономии по отношению к системе. Эта автономность (проявляющаяся ярче всего в сфере имени собственного) позволяет слову сохранять архаические или уже утраченные черты (явления, формы, отчасти смысл–значение) других уровней языка, а также самого лексического уровня. Учитывая, что сохранение архаических элементов происходит в разных диалектах по-разному и притом в различных звеньях языковых систем, что консервация отдельных форм отмечается на разных этапах развития (разных и в хронологическом, и в

структурном отношении), мы можем для целого ряда явлений, для блоков языковой системы и даже для системы в целом установить определенную историческую последовательность, определенную динамику развития в пределах микроареала, определенный эволюционный процесс.

При этом чем большее число рефлексов одной прасистемы, одной формы или одного праявления зафиксировано в диалектах, тем более достоверна реконструкция процесса изменения системы, формы, категории или явления, равно как и реконструкция самой формы, категории или явления, самой системы. В этих случаях крайне важна ареальная характеристика явления, формы и т. п., представленная на лингвогеографической карте, учет соотношения показателей в плане корреляции центра и периферии, сплошных и разорванных ареалов, сближенных и удаленных друг от друга ареалов и микроареалов, взаимопроникающих ареалов, рассыпанных ареалов и т. п. Историческое прочтение лингвистических и этнолингвистических карт — дело чрезвычайной важности, требующее выработки специальной методики и даже методологии. Естественно, что ему должна быть подчинена и методика составления вопросника и собирания материала.

Изложенные лингвистические положения и методика реконструкции как ряда фактов и организующих их структур, так и процессов их изменения, в общем, не являются новыми и тем более неожиданными. Так или иначе они обсуждались в нашей науке. Существенным для нас был подбор тех положений, которые в полной мере могут быть перенесены на народную духовную культуру или применены к ней.

Прежде всего следует отметить «книжность» и «некнижность» многих явлений народной духовной культуры, в том числе и славянской, ее диалектность и неравномерность развития (resp. утраты) ее отдельных элементов. Нам уже приходилось писать о применении понятия «грамматика» к народной духовной культуре, о возможностях морфологического и синтаксического описания ее структуры, о наличии парадигматического и синтагматического плана, т. е. о необходимости различения в народной духовной культуре системы и текста. Сама структура текста в некоторых разделах («жанрах») народной духовной культуры, скажем, в таком существенном разделе, как обряды, сложнее языкового тек-

ста, так как представляет собой единство вербального (словесного), реального (предметного) и акционального (действенного) плана. Это единство укрепляется обычно синонимичностью знаков, представленных в ритуале в разной форме — в виде ритуального слова, ритуальной вещи или ритуального акта. Такая синонимичность увеличивает во много раз комбинаторную возможность знаков разных регистров, а тем самым и степень «неравномерности» наличия и функции обрядовых элементов и структур в разных диалектных зонах. Во всех этих случаях, особенно когда дело касается проблем семантики, проблем значения обрядовых единиц (знаков), вербальная — языковая — сторона занимает доминирующее положение. Изучение этой стороны вопроса является одной из важных задач этнолингвистики. Так, этнолингвистика способствует разрешению ряда этнографических проблем, организуя исследования духовной культуры в сравнительно-историческом, генетическом аспекте в первую очередь. Достаточно сказать, что изучение самой терминологии конкретной духовной культуры позволяет проследить историю и эволюцию этой культуры в главных ее чертах и получить представление о ее древней, часто первичной структуре, так как термин в обряде, ритуале, мифологии отражает ключевые моменты обряда и мифологических представлений либо указывает на мифологические персонажи, предметы и действия исключительной важности. Такое положение, на наш взгляд, не требует доказательств. Достаточно привести в качестве примера работы Э. Бенвениста о социально-экономической структуре индоевропейцев, чтобы уяснить себе роль терминологии в реконструкции родившей ее системы.

Еще больший вес этнолингвистики обнаруживается в исследованиях различных древних, часто сохранившихся до наших дней, словесных формул, заклинаний типа серб. *Бор те убио!* или *Пусти врбово, узми дреново!* и т. п., фразеологизмов типа русск. *Куда Макар телят не гонял*; *черта с два!*; *родиться в сорочке*; *не все дома* и т. д., народных поэтических клише, т. е. во всех тех сферах, которые могут быть обозначены как «историческая (или доисторическая) лингвистика текста». И, наконец, неоспорима и весьма значительна роль этнолингвистики в исследовании архаической лексики и в лексической реконструкции. Если в сфере, скажем, все тех же славянских языков, реконструируя

их общий источник — праславянский язык, для фонетического и частично — морфологического уровня слависты могут предложить относительную, а для позднего периода и абсолютную хронологию, то для уровня лексического пока существует только одно определение — «праславянское» без какой бы то ни было дополнительной временной стратификации. Связь слова с обрядом, мифом, тем или иным звеном древней славянской и индоевропейской духовной культуры может снабдить слово дополнительной информацией, необходимой для его лингвистической стратиграфии. Это в полной мере применимо и к лингво- и этногеографии. Изоморфность пучков изоглосс с пучками изопрагм (линий, выделяющих ареалы одинаковых предметов материальной культуры) и пучками изодокс (линий, выделяющих ареалы одинаковых явлений духовной культуры) повышает ценность и значение и первых, и вторых, и третьих, как в аспекте исследования современного лингвистического и этнографического членения этнических территорий, так и в аспекте их исторического и «доисторического» (праславянского, прагерманского и т. д.) состояния. В последнем случае часто обнаруживается тесная смычка с еще одной дисциплиной — археологией.

Основанием для работ указанного направления является и то, что язык сам — составная часть и орудие культуры и может быть описан и часто описывается через признаки, общие для всех явлений культуры.

К вопросу о классификации славянских диалектов

Проблема классификации славянских диалектов продолжает быть в центре внимания многих диалектологов. К сожалению, ее обсуждение редко выходит за рамки одного («национального») языка и никогда не охватывает всю современную Славию в целом. Было обращено внимание на то, что часто в пределах одного языка диалекты выделяются по разным дифференцирующим признакам (ДП). Если непоследовательность и разная мотивированность выделения ДП свойственна классификациям некоторых отдельных славянских языков, то в общеславянском масштабе она значительно усугубляется. Трудность вычленения отдельных славянских диалектов или диалектных зон заключается в их неоднородности — лингвистической, этнологической, демографической (последние два фактора — не решающие, но существенные). С точки зрения лингвистической различно расстояние (по ДП) между диалектами и различна степень четкости (очерченности) диалектных границ (из-за разной плотности изоглоссных пучков, а иногда и их разных направлений), что побуждало еще некоторых сторонников школы Жильерона отказываться от понятия диалекта вообще. К этому следует добавить неразработанность в славистике вопроса о доминантных изоглоссах, о соотносительном «весе» отдельных изоглосс в типологическом и диахроническом аспектах и т. п.

Проблему классификации диалектов в общеславянском масштабе нельзя считать абстрактной и умозрительной. Все больше и больше назревает необходимость, особенно в лингвогеографических лексикологических штудиях, сравнивать факты и показатели не отдельных славянских языков, а отдельных диалектных зон и притом относительно дробных. Так, если заниматься восточно-южнославянскими соответствиями, существенно, например, говорить не просто о белорусско-болгарских или белорусско-македонских параллелях и даже, скажем, не о полесско-западноболгарских, а о восточно- (или западно-) полесских и шопских или пиринско-

македонских или западно-родопских и т. п., если те же явления в соседних зонах не распространены. Точно так же нужно различать хотя бы два белорусских Полесья — западное и восточное. Диалектологическая и этнографическая дифференциация русского Севера убеждает нас в том, что в нем нужно различать две зоны — северо-западную и юго-восточную, соответствующие двум потокам колонизации — новгородско-«словенскому» и «низовскому», владимиро-суздальскому. Все эти моменты важны для реконструкции праславянского языкового состояния и предполагаемой праславянской диалектной дифференциации, для определения путей и состава более поздних славянских миграционных волн и т. п. Диалектологические карты отдельных национальных языков и диалектные классификации базируются в основном на двух принципах — чисто лингвистическом и историко-этнографическом. В каждом конкретном случае степень присутствия того или другого момента различна, хотя лингвистический почти всегда превалирует. Его можно считать в общем безраздельно господствующим в классификации великорусских диалектов, где южнорусский ареал расчленяется почти исключительно по типам аканья. Южнославянский диалектный континуум мог бы быть расчленен по видам рефлексов ятя (это и принято в болгарской и сербскохорватской диалектологии), но при этом выявятся слишком крупные зоны, которые нуждаются в дальнейшем дроблении. Что же касается словенской зоны, то она по этому принципу окажется рассеченной изоглоссой в направлении юго-запад — северо-восток (Miklosich, 1879), в то время как изоглосса еря и ера дает противоположную картину с направлением северо-запад — юго-восток (Oblak, 1894). Эти и подобные моменты заставили Ф. Рамовша обратиться к классификации И. И. Срезневского (Срезневский, 1841), модернизировав ее и усовершенствовав (Ramovš, 1931). Согласно этой классификации, словенский языковой ареал делится на 7 диалектных зон (групп) и 36 диалектов. Таким образом, она приблизилась к этнографическо-историческому членению словенских земель и оказалась двуступенчатой (и даже трехступенчатой) и достаточно удобной для собственно словенистических и широких славистических исследований. Что касается существующей в наше время классификации польских диалектов, то ее можно считать максимально приближающейся к историко-этнографической, хотя и лингви-

стической по своей интерпретации. Она выделяет «земли» и зоны — великопольскую, малопольскую, мазовецкую, силезскую, поморскую, вармийско-мазурскую, куявскую, ленчицкую, серадскую, хелминско-добжинскую, подлясскую и т. д. В последних работах К. Дейны (Dejna, 1972; 1973) содержится попытка пересмотреть в свете новых фактов критерий диалектного членения и предложить четкий набор черт (признаков), по которым противопоставляются друг другу пять основных диалектных зон (кашубский язык считается отдельной диалектной зоной польского языка).

В дальнейшей работе славянские диалектологи должны стремиться к выявлению возможности многоступенчатой классификации для всех основных языковых зон современной Славии.

II

Материалы по сравнительной грамматике и типологии славянских языков

Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке

(на материале евангельских кодексов)

1. Вступительные замечания

§ 1. Основной проблемой данной работы является не генезис, а значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском, а в связи с ним отчасти и в других славянских языках. Вопрос этот издавна привлекал лингвистов; ему постоянно отводилось место в отдельных курсах и очерках по грамматике старославянского языка, но специального исследования не было посвящено. Несколько раз выяснялись отношения кратких и полных форм в древнерусском языке, однако почти всегда без должного внимания к фактам старославянского и южнославянских языков, что и приводило обычно к значительным разногласиям и различному толкованию значения рассматриваемой категории.

В современной лингвистической науке господствует, в основном, два мнения: первое — полные и краткие формы прилагательных выражают отношения определенности и неопределенности (притом сама определенность и неопределенность толкуются различно) и второе — полные и краткие формы прилагательных выражают отношения атрибутивности и предикативности (при этом понятие предикативности определяется очень расплывчато).

Впервые на различие в значении полных и кратких прилагательных обратил внимание хорватский филолог Ю. Крижанич, автор сербскохорватско-русской, по его представлению, общеславянской (т. е. общей для всех славян), грамматики. Он дал следующее объяснение: «Об придивних. J. Прôста и Jзрêдна J. Вса́ко о́б близу Придивно јме јма́јет двојé облѝчије. Прôста придивна знамену́јут по́ просту, како́во јест что́: кт҃, Велѝк, велѝка, велѝко: Ма́л, ма́ла, ма́ло: Свêт, свѣта, свêто. А Jзрêдна оказу́јут вêщ на ѝзре́д, и знамени́то би́т тако́ву: а творѝтсе от Прôстих: приба́вивши

скла́ди ів, аіа, оє или єє» (Крижаниц, 1859, с. 53). В этом первом известном нам определении рассматриваемой категории тонко схвачено основное значение кратких и полных форм. Краткие формы объяснены как простые, нейтральные, полные — как «из ряда вон выходящие», выделяющиеся из ряда им подобных[1].

Такая формулировка, по нашему мнению, удачнее более поздней «неопределенные и определенные», где не отражен момент нейтральности и не уточнено понятие определенности. Тем не менее, эта поздняя формулировка прочно укоренилась в лингвистической терминологии. Ее ввел, видимо, И. Добровский в своих знаменитых «Institutiones linguae slavicae dialecti veteris» (1822). Он писал: «De nomino adjectivo § 34. Adjectivorum terminatio. In Adjectivus duplex terminatio, indefinita et definita, secundum genera distingunda est» (О имени прилагательном § 34. Окончание прилагательных. Прилагательные по родам имеют два окончания, неопределенное и определенное) (Dobrovský, 1822, t. 1, p. 317; Добровский, 1833, с. 372–373).

Вслед за И. Добровским это положение принял А. Востоков, обратив также внимание на некоторое соответствие славянских полных форм прилагательных греческому члену: «Прилагательные качественные, относительные и причастия имеют двоякое окончание: первое неопределенное (indefinita, по Добровскому) или усеченное, и второе — определенное (definita) или полное... Окончание неопределенное употребляется там, где в греческом нет члена, например, **вьсѧко дрѣво добро плодъ добръ творить** (πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ), определенное выражает греческий член, например, **въсѣавъıи доброє сѣмѧ** (ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα). Однако же иногда определенное или полное окончание поставлено и там, где в греческом нет члена, например, **приимѣте дх҃ъ ст҃ъı** И. XX, 22, во всех древних списках евангелий. В греческом λάβετε πνεῦμα ἅγιον» (Востоков, 1863, с. 35; то же 1865, с. 45). Важно отметить, что Востоков, помимо общности функций полных прилагательных и греческого члена, отметил и известное различие. Это интересно главным обра-

---

1 До Крижанича (1617–1683) в грамматиках не отмечалось различие в значении кратких и полных форм. Мелетий Смотрицкий указывает, например, лишь на наличие двух форм: «И пе́рвагѡ оу҆́бѡ чи́на и҆ме́нъ мѹ́жеска ро́да ѡ҆конче́нїѧ е҆́ста два̀: ый: и҆/ їй; и҆ чре́зъ а҆покопѝн/ ъ: ꙗ҆́кѡ. Ст҃ый/Ст҃ъ: крѣ́пкїй, крѣ́покъ» (Смотрицкий, 1619).

зом потому, что в течение всего XIX в. и отчасти XX в. в науке господствовало мнение о почти полной тождественной функции кратких и полных форм прилагательных в старославянском и неопределенного и определенного артикля в западноевропейских языках и члена в греческом. Ярче всего эту точку зрения выразил Ф. Миклошич в своем «Сравнительном синтаксисе славянских языков». Его определение значений кратких и полных форм прилагательных было до недавнего времени наиболее полным и развернутым: «Сложные формы указывают на обозначенный прилагательным и существительным предмет как на уже упомянутый или ранее известный, указывают потому, что соединение этих форм с точно названным или только присоединенным мысленно существительным происходит в акте речи не впервые, но должно пониматься как уже совершенное до этого: сравни кръштии сѧ възиде ὁ βαπτισθεὶς ἀνέβη — крещеный (der Getaufte), т. е. тот человек, который был крещен и нам известен как крещеный, взошел, с кръштъ сѧ възиде βαπτισθεὶς ἀνέβη — после того как он был крещен, он взошел... Именные формы указывают на предмет, обозначенный прилагательным и существительным, как на не известный заранее, указывают, что соединение прилагательного с существительным должно пониматься как производящееся только впервые в акте речи. Таким образом, понятие при своем первом упоминании обозначается именной формой, а позже, как уже известное, сложной: Оубогъ нѣкы глаголааше Супр. 433, 16, после чего: (433, 20) дастъ клюсѧ оубогоуоумоу; видѣ единѫ въдовицѫ оубогѫ, после чего въдовица си оубогаꙗ Савв. кн. 52» (Miklosich, 1883, S. 132–134).

Определение Ф. Миклошича, в общем правильное, нельзя считать, однако, исчерпывающим и достаточно точным. Оно, прежде всего, оставляет в стороне специфические особенности исследуемой категории: категория кратких и полных прилагательных в славянских языках нивелируется с категорией артикля в западноевропейских языках. Основное значение полных форм в старославянском языке, по Миклошичу, — анафорическое, т. е. указывающее на предмет уже ранее упомянутый, известный. Главным моментом, определяющим корреляцию обеих форм прилагательных, является первичность или вторичность данного сочетания («прилагательное + существительное») в акте речи. Между тем этот момент можно считать лишь частным случаем,

проявлением (и то не всегда обязательным) более широкой категории определенности, связанной с рядом других моментов синтаксического и лексического порядка.

После Ф. Миклошича исследователи старославянского языка сделали немного для дальнейшего выяснения нашего вопроса. А. Лескин дал несколько иное, по нашему мнению, более правильное, хотя и слишком общее определение рассматриваемой категории. Не подчеркивая момента вышеупомянутости, он отметил, что «прилагательное, являющееся атрибутом существительного, употребляется с членом тогда, когда атрибут относится к определенному, известному самому по себе или из контекста, предмету» (Leskien, 1909, S. 142).

Такую же характеристику исследуемой категории дал А. Мейе: «В общеславянском языке нет члена, определенного или неопределенного. Но в нем имеется особая форма прилагательного, которая употребляется, когда прилагательное служит определением к известному существительному и, следовательно, указывает на то, что существительное является определенным. Прилагательное-сказуемое или прилагательное-определение к существительному неопределенному никогда не имеет этой формы» (Мейе, 1951, с. 357–358)[2].

Важно отметить, что, по мнению А. Мейе и других ученых, полная форма придает определенность существительному-предмету, с которым прилагательное находится в атрибутивной связи (определенность предмета), а не самому прилагательному-признаку предмета (определенность признака), что, по нашему мнению, совершенно правильно.

Мнение большинства других исследователей старославянского языка, авторов отдельных курсов и руководств (Вондрак, Кульбакин, Щепкин, Ван-Вейк, Вайнгарт, Дилс, Вай-

---

[2] В другой работе — «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» — А. Мейе дает определение, близкое к определению Ф. Миклошича: «Основа санскр. *уа-*, ав. *уа-*, др.-сл. ѥ- (со следующей частицей же: им. п. ед. ч. м. р. иже, род. ѥгоже и т. д.), греч. ὁ — служит относительным местоимением; оно образует именительный наравне с прочими падежами. Кроме того, в славянском оно имеет анафорическое значение, т. е. служит указанием на лицо или вещь, уже известную или раньше упомянутую: в литовском оно имеет только это значение. Как анафорическое, оно является энклитикою и может присоединяться к прилагательным для указания того, что имя, к которому оно относится, определено: др.-сл. добръıи (из добръ-и), добра-ꙗ, добро-ѥ» (Мейе, 1938, с. 334).

ан, Лось, Лер-Сплавинский и др.) в общем мало чем отличается от мнения Мейе.[3]

Попытку по-новому вскрыть понятие определенности сделал А. М. Селищев в своем труде «Старославянский язык». По его мнению, «прилагательные в сочетании с местоимениями *i, je, ja* первоначально имели, вероятно, такое значение: они представляли собою субстантивизированные прилагательные. Например: *małъi* (*małŭi*) — «малыш», «малец», т. е. «мал вот он». Другая черта была свойственна сложным формам прилагательных: они подчеркивали свойство или качество предмета, каким он отличался среди прочих предметов того же качества или свойства; они сосредоточивали внимание говорящего на этой черте называемого предмета» (Селищев, 1952, с. 127).

Следует, однако, отметить, что субстантивация, т. е. употребление прилагательного в номинативной функции, выражение субстанции, чаще всего лица, исключительно через свойство или качество, для него обычно наиболее характерное и постоянное (например, *мало́й*, малъи (малъ) «малец», «маленький человек» и т. п.), не всегда вела в старославянском языке к употреблению полной формы[4]. Обязательное употребление полной формы при субстантивации, как, например, в современном русском языке, — явление более позднее, возникшее уже в отдельных славянских языках в период их самостоятельного развития (ср. реликтовое «от мала до велика» и т. п.).

Категория субстантивности и категория определенности далеко не тождественны, ибо сама субстанция (существительное) может быть определенной и неопределенной. Отсюда и случаи субстантивации кратких прилагательных.

Другая черта, свойственная, по мнению А. М. Селищева, сложным формам прилагательных, изложена им довольно неясно. Бесспорно, отличие полных форм прилагательных от кратких существует, и не только по форме, как полагал Г. Гуннарсон, но и по значению. Однако это не может быть отличие в степени качества (таковое отличается либо формами степеней сравнения, либо суффиксально: *-оват-*, *-ив-* и т. п.). Качественно, имея в виду значение качества, прила-

---

[3] См. более подробный обзор литературы вопроса в статье: Kurz, 1937–1938, p. 252–253.

[4] См. четвертый раздел настоящей работы.

гательное **добрыи** ничем не отличается от прилагательного **добръ**. Помня, что в старославянском языке полные формы выступают только в атрибутивной функции, нельзя указать особого значения полных форм, не приняв во внимание их связь с существительными и роль последних, т. е. без учета этой атрибутивной функции. Поэтому, по нашему мнению, невозможна, например, определенность и неопределенность признака (качества, свойства), взятая отдельно, без связи с предметом, если нет субстантивации типа *красное* = *краснота*, и т. п.[5]

Попутно отметим, что бóльшая и меньшая определенность может быть заложена в самом лексическом значении прилагательного, но при этом для каждого данного прилагательного она остается всегда неизменной. Нужно учитывать, что эта определенность выступает в ином, лексическом, плане, а не в плане рассматриваемой категории.

Все это позволяет нам считать определение — «они (сложные формы) подчеркивали свойство или качество предмета, каким он отличался среди прочих предметов того же качества или свойства» — в значительной мере запутанным и неясным. А. М. Селищев правильно замечает, что прилагательное в полной форме отличает предмет от прочих предметов того же качества, но ошибочно видит отличие в самом качестве.

Более удачно это отличие оценил И. Курц, усмотревший его в конкретном моменте, именно в индивидуализации предмета. «Сложные славянские прилагательные, — по мнению И. Курца, — сохранили, по крайней мере частично, свое исконное значение. Прежде местоимение в постпозиции придавало сочетанию прилагательного с существительным особый оттенок, например, оно подчеркивало особое индивидуальное свойство предмета, выделяя его из предметов с подобным свойством, сосредоточивало внимание на прилагательном и т. д. Я полагаю, — продолжает И. Курц, — что

---

[5] В связи с этим интересно отметить замечание А. В. Исаченко, что «при изучении данного вопроса в сравнительно-историческом плане внимание исследователя будет сосредоточено не столько на судьбах кратких и полных форм имен прилагательных, сколько на судьбах категории определенности имен существительных. Здесь особенно полезным будет привлечение болгарского материала, поскольку член в болгарском языке частично принял на себя функцию, выполняемую в старославянском языке полными формами прилагательного» (Исаченко, 1953, s. 208–209).

возможно было бы, по крайней мере для части случаев, исходить из прилагательного, выступающего в роли существительного (т. е. субстантивированного. — *Н. Т.*), которое четко обозначает данное лицо как индивидуум с постоянным качеством, например, сочетание *starъjь mǫžь* обозначало старика мужчину, ср. подобн. *člověkъ grěšьnikъ*, *vragъ člověkъ* и подобные примеры в древних языках. Его не следует рассматривать исключительно как член, оно могло иметь функцию обозначения субстантивного свойства прилагательных либо психологического их выделения путем анафорического местоимения. Разграничение обоих форм прилагательных в славянских языках не привлечено извне и основано на различии в их значении» (Kurz, 1939, с. 46; 1937–1938, p. 254–255).

В индивидуализации предмета нужно видеть, по нашему мнению, основное значение полной формы прилагательного. Особый оттенок свойства (индивидуализация-определенность) прежде всего относится к предмету, а не к его качеству (свойству). В этом отношении с И. Курцем нельзя не согласиться. В связи с этим и «сосредоточение внимания», привносимое полной формой, с нашей точки зрения, должно относиться не только к прилагательному, но ко всему сочетанию («прилагательное + существительное») в целом. Что же касается постоянства свойств и других оттенков значения, то они не всегда оказываются решающими при употреблении полной формы и чаще являются частными случаями (дополнительным моментом) проявления указанного основного значения. Более существенным фактором, связанным отчасти и с выдвигаемым И. Курцем моментом постоянства свойства, является лексическое значение прилагательного, определяющее преимущество в употреблении той или иной формы (ср. прилагательные на **-ьскъ-**, притяжательные прилагательные и др.). Этот исключительно важный для понимания рассматриваемой категории фактор почти всегда, к сожалению, оставался вне поля зрения исследователей.

Отметим также, что различное значение кратких и полных форм прилагательных (определенность/неопределенность) представлялось некоторым исследователям (Г. Павскому, Г. Гуннарсону, А. Досталю) привнесенным извне, из греческого языка. Корреляция полных и кратких форм, а по мнению Г. Павского, и сама полная форма, возникла под воздействием греческих прилагательных с членом и без чле-

на (Павский, 1850, с. 13). В XIX в. против теории Г. Павского убедительно выступили С. Лебедев (см. его рецензию на этот труд Г. Павского: Современник, 1851, т. XXVIII, № 8, отд. III, с. 25–44) и П. Лавровский (Лавровский, 1852, с. 64–65). Г. Гуннарсон полагал, что две парадигмы склонения прилагательных возникли на славянской почве в результате влияния двойной формы творительного падежа единственного числа существительных основ на *-ā* — женоѭ, женѫ на склонение прилагательных, что привело к созданию двойных форм доброѭ, добрѫ, добрыѩ, добры и др. Эти формы первоначально не имели различного значения и приобрели оттенок определенности и неопределенности лишь в представлении писца-переводчика с греческого оригинала под влиянием этого оригинала (Gunnarsson, 1931). Гипотезу Г. Гуннарсона опроверг А. Белич[6]. Его доводы, что двойная форма женѫ, женоѭ должна была вызвать двойную парадигму прежде всего в склонении существительных, хотя бы тех же основ на *-ā*, а затем уже прилагательных, а также и другие доводы, нужно считать обоснованными. А. Досталь полагает, что полные формы прилагательных возникли на славянской почве без иноязычного влияния, в результате стремления к морфологическому обособлению прилагательных от существительных. Что же касается их значения, то он, так же как и Г. Гуннарсон, полагает, что «определенное значение сложного прилагательного и неопределенное именного прилагательного в старославянском языке мы должны объяснять как вторичные. Мы не должны забывать, что старославянские тексты возникли, как правило, в результате перевода с греческого, т. е. переводчик должен был часто считаться с различием греческого оригинала между прилагательным с членом и прилагательным без члена. Помогло ему, вероятно, то, что он употреблял две формы прилагательных, которые старославянский язык в эту эпоху своего развития имел. Позже, поскольку необходимость выравнивания с греческим оригиналом действовала постоянно, развивалась практика употреблять сложное прилагательное вместо греческого прилагательного с членом и, наоборот, именное прилагательное вместо греческого прилагательного без члена. Впрочем, такая практика нигде не проводилась последовательно. Если бы мы допустили, что сложное при-

---

6 См. рецензию на указанный труд Г. Гуннарсона в журнале «Јужнословенски филолог», књ. XIII, Београд, 1933–1934, с. 211–217.

лагательное имело исконное значение определенного прилагательного как прилагательное с постпозитивным членом, мы бы с большим трудом объяснили именно пренебрежение этого значения в случаях, где старославянское сложное прилагательное употребляется вместо греческого прилагательного без члена и, наоборот, где употребляется прилагательное именного типа» (Dostál, 1954, s. 111). Подобное категорическое утверждение возможно, по нашему мнению, лишь после достаточно внимательного рассмотрения фактов древних и современных славянских языков. Между тем эти факты далеко не всегда свидетельствуют в пользу изложенной теории. Укажем, оставляя в стороне западнославянские и древнерусский языки, хотя бы на сербскохорватский и словенский, где не только в литературном языке, но и в говорах сохраняются в большей или меньшей мере следы прежней корреляции по линии определенности и неопределенности. Едва ли это явление можно объяснить исключительно греческим книжным влиянием.

§ 2. Вопрос употребления полных и кратких прилагательных в древних, а отчасти и современных южно- и западнославянских языках слабо отражен в специальной лингвистической литературе. Больше всего внимания было уделено проблеме употребления обеих форм прилагательных в древнерусском языке. Проблема эта, однако, решалась поразному и для древнерусского и, в связи с этим, что для нас крайне важно, для старославянского языка. Вопрос остался до сих пор окончательно не выясненным; в процессе его разрешения выработались, в основном, две или даже три концепции — С. П. Обнорского, Е. С. Истриной и Л. П. Якубинского.

Академик С. П. Обнорский полагает, что в древнерусском языке продолжали существовать отношения, характерные для старославянского и, возможно, праславянского языка. «Отражая старый строй языка, прилагательные являются в членной или нечленной форме в зависимости от того, служат ли они выражением признака определенного, уже известного, или напротив, в общих чертах представляемого, неопределенного» (Обнорский, 1946, с. 110[7]). Неточность характеристики С. П. Обнорского в том, что он акцентирует

---

[7] Из характеристики языка «Моления Даниила Заточника». То же при характеристике языка «Русской правды» (с. 25), «Сочинения Владимира Мономаха» (с. 59), «Слова о полку Игореве» (с. 169–170).

внимание преимущественно на определенности признака и тем самым повторяет одно из положений А. М. Селищева. Тем не менее, важно отметить, что С. П. Обнорский видит в корреляции двух форм прилагательных, так же как и большинство исследователей старославянского языка, выражение категории определенности и неопределенности.

Совсем по-иному объясняет употребление кратких и полных форм прилагательных в древнерусском языке Е. С. Истрина. По ее мнению, «в случаях, где определение выражено именной формой, обозначаемый им признак имеет существенное значение в общем смысле предложения, с чем связывается и энергичность его проявления; между тем, в случаях, где определение выражено местоименной формой, соответствующий признак не играет значительной роли в предложении, и проявление его не отличается энергичностью. Так, в предложении **і моужь добръ сгорѣ елефѣрии лазоревичь** — определение **добръ** относится к определенному лицу, названному по имени; качество это, надо думать, действительно ему принадлежало, а упоминание об этом качестве, так сказать, подчеркивает, увеличивает степень несчастия; признак проявляется энергично. Иную роль играет определение в предложении — **истригошасѧ добрии моужи и жены**. Текст таков: татары обступили Владимир; стало очевидно, что город будет взят; тогда все вошли в церковь св. Богородицы и здесь постриглись: и князь, и княгиня, и дочь, и сноха, и **добрии моужи и жены**. Определение **добрии** не имеет существенного значения в предложении; просто, в виду благочестивого поступка, книжник всех постригшихся называет добрыми; признак проявляется слабо» (Истрина, 1918, с. 45; см. также более полное определение на с. 51–52). «Значение именной формы прилагательного может быть определено как значение предикативное» (там же, с. 62).

Выводы Е. С. Истриной, произведенные на основании анализа одного древнерусского памятника XIII–XIV вв., во многом спорные[8], могли бы остаться вне нашего рассмотре-

---

8 См., например, критику положений Е. С. Истриной в канд. диссертации А. И. Толкачева и его выводы: «А между тем, отношения именных и членных форм были, вероятно, обратными тем, что было в Новгородской летописи (в языке до XIII–XIV вв. — *Н. Т.*), прилагательные сложные употреблялись при существительном определенном, а именные при существительном неопределенном или, по терминологии Е. С. Истриной, прилагательные сложные обозначали “признак

ния как не относящиеся непосредственно к нашему материалу, если бы они не были приняты рядом исследователей и отнесены ко всему древнерусскому и даже старославянскому языку (см., например: Георгиева, 1952, с. 5).

Недостатком многих исследований, посвященных прилагательным в древнерусском языке, было частое игнорирование фактов других славянских языков. Делались попытки разрешить все вопросы, в том числе даже вопрос возникновения полной формы прилагательного, исключительно на материале русского языка. А между тем нельзя было оставлять без внимания, в частности, тот факт, что активизация полных форм за счет кратких в некоторых славянских языках, например, в сербскохорватском, проходила не по линии атрибутивности и предикативности, как в русском языке (т. е. в конечном итоге полного господства местоименных форм в атрибуте и сохранения именных форм лишь в предикате), а по линии постепенного перехода отдельных лексических групп прилагательных одновременно и в атрибуте, и в предикате в разряд прилагательных только с полной формой.

Исключительной в нашей лингвистической литературе по истории прилагательных является недавно опубликованная работа проф. Л. П. Якубинского, по-новому разрешающая вопрос взаимоотношения и значения кратких и полных форм (Якубинский, 1952; см. также Якубинский, 1953, с. 206–219). Считая теорию Ф. Миклошича в основе совершенно справедливой и полагая, что «наличие местоимений при прилагательных в одних случаях (т. е. полные формы. — *Н. Т.*) и отсутствие их в других первоначально выражало категорию определенности и неопределенности в применении к существительным, которые определяло прилагательное» (Якубинский, 1952, с. 55), Л. П. Якубинский утверждал, что «ошибкой всех исследователей, занимавшихся нашей категорией, было то, что они понимали ее узко синтаксически, контекстно, смешивая понятие лексико-семантической определенности с понятием «вышеупомянутости» и поэтому, дескать, определенности. Они забывали, что понятие определенности есть лексико-синтаксическое понятие, поскольку

существенный для данного предложения", а прилагательные именные — "признак известный, обычный". И далее: "... можно привести и другие факты, указывающие на то, что именно сложные формы прилагательных обозначали признак, энергично проявляющийся", "существенный для данного предложения"» (Толкачев, 1952, с. 46–47).

определенность может быть дана в самом лексическом значении слова» (там же, с. 56). Не все в системе доказательств Л. П. Якубинского можно считать совершенно бесспорным (см. § 28 и § 39 настоящей работы), однако основным и наиболее ценным в его концепции является признание большой роли лексико-семантического фактора для исследуемой категории.

Такова в общих чертах история интересующей нас проблемы. Некоторые более частные моменты и полемика с отдельными исследователями даются ниже параллельно с изложением материала.

§ 3. Тематика старославянских памятников — исключительно церковного характера. Это — преимущественно богослужебная, каноническая литература, получившая в свое время название «священной», не подлежащей какому-либо изменению. Однако и среди этой «священной» литературы существовала определенная градация.

Наибольшее значение имели тексты Евангелия. Именно эти тексты, наряду с Псалтырем и Апостолом, были переведены в первую очередь на славянский язык еще Кириллом и Мефодием. Надо полагать, что тексты эти, как строго канонические, подвергались при дальнейшей переписке наименьшему изменению в отношении языка. Это явилось одной из причин того, что нами при исследовании были взяты прежде всего евангельские старославянские тексты. Наличие четырех древнейших списков Нового завета (Мариинский, Зографский, Ассеманиев кодексы и Саввина книга) позволяет также произвести очень важный в данном случае сравнительный анализ примеров. Отметим, что в отношении рассматриваемой нами категории эти памятники в общем отличаются единообразием. Число разночтений, тем не менее, достаточно велико, но трудно выделить какой-либо памятник в этом отношении.

В некоторых функциях прилагательных полной и краткой формы разночтения вообще отсутствуют, что дает нам возможность точнее определить значение рассматриваемой категории.

При исследовании были выписаны из четырех упомянутых кодексов все случаи употребления прилагательных и в полной, и в краткой форме. Анализ значения этих форм производился с учетом условий контекста и семантики прилагательных; поэтому в случаях, где имелась специальная

фиксация того или иного значения, выраженная или подчеркнутая другими языковыми средствами (т. е. не только одной из двух форм прилагательного), или где особую роль играло лексическое значение прилагательного, примеры приводятся полностью. Наиболее значительное внимание уделяется именно таким примерам. В некоторых случаях даются и численные показатели для тех или иных форм. Факты других славянских языков привлекаются лишь в качестве иллюстраций к выводам, сделанным на материале старославянского языка.

§ 4. Почти все памятники старославянского языка, как известно, являются переводами с греческих оригиналов. Этот факт неоднократно привлекал внимание исследователей. Сличение двух текстов — славянского и греческого — позволило прийти к выводу, что перевод на славянский язык производился достаточно вольно, в духе славянского языка. Однако полностью отрицать влияние греческого оригинала на славянский текст нельзя, — в некоторых случаях можно даже отметить кальки с греческого языка, влияние греческого синтаксиса (например, в порядке слов) и др. В отношении исследуемой нами категории влияние греческого языка принципиально вполне возможно. В греческом языке Нового завета, так же как и в древнегреческом, наличествовала категория определенного члена (ὁ, ἡ, τό), который ставился и перед существительным, и перед прилагательным. Значение этого определенного члена было в ряде функций близко к значению исследуемых нами полных форм прилагательных. Эта близость допускает предположение, что могло быть механическое употребление полной формы прилагательных в соответствии с греческим членом. В таком случае наша работа оказалась бы бесцельной, ибо исследовалась бы не живая категория старославянского языка, а категория греческого члена, отраженного в славянском языке. Однако внимательное сопоставление этих двух близких по значению категорий позволило прийти к выводу, что это сходство никак не означает тождества и полного совпадения функций; к тому же имеются и существенные различия, отраженные в славянском переводе. Переводчик с греческого часто находил в своем славянском языке возможность, когда существительное выступало с прилагательным-атрибутом, довольно точно передавать значение греческих форм с членом. Между тем, в тех случаях, когда соответствия не было,

переводчик обычно не отступал от духа славянского языка и не копировал рабски оригинал, употребляя ту или иную форму прилагательного, независимо от наличия или отсутствия греческого члена. Число несоответствий славянского перевода греческому оригиналу более значительно, чем предполагали некоторые исследователи. Эти несоответствия частично приводятся в настоящей работе и служат дополнительной аргументацией к ее выводам. Отметим здесь лишь несколько наиболее характерных случаев.

а) Предмет, к которому относится прилагательное, логически не акцентирован, — нет нужды в его выделении из числа ему подобных предметов, обладающих тем же качеством. В славянском переводе краткая форма*:

Мр. 6–39. **і повелѣ имъ посадити вьсѧ народы ... на сподъі на трѣвѣ зеленѣ.** [М.] (ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ); в греческом оригинале наличествует член (подробнее см. § 25).

б) Лексическое значение прилагательного — достаточно конкретное, определенное. Прилагательное образовано от существительного локативного значения (**землꙗ**). В славянском переводе полная форма: Мр. 4–5. **і абье прозѧбе зане не имѣаше глѫбинъі земънъіѩ.** [М.]** (διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς); в греческом оригинале член отсутствует (подробно см. § 14).

в) Прилагательное входит в состав фразеологической единицы. В славянском переводе полная форма: Мр. 10–4. **повелѣ моси кънигъі распоустънъіѩ написати и поустити.** [М.] (βιβλίον ἀποστασίου); в греческом оригинале член отсутствует (подробнее см. § 18).

г) Полная форма прилагательного в славянском переводе часто употребляется вместо формы звательного «падежа»: Мф. 25–23. **добрі рабе благі и вѣрьне.** [М.] (εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ

---

* Цитируемые в работе старославянские тексты сверены М. Н. Толстой по следующим изданиям: Памятник глаголической письменности. Мариинское четвероевангелие. С примечаниями и приложениями. Труд И. В. Ягича. СПб., 1883 (М.); Зографское евангелие, изданное В. Ягичем. Quattuor evangeliorum. Codex Glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879 (З.); Evangeliař Assemanův. Kodex Vatikánský 3. slovanský. Díl II. Vydal Josef Kurz. Praha, 1955 (А.); Саввина книга. Труд Вячеслава Щепкина. СПб., 1903 [Памятники старославянского языка. Т. I, вып. 2.] (С.) Греческий текст сверен по изданию Тишендорфа: Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Novum Testamentum Graece. Recensuit C. de Tischendorf. Lipsiae, 1896. — *Прим. ред.*

** Здесь и далее в квадратных скобках дается сокращение источника, отсутствовавшее в оригинале. — *Прим. ред.*

πιστέ); в греческом оригинале звательная форма без члена (подробнее см. § 12).

д) Прилагательное на -ьскъ, близкие по значению к притяжательным, в славянском переводе часто выступают в краткой форме: Мр. 8–15. **і прѣшталаше имъ гл҃ѧ видите блюдѣте сѧ отъ кваса фарисѣиска.** [М.] (ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων); в греческом оригинале родительный падеж существительного с членом (подробнее см. § 29).

е) Субстантивированное прилагательное в славянском переводе часто выступает в членной форме: Лк. 7–22. **ѣже видѣста и слышаста ѣко слѣпии прозираѭтъ хромии ходѧтъ.** [М.] (ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν); в греческом оригинале член отсутствует (подробнее см. 4-й раздел).

Остальные разночтения приводятся параллельно с изложением старославянского материала.

2. Краткие и полные прилагательные в атрибутивной функции

§ 5. Атрибутивная функция прилагательного характеризуется его тесной связью с определяемым существительным. Обозначая признак предмета, прилагательное, совместно с существительным, означающим предмет, образует единое целое, выражает одно сложное, нерасчлененное представление. С формальной стороны, существует также непосредственная связь прилагательного с существительным: согласование с существительным в роде, числе и падеже. Другим, не менее важным для старославянского языка, формальным моментом является наличие в атрибутивной функции двух форм прилагательного — полной и краткой. Эта особенность, однако, характерна не для всех прилагательных в равной мере. Корреляция полных и кратких форм охватывает лишь разряд качественно-относительных прилагательных, притяжательным прилагательным свойственна лишь одна краткая форма. Таким образом, традиционное разделение прилагательных на группы качественных, относительных и притяжательных, основанное не только на их лексическом значении, но и на связанных с ним отдельных грамматических признаках (степени сравнения, типы склонения и др.), должно быть принято во внимание при классификации материала. «Однако грамматическая граница между качественными и относительными прилагательными очень подвижна и

условна» (Виноградов, 1947, с. 204). Условность ее выражается в том, что часто одно и то же прилагательное, в зависимости от семантики определяемого существительного, может выступить то как относительное, то как качественное прилагательное. В современных славянских языках нередки случаи перехода относительных прилагательных в разряд качественных[9], в старославянских памятниках подобное явление выражено не столь ярко, но, тем не менее, оно наблюдается. Это принуждает нас при классификации материала в некоторых случаях рассматривать употребление кратких и полных форм качественных и относительных прилагательных не отдельно, а вместе, учитывая, однако, в каждом конкретном случае их принадлежность той или иной группе.

Более изолированную группу составляют притяжательные прилагательные, довольно четко отграниченные семантически и обособленные морфологически. Их употребление рассматривается отдельно в конце настоящей главы. По своей семантике притяжательные прилагательные являются наиболее конкретными, наиболее определенными, индивидуализирующими предмет (или лицо), точнее других определяющими его положение по отношению к другим предметам того же рода (ср. *Иванова рубаха* и *рубаха*). Меньше конкретности и определенности в семантике относительных прилагательных — здесь выделение данного предмета (определяемого существительного) из рода ему подобных значительно слабее (ср. *казенная рубаха* и *рубаха*). Наконец, оно еще менее значительно в семантике качественных прилагательных (ср. *синяя рубаха* и *рубаха*).

Пример притяжательных прилагательных свидетельствует о том, что семантика прилагательного может иметь исключительно важное значение, определяющее наличие той или иной формы (в данном случае только краткой). Необходимо выяснить, в какой мере семантика прилагательного определяет наличие краткой или полной формы в других разрядах, прежде всего в разряде относительных прилага-

---

9 В этих случаях иногда относительное прилагательное принимает и некоторые формальные признаки, характерные для качественных прилагательных, например, образование сравнительной степени (*каменный — каменней*), что совершенно несвойственно притяжательным прилагательным. Степени сравнения отсутствуют и у таких притяжательных прилагательных, которые приобрели качественное значение (например, *Каиново дело*).

тельных, иными словами, какова и сколь значительна связь лексического значения качественно-относительных прилагательных с полными или краткими формами. Наконец, важно выяснить, правомерна ли вообще подобная постановка вопроса.

Рассматривая прилагательное как «часть речи, которая включает в себя слова, определяющие существительные и являющиеся названием свойств, качеств, отношений в их сочетании с названиями субстанций, причем под отношениями разумеются те, которые вытекают из существа, из природы самих субстанций» (Шахматов, 1941, с. 490), необходимо учитывать также, что категория определения не ограничивается категорией прилагательных. В роли грамматического атрибута может выступать также и существительное, и местоимение, и числительное. Атрибут, в свою очередь, может быть определен наречием. Имя прилагательное, выступая в роли атрибута существительного, тесно связано с другими определениями того же существительного — не прилагательными (указательными, определительными, неопределенными местоимениями, числительными). Связь эта и синтаксическая (через существительное), и смысловая. Необходимо поэтому выяснить, в какой мере и какие дополнительные языковые средства определяют наличие полной или краткой формы прилагательного.

В иных случаях при выяснении вопроса о значении краткой и полной формы важен также учет синтаксического момента: в какой синтаксической функции выступает конструкция «прилагательное + существительное». Однако рассмотрение всех возможных синтаксических функций привело бы к чрезмерному объему работы, без каких-либо достаточно конкретных результатов. В работе приводятся лишь те синтаксические функции конструкций «прилагательное + существительное», которые определяют в той или иной мере употребление кратких или полных форм. Так, например, наше особое внимание привлекли те синтаксические категории, значение которых дает возможность выяснить, воспринимается ли существительное, определяемое прилагательным, как уникализированное (определенное), или нет (например, звательный «падеж», родительный неопределенного объекта и др.).

Отметим, наконец, что и некоторые моменты, относящиеся к словообразованию, не могли не найти своего отраже-

ния в нашей работе. Ряд суффиксов в старославянском языке был свойствен в основном только определенным лексическим разрядам (группам) прилагательных. Естественно, что это требует, в свою очередь, выяснения вопроса, в какой степени и с какими суффиксами прилагательных связано употребление полной или краткой формы.

Таким образом, при выяснении значения кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке нельзя останавливаться на какой-либо одной стороне нашего вопроса, на лексическом значении, морфологической структуре, синтаксической функции или словообразовании прилагательных. Результат такого анализа привел бы к неполному, одностороннему, а потому и неточному выводу. Поэтому необходимо многостороннее рассмотрение исследуемой категории, необходимо также выяснение взаимообусловленности указанных выше моментов, определение, какой из них имеет более или менее решающее значение при корреляции полных и кратких форм.

Все это крайне затрудняет классификацию материала и требует особого, разностороннего подхода к исследуемой категории. Поэтому, не выделяя на первый план какой-либо из упомянутых моментов и отказываясь от заранее установленных предпосылок при распределении и описании материала, мы обращаем особое внимание на дополнительные языковые показатели значения кратких и полных форм. При этом нами в первую очередь рассматриваются примеры, где дополнительные показатели строго предопределяют наличие той или иной формы, затем случаи, где эти показатели имеют в известной мере второстепенное значение, подчиняясь иногда другим, более решающим факторам, и, наконец, случаи, где подобные показатели отсутствуют. В последних случаях рассматриваются сначала относительные, а затем качественные прилагательные.

В настоящем разделе в качестве иллюстративного материала, помимо фактов других славянских языков, приводятся также отдельные случаи употребления членных форм в современном болгарском языке. При этом в полной мере учитывается тот факт, что категория членной формы в болгарском языке, так же как и категория артикля в западноевропейских языках, генетически не связана с категорией полных и кратких прилагательных в славянских языках. Поэтому нужно решительно отвергнуть возможность сравни-

тельно-исторического исследования категории кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке и членной формы в болгарском языке (или артикля в западноевропейских языках) и считать возможным их совместное рассмотрение лишь в сопоставительном плане. Сопоставление этих двух генетически не связанных категорий может способствовать более ясному пониманию их сущности, выяснению не только общих, но и различных моментов в их значении и употреблении. В этом отношении категорию кратких и полных славянских прилагательных нельзя приравнивать к категории западноевропейского артикля, как это делали некоторые исследователи.

§ 6. Прилагательное, определяющее существительное наряду с числительным **единъ** в функции неопределенного местоимения, имеет последовательно краткую форму. В некоторых кодексах в отдельных случаях вместо числительного **единъ** употребляется неопределенное местоимение **етеръ**.

Мр. 12–42. **і пришедъши едина въдовица оубога**. М. З.* (μία χήρα πτωχὴ); Лк. 21–2. (**і҃с**) **видѣ же и единѫ въдовицѫ оубогѫ**. М. С.; **етерѫ**. З. А. (τινα χήραν πενιχρὰν); Лк. 14–1. **і бысть егда вьниде и҃съ въ домъ единого кънѧѕа фарисѣиска**. М. С.; **етера**. А. (τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων).

Случаи употребления прилагательного совместно с числительным **единъ** в функции неопределенного местоимения в старославянских текстах немногочисленны. Почти во всех зафиксированных нами примерах числительное **единъ** употребляется при определении лиц (**въдовица, кънѧзь**).

Интерес представляет единственный зафиксированный нами пример употребления числительного (неопределенного местоимения) **единъ** при определении предмета. Мф. 13–45, 46. **подобъно естъ ц҃рьствие нб҃ское чл҃вкоу коупъцоу ищѫщѫ добръ бисьръ іже обрѣтъ единъ мьногоцѣненъ. бисьръ шедъ продастъ вьсе имѣние**. М. З. С.; **единого многоцѣнъна*. А. (ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην).

В Саввиной книге зафиксирована полная форма без числительного **единъ**: **ѥже обрѣтъ многоцѣньны бисъръ шъдъ продастъ все ѥмѣниѥ своѥ**.

В современном сербскохорватском и словенском языках после неопределенного местоимения *један* (словен. *eden*) упо-

---

* Здесь и далее текст приводится по первому из указываемых источников. — *Прим. ред.*

требляется довольно последовательно в именительном и винительном падеже единственного числа мужского рода краткая форма прилагательного. Например: *У великој, сниској столици седео је један крупан човек у црногорским хаљинама* (Ненадовић).

В функции неопределенного местоимения-прилагательного числительное єдинъ в старославянском языке выступает только в единственном числе. В этом заключается коренное отличие его функции от функции числительного *един* в современном болгарском языке, где оно и во множественном числе употребляется в функции неопределенного местоимения-прилагательного (например, *едни бедни старици = някои бедни старици*). Современный болгарский язык использует числительное *един, една, едно, едни* также и в функции неопределенного члена (например, «*Ще му дам аз едни помощи песа му неден*». — Кр. Велков). Эта новая функция развивалась в связи с укреплением и активизацией определенного члена. Она отличается от функции числительного *един* — неопределенного местоимения — в той же мере, как и членная форма *ът, та, то* от указательного местоимения *тъ, та, то* (болг. *този, тази, това*). Современный сербский язык в этом отношении близок к старославянскому; по-сербски можно сказать: *једна убога удовица, једна убога кућица*, но нельзя сказать: *то је једна срамота* (в болгарском языке говорят: *това е една срамота*) или *ако можеш навести један добар разлог* (в болг. *една добра причина*) (Исаев, Йоич, 1948, с. 89). Числительное *један* может выступать в сербском языке лишь в роли неопределенного местоимения, определяющего лица и конкретные предметы. В современном сербском языке, так же как и в русском, невозможно употребление множественного числа числительного *један* в функции неопределенного местоимения-прилагательного (*једна убога старица*, но не *једне убоге старице*; ср. русск. *одна убогая старушка* и *одни убогие старушки* уже со значением «лишь убогие старушки»).

В рассмотренной функции числительное єдинъ не определяет предмет путем уникализации, не выделяет его из числа других ему подобных, не подчеркивает его отличия от них, а указывает на предмет как на один из многих ему подобных. Числительное єдинъ в данной функции тоже определяет предмет, но определяет его в отношении, прямо противоположном указательному местоимению (см. § 10).

§ 7. Прилагательное, определяющее существительное наряду с местоимением вьсѣкъ, имеет, как правило, краткую форму.

Мф. 5–11. ...И рекѫтъ всѣкъ зълъ гл҃ъ на въ лъжѫщи мене ради. М. З. С.; въсь зълъ гл҃ъ. А. (πᾶν πονηρὸν); Мф. 23–35. да придетъ на въ вьсѣка кръвъ праведъна. М. А. (πᾶν αἷμα δίκαιον); Мф. 7–17. тако вьсѣко дрѣво добро плодъ добръ творитъ. М. З.; вьсе дрѣво доброе. А. (πᾶν δένδρον ἀγαθὸν); Мф. 12–36. гл҃ѭ же вамъ ѣко вьсѣко слово праздъно еже аще рекѫтъ чл҃вци... М. З. А.; всакъ гл҃ъ праздьнъ. С. (πᾶν ῥῆμα ἀργὸν); Мф. 27–15. на вьсѣкъ же день великъ обычаи бѣ (і)ѣемоноу отъпоуштати народоу. М. З. А. С. (κατὰ δὲ ἑορτὴν). В сочетании дн҃ъ великъ полная форма вообще не употребляется. Лк. 16–19. (чк҃ъ) веселѧ сѧ на в'сѣкъ дьнь свѣтьлъ. З.; вьсѣкъ день свѣтъло. М. А. С. (καθ' ἡμέραν λαμπρῶς).

В рассматриваемой конструкции местоимение вьсѣкъ не выделяет предмет из числа ему подобных. Роль прилагательного — лишь указать на качество предмета; эту функцию и выполняет краткая форма. Порядок слов довольно строго определен: вьсѣкъ, так же как и числительное единъ, предшествует прилагательному и определяемому существительному.

§ 8. С разделительным союзом ли при наличии двух прилагательных, определяющих одно существительное, в обоих случаях выступает краткая форма.

Мф. 5–36. ѣко не можеши власа единого бѣла ли чръна сътворити. М. З. (μίαν τρίχα λευκὴν... ἢ μέλαιναν).

В данной конструкции прилагательные-атрибуты характеризуют совместно с союзом ли существительное по принципу: один из двух предметов, но безразлично который, — случай, обратный уникализации предмета.

Наличие вопросительной частицы ли при прилагательном-определении не всегда, однако, требует употребления краткой формы. Несмотря на то, что в семантике частицы ли заложена немалая степень неопределенности, все же другие более веские и решающие факторы могут повлиять на употребление той или иной формы. Таким фактором может оказаться, например, вышеупомянутость, когда речь идет о конкретном, ранее известном предмете («не то ли самое доброе семя ты посеял?»).

Мф. 13–24 и 27. подобъно естъ цр҃ство нб҃сное ч҃коу сѣавьшоу доброе сѣмѧ на селѣ своемъ ... пришедъше же рабі гд҃на рѣшѧ емоу г҃и не доброе ли сѣмѧ сѣалъ еси на селѣ своемъ. А. (καλὸν σπέρμα).

Тем не менее, в Мариинском и Зографском кодексах наблюдаются следующие разночтения, очевидно, вызванные семантикой частицы ли:

оуподоби сѧ цр҃ствие небеское чл҃вкоу сѣвъшоу добро сѣмѧ на селѣ своемь ... пришедъше же раби г҃ина рѣшѧ емоу г҃и не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на селѣ твоемь. М.; оуподоби сѧ цр҃ствие нб҃ское ч҃коу сѣвъшюмоу доброе сѣмѧ на селѣ своемь ... пришедъше раби г҃ноу рѣшѧ г҃и не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на селѣ твоемь. З. Во втором случае краткая форма!

§ 8[а]* . Прилагательное-определение в составе конструкции родительного части имеет также краткую форму.

Мф. 10–42. иже колижьдо напоитъ единого отъ малыхъ сихъ чашѫ стоуденъі водъі. М. З. А. С. (ποτήριον ψυχροῦ).

Примеры из притчи о вине и мехах.

Лк. 5–36. никътоже приставленіѣ ризъі новъі не приставлѣатъ на ризѫ ветъхѫ. [М. З.] (ἀπὸ ἱματίου καινοῦ).

Лк. 5–37. ... никтоже не въливаатъ вина нова въ мѣхъі ветъхъі. [М. З.] (οἶνον νέον). Лк. 5–39. никътоже пивъ ветъха абие хоштетъ новоуоумоу гл҃тъ бо ветъхое лоуче естъ. [М. З.] (πιὼν παλαιὸν); аналогично Мф. 9–16, 17.

В рассматриваемой конструкции краткая форма употребляется довольно последовательно[10]. Эту последовательность легко объяснить значением родительного партитивного (количественно-отделительного) падежа, указывающего на «вещество конкретное неопределенное» (Томсон, 1903, с. 69)[11].

---

* В первом издании этот параграф ошибочно обозначен той же цифрой 8, что и предыдущий. — *Прим. ред.*

10 Единственное исключение: Мф. 26–7. пристѫпи кь немоу жена имѫшти алаваастръ мѵра драга. М. З.; мѵра драгааго. А. С. (ἀλάβαστρον μύρου πολυτίμου).

11 Томсон различает два случая: «*Принеси кусок хлеба, дай мне глоток воды* и т. д. выражает вещество как конкретное неопределенное, притом как пространственно ограниченное... наоборот, когда нужна напр. известная бутылка как предмет с известным содержанием, мы скажем: *принеси бутылку с вином* или: *бутылку из-под вина*» (там же, с. 69 и 74); или: «Различие в представлениях между: *дай мне один, два* и т. д. *куска мыла* и: *дай мне то масло, которое на столе*, такое же, как между: *дай мне два карандаша* и: *дай мне твой*

В современном сербскохорватском языке в данной конструкции может быть употреблена и краткая, и полная форма прилагательного (*парче бела шећера, парче белог шећера*). В болгарском языке в данной конструкции членная форма не употребляется (*парче захар, чаша вода*; невозможно — *чашата водата* или *чаша водата*; с прилагательным: *парче бял захар, чаша студена вода*). В западноевропейских языках, например, во французском, в соответствии с древним родительным партитивным употребляется в этих случаях частичный член (article partitif) — *un morceau du sucre*. Ф. Брюно справедливо считает, что частичный артикль имеет значение неопределенного артикля (Brunôt, 1899, p. 368).

§ 9. Помимо изложенных факторов первостепенного значения, требующих безусловно краткой формы, существуют и факторы, которые можно обозначить как второстепенные, ибо они, как это будет видно из материала, в иных случаях в свою очередь подчиняются другим первостепенным факторам, определяющим употребление полной формы. К второстепенным факторам, требующим употребления краткой формы, можно отнести такие переходные глаголы, как имѣти и оуподобити (подобати).

а) С глаголом имѣти.

Ио. 4–11. ни почръпала имаши и стоуденецъ естъ глѫбокъ отъ кѫдѫ оубо имаши водѫ живѫ. М. З. (ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν); Ио. 6–9. естъ отрочиштъ сьде единъ іже иматъ пѧть хлѣбъ ѩчьнъ. М. ѩчьнѣнъ. З.; ѩчьмѣнъ. А. (ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους); Мр. 9–17. привѣсъ сн҃ъ мои къ тебе імѫштъ дх҃ъ нѣмъ. М. З. С. (ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον); Мр. 3–30. зане глаахѫ ѣко дх҃ъ нечистъ иматъ[12]. М. (πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει); Мр. 3–1. і вьніде пакы вь съньмиште і бѣ тоу чл҃вкъ соухѫ рѫкѫ имъ.[13]

карандаш, т. е. во втором случае имеется в виду конкретное определенное вещество, в первом — конкретное неопределенное» (там же, с. 72).

12 В аналогичных конструкциях: Мр. 7–25. имѣше дх҃ъ нечистъ. М. З. (πνεῦμα ἀκάθαρτον); Лк. 13–11. дхъ имѫшти недѫженъ. М. З. С. (πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας); последний случай может быть рассмотрен как предикативный.

13 В аналогичных конструкциях: Лк. 6–8. имѫштѫмоу соухѫ рѫкѫ. М. З. (ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα); Мф. 12–10. и се чл҃вкъ бѣ тоу рѫкѫ имъ соухѫ. М. З. (χεῖρα ἔχων ξηράν), и здесь последний случай может быть рассмотрен как предикативный. Если рассматривать его как атрибутивный, то здесь — обособленное определение, которое также требует краткой формы.

М. З. С. (ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα); Лк. 11–36. **аште оубо тѣло твое вьсе свѣтъло бѫдетъ не имъ чѧсти единъ тъмъны.** М. З. (μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν).

В приведенных примерах после глагола **имѣти** речь идет не о каком-либо единичном, уникальном предмете; глагол **имѣти** лишь указывает на то, что данное лицо обладает одним из предметов определенного рода, не выделяя этот предмет и не обособляя его[14].

Однако краткая форма прилагательного после глагола **имѣти** выступает не во всех случаях[15]. Возможно обладание и единичным, уникальным предметом; при этом после глагола **имѣти** следует указание на эту единичность[16]. Это один из первостепенных факторов. Таким фактором может являться, например, и наличие фразеологического единства или лексическое значение прилагательного, требующие полной формы.

Лк. 14–2. **і се чл҃вкъ единъ имъ водъныи трѫдъ бѣ прѣдъ нимь.** М. А. С. (καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς); Ио. 5–24. **и вѣрѫ емлѧ посълавъшюмоу мѧ іматъ живота вѣчънааго.** М. З. А. (με ἔχει ζωὴν αἰώνιον).[17]

Зафиксированы случаи разночтения:

Мф. 4–24. **приведошѧ ѥмоу всѧ болѧщѧѩ ... и бѣснъѩ и мѣсѧчнъѩ злъѩ недѫгъ имѫщѧ.** М. злъ. З. (καὶ σεληνιαζομένους); Мр. 4–5. **і абье прозѧбе зане не имѣаше глѫбинъ землънъѩ.** М. (μὴ ἔχειν βάθος γῆς); Мф. 22–11, 12. **видѣ тоу ч҃ка не облъчена въ одѣание брачъное і гл҃а емоу дроуже како вьниде сѣмо не имъ одѣаниѣ брачъна.** М.; брачьнааго. А. (μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου).[18]

---

14 В современном болгарском языке после глагола *имам* (*нямам*) существительное или определяющее его прилагательное выступают обычно без членной формы. Например, *имам голям чук, нямам книга*.

15 Зафиксированы еще следующие случаи употребления краткой формы: Мф. 13–5. **не имѣшѧ землѧ мъногъ.** М. З.; Мр. 4–5. **не имѣ землѧ мъногъ.** М.; Мф. 19–22. **бѣ бо имѣѩ сътѧжаниѣ мъноге.** М. З. С. А.; Мр. 11–22. **імѣите вѣрѫ бж҃ию.** М. З.; Мр. 1–34. **імѫштѧ различъны ѩзѧ.** М. З.; Лк. 4–40. **имѣахѫ болѧщѧѩ недѫгъ различъны.** М. З.

16 В исследуемых кодексах примера с прилагательным не обнаружено; зафиксирован пример с причастием: Мр. 12–6. **еште же имѣаше единого сн҃а вьзлюбленааго своего.** М. З.

17 Аналогично Ио. 3–15, 16; Ио. 3–36. Ио. 5–39; Ио. 6–40; Ио. 6–47; Ио. 6–54; Ио. 20–31; Мф. 19–16.

18 В этом примере, с одной стороны, глагол **имамь** требует употребления краткой формы, с другой — прилагательное, определяющее предмет

б) С глаголом **подобати** (оуподобити).

Мф. 13–52. **сего ради вьсѣкъ кънижъникъ наоучъ сѧ цсрствию небскоумоу подобенъ естъ чл҃вкоу домовитоу.** М. З. А.[19] (ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ); Лк. 13–19. **подобъно есть цст҃вие небское зрънoу горюшьноу еже приемъ чл҃вкъ.** М. З. А. С. (ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως); аналогично Мф. 13–31, М. З.); Мр. 4–30, 31. **і гл҃ше чесомоу оуподобимъ цсрство бж҃ие ли коеи притъчи приложимъ е ѣко горюшънѣ зрънѣ еже егда въсѣно бѫдетъ въ землѭ.** М. З. (ὡς κόκκῳ σινάπεως); Мф. 7–24. **вьсѣкъ оубо иже слъшитъ словеса моѣ си и творитъ ѣ оуподоблѭ и мѫжѭ мѫдроу.** М. З. С. (ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ); Мф. 7–26. **и вьсѣкъ слъшѧи словеса моѣ си и не творѧи ихъ оуподобитъ сѧ мѫжѫ боуѭ.** М. З. А. С. (ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ).

Отметим, что во всех приведенных примерах[20] не зафиксировано ни одного случая, где бы лексическое значение прилагательного или характер конструкции с существительным требовали употребления полной формы (т. е. где бы действовали первостепенные факторы, требующие полной формы). Краткая форма после глагола **подобати** (**оуподобити**) фиксируется без колебаний, ибо глагол указывает на то, что данное лицо (предмет) обладает таким же свойством, как и лицо (предмет), определенное полным прилагательным, которое ничем не выделяется из ряда ему подобных, выступая лишь ординарным представителем этого ряда (ср. § 10а).

§ 10. Прилагательное, определяющее существительное наряду с указательным местоимением, выступает всегда в полной форме.

а) С указательным местоимением **сь, си, се.**

Мф. 25–40. **понеже сътвористе единомоу отъ сихъ малыхъ братръ моихъ мьньшихъ.** М. З. А. С. (ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν

по его предназначению (в данном случае **врачьнъ**), почти всегда выступает в полной форме (см. § 19). Предмет в этом примере упоминается впервые, к тому же с отрицанием, и выступает в полной форме, а во втором случае — в краткой (в Мар. к.).

19 В аналогичном контексте — Мф. 20–1. **подобъно естъ цсрство небеское чл҃вкоу домовитоу.** М. А. С. (ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ).

20 Этим исчерпываются примеры на употребление прилагательного в конструкции с существительным после глагола **подобати**: в текстах еще много примеров с краткой формой причастия в аналогичной конструкции, например: Мф. 13–24. **оуподоби сѧ цсрство небеское чл҃вкоу сѣвъшоу добро сѣмѧ.** М. З. А. и подобные, всегда с краткой формой причастия.

μου τῶν ἐλαχίστων); Мф. 26–29. **ѣко не имамъ пити юже отъ сего плода лозънааго**. М. З. А. С. (ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου); Лк. 16–28. **да не и ти придѫтъ на мѣсто се мѫчъное**. М. З. А. С. (εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου); Мр. 12–43. **ѣко въдовица си оубогаа мъножѣе вьсѣхъ въвръже**. М. З. А. С. (ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ); Мр. 8–38. **иже бо аште постыдитъ сѧ мене ... въ родѣ семь прѣлюбодѣимъ и грѣшънѣемь**. М. З. А. С. (ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ); Мф. 12–45. **тако бѫдетъ и родоу семоу лѫкавоуемоу**. М. З. (τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ); Мр. 13–2. **рече емоу ви(ди)ши ли великаа си зъданиѣ**. М. З. (ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς); Мр. 1–27. **і оужасѫ сѧ вьси ... чъто оубо естъ се что оучение новое се**. М. (τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινὴ).

Постпозиция или препозиция указательного местоимения по отношению к прилагательному не играет в данном случае особой роли; так, последний пример в Зогр. к. имеет иной порядок слов: **оучение се новое** (Мр. 1–27).

б) С указательным местоимением **тъ, та, то**.

Мф. 24–48. **аште ли речетъ зълъ рабъ тъ въ сръдьци своемъ**. З.; **зьлъи работ**. А.; **зьлъ тъ рабъ**. С. (ὁ κακὸς δοῦλος).

в) С указательным местоимением **онъ, она, оно**.

Ио. 16–13. **егда же придетъ онъ дх҃ъ истинъны**. М. З. А. С. (τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας).

Случаи употребления указательного местоимения и прилагательного как атрибутов существительного в общем немногочисленны. Сравнение исследуемых кодексов и их разночтений показывает, что полная форма прилагательного выполняет иногда как бы ослабленную функцию указательного слова. Указательное местоимение выступает часто в качестве дополнительного, более энергичного определения. Так, в соответствии с приведенным выше примером с указательным местоимением из Зогр., Ассем. и Савв. кн. (Мф. 24–48) в Мар. к. фиксируем: **аште ли речетъ зълъ рабъ въ сръдци своемь**; а в соответствии с примером Мф. 26–29 можно привести аналогичный пример с разночтением: Лк. 22–18. **не ꙗмамь пити ѿтъ плода сего лозънааго**. З., в то время как в Мар. к. только прилагательное в полной форме: **отъ плода лозънаго** (ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου).

В аналогичной позиции в современном сербскохорватском языке употребляется и полная, и краткая форма прилагательного, хотя полная форма, бесспорно, более обычна (чаще, например, *тај лаки и лепи занат*, чем *тај лак и леп*

занат). Можно предположить, вопреки мнению А. Белича (см. Белич, Голенищев-Кутузов, Радошевич, 1939, с. 43), что употребление краткой формы в рассматриваемой конструкции — явление сравнительно позднего порядка. Об этом нам, как будто, говорят факты других славянских языков. В древнерусском в подобных случаях довольно последовательно выступает полная форма прилагательного (см. Wissemann, 1939); в современном словенском языке, главным образом разговорном, так называемый препозитивный «член», развившийся из указательного местоимения и являющийся позднейшим наслоением, употребляется всегда с полной формой прилагательного, а не с краткой (*ta stâri* наряду с *stàr*) (Ramovš, 1939, с. 37); аналогично и в болгарском языке членная форма мужского рода единственного числа присоединяется исключительно к полной форме прилагательного (*белият* наряду *с бял*). Такие диалектные формы, как *нàшъ'т тàтку, чйчува син, главенйковъ̊т п'рàпур*, употребляющиеся наряду с формами типа *цървѐнi̯а̊, гул'àмi̯а* (Младенов, 1936, с. 90–91), не противоречат нашему положению: притяжательные прилагательные и местоимения (в именительном падеже), видимо, не имели во время возникновения и активизации членных форм в болгарском языке, как и в старославянском, полных форм на *-и*, и потому член мог присоединяться непосредственно к краткой форме. В дальнейшем по аналогии с прилагательными типа *червеният* могло появиться и *главениковият*. Полная форма прилагательного в современном болгарском языке не может выступать без члена (исключение — звательный «падеж» *скъпи другарю* и некоторые архаические устойчивые сочетания типа *свети Петър*). Появление постпозитивного члена полностью нарушило прежнее соотношение полных и кратких форм; член оказался новым и более сильным выразителем определенности. Можно предположить, что в первый период его развития и активизации в болгарском языке было то же положение, что и в современном тимочско-лужничском говоре, где полная форма с членом выступает как форма определенная, а полная форма без члена, наряду с краткой, как неопределенная (Белић, 1905, с. 428). Затем в бесчленном употреблении краткая форма вытеснила полную, что привело, видимо, в свою очередь и к тому, что с указательным местоимением в современном болгарском языке употребляется только краткая форма (*този хубав занаят*; никогда не

този хубавият занаят). Трудно согласиться с мнением Л. Милетича, согласно которому в старославянской конструкции **зълъ-тъ рабъ** мы имеем ту же членную форму прилагательного, что и в современном болгарском языке (Милетич, 1932, с. 19)[21]. Указательное местоимение в старославянском языке в конструкциях типа **зълытъ-тъ рабъ**, так же как и в конструкциях типа **рабътъ** и подобных, не имело или, по крайней мере, еще не приобрело функции члена и сохраняло свое основное демонстративное значение[22]. Отсутствие развитой категории членных форм в старославянском языке, таким образом, не создавало тех условий, которые позже в болгарском языке привели к полному распаду исследуемой категории кратких и полных прилагательных.

§ 11. В тех случаях, когда числительное **единъ** употребляется в значении прилагательного «единственный» и за ним следует другое прилагательное-атрибут, последнее имеет полную форму.

Ио. 17–3. **да знаѭтъ тебе единого истиньнааго б҃а**. М. З. А. (τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν).

В данном случае **единъ** (единственный) подчеркивает уникальность предмета, его единичность. Это хорошо иллюстрирует пример разночтения в Саввиной книге, где прилагательное **истиньнъ**, употребленное без числительного **единъ** (единственный), стоит в краткой форме, несмотря на то, что в представлении писца «бог» был понятием единичным: Ио. 17–3. **да съвѣдѧтъ тебе истиньна б҃а**.

§ 12. Несколько изолированно от всех других конструкций стоит конструкция, в которой прилагательное определяет существительное, выступающее в звательной форме. В этих случаях, как правило, прилагательное имеет полную форму именительного падежа. Известны лишь единичные случаи употребления звательной формы именного склонения, и то лишь в мужском роде. Например, Мф. 23–26. **фарисею слѣпе очисти прѣжде вьнѫтрьнее стекльници**. М. (Φαρι-

---

[21] См. и другие работы Л. Милетича о членной форме в болгарском языке.

[22] См. об этом обстоятельную монографию: Kurz, 1937–1947. Точки зрения И. Курца придерживался также А. Селищев, см. его «Заметки по истории русского языка» (Селищев, 1941а, с. 185). Против концепции И. Курца выступил И. Гылыбов, см. Гълъбов, 1950; 1954 (рецензия на указанную работу И. Курца).

σαῖε τυφλέ); Мф. 25–21. **рече емоу гь его добръı рабе и благъı и вѣрьне**. М. З. А. С. (δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ); то же Лк. 19–17, М. З. А.

Как видно из последнего примера, обе формы могут выступать вполне равноправно. Значительно чаще употребляется полная форма именительного падежа. Например:

(Муж. р.) Мф. 25–26. **гъ его рече емоу зълъı рабе и лѣнъı**. М. З.; **лѣнивъı**. А. С. (πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ); Мф. 18–32. **гъ его гла емоу рабе лѫкавъı**. М. А. С. (δοῦλε πονηρέ); Лк. 19–22. **гла емоу отъ оустъ твоихъ сѫждѫ ти зълъı рабе**[23]. М. З. А. (πονηρὲ δοῦλε). (Ср. р.) Лк. 12–32. **не бои сѧ малое стадо**. М. З. А. С. (τὸ μικρὸν ποίμνιον).

Во множественном числе при обращении (звательный «падеж») последовательно употребляется полная форма именительного падежа. Например: Мф. 23–16. **горе вамъ вожди слѣпии**. (ὁδηγοὶ τυφλοὶ); аналогично — Мф. 23–24, М. Лк. 5–34. **еда можете снъı брачьнъıѩ доньдеже женихъ естъ съ ними**. М. З. (τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος).

В исследуемых кодексах зафиксировано лишь два случая употребления краткой формы в звательном «падеже».

Мр. 9–19. **онъ же отъвѣштавъ емоу гла ·:· ѡ роде невѣрънь доколѣ въ васъ бѫдѫ**. М. З. А.; **невѣрнъı**. С. (ὦ γενεὰ ἄπιστος); аналогично Лк. 9–41. **невѣрьнъ и развраштенъ**. М. З. А.; **невѣрънъı и развращенъı**. С.; при этом в Савв. кн. дана последовательно во всех случаях полная форма.

Наличие полной формы в конструкции звательного «падежа», с нашей точки зрения, закономерно. Звательный «падеж» является изолированной синтаксически категорией, не связанной в предложении с теми или иными членами и не способной выражать субъектно-объектные или пространственные отношения и связи. Звательный «падеж» узко ограничен, выражая лишь обращение говорящего к лицу (изредка к предмету, который воспринимается как одушевленный), к которому направлена речь. Естественно, что лицо это известно говорящему, единично и выделяется из ряда ему подобных уже тем, что именно к нему обращено выска-

---

23 Помимо приведенных примеров, зафиксированы также: Лк. 1–3. **славънъı теофиле** М. З. А.; Мр. 9–25. **нѣмъı і глоухъı дше**. М. З. А. С.; Мр. 5–8. **дше нечистъıи**. М. З. А. С.; Ио. 17–25. **отъ[чтг]че праведънъıи**. М. З. А. С.; Ио. 17–11. **отче стъı**. М. А. С.; Лк. 4–34. **стъı бжіи**. М. З. А.; Мф. 19–16. **оучителю благъı**. М.

зывание говорящего. Признак лица, выраженный прилагательным, при этом выступает особенно ярко (см. вопрос о яркости и неяркости признака в связи с употреблением полной или краткой формы прилагательного — § 20). Отметим также, что почти во всех зафиксированных нами случаях выступают качественные прилагательные.

Материал старославянского языка отражает процесс вытеснения формы звательного «падежа» именного склонения (**вѣрьнє**) формой именительного падежа местоименного (**вѣрьнъı**). Исходя из значения и функции звательного «падежа», выясняем, почему заменяющей формой оказалась именно местоименная (полная), а не именная (краткая) форма. В южнославянских языках процесс этот полностью завершен.

В современном сербскохорватском языке в звательном «падеже» всегда употребляется форма именительного падежа так называемого определенного склонения («одређена придевска промена»). Например, «*Казуј право, стари лупежу, колико си украо*» (Матавуљ). Краткая форма прилагательного в звательном падеже не употребляется (исключение представляют отдельные случаи, зафиксированные в народном эпосе, например, «*млад јуначе Страхињићу Бане!*»)[24].

В современном болгарском языке в мужском роде единственного числа при обращении употребляется полная форма прилагательного без члена (*скъпи другарю, мили брате* и т. п.). Эту форму, с точки зрения современного состояния языка, можно считать формой звательного «падежа», так как в остальных случаях полная форма прилагательного употребляется только с членом (*скъпият, милият*) (Андрейчин, 1949, с. 260).

§ 13. К числу имен прилагательных, употребляющихся в функции определения только в полной форме, относятся прилагательные, образованные от наречий места и времени, а также ряд прилагательных с локативным и темпоральным значением[25].

---

[24] Maretić, 1899, s. 196. Здесь случаи употребления краткой формы вызваны требованиями версификации.

[25] Вопрос классификации относительных прилагательных по их значению мало разработан в лингвистической литературе. Не выяснены окончательно разряды относительных прилагательных, различно понимание рамок отдельных разрядов. Классификация, данная в академической грамматике русского языка применительно к современному языку, кажется нам достаточно логичной и убедительной, с. 300: «а)

Прилагательные, образованные от наречий места и времени:

близѣ — Мр. 1–38. **і гла имъ идѣмъ въ ближьнѧѩ вьси и градъі.** М. З. А. С. (εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις). Мф. 14–15. **ѿтъпоусти народъі да шедъше вь ближьнѧѩ градъцѧ.** М. З. А.; **ѿкрьстьнѧѧ.** С. (εἰς τὰς κώμας).

окрьстъ — Мр. 6–36. **отъпоусти ѩ да шедъше въ окръстьнинхъ селѣхъ і вьсѣхъ.** М. З. (εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς); Лк. 9–12. **отъпоусти народъі да шедъше въ окръстьнѧѩ вьси и села.** М. З. (εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς);

отношение к лицу: *родительские наставления, детские книги*; б) отношение к животному: *конский базар*; в) отношение к предмету неодушевленному: *золотая монета*; *книжная торговля*; *морская волна*; г) отношение к отвлеченному понятию: *научный труд*; *философский диспут*; д) отношение к действию: *подготовительный класс*; *покупательная способность*; е) отношение к месту: *здешние жители*; *тамошние нравы*; ж) отношение ко времени: *сегодняшнее известие*; *вчерашний знакомый*; з) отношение к числу: *двойная ширина*; *тройная плата*», однако недостаток этой классификации для нашей работы заключается в том, что одни разделы охватывают слишком широкий круг прилагательных (например, раздел «отношение к предмету»), другие — очень узкий (например, «отношение к месту»). Применение такой классификации при рассмотрении случаев употребления полной и краткой формы не даст желаемых результатов. Иную, более общую классификацию предлагает Л. Андрейчин: «Относительные прилагательные... означают, например, кому принадлежит предмет (*Петрова книга, майчини грини, ловджийска пушка*), с каким местом или временем он связан (*полски билки, селски нощи, пролетен ден, лански сняг*) или из какого вещества сделан (*каменна чешма, дървена лъжица*)». Классификация Андрейчина также не может нас удовлетворить (хотя бы потому, что в ней притяжательные *Петрова книга* включены в относительные). Если ее принять, а она, несомненно, не лишена своего основания, то прилагательные *золотой* (*золотая монета*) и *морской* (*морская волна*) окажутся в различных разрядах. Рассматриваемый материал показывает, что, с точки зрения исследуемой нами категории, между прилагательным типа *золотой* и прилагательным типа *морской* — большее различие, чем между прилагательными *морской* и *тамошний*. Прилагательные, образованные от существительных локативного значения, более конкретны лексически. Поэтому мы, вслед за Андрейчиным, причисляем к временным и местным прилагательным и те, которые выражают отношение к месту и времени (образованные от наречий и выступающие всегда в полной форме), и те, которые выражают отношение к предмету, означающему место или время (выступающие в подавляющем большинстве случаев в полной форме). Сводя эти две группы прилагательных воедино, мы, однако, не игнорируем и их различия.

прѣмо — Лк. 19–30. **гл҃ѧ ідѣта вь прѣмьнѭѫ весь.** М. З. (εἰς τὴν κατέναντι κώμην);

выше — Мр. 5–7. **что мьнѣ и тебѣ и҃се сн҃е б҃а вышънѣаго.** М. З. (τοῦ θεοῦ ὑψίστου);

ниже — Мф. 27–51. **і се катапетазма цр҃квнаѣ раздъра сѧ съ вышънѣаго краѣ до нижънѣаго на дъвоѥ.** М. З. С. (ἐσχίσθη ἄνωθεν ἕως κάτω);

прѣдъ — Лк. 14–8. **егда зъванъ бѫдеши цѣмъ на бракъ не сѧди на прѣдьнимь мѣстѣ.** М. З. А. С. (εἰς τὴν πρωτοκλισίαν);

послѣдь — Лк. 14–9. **и тогда начьнеши съ стоудомъ послѣдьнее мѣсто дръжати.** М. З. А. С. (τὸν ἔσχατον τόπον); Мф. 5–26. **не изидеши отъ тѫдѣ доньдеже въздаси послѣдьнии кодрантъ.** М. З. (τὸν ἔσχατον κοδράντην); Мф. 27–64. **і бѫдетъ послѣдьнѣа лѣсть горьши пръвыѩ.** М. З. А. (ἡ ἐσχάτη πλάνη); Ио. 6–39. **не погоублѭ отъ него нъ вьскрѣшѫ и въ послѣдьнии день.** М. З. А. (ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ);

кромѣ — Мф. 25–30. **і неключимааго раба въвръѕѣте въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ.** М. З. А. С. (εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον); аналогично Мф. 8–12, М. З. С.; Мф. 22–13, М. А.;

дьньсь — Мф. 11–23. **прѣбылъ бѫ до (дьнес)ьнѣго дьне.** М. З. (μέχρι τῆς σήμερον);

оутрѣ — Ио. 12–12. **въ оутрѣи же день народъ мъногъ пришедъ въ праздьникъ.** М. З. А. С. (τῇ ἐπαύριον).

В последнем примере трудно выяснить, является ли прилагательное **оутрѣі** образованным от наречия **оутрѣ** или существительного **оутро**.

Таковы случаи употребления в старославянском языке прилагательных, образованных от наречий места и времени. Все рассмотренные прилагательные входят в разряд относительных и образуют довольно тесный лексически круг слов, выражающих локативные или временные признаки предмета. К последним тесно примыкают прилагательные, образованные не от наречий, а от существительных с местным и временным значением.

оутро — Мф. 6–34. **не пьцѣте сѧ оубо на оутрѣи оутрни бо день собоѭ печетъ сѧ.** М. З. (ἡ γὰρ αὔριον). В Савв. кн. этому примеру соответствует субстантивированное прилагательное **оутрѣі** (**оутрѣі бо печетъ сѧ собоѭ**). Мф. 27–62. **Въ оутрънии же день иже естъ по параскевьѣии.** М. З. (Τῇ δὲ ἐπαύριον);

дьнь — Лк. 11–3. **хлѣбъ нашъ дн҃евны даждь намъ всакь дн҃ь.** С.; **надьневъны.** З.; **насѫштъны.** М. (τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον).

ношть — Лк. 2–8. **і бѣахѫ пастыри ... стрѣгѫще ст(р)ажѫ нощьнѫѭ о стадѣ своемь.** М. З. А. С. (φυλακὰς τῆς νυκτὸς); Мр. 6–48. **і при четвръті стражи ноштьнѣи приде къ нимъ по морю ходѧ.** М. З. С. (φυλακὴν τῆς νυκτὸς).

собота — Лк. 13–16. **не достоѣаше ли раздрѣшити еѭ отъ ѫзы вь день соботьнъ.** М. З. А. С. (τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου); Мф. 28–1. **Въ вечеръ же соботьнъ свитаѭщи въ пръвѫѭ соботѫ.** М. З. А. С. (Ὀψὲ δὲ σαββάτων); Лк. 14–5. **истръгнетъ его вь день соботьнъ.** М. З. А. С. (ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου); аналогично Лк. 4–16, М.; Лк. 13–4, М.

вѣчьнъ — Лк. 18–18. **чьто сътворь животъ вѣчьнъ наслѣдъствоуѭ**[26]. М. З. А. С. (ζωὴν αἰώνιον); Мф. 25–41. **ідѣте отъ мене проклѧтии въ огнь вѣчьнъ.** М. З. А. С.; аналогично Мф. 18–88, М. (εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον); Мф. 25–46. **і идѫтъ ти въ мѫкѫ вѣчьнѫѭ.** М. З. А. С. (εἰς κόλασιν αἰώνιον); Лк. 16–9. **да егда оскѫдѣате приимѫтъ вы въ вѣчьныѩ кровы.** М. З. (εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς); Мр. 3–29. **нъ повиненъ естъ вѣчьноумоу сѫдоу.** М. (αἰωνίου κρίσεως).

Последовательное употребление полной формы в рассмотренных сочетаниях объясняется, с одной стороны, лексическим значением существительных, с другой стороны, лексическим значением самого прилагательного **вѣчьнъ**, близко примыкающего к прилагательным темпорального значения. Во всех исследуемых нами кодексах прилагательное **вѣчьнъ** употребляется только в полной форме. И. В. Ягич в словаре к Мар. к. дает лишь полную форму: **вѣчьнъи** (с. 495). Однако в современном сербском языке возможна и краткая форма *вијечан* (см. Караџић, 1936, с. 65). В представлении писца (переводчика) **животъ вѣчьнъ, мѫка вѣчьнаꙗ, вѣчьнъи кровы** — определенные уникальные понятия ада или рая. Кроме того, такие сочетания, как **животъ вѣчьнъ, огнь вѣчьнъ**, близки по своему значению к фразеологическим единствам.

§ 14. Если прилагательные с темпоральным значением (не образованные от наречий) последовательно употребляются только в полной форме, то прилагательные с локативным значением (не образованные от наречий) выступают в исследуемых кодексах в отдельных случаях, хотя и единичных, в краткой форме.

---

[26] **Животъ вѣчьнъ (жизнь вѣчьнаꙗ)** зафиксировано в исследуемых кодексах только в полной форме: в Савв. кн. — 12 раз; в Мар. к. — 23 раза; в Зогр. к. — 18 раз; в Ассем. к. — 17 раз.

земьнъ — Мр. 4–5. **і абье прозѧбе зане не имѣаше глѫбинъі земъніѩ.** М. (βάθος γῆς); Мр. 4–31. **еже егда въсѣно бѫдетъ въ землѭ мьне вьсѣхъ сѣ[...ъ]менъ земъніхъ.** М. З. (τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς); Мф. 17–25. **что ти сѧ мьнитъ симоне цсри земьсции отъ кыхъ приемлѭтъ дани.** М.; **земьнии.** С. А. (οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς); Мф. 24–30. **і тъгда въсплачѫтъ сѧ въсѣ колѣна землъскаѣ.** М. С.; **земъная.** А. (φιλαὶ τῆς γῆς).

морьскъ — Лк. 21–25. **отъ нечааниѣ шюма моръскааго.** М. З. А. С. (ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου); Мф. 18–6. **потопѧтъ і въ пѫчинѣ морьстѣи.** М. (ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης).

небесьскъ — Лк. 21–26. **силы бо небскыѩ подвигнѫтъ сѧ.** М. З.; **небсныѩ.** А. С. (δυνάμεις τῶν οὐρανῶν); Мф. 13–47. **подобъно естъ цсрствие небское.** М. З. С.; **небное.** А. (ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν); Мф. 15–13. **вьсѣкъ садъ егоже не сади отцъ мои небскы.** М. З. (ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος)[27].

В Савв. кн., Мар. к. и Ассем. к. зафиксировано по одному случаю употребления краткой формы:

Мф. 19–23. **не оудобь богатоу вънити въ црство небско.** С. (εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν); Мф. 18–35. **тако и отецъ мои небскъ сътворитъ вамъ.** М. (ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος); Мф. 24–

---

[27] В Мар. к. употребляется последовательно только прилагательное **небеськъ** (всего зафиксировано 50 случаев, из них в полной форме 49, в краткой — 1). Так же и в Зографском кодексе только один суффикс — **-ьск-** (всего 40 случаев — всегда полная форма), в Ассем. к. последовательно лишь **небесьнъ**, случаи с суффиксом **-ьск-** не зафиксированы (всего 39 случаев, из них в полной — 38, в краткой — 1), в Саввиной книге рассматриваемое прилагательное выступает и с суффиксом **-ьск-**, и с суффиксом **-ьн-** (из 39 случаев в полной форме — 38, в краткой — 1).

Прилагательное **небеськъ**, **небесьнъ** выступает в следующих сочетаниях с существительными: 1) **црство небское** — 26 раз (Зогр. к. 18 раз, Савв. кн. 19 раз и 1 раз **црство небное**, Ассем. к. 22 раза **црство небесьное**); 2) **Оцъ небскы** — Савв. кн. 7 раз, Мар. к. 9 раз, Зогр. к. 7 раз и Ассем. к. 6 раз **оцъ небеснъ**; 3) **пьтица небскыѩ** — Мар. к. 8 раз, Зогр. к. 8 раз; Савв. кн. 2 раза (и 2 раза **пьтица небснъіѩ**) и Ассем. к. 5 раз **пьтицѧ небесьнъіѩ**; 4) **силы небскыѩ** — Мар. к. 2 раза; Зогр. к. 2 раза; Савв. кн. 2 раза **силы небскыѩ** и Ассем. к. 2 раза **силы небесьнъіѩ**; 5) **англи небсци** — Мар. к. 1 раз, Зогр. к. 1 раз, Савв. кн. 1 раз (и один раз **агли небсни**), Ассем. к. 1 раз **анѣели небсъніи**; 6) **воинъ небсъіхъ** — Мар. к. 1 раз, Зогр. к. 1 раз, Савв. кн. 1 раз, Ассем. к. 1 раз **воинъ небеснъінхъ**; 7) **съ облакы небескъіми** (**на облацѣхъ небскъіхъ**) — Мар. к. 3 раза, Зогр. к. 3 раза, Ассем. к. 2 раза **на облацѣхъ небеснъінхъ**.

Кроме того, в кодексах встречается форма **морьсцѣмь** в заглавии: «**О морьсцѣмь хождении**» — Мар. к. 114–17; 113–9.

36. никтоже не вѣсть ни аѣлі нб҃сни. А84с. (οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν).

§ 15. К этой же группе примыкает прилагательное деснъ (прилагательные лѣвъ и шоуи в исследуемых текстах в функции определения не зафиксированы). В качестве определения к существительному прилагательное деснъ выступает почти всегда в полной форме. Например, Лк. 6–6. і бѣ чл҃вѣкъ тоу и рѫка десная емоу бѣ соуха. М. З. А. (ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ); Ио. 18–10. і оурѣза емоу оухо десное. М. З. А. С. (τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν).

Зафиксирован только один пример, где употреблена краткая форма:

Мф. 5–30. і аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ. М.; деснаѣ. З. (ἡ δεξιά σου χεὶρ)[28].

§ 16. В современном сербском языке во всех рассмотренных случаях (и в тех, когда прилагательное выражает отношение к месту и времени и образовано от наречий, и в тех, когда прилагательное выражает отношение к предмету или понятию, означающему место и время) употребляется полная форма. Например: *о̏ближњӣ, о̀колнӣ, ви̏шӣ* (*ви̏шњӣ*), *прѐдњӣ, по̀следњӣ, да̂нашњӣ, су̀трашњӣ, ју̀тарњӣ, днѐвнӣ, но̀ћнӣ, су̀ботнӣ,* а также *зема̀љскӣ, мо̀рскӣ, нѐбеснӣ* (и *нѐбескӣ*), *дѐснӣ, лѐвӣ* и т. п. Притом в современном сербском языке, в тех случаях, когда в атрибуте существует только одна полная форма, в сказуемом невозможно употребление краткой формы (см. далее § 40). Только полную форму имеют все прилагательные на *-ски* и прилагательные локативного и темпорального значения, выражающие отношение к отдельным строениям и учреждениям (значения, близкие к местным, — например: *ку̀ћнӣ, со̀днӣ, башчѐнӣ*) и к некоторым отдельным единичным предметам (см. Maretić, 1899, s. 459). Все они объединены либо в указанные лексические группы, либо своей тесной связью с притяжательными прилагательными (прилагательные на *-ски*, см. § 29). Переход в разряд прилагательных, имеющих только одну полную форму, не связан исключительно с моментом словообразовательного порядка, как это можно было бы предположить в связи

---

[28] Всего в полной форме (десная, десное, деснѫѭ) употреблено: в Савв. кн. 2 раза; в Мар. к. 6 раз; в Зогр. к. 7 раз; в Ассем. к. 3 раза, в краткой форме — 1 раз в Мар. к.

с суффиксом *-ски* и как это имеет место в современном болгарском языке, а с лексическим значением самого прилагательного. Так, прилагательные с суффиксом *-ан* (краткая форма) из *-ьн-* в большинстве случаев имеют обе формы (*зла́тан — зла̂тнӣ; кньӣжан — кньӣжнӣ*), и лишь прилагательные указанного лексического круга имеют одну полную форму (*нѐбеснӣ*). Это положение об употреблении только одной, полной, или двух, полной и краткой, форм распространяется в современном сербском языке не только на прилагательные, относящиеся к общеславянскому словарному фонду, известные и в старославянском языке, но и на прилагательные новые, заимствованные. Например, *са̂тнӣ* 'часовой' (от турецк. *saat* 'час') — только полная форма и *чѐличан, чѐличнӣ* 'стальной' (от турецк. *çelik* 'сталь') — и краткая, и полная форма.

Факты современного болгарского языка представляют для нас также известный интерес. Появление членной формы (*ът, та, то*) было решающим фактором, направившим развитие категории кратких и полных форм прилагательных по иному, чем в других славянских языках, пути. Возникла, как указывалось, тенденция замены полных форм прилагательных без члена краткими. Эта тенденция сильна и в современном языке (исключение представляют прилагательные на *-ски*, где полная форма тесно связана с суффиксом, — *български, политически*); так, многочисленные заимствования передаются обычно краткой формой: *бивши* → *биви*, несмотря на протесты болгарских грамматистов («Руски са в днешния книжевни обиход *висши* = *повисок, горни*, и *низши* = *понизък, долни*, окастрени и до *висш* и *нисш*!») (Теодоров-Балан, 1940, с. 77).

§ 17. Помимо группы временных и местных прилагательных, четко выделяющихся из всех других групп, можно выделить еще несколько разрядов относительных прилагательных, имеющих в исследуемых текстах преимущественно или исключительно полную форму. Такова, прежде всего, группа прилагательных, означающих отношение детали или части предмета к его целому. Это главным образом прилагательные, образованные от существительных, обозначающих какое-либо строение или сооружение, например:

Мф. 27–51. **і се катапетазма цркꙋвнаѣ раздъра сѧ.** М. З. А. С. (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ); Лк. 23–45. **и помръче слънце і**

катапетазма цркв҃нає раздъра сѧ. М. З. (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ); Лк. 4–9. **і постави и на крілє цркв҃ьнѣємь.** М. З. А. С. (ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ).

Ряд исследователей справедливо отмечает близость значения этих прилагательных к значению принадлежности (см., например: Георгиева, 1952а); следует отметить также их близость к прилагательным локативного значения.

В современном сербском языке эти прилагательные также выступают в полной форме: *црквѐнӣ* (см. также ниже), *кȕћнӣ, башчѐнӣ* и т. п. Только полную форму в современном сербском языке имеют и прилагательные, выражающие отношение к различным частям тела: *нòснӣ, врáтнӣ, рȕчнӣ, лѐђнӣ, зȕбнӣ, крвнӣ* и т. п. К сожалению, в исследуемых нами старославянских текстах подобные прилагательные не обнаружены.

§ 18. Наконец, можно выделить прилагательные, представляющие характеристику предмета по его предназначению. Эта группа охватывает довольно широкий круг прилагательных с различными оттенками значения.

Мф. 24–1. **і пристѫпишѧ къ немоу оученици его показати емоу зъданиѣ цркв҃ънає.** М. (τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ); Мф. 23–16. **а иже клънетъ сѧ златомь цркв҃ьнымъ.** М. (ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ).

В этих случаях также можно отметить близость значения данных прилагательных к притяжательным.

Наличие полной формы **црькъвьнъıи** можно объяснить также и тем, что в контексте имеется в виду одна-единственная церковь, и прилагательное, таким образом, выражает отношение к единичному предмету. Однако и в других прилагательных данной группы, где подобный момент отсутствует, фиксируется, в основном, полная форма.

Лк. 16–2. **въздаждь отъвѣтъ о приставлении домовьнѣємь.** М. З. (τῆς οἰκονομίας); Мр. 10–4. **повелѣ моси кънигы распоустъньıѩ написати.** М. З. (βιβλίον ἀποστασίου); Мр. 9–42. **добрѣє емоу естъ паче аще обложѧтъ камень жрънов҃ньıи о вьıи его.** М. З. (λίθος μυλικὸς); Лк. 17–2. **оунѣє емоу би было аште би камень жрънов҃ньıи възложенъ на вьıѭ его.** М. З. (λίθος μυλικὸς).

§ 19. В некоторых случаях, как видно и из приведенных выше примеров, прилагательное с существительным выступает в качестве фразеологической единицы, образуя с ним вместе словосочетание, которое разложимо грамматически и соответствует прочим синтаксическим сочетаниям, но отли-

чается от последних неразложимостью своего лексического значения. Эта лексическая неразложимость выделяет предмет из ряда ему подобных, делает его единственным в своем роде, отличным от других предметов. Поэтому наличие в таких фразеологических сочетаниях полной формы прилагательного, притом исключительно полной формы, вполне закономерно.

а) Полная форма последовательно употребляется в терминах родства:

Лк. 8–42. **ꙗко дъщи ѝноча҃дага болѣше ѥмоу**. С. В других кодексах — краткая форма, так как прилагательное входит составной частью в сказуемое: **ѣко дъшти иноча҃да бѣ ѥмоу**. М. З. А. (θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ); Ио. 1–18. **ба҃ никътоже не видѣ николиже ѝноча҃ды сн҃ъ**. М. З. А. (μονογενὴς).

б) В терминах, обозначающих род занятий, титул, звание:

Лк. 22–52. **рече же ис҃ къ пришедъшимъ на нь архиѥреомъ і стратигомъ цр҃квнымъ**. М. З. (στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ); Мф. 26–3. **тъгда събъраша ся архиереи и кънижъници и старьци людьстии**. М. З. А. С. (οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ); Мр. 2–19. **еда могѫтъ сн҃ве брачьнии постити ся** (οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος). Аналогично Мф. 9–15, М.; Лк. 5–34, М. З.

Аналогично при именах, прозвищах: Мр. 15–40. **въ нихъ же бѣ ... і маринѣ нѣкова малаего**. М. З. (ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ).

в) в названиях болезней:

Лк. 14–2. **і се чл҃вкъ единъ имы водънъıи трждъ бѣ прѣдъ нимь**. М. С. А. (ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς).

Число подразделов устойчивых сочетаний можно было бы при желании увеличить; например, сочетание **камень жрьновьнъıи** может быть отнесено также в настоящий раздел и истолковано как технический термин.

Наконец, к числу фразеологических единиц можно причислить и такие сочетания, как, например, **дьнь сѫдьнъıи**.

Мф. 12–36. **въздадѧтъ о немь слово вь день сѫдьнъı**. М. З. А. С. (ἐν ἡμέρα κρίσεως).

Характерен пример из оглавления книги от Марка, где дано толкование рассматриваемого сочетания: **О сѫдьнѣемь дьне си рѣчь о коньчинѣ**. М.

Однако следует подчеркнуть, что говорить о фразеологических единицах в старославянском языке в том же плане, как мы говорим о них применительно к современному русскому языку, очень трудно. Язык старославянских памятников, всего на сто лет отстоящий от языка первых переводных

книг славянской письменности, не имел (или по крайней мере мы его не знаем) предшествовавшего ему литературного языка. Многие фразеологические сочетания (например, **стратигъ црькъвьнъ, старьць людьскъ** и т. п.), возникшие в связи с новыми религиозными воззрениями, были в старославянском языке новыми, в основном образованными по греческому образцу. Впоследствии, с установлением более прочной книжной традиции, все они стали фразеологическими единицами, но в период написания первых старославянских памятников и их ранних копий многие из них могли еще не ощущаться таковыми. Следует также учитывать, что нашей задачей является не рассмотрение устойчивых сочетаний и их типов в старославянском языке, а объяснение наличия в них полной формы.

Если, скажем, такой пример, как **дьнь сѫдьнъıи**, не воспринимать в качестве фразеологического единства, то все равно наличие полной формы объясняется лексическим значением существительного **дьнь**, которое в сочетании с прилагательным **сѫдьнъıи** означает определенное, единичное понятие.

Некоторые из прилагательных, приведенных выше (во фразеологических единствах) в функции определения употребляются только в полной форме (например, **црькъвьнъ**), некоторые (например, **брачьнъ, малъ**) в иных сочетаниях выступают и в краткой форме.

В современном сербскохорватском языке в этих случаях последовательно употребляется полная форма. Например: термины родства — *стари сват* ('сват'), *кр̏штени кум* ('крестный'); имена, прозвища — *глупи Август* ('«рыжий» в цирке'); названия болезней, растений, животных — *црвени ветар* ('рожа'), *бели лук* ('чеснок'), *бели медвед* ('белый медведь'). Вне этих сочетаний прилагательные *стар, глуп, бео* и так далее могут употребляться и в краткой форме. (Ср., например: *лепи човек* 'бальзамин' и *леп човек, лепи човек* 'красивый человек').

Нужно предположить, что при возникновении устойчивых сочетаний, ставших позднее лексическими единствами, выражающими одно понятие, признак, обозначенный прилагательным, ощущался еще довольно ярко (прежде всего в тех случаях, когда это было качественное прилагательное); но достаточно ему было обратиться в постоянный признак (ср. в сербском языке *белый медведь* — постоянный,

но *глупый медведь* — непостоянный: *један бели медвед* и *један глупав медвед*), стать определенным и неизменным, как указание на качество, качественный признак предмета (*бели медвед* или *бели лук* — указание на то, что медведь и лук — белые) стало все больше и больше стираться, тускнеть, в некоторых случаях исчезло совершенно в сознании говорящих, приобретая иную функцию — функцию указания на определенный предмет, выделяющую этот предмет из общего рода ему подобных, хотя этот определенный предмет и не был единичным.

§ 20. Выше говорилось о том, что в ряде случаев трудно применить термин «фразеологическое единство» к отдельным сочетаниям прилагательного и существительного в старославянском языке, соответствующим устойчивым фразеологизмам в современных славянских языках. Еще труднее применить к старославянскому языку понятие о постоянных эпитетах, вводимое некоторыми исследователями в научный обиход при рассмотрении синтаксических функций прилагательных в древнерусском языке[29].

---

[29] Понятие эпитета как фактора, определяющего употребление полной формы, было впервые выдвинуто Е. И. Истриной: «Обращаемся к определению в местоименной форме. Как уже было указано, местоименная форма употребляется в Синодальном списке тогда, когда определение не имеет в общем смысле предложения существенного значения и не отличается энергичностью проявления. Сюда относится, прежде всего, целый ряд определений, каковые могут быть названы эпитетами; они постоянно употребляются при определенных существительных, составляя с ними как бы одно целое. Таковы выражения: **свѧтъıи архиепископъ, свѧтаꙗ богородица, свѧтаꙗ софиѧ, свѧтаꙗ цръкъı, чьстъıи крьстъ, истинъıаꙗ вѣра, праваꙗ вѣра, боголюбивъıи архиепископъ, блаженъıи архиепископъ, оканьнии татарове, оканьнии половци, поганиии иноплеменьници** и т. п. Для синтаксического понимания таких определений нет нужды приводить целые предложения: эти определения тесно примыкают к своим определяемым; в общем смысле предложения значение их так слабо, что они могут быть даже выброшены из предложения, не нарушая тем его общего смысла» (Истрина, 1918, с. 47–48). Е. С. Истрина, к сожалению, не обращает должного внимания на лексическое значение прилагательных и существительных, входящих в состав приведенных ею примеров. Однако, она дает сравнительно узкий лексически круг слов (чины и церковные реалии, названия народностей и т. п.), тем самым как бы ограничивая ими круг постоянных эпитетов. Значительно дальше Е. С. Истриной идет В. Л. Георгиева. В ее исследовании, например, все качественные прилагательные делятся на две основные группы: 1) прилагательные характера эпитетов и 2) все остальные, причем в разряд эпитетов включаются

Тем не менее, попытаемся рассмотреть употребление прилагательных, которые могут быть восприняты как постоянные эпитеты, и объяснить наличие в них краткой формы. Такое рассмотрение даст нам возможность выяснить, сколь применимо по отношению к старославянскому языку положение об «эпитете».

истиньнъ — Ио. 14–16, 17 **да бѫдетъ съ вами вь вѣкъ дх҃ъ истинъныи**. М. З. А. C_{91} (τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας), однако в том же контексте Ио. 14–17. C_1 **дх҃ъ и҆стиньнъ**.

С указательным местоимением без колебания: Ио. 16–13. **онъ дх҃ъ истинъныи**. М. З. А. С.

С числительным **единъ** — 'единственный': Ио. 17–3. **да знаѭтъ тебе единого истинънааго ба҃**. М. З. А. С. (τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν).

Без числительного **единъ** 'единственный': Ио. 17–3. **истиньна ба҃**. C_2, хотя следовало бы ожидать **и҆стиньнаго ба҃**. Случаи без разночтений: Ио. 15–1. **азъ есмъ лоза истинънаѣ**. М. З. А. C_{93}. C_3 (ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή); Ио. 6–32. **нъ отц҃ъ мои дастъ вамъ хлѣбъ истинъныи съ небесе**. М. З. А. (τὸν ἄρτον ... τὸν ἀληθινόν).

Случаи с разночтениями: Ио. 1–9. **бѣ свѣтъ і҆стинъныи і҆же просвѣштаетъ всѣкого чл҃ка**. М. З.; **истінънъ**. А. (τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν); Ио. 4–23. **нъ грѧдетъ година и нынѣ естъ егда истиньни поклоньници поклонѧтъ сѧ**. М.; **истинн҃ии**. А. (οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ). Ио. 6–55. **плъть бо моѣ истинъно естъ брашъно і кръвъ моѣ истинъно естъ пиво**. М.; **і҆стинъное** — первый случай. З. (ἡ γαρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις).

нечистъ — употребление полной формы: Лк. 11–24. **егда же нечистыи дх҃ъ изидетъ отъ чл҃ка**. М. З. (τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα); аналогично Мф. 12–43, М. З.; Мр. 1–26, М. З.; Мр. 9–25. **запрѣти дх҃оу нечистоу(оу)моу гл҃ѧ емоу**. М. З. А. С. (τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ). Аналогично Мф. 9–25, М. З. А. С.; Лк. 8–29, М. З. А. С.; Лк. 9–42, М. З. А. С. В этих примерах полная форма употреблена, видимо, потому, что речь идет об едином злом начале, бывшем в представлении писца единичным понятием.

такие прилагательные, как *жалостьныя и радостныя слезы, свѣтъ твой красный, зломоу оубииствору, злый свой глас, храбрая мысль*. При такой классификации грань между прилагательными-эпитетами и прилагательными-неэпитетами стирается совершенно.

Мр. 5–8. гла емоу изиди дше нечистыи отъ члвка. М. З. (τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον). Здесь звательная форма требует употребления полной формы.

Полная форма выступает также и во множественном числе[30]: Мр. 3–11. і егда видѣахѫ и дси нечистии припадаахѫ къ немоу. М. З. (τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα); аналогично Мр. 5–13, М. З.; Лк. 4–36. ѣко вл(а)стиѭ и силоѭ велитъ нечистыимъ дхмъ. М. З. А. (τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν); аналогично Мр. 1–27, М. З.; Мф. 10–1. дастъ имъ власть на дсхь нечистыхъ. М. З. С. (πνευμάτων ἀκαθάρτων); аналогично Мр. 6–7, М. З.

Употребление краткой формы:

Мр. 7–25. слышавъши бо жена о немь еьѫже дъшти имѣше дхъ нечистъ. М. З. (πνεῦμα ἀκάθαρτον); Лк. 4–33. і въ сънъмишти бѣ члкъ имы дхъ бѣса нечста. М.; імы дхъ бѣсъ нечистъ. З.; бѣсъ нечістъ. А. (ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου); Мр. 3–30. зане глаахѫ ѣко дхъ нечистъ иматъ. М. В этих случаях наличие краткой формы обусловлено глаголом имѣти.

Или: Мр. 1–23. і бѣ на соньми(щи)хъ члкъ нечистомь дхмь. М. З. (ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ), аналогично Мр. 5–2, М. З.; Мр. 7–2. і видѣвъше единъі отъ оученикъ его нечистама рѫкама си рѣчь не оумьвенама ѣдѫштѧ хлѣбъі. М. З. (ὅτι κοιναῖς χερσίν ... ἐσθίουσιν). В первом случае — прилагательное в творительном падеже является атрибутом существительного, определяющего совместно с ним другое существительное (атрибутивная связь не с существительным члкъ, а с существительным дхъ), во втором — прилагательное совместно с существительным управляется действительным причастием настоящего времени, выражая образ действия.

Из многочисленных конструкций с прилагательным нечистъ зафиксирован только один случай разночтения:

Лк. 6–18. и страждѫштеи отъ дхъ нечистъ ісцѣлѣахѫ сѧ. М. З. А.; и страждѫщихъ ѿтъ дхъ нечистыхъ исцѣлѣхѫ сѧ. С. (ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων).

Случай этот, как видно из контекста, — наиболее нейтральный; синтаксическая связь конструкции и ее лексическое значение не требуют категорически употребления полной или краткой формы[31].

---

30 Укажем, что в текстах исследуемых кодексов слова, обозначающие злое начало, даны то в единственном числе (изиди дше нечистыи. Мр. 5–8), то во множественном (ишедъше дси нечистии. Мр. 5–13).

31 Краткая форма в данном сочетании более уместна, прилагательное выступает в конструкции, определяющей причину состояния, выра-

Употребление полной формы в рассмотренных сочетаниях вызвано не тем, что прилагательные не отличались энергичностью проявления, а тем, что они, определяя существительное, придавали ему, в большинстве случаев, значение конкретного, часто единичного предмета или понятия[32]. В случаях, когда не было необходимости уникализировать предмет, подчеркнуть его определенность и единичность, когда предмет, сам (совместно с прилагательным) давал качественную характеристику другого предмета или действия, употреблялась краткая форма.

Приведем еще случаи употребления прилагательного **правьдьнъ**.

Мф. 21–32. **приде бо иоанъ крститель пѫтемь праведъномъ**. М. (ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης); Ио. 7–24. **не сѫдите на лица нъ праведъныи сѫдъ сѫдите**. М. З. А. (τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε); Мф. 23–35. **да придетъ на въ вьсѣка кръвъ праведъна проливаема на землѭ отъ кръве авела праведънааго**. М. (Ἄβελ τοῦ δικαίου); аналогично Лк. 9–51, М. В сочетании **авела праведънааго** прилагательное определяет собственное имя, является частью этого имени (см. § 19).

В звательной форме:

Ио. 17–25. **отъ(чт)че праведъныи миръ тебе не позна**. М. З. А. С. (πατὴρ δίκαιε).

Во всех указанных примерах наличие полной формы закономерно; столь же закономерно и наличие краткой формы в следующих примерах:

Мф. 23–35. **да придетъ на въ вьсѣка кръвъ праведъна проливаема на землѭ**. М. (πᾶν αἷμα δίκαιον). Здесь предмет не уникализирован (**вьсѣка**, см. § 7) в противоположность **кръве авела праведънааго**, где одно, определенное лицо. Или: Лк. 23–50. **і се мѫжь іменемь иосифъ съвѣтьникъ съ мѫжь благъ и правьденъ**. М. З. (ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος); Мр. 6–20. **іродъ бо боѣаше сѧ иоана вѣдъ и мѫжа праведъна и ста**. М. З. А. (ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον); Мф. 23–28. **тако и въ вьнѣѫдоу оубо авлѣате сѧ чл҃вкомъ праведьни**. М. (τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι). Здесь при-

---

женного действительным причастием настоящего времени (в данном случае — субстантивированным).

32 Отметим, что почти все реликтовые случаи употребления кратких форм в функции определения в русском фольклоре, например, относятся к постоянным эпитетам: *добр молодец, красна девица* и т. п. (см. примеры в статье: Автомонов, 1908).

лагательное характеризует существительное, которое в свою очередь является определителем другого существительного — приложением (**мѫжъ благъ и правьденъ**) или частью составного сказуемого (**вѣды и мѫжа праведъна и авлѣате сѧ чл҃вкомъ праведьни**); не определяя непосредственно данное лицо или предмет (в данном случае — **иосифъ, иоанъ, вы**), прилагательное выступает в краткой форме.

Обратив внимание на случаи употребления краткой формы прилагательного в приведенных примерах, легко убедиться в том, что краткая форма выступает отнюдь не тогда, когда необходимо подчеркнуть энергичность проявления признака (например, **да придетъ на вы вьсѣка кръвъ праведъна**), точно так же, как и употребление полной формы, как уже говорилось, не вызвано слабым проявлением признака предмета (например, **не сѫдите на лица нъ праведъны сѫдъ сѫдите**). Естественно, что постоянство признака несколько стушевывает его яркость, но, тем не менее, оно не низводит его до полной бесцветности и потери лексической насыщенности. Едва ли такое определение может быть легко выброшено из контекста, не изменяя значения последнего. Например: ... **да съ вами бѫдетъ въ вѣкъ дх҃ъ (истиньны)**; ... **азъ есмъ лоза (истиньнаа)**...; ... **приде бо иоанъ крститель пѣтемъ (праведъномъ)**...; ... **не сѫдите на лица нъ (праведъны) сѫдъ сѫдите** и т. п.

Таким образом, факты старославянского языка принуждают нас решительным образом отказаться от выделения отдельной группы прилагательных на основе их особой стилистической функции — эпитета. Эпитет как понятие стилистическое имеет к тому же преходящий, исторический характер. Устанавливая факторы, определяющие употребление краткой (resp. полной) формы, мы учитываем три основных определяющих момента: синтаксический, лексический и отчасти связанный с ними словообразовательный (например, суффикс *-ов-*, *-ьск-*). Мы ни в коем случае не можем принять определяющим фактором момент стилистический. И если наличие постоянного эпитета в известной мере определяло в эпоху древнерусской письменности (в особенности поздней) употребление той или иной формы, то в эпоху старославянского языка оно не имело решающего значения.

§ 21. Рассмотренные выше лексические группы относительных прилагательных (темпоральные и локативные, озна-

чающие отношение детали или части предмета к его целому, характеризующие предмет по его предназначению) отличаются тем, что свойство предмета, выраженное прилагательным, не содержится в самом предмете, а привносится извне (например, *последний дом, летошний снег*). Этому большому разряду прилагательных, к которым примыкают и притяжательные (*Петров дом*, см. далее § 30), противостоит разряд относительных и всех качественных прилагательных, которые выражают внутреннее свойство (качество) предмета, присущее ему по самой его природе (*деревянный дом, белый снег*)[33]. Подобное разграничение принимается во внимание не всеми исследователями, однако для нашего вопроса оно нам представляется нужным и важным. Материал показывает, что принадлежность прилагательного к той или иной группе в известной мере влияет на употребление полной или краткой формы.

§ 22. Относительные прилагательные, выражающие отношение к отвлеченному понятию и обозначающие содержание предмета.

съмрьтьнъ — Мф. 4–16. **і сѣдѧштимъ въ тъмѣ і въ сѣни съмрътьнѣ свѣтъ въсиѣетъ на насъ.** З. А. С. (σκιᾷ θανάτου); Лк. 1–79. **просвѣтити сѣдѧштѧѩ въ тъмѣ і сѣни съмрътьнѣ.** М.; **съмрътьнѣі.** З. (σκιᾷ θανάτου).

доуховьнъ — Лк. 4–14. **і възврати сѧ і҃съ вь силѣ дх҃овънѣи въ галилѣѩ.** М. (ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος).

грѣшьнъ — Ио. 9–16. **ови гл҃аахѫ како можетъ чл҃къ грѣшенъ сица знамениѣ творити.** М. З. А. (ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς); Лк. 5–8. **ізиди отъ мене ѣко мѫжь грѣшенъ есмъ г҃и**[34]. М. З. А. (ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι); Лк. 19–7. **ръпт҃аахѫ гл҃ѭште ѣко къ грѣшънѫ мѫжю вънидѣ витатъ.** М. З. А. (παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ).

---

33 А. Белич для первой и второй группы, т. е. для прилагательных типа *московский, последний, летошний, Петров*, с одной стороны, и прилагательных типа *деревянный, белый*, с другой, предлагает следующую терминологию: «неправе придевске речи» — ненастоящие прилагательные слова и «праве придевске речи» — настоящие прилагательные слова. См. Белић, 1941, с. 64.

34 Прилагательные, выступающие атрибутом существительного, являющегося именной частью составного сказуемого, не рассматриваются отдельно, ибо они в функциональном отношении принципиально не отличаются от атрибута подлежащего или дополнения. Функция прилагательного остается атрибутивной, а не предикативной.

животьнъ — Ио. 6–35. **рече же имъ ис҃ъ азъ есмъ хлѣбъ животъныи**. М. З. А. (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς); аналогично Ио. 6–48; Ио. 8–12. **не иматъ ходити въ тъмѣ ны-иматъ свѣта животънааго**. М. З. (ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς); Ассем. к.: **нъ иматъ свѣтъ вѣчьныи**.

Наличие краткой формы в конструкциях **чл҃къ грѣшьнъ, мѫжь грѣшьнъ** — вполне закономерно; речь идет не об отдельном единичном лице (в данном случае — человеке, мужчине), а о лице — представителе определенного типа лиц, обладающих свойством, выраженным прилагательным, притом это лицо (человек, мужчина) ничем не выделяется из ряда ему подобных. Конструкции же типа **свѣтъ животьны** близки по своему характеру к устойчивым сочетаниям (см. § 19), этим и мотивировано наличие в них полной формы прилагательного. В представлении писца **свѣтъ животьны** — синоним истины единственной, уникальной. Более нейтральны остальные случаи: **въ сѣни съмрьтьнѣ, въ силѣ дх҃внѣи**; в них как раз и наблюдается колебание (**съмрьтьнѣ — съмрьтьнѣи**), краткая форма несколько преобладает над полной.

Того же типа прилагательные **истиньнъ, правьдьнъ, неправьдьнъ, вѣрьнъ**. Этим почти исчерпываются прилагательные данного типа в исследуемых кодексах.

§ 23. Относительные прилагательные, выражающие отношение к предмету и обозначающие содержание предмета.

тѣлесьнъ — Лк. 3–22. **і сънидe дх҃ъ ст҃ыи тѣлесънымъ зракомъ**. М. З. (σωματικῷ εἴδει).

огньнъ — Мф. 13–50. **і въвръгѫтъ ѩ въ пещь огньнѫ**. М. З. С. (εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός); то же Мф. 13–42, М. А. **пештъ огньнѫѭ**. З.; Мр. 9–47. **неже обѣ очи имѫщю іти въ ѣеонѫ огньнѫѭ**. М. З. (εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός); то же Мф. 18–9, М.

водьнъ — Лк. 8–24. **онъ же въставъ запрѣти вѣтроу і влъне(н)ию водъноумоу**. М. А.; **морьскоумоу**. З. (см. § 14) (τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος).

гвоздиинъ — Ио. 20–25. **онъ же рече имъ аште не виждѫ на рѫкоу его ѣзвы гвоздеинъыѩ**. М. А. (τὸν τύπον τῶν ἥλων); Ио. 20–25. **аште ... ни вълож(ѫ) пръста моего въ ѣзвѫ гвоздиинѫѭ не имѫ вѣры**. М. А. (τὸν τύπον τῶν ἥλων).

Наличие полной формы в последних двух примерах — закономерно; здесь речь идет об определенном предмете, заранее известном, хотя прежде и не упоминавшемся, — о ра-

нах Христа (эпизод с Фомой Неверным), а не о каких-либо ранах вообще. Важно также отметить, что предмет этот занимает центральное место в повествовании о данном эпизоде. Остальные случаи относительно нейтральны.

§ 24. Относительные прилагательные, означающие материал, довольно резко отличаются от рассмотренных выше относительных прилагательных. Некоторые исследователи справедливо указывают на их особое положение в связи с изучаемой нами категорией (см. Георгиева, 1952, с. 5). Из всех относительных прилагательных прилагательные, означающие материал, по своему лексическому значению ближе всего примыкают к качественным. Этим, видимо, мотивировано преобладание краткой формы.

желѣзьнъ — Мр. 5–2, 3, 4. абие сърѣте и отъ гробъ чк҃ъ нечистомъ дх҃мъ іже жилиште имѣаше въ гробѣхъ і ни желѣзномъ ѫжемь его никтоже не можааше съвѧзати зане мъногы кратъі пѫтъі и ѫжи желѣзнъі съвѧ(за)нѫ сѫщю прѣтръзаахѫ сѧ отъ него ѫжа желѣзна и пѫта съкроушаахѫ сѧ. М.; желѣзнаа. З. (... ἁλύσει ... ἁλύσεσιν ... τας ἁλύσεις); Лк. 8–29. вѧзаахѫ и ѫжи желѣзнъі і пѫтъі стрѣгѫштеи. М. З. С.; желѣзьнъıими. А. (ἁλύσεσιν).

камѣнъ — Ио. 2–6. бѣ же тоу водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ. М. З. А. (λίθιναι ὑδρίαι).

трънѣнъ, тръновъ — Мр. 15–17. і възложишѧ на нь съплетъше тръновъ вѣнецъ. М. З. А.; трьнѣнъ. С. (ἀκάνθινον στέφανον); Ио. 19–2. воини же съплетъше вѣньць трьнѣнъ. С.; отъ трънитѣ. М. З. А. (στέφανον ἐξ ἀκανθῶν); Ио. 19–5. ізиде же ис҃ вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ. М. З.; тръновъıи. А.; трьнѣнъ. С. (τὸν ἀκάνθινον στέφανον).

оцьтьнъ — Мр. 15–23. і даѣхѫ емоу пити оцътъно вино. М. З. С.; озмьрено. А. (ἐσμυρνισμένον οἶνον).

ѩчьнъ, ѩчьмѣнъ — Ио. 6–9. естъ отрочиштъ сьде единъ іже иматъ пѧть хлѣбъ ѩчьнъ. М.; ѩчьнѣнъ. З.; ѩчьмѣнъ. А. (πέντε ἄρτους κριθίνους); Ио. 6–13. събърашѧ же и исплъниша дъва на десѧте коша оукроухъ отъ пѧти хлѣбъ ѩчънъıхъ. М.; ѩчьнѣнъıхъ. З.; ѩчънѣнъıихъ. А. (ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων), в этом примере можно отметить момент «вышеупомянутости» (см. Ио. 6–9).

хлѣбьнъ — Мф. 16–12. тъгда разоумѣшѧ ѣко рече храните сѧ не отъ кваса хлѣбънааго нъ отъ оученіѣ фарисеска и садукеска. М. З. (ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου), — и в данном примере

можно отметить момент «вышеупомянутости» (см. Мф. 16–7), а также момент противопоставления двух предметов (понятий).

В эту же группу причислим и прилагательное **горюшьнъ**. Лк. 13–19. **подобъно естъ цс҃твие небс҃ское зрънoу горюшьноу**. М. З. А. С. (ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως) (ср. § 8).

Во всех приведенных нами примерах при первом упоминании о предмете выступает краткая форма прилагательного (исключением является лишь одна полная форма творительного падежа, представляющая разночтение в Ассеманиевом кодексе, — **желѣзьнъıи**).

Полная форма при прилагательных, означающих материал, выступает лишь при вторичном упоминании предмета (например, **хлѣбьнааго, ѩчьнъıхъ**) и то далеко не последовательно (ср. **желѣзнаа, желѣзна; тръновъı, тръновъ** — дважды — и **тръненъ**).

§ 25. Рассмотрим употребление качественных прилагательных, не обусловленное указанными выше лексическими, синтаксическими и иными факторами.

В так называемых свободных сочетаниях, т. е. при всех прочих равных синтаксических и иных условиях, качественные прилагательные выступают обычно в краткой форме. Краткая форма ставится тогда, когда качественное прилагательное характеризует предмет логически не акцентированный, не занимающий центрального положения в повествовании. Например:

Мр. 6–39. **і повелѣ имъ посадити вьсѧ народъı ... на сподъı на трѣвѣ зеленѣ**. М. З. (ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ); Мр. 9–2. **поѩтъ и҃съ петра и иѣкова и иоана і вьзведе ѩ на горѫ високѫ единъı**. М. З. (εἰς ὄρος ὑψηλὸν); то же Мф. 17–1, М. А.; аналогично Лк. 6–5, М. Лк. 6–17. **і съшедъ съ ними ста на мѣстѣ равьнѣ и народъ оученикъ его і мъножьство мъного людии**. М. З. А. С. (ἐπὶ τόπου πεδινοῦ). Мр. 6–31. **і рече имъ придѣте въı сами въ поусто мѣсто едини**. М.[35] (εἰς ἔρημον τόπον).

При этом, например, применительно к первому примеру, трудно говорить о яркости признака, выраженного прилага-

---

[35] В Зогр. к. фиксируем: Мр. 6–31. **і рече імъ придѣте въı сами въ мѣсто едини**; этот пример свидетельствует о том, что для писца признак предмета был в данном случае выражен настолько неярко, что он вовсе счел возможным опустить его.

тельным, об энергичности его проявления. Наоборот, именно в обычности признака, в том, что «зеленая трава» в рассматриваемом контексте не выступает в центре внимания говорящего, мы и видим причину употребления краткой формы. В нейтральной позиции краткая форма преобладает, однако возможна и полная форма[36].

Нейтральность позиции обусловливает колебания в употреблении той или иной формы. Наиболее значительное число разночтений по различным кодексам отмечается именно за счет исследуемого положения.

---

[36] Нельзя полностью согласиться с мнением Л. П. Якубинского, полагающего, что «отсутствие члена (краткое прилагательное) показывало как неопределенность (= неопределенному члену других языков), так и собственно отсутствие члена, нейтральность» (Якубинский, 1952, с. 56). Материал старославянского языка показывает, что нейтральность была, выражаясь фигурально, той почвой, где сходило на нет различие полной и краткой формы. Четкой границы, четкого разграничения функций кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке не было, — это, однако, нисколько не означает, что категория определенности и неопределенности, выражаемая различными формами прилагательного в старославянском языке, была уже нарушена или вовсе заменена другими отношениями. В современном болгарском языке в категории членных форм мы наблюдаем несколько аналогичное явление. В целом ряде нейтральных случаев возможно колебание в употреблении членной формы. Употребление существительного (или прилагательного) без члена или с членом зависит порой от языковой традиции или даже от ряда чисто субъективных моментов (например, *на се́ло*, но *в града́*, см. Цонев, 1934, с. 517–520). Однако нужно учитывать и значительное отличие категории определенности и неопределенности прилагательных в старославянском языке от категории определенности и неопределенности имени в современном болгарском языке. В старославянском языке велика роль семантического фактора, существует связь полной и краткой формы с определенным лексическим кругом прилагательного. В современном болгарском языке зависимость употребления или неупотребления членных форм от лексического значения имени — значительно меньшая (членная форма не употребляется, например, с названиями месяцев, собственными именами, географическими названиями и т. п., но известны и такие примеры, как *Балканът, Странджата, Миткото* и т. п.). Наконец, если категорию определенности и неопределенности прилагательного в старославянском языке рассматривать с точки зрения категории артикля в западноевропейских (и болгарском) языках, то нейтральным окажется также значительное число из тех случаев, когда в старославянском языке употребляется только полная форма (темпоральные, локативные и другие прилагательные).

Мф. 13–24. **Оуподоби сѧ цр҃ствие небеское чл҃вкоу сѣвъшоу добро сѣмѧ на селѣ своемь.** М.; **доброе** З. А. (καλὸν σπέρμα) — предмет упомянут впервые (см. § 28), или Ио. 10–32. **отъвѣшта имъ и҃с мъного дѣла добра ѣвихъ (въ) васъ.** М. А.; **добраа.** З. (πολλὰ ἔργα καλὰ)[37].

Вводя понятие о нейтральном положении, мы должны оговориться, что вообще вполне нейтральных случаев не так много, — обычно можно найти то или иное объяснение для употребления полной (resp. краткой) формы. Однако ни одно из этих объяснений не будет основано на наличии постоянного (первостепенного или второстепенного) определяющего фактора; такое объяснение зачастую будет опираться на ряд субъективных и случайных моментов, а поэтому мы и считаем его излишним.

Краткая форма может быть употреблена и тогда, когда предмет логически акцентирован и свойство его (в данном случае качество) достаточно энергично выражено, но предмет этот выступает как обычный для своего рода, ничем от него не обособляющийся. Например, Мф. 11–8. **нъ чесо изидете видѣтъ чл҃вка ли въ мѧкъкы ризи облъчена се иже мѧкъка носѧтъ въ домохъ цс҃р(ихъ).** М. З. А. (ἐν μαλακοῖς ἱμάτιοις).

Здесь логический акцент и энергичность признака подчеркивается придаточным определительным предложением с **іже**, которое также указывает, что предмет не выделяется из ряда ему подобных.

Полная форма, как было указано выше, возможна в нейтральной позиции, но, как правило, она выступает тогда, когда конструкция с качественным прилагательным обозначает единичный, обособленный предмет, отличный от ряда ему подобных (см. в примере не просто «тесные ворота»,

---

[37] Аналогично: Мф. 12–33. **ли сътворите дрѣво добро и плодъ его добръ.** М. З. А.; **доброе.** С. (τὸ δένδρον καλὸν); Мф. 12–35. **і зълы чл҃вкъ отъ зълааго съкровишта износитъ зълаа.** М. З. А.; **лѫкава.** С. (ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ); Мф. 15–19. **отъ ср҃дца бо исходѧтъ помышлениѣ зъла.** М.; **зълаѣ.** З. (διαλογισμοὶ πονηροί); Мф. 16–4. **родъ золъ и прѣлюбодѣи знамениѣ ищетъ.** М.; **зълы.** З. (γενεὰ πονηρὰ); Мф. 17–15. **г҃и помилоуи сн҃ъ мои ѣко на новы мс҃ца бѣсъноетъ сѧ.** М.; **на новъи мѣцѧ.** А.; **на новъ мц҃ѣ.** С. (ἐλέησόν μου τὸν υἱόν ὅτι σεληνιάζεται); Мф. 24–45. **кто оубо естъ вѣрънъі рабъ и мѫдрь.** М. З. А.; **вѣрьнъ и мѫдрь.** С. (Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος); Мр. 4–20. **а си сѫтъ сѣании на добрѣ земи.** М.; **добрѣі.** З. (ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν); Лк. 11–13. **въ зьли сѫште оумѣате даанитѣ блага дѣти чѧдомъ вашимъ.** М. З. А.; **благаа.** С. (δόματα ἀγαθὰ).

как и все другие ворота с подобным качеством, а «тесные ворота в рай»). Например:

Лк. 13–24. **подвизаите сѧ вънити сквозѣ тѣсна(ѣ)а врата.** М. З. А. С. (τῆς στενῆς πύλης), или: Ио. 6–51. **азъ есмъ хлѣбъ живъı съшедъı снбсе.** М. З.; **живъıи.** А. (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς), аналогично см. § 22; здесь **«тѣснаꙗ врата»** и **«хлѣбъ живъı»** — метафорические обозначения ворот в рай и истины. Естественно, что в представлении писца они были единичными, уникальными предметами (понятиями).

§ 26. Значительное число примеров с качественными прилагательными, зафиксированными в свободных сочетаниях, не дает нам возможности привести их все полностью, как это было сделано при рассмотрении прилагательных других типов (например, относительных — местных и временных). Укажем, что употребления качественных прилагательных, оставшиеся вне рамок нашего исследования, не заключают в себе каких-либо иных, кроме изложенных выше, положений и моментов. Приведем, однако, для иллюстрации все случаи употребления одного из качественных прилагательных (**зълъ**) в атрибутивной функции.

Краткая форма: Лк. 7–21. **въ тъ часъ исцѣли мъногъı отъ неджгъ і ранъ и дхъ зълъ.** М. З. (πνευμάτων πονηρῶν); аналогично Лк. 8–2. М. З.; Лк. 6–43. **нѣстъ бо дрѣво добро творѧ плода зъла ни дрѣво зъло творѧ плода добра.** М. З. (καρπὸν σαπρόν ... δένδρον σαπρὸν); аналогично Мф. 12–33, М. З. А. С. — здесь дано указание на предметы вообще, ничем не выделяющиеся из рода им подобных.

Полная форма: Лк. 6–45. **зълъı члкъ отъ зълааго съкровища срдца своего износитъ зълое.** М. З. (ὁ πονηρὸς [ἄνθρωπος] ἐκ τοῦ πονηροῦ); аналогично Мф. 12–35, М. З. А. **«отъ зълаago съкровища»** — пример нейтральной позиции, хотя слова **«срдца своего»** могут указывать на единичность, обособленность (учитывая полную форму в конструкции **«зълъı члкъ»**).

Колебания: Мф. 16–4. **родъ золъ и прѣлюбодѣи знамениѣ ищетъ.** М.; **зълъı.** З. (γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλίς). Мф. 15–19. **отъ срдца бо исходѧтъ помъышлениѣ зъла.** М.; **зълаѣ.** З. (διαλογισμοὶ πονηροί).

В других случаях употребление полной (resp. краткой) формы обусловлено различными факторами. С указательным местоимением:

Мф. 24–48. аще ли речетъ зълъ тъ рабъ въ срьдци своемь. С.; зълъ рабъ. М.; зълъ рабъ тъ. З.; зьлъи работ. А. (ὁ κακὸς δοῦλος).

Звательная форма: Лк. 19–22. гла емоу отъ оустъ твоихъ сѫждѫ ти зълъ рабе. М. З. А. (πονηρὲ δοῦλε); Мф. 25–26. гъ его рече емоу зълъ рабе и лѣнъ. М. З.; зьлъи. А. С. (πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ).

С местоимением вьсѣкъ: Мф. 7–17. тако вьсѣко дрѣво добро плодъ добръ творитъ а зъло дрѣво плодъ зълъ творитъ. М. З. (πᾶν δένδρον ἀγαθὸν); Мф. 5–11. и рекѫтъ всѣкъ зълъ глъ на въ лъжѫщи мене ради. М. З. А. С. (πᾶν πονηρὸν ῥῆμα).

С глаголом имѣти: Мф. 4–24. і привѣсѧ емоу вьсѧ болѧштѧѩ различнъими недѫгъ і страстьми одръжимъ і бѣсънъѩ і мѣсѧчьнъѩ зълъ недѫгъ імѫштѧ. З.; злъѩ. М. (καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους). В составе конструкции мѣсѧчьнъѩ недѫгъ імѫштѧ — термин, название болезни (мѣсѧчьнъи недѫгъ). Вся конструкция означает «лунатик» (греч. σεληνιαζόμενος); см. § 19.

§ 27. Таковы главные условия употребления кратких resp. полных форм качественных прилагательных в так называемых свободных сочетаниях. Основная сущность рассматриваемой категории (противопоставление полных форм кратким) выступает у качественных, а отчасти у относительных прилагательных, выражающих внутреннее свойство предмета, более четко и рельефно. Это объясняется тем, что лексическое значение качественных прилагательных, по сравнению с притяжательными и относительными прилагательными, — более общее: признак качества (*красный, добрый*) сочетается с бóльшим кругом предметов, чем признак отношения, например, к месту или ко времени (*соседний, вчерашний*). При употреблении полных (resp. кратких) форм с качественными прилагательными лексический фактор оказывается индифферентным, в отличие от положения в отдельных группах относительных и в притяжательных прилагательных, где лексический фактор имеет решающее значение.

§ 28. В § 1 отмечалось, что теория определенности и неопределенности Ф. Миклошича, в принципе своем правильная, сводилась им и, главным образом, его толкователями, в основном, к положению о вышеупомянутости (вторичной упомянутости) и неупомянутости. Исходя из значения ар-

тикля и его употребления в западноевропейских языках и рассматривая его функцию так, как и большинство его современников, т. е. прежде всего как эмфатическую, Ф. Миклошич сравнивал артикль с полными и краткими прилагательными в древнеславянских и старославянском языке и не находил существенного различия в их значении и функции. Он пришел к выводу, что «сложные формы указывают на обозначенный прилагательным и существительным предмет, как на уже упомянутый или известный прежде, указывают поэтому, что соединение этих форм с точно названным или только присоединенным мысленно существительным происходит в акте речи данного говорящего лица не впервые» (Miklosich, 1883, S. 132).

Аналогичной точки зрения придерживался и Л. П. Якубинский; он полагал, что «первоначально наличие местоимения (и, ꙗ, ѥ) четко ощущалось, ощущалась и указательность-релятивность этого местоимения. Сравним, например, в Зографском евангелии: "принесошѧ емоу ослабленъ (краткая форма) жилами, на одрѣ лежѧштъ... и рече ослабленоумоу" (– этому) (местоименная форма, поскольку речь идет уже об известном расслабленном); или там же: "...и срѣтосте и дъва бѣсъна" (краткая форма, потому что впервые говорится о неизвестных бесноватых); "отъ гребиштъ ихъ исходѣща люта зѣло" (по той же причине краткая форма); "бѣ же далеко от нею стадо свинии много пасомо" (краткая форма, впервые упоминается стадо свиней, какое-то стадо свиней); "аште изгониши нъı повели нам ити в стадо свинок" (полная форма, так как речь идет об уже известном стаде); "известишѧ всѣ о бѣсъную" (полная форма, так как речь идет об уже известных бесноватых). Объяснение полной формы прилагательного как членной (т. е. формы с артиклем, указывающим на определенность предмета) принадлежит еще Миклошичу и является в своей основе совершенно справедливым» (Якубинский, 1952, с. 55).

Представление Ф. Миклошича о значении исследуемой категории кажется нам неполным, а потому и в известной мере неточным. Момент первичности и вторичности упоминания лица (или предмета) не охватывает всех моментов, связанных со значением полных и кратких форм. Понятие определенности, по нашему мнению, шире понятия вышеупомянутости. Однако и в границах последнего полная форма употребляется не всегда последовательно — это показы-

вает анализ примеров. Отметим также, что следует различать случаи вышеупомянутости лица (живого существа) и предмета.

Рассматривая приведенные Л. П. Якубинским примеры подробнее, укажем прежде всего, что все они относятся к случаям вышеупомянутости лица (или живого существа), но не предмета. Первый пример относится к употреблению субстантивированного прилагательного (в данном случае причастия). Второй (о бесноватых) — также пример с субстантивированным прилагательным. В нем прилагательное **люта** определяет краткое субстантивированное прилагательное **бѣсъна**. Употребление краткой формы в этом примере может быть объяснено не только фактором первичной упомянутости, но и тем, что, во-первых, при субстантивированном прилагательном в краткой форме не может быть прилагательного–определения в полной форме; во-вторых, с наречием, определяющим прилагательное (**зѣло**), также обычна краткая форма; в-третьих, обособленное определение выступает, как правило, в краткой форме. Таким образом, употребление прилагательного **люта** в краткой форме обусловливается в данном случае еще целым рядом факторов. Третий пример (о свиньях) является единственным зафиксированным нами в текстах характерным примером на вышеупомянутость лица (живого существа). Пример этот, к сожалению, также не может быть признан классическим, так как в нем в одном из случаев (либо в первом, либо во втором) выступает существительное. В тексте каждого кодекса он повторяется несколько раз:

1-й раз: Мф. 8–30, 31. **бѣ же далече отъ неѭ стадо свиний мъного пасомо бѣси же молѣхѫ и глѭще аще изгониши нъı повели намъ [и] ити въ стадо свиное**. М. З. А. С. (ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων).

2-й раз. Мр. 5–11, 12. **бѣ же тоу стадо свино пасомо велие при горѣ і молишѧ и вьси бѣси глѭште посъли нъı вь свиниѩ да вь нѧ вьнидемь**. М. З. (ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν).

3-й раз: Лк. 8–32, 33. **бѣ же тоу стадо свиноѥ много пасомо въ горѣ и молишѧ і бѣси да повелитъ имъ вьнити въ стадо свиноѥ ... ишъдъше же бѣси вьнидѫ въ стадо свиноѥ**. С. (ἦν δὲ ἐκεῖ

ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν ... ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους).

Этому последнему примеру в других кодексах соответствует текст без прилагательных: **бѣ же тоу стадо свинии мъного пасомо въ горѣ і молиша и да повелитъ имъ въ тъи вънити ... ишедъше же бѣси отъ чл҃вка вънидѫ въ свиниѭ.** М. З. А. В третьем примере (в Саввиной книге) в трех случаях полная форма.

Третий пример указывает на известную факультативность употребления полной и краткой формы прилагательного-определения (по крайней мере, для писца Саввиной книги) при первом упоминании лица (живого существа) и свидетельствует о том, что в этом отношении нет полной четкости в языке старославянских памятников. Вышеупомянутость и невышеупомянутость, воспринимаемая как определенность и неопределенность лица (живого существа), может быть поэтому усилена указательным или неопределенным словом. Такое усиление мы наблюдаем как раз в примере, где прилагательное выступает в обоих случаях (этот пример, не считая приведенного выше третьего примера из Саввиной книги, в исследованных текстах — единственный).

Мр. 12–42, 43. **і пришедъши едина въдовица оубога въвръже дъвѣ лептѣ ... і призъвавъ оученикы своѭ рече имъ аминь гл҃ѭ вамъ ѣко въдовица си оубогаа мъножѣе вьсѣхъ въвръже.** М. З. (καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο ... καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων βέβληκεν).

То же — Лк. 21–2, 3. **видѣ же и единѫ въдовицѫ оубогѫ ... и рече ... ѣко вьдовица си оубогаѣ.** М. З. А. С. (εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν ... καὶ εἶπεν ... ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ).

Случаи вышеупомянутости предметов в исследуемых текстах более многочисленны; в них нет строгой последовательности употребления сначала краткой, а затем полной формы.

Мр. 5–3, 4. (чк҃ъ) **іже жилиште імѣаше въ гробѣхъ і ни желѣзномь ѫжемь его никтоже не можаѧше его съвѧзати за не емоу много кратъі пѫтъі і ѫжи желѣзнъі съвѧзаноу сѫштю прѣтрьзаѧхѫ сѧ отъ него ѫжа желѣзнаа і пѫта съкроушаахѫ сѧ.** З. (ἄνθρωπος ... ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οἰδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι). Однако в Мар. к. находим: ... **прѣтръ-**

заахѫ сѧ отъ него ѫжа желѣзна — во всех случаях краткая форма.

Или: Мф. 13–45, 46. **подобьно ѥстъ ц҃рство нб҃скоѥ чл҃коу коупьцю ищѫщюмоу добръ бисъръ ѩже обрѣтъ многоцѣньнъ бисъръ шъдъ продастъ все ѩмѣниѥ своѥ.** С. (πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν).

Однако в других кодексах мы находим краткую форму; употребление ее обусловлено иным фактором, наличием числительного (неопределенного местоимения) **единъ: іже обрѣтъ единъ мьногоцѣнень бисьръ.** М.; **единъ многоцѣннь.** З.; **единого многоцѣнъна.** А.

Или: Лк. 5–37. **і никтоже не въливаатъ вина нова въ мѣхъі ветъхъі аще ли же ни просадитъ вино новоѥ мѣхъі.** М. З. (καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς).

Употребление полной формы во втором случае закономерно. Однако в следующем примере в соответствии с греческим оригиналом в обоих случаях краткая форма:

Мф. 9–17. **ни вьливаѭтъ вина нова въ мѣхъі ветъхъі аще ли же ни просѧдѫтъ сѧ мѣси і вино пролѣетъ сѧ і мѣси погыблѭтъ нъ вино ново въ мѣхъі новъі въливаѭтъ.** М. (οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς).

В этом примере, быть может, в представлении писца речь шла не об одном и том же предмете, о котором говорится во второй раз, а вообще о предмете отвлеченно. Тем не менее, едва ли убедительно такое объяснение; это видно из следующего примера. В том же кодексе и в том же контексте находим:

Мр. 2–22. **і никътоже не въливаатъ вина нова вь мѣхъі ветъхъі аще ли же ни просадитъ вино ново і вино пролѣетъ сѧ і мѣси погыбнѫтъ нъ вино новоѥ въ мѣхъі новъі лиѣти.** М. З. (καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί). В греческом тексте νέον употреблено только один раз.

Закономерно (по теории Миклошича) и употребление краткой формы в следующем примере, где предмет упоминается впервые:

Мф. 13–24, 38. **оуподоби сѧ цр҃ствие небеское чл҃вкоу сѣвъшоу добро сѣмѧ на селѣ своемь** ... (следует притча и затем разъяснение этой притчи). ... **а село естъ весь миръ доброе же сѣмѧ се сѫтъ сн҃ве цр҃ствиѣ.** М. (ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ ... ὁ δέ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὐτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας). Однако в других кодексах в том же контексте и в первом, и во втором случае употребляется полная форма — **доброе сѣмѧ.** З. А. 162, 163.

Или: Мр. 4–8, 20. (Из притчи о сеятеле) **і дроугое паде на земи добрѣ і даѣше плодъ** ... затем толкование: **а си сѫтъ сѣании на добрѣ земи іже слышѧтъ слово.** М. (καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ... καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπείραντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον). В этом примере и в первом, и во втором случае краткая форма.

Можно снова предположить, что в данном примере писец не стремился подчеркнуть того факта, что семя упало именно на ту же (упомянутую выше) хорошую почву, говоря о ней более отвлеченно (вообще на хорошую почву), однако пример из Зографского кодекса (см. ниже) противоречит этому. Нельзя также согласиться и с объяснением А. Вайана. А. Вайан указывает на два случая неизменного употребления краткой формы — в застывших оборотах и в названиях праздников, приводя как раз рассматриваемый нами пример — **сѣание на добрѣ земи** (Мар. к. IV–20) (см. Вайан, 1952, с. 201). Применительно к старославянскому языку очень трудно говорить об устойчивых сочетаниях и оборотах (см. § 18, 19). Об этом свидетельствует и следующий пример:

Мр. 4–20. **ӑ си сѫтъ сѣании на добрѣі земли.** З. (пример, где «хорошая почва» повторяется во второй раз; лист с примером из Мр. 4–8 в кодексе утерян).

Однако в том же Зографском кодексе есть примеры, когда в обоих случаях употреблена краткая форма.

Мф. 13–8, 23. **дроугаа же падѫ на земи добрѣ і даѣхѫ плодъ ... а сѣаное на добрѣ земи сь естъ слышѧи слово.** М. З. (ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν ... ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς). Аналогично Лк. 8–8, 15. **а дроугое паде на земи добрѣ ... а еже на добрѣ земи сии сѫтъ іже добромь сръдьцемъ** ... М. З. А. С. (καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν ... τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ).

Или: Ио. 19–2, 5. и воини съплетъше вѣнець отъ трънїѣ възложиша на главѫ емоу и въ ризѫ прѣпрѫдънѫ облѣшѫ ... ѝзиде же ѿсъ вонъ носѧ тръновъи вѣнець и прѣпрѫдьнѫѭ ризѫ. А. (καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν ... ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον).

Этот пример полностью соответствует положению Миклошича о вышеупомянутости, однако в других кодексах фиксируем: воини же съплетъше вѣньць трьнѣнъ и възложиша на главѫ ѥмоу ѝ въ ризѫ прѣпрѫдьнѫ ѡблѣкоша ... ѝзиде же ѿс вънъ носѧ трьнѣнъ вѣньць ѝ прѣпрѫдьнѫѭ ризѫ. С.; вѣнецъ отъ трънїѣ; 2-й случай: тръновъ. М. Здесь уже только прѣпрѫдьнѫѭ в полной форме; и, наконец, в Зографском кодексе фиксируем только краткие формы во всех случаях: ꙗ воини съплетъше отъ трънїѣ вѣньць възложиша на главѫ емоу ꙗ въ ризѫ прапрѫдьнѫ облѣша ꙗ ... ꙗзиде ѿс вънъ носѧ тръновъ вѣньц(ь) ꙗ прапрѫдьнѫ ризѫ. З.

Этим почти исчерпываются примеры на вышеупомянутость лиц или предметов в исследуемых текстах. Фактор вышеупомянутости можно считать одним из моментов проявления категории определенности и неопределенности прилагательных в старославянском языке, однако его никак нельзя признать основным, центральным моментом рассматриваемой категории. Само по себе употребление полной формы при вышеупомянутости в старославянскcм языке — непоследовательно. Это свидетельствует о неустойчивости рассматриваемого фактора в случаях, когда прилагательное выступает в функции определения. При субстантивации употребление сначала краткого, а затем полного прилагательного более закономерно (см. § 45).

В современном сербскохорватском и словенском языках употребление кратких и полных форм при первичном и вторичном упоминании лица (предмета) в принципе то же, что и в старославянском языке, но менее последовательно.

§ 29. Некоторые прилагательные на -ьскъ (небесьскъ, земьскъ, морьскъ) были уже рассмотрены выше, в § 13, наряду с прилагательными с другим суффиксом (земьнъ, небесьнъ); однако для более полной характеристики этой группы прилагательных необходимо их специальное рассмотрение в целом.

Выделение прилагательных на **-ьскъ** в отдельную группу можно считать оправданным потому, что эти прилагательные в старославянском языке, в отличие от современных славянских языков, имели довольно ограниченный и замкнутый круг значений, во многом определявший употребление полной (resp. краткой) формы в атрибутивной функции. Суффикс **-ьскъ**, по справедливому замечанию А. Мейе, «служит для образования прилагательных от существительных, обозначающих место, например **назарєтьскъ** ..., вне этого главного типа число примеров не очень велико, и здесь уже немало случаев, когда другой суффикс того же значения конкурирует с **-ьскъ** (**чловѣчьскъ** "τοῦ ἀνθρώπου" З. М. С., но **чловѣчь**, Acc.)» (Meillet, 1905, p. 330). Вне главного, основного типа локативных прилагательных с суффиксом **-ьскъ** в исследуемых текстах зафиксированы почти исключительно прилагательные со значением родовой притяжательности. Прилагательные на **-ьскъ** тесно соприкасаются с другой лексически и морфологически обособленной группой — группой притяжательных прилагательных. Этот факт отмечался рядом исследователей, которые даже включали группу прилагательных на **-ьскъ** в разряд притяжательных прилагательных[38]. Такую классификацию, с точки зрения современного состояния славянских языков, нельзя признать достаточно обоснованной, но в применении к старославянскому языку, учитывая при этом специфику рассматриваемой нами категории, ее можно считать приемлемой[39]. В современных славянских языках легко выделить немалое число прилагательных на *-ски* и с качественно-относительным значением, притом в них оттенок качественности бывает часто очень значителен. В старославянском языке прилагательные на **-ьскъ** имели почти всегда чисто относительное значение.

---

[38] Такого мнения придерживался И. И. Срезневский; прилагательные типа *детский, отцовский* он относил к притяжательным (см. Срезневский, 1887, с. 58). За ним следовал В. А. Богородицкий; он ставил в один ряд прилагательные *Иванов, отцов, братнин, сельский* (см. Богородицкий, 1935, с. 157). Это же положение принимали и некоторые другие русские ученые; из иностранных укажем на Л. Андрейчина (см. сноску в § 11).

[39] А. Вайан полагает, что «имя прилагательное на **-ьскъ** в известной мере трактуется как притяжательное прилагательное; суффикс **-ьскъ** в этом случае образует производные прилагательные от групп в отличие от притяжательных прилагательных на **-овъ** и др., образуемых от названий отдельных лиц» (Вайан, 1952, с. 235).

Прилагательные на **-ьскъ**, образованные от существительных, означающих место, были тесно связаны по своему смысловому значению с притяжательными прилагательными (прилагательными родовой притяжательности), ибо само отношение к месту ощущалось как принадлежность определяемого предмета к этому месту[40].

В зависимости от семантики существительного (имя собственное или нарицательное и т. п.), от которого образовано прилагательное, значение последнего может быть более или менее конкретным. Этот момент необходимо постоянно учитывать при рассмотрении случаев употребления краткой (resp. полной) формы прилагательного.

а) Прилагательные на **-ьскъ**, образованные от собственных имен существительных, означающих место.

Прилагательное на **-ьскъ** служит для обозначения названий стран, рек, гор, городов и т. п. (**страна, землꙗ**). Например, Мр. 5–1. **і придѫ... въ странѫ гадаринскѫ**. М. З. (τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν); Мф. 15–21. **ис отиде въ странѫ тоурьскѫ и сꙋдонъскѫ**. М. З. А. С. (τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος); Мр. 6–53. **і прѣѣвъше придѫ на землѭ ѣенисаретъскѫ и присташѧ**[41]. М. З. (τὴν γῆν Γεννησαρὲτ).

Почти независимо от греческого оригинала в данных случаях преимущественно выступает краткая форма; полная форма встречается довольно редко и притом непоследовательно, в разночтениях[42].

---

40 Подобное разграничение особенно трудно и, пожалуй, даже невозможно провести в таких, например, случаях, как **старьци июденсци**. Здесь неизвестно, как перевести: «старцы иудейские» (т. е. иудеев) или «старцы Иудеи» (страны), — возможно и то, и другое.

41 Ср. аналогичный пример: Мф. 14–34. **и прѣплꙋвъше придѫ въ землѭ генисареѳь**. С., в соответствии с греч. ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ; в других кодексах **землѭ ѣенисаретъскѫ**. М. З. А.

42 Только краткая форма: Мф. 8–28. **і пришедъшоу емоу.. въ странѫ ѣерѣесинскѫ**. М. З. А. (εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν); **землѫ геръгесиномъ**. С.; Мф. 11–24. **ѣко земи содомьсцѣ отърадьнѣе бѫдетъ**. М. З. (ὅτι γῇ Σοδόμων); Мр. 8–10. **придє въ страны далъманоутанъскы**. М. (τὰ μέρη Δαλμανουθά); Лк. 3–1. **четврътовластъствоуѭштоу итоурнеѭ и трахонитъскоѭ ст(р)аноѭ**. М.; **страхонитъскоѭ**. З. А. **страхотъскоѭ**. С. (τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας); Мр. 1–28. **і изиде слоухъ его абие во вьсѫ странѫ галиленскѫ**. М. З. (τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας). Разночтения: Лк. 8–26. **і прѣѣдѫ на землѭ гадаринъскѫ(ѭ)**. М.; **ѣенисаретьскѫ**. З.; **гадариньскѫ**. С. А. (εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν); Мф. 2–22. **отіде въ странѫ галиленскѫ**. А.; **галиле...ѭѭ**. С. (εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας); Лк. 3–3. **і придє во вьсѫ**

Это же положение отражают и следующие примеры:

прѣдѣлъ — Мф. 15–39. **и пришедъ въ прѣдѣлы магдаланьскы**. М. З. А.; **вь прѣдѣлы могъдаламъ**. С. (в соответствии с греч. εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν).

область — Лк. 8–37. **і молиша и вьсъ народъ области гадаринъскыѩ**. М.; **герьгесиньскыѩ**. С. А. (τῆς περιχώρου τῶν Γεργεσηνῶν).

гора — Лк. 22–39. **і ишедъ иде по обычаю въ горѫ елеонъскѫ**. М. З. (τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν)[43].

градъ — Ио. 4–5. **Приде же и҃съ въ градъ самарьскъ нарицаемы сꙋхарь**. М. З.; **самаренскь**. А. (εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας)[44].

странѫ норъданъскѫѭ. М. З. С.; **нерданьскѫ**. А. (τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου); Мф. 10–15. **отърадьнѣе бѫдетъ земи содомьсцѣи гоморьсцѣи**. М.; **содомьсцѣ и гоморсцѣ**. З. (γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων); Мр. 1–5. **і исхождааше къ немоу вьсѣ июденска страна**. М.; **всѣ іюдеискаѣ**. З.; **июденска**. А.; **іюдеискаꙗ**. С. (πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα); Мф. 3–5. **исхождааше кь немоу весь иерлмъ ... и всѣ страна иерданска**. А.; **іюдеискаꙗ**. С. (ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου); Ио. 3–22. **приде и҃съ і ꙋченици его въ июденскѫѭ землѭ**. М.; **въ землѭ іюденскѫ**. А. (εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν). Отметим единственный случай с полной формой без разночтений: Лк. 1–65: **і бысть на вьсѣхъ страхъ ... і въ вьсеи странѣ июденстцѣи**. М.; **въ всеи горниї июдѣистѣи**. А. (ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας).

Только краткая форма: Мр. 7–31. **ишедъ и҃съ отъ прѣдѣлъ тꙋръскъ и сꙋдоньскъ**. М. З. А. С. (τῶν ὁρίων Τύρου καί Σιδῶνος); Мр. 7–24. **въставъ иде въ прѣдѣлы тꙋрьскы и сидоньскы**. М. З. (τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος); Мр. 7–31. **приде ... междю прѣдѣлы декапольскы**. М. З. А. С. (μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως); Мр. 10–1. **приде въ прѣдѣлы июденскы**. М. З. (τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας); то же Мф. 19–1, М.

43 В том же контексте соответственно с греч. τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν только краткая форма еще в четырех случаях: Мф. 21–1, М. С.; Мф. 24–3, М. А. С.; Мр. 11–1, М. З.; Мр. 13–3, М. З.; и в четырех случаях разночтения: Мф. 26–30. **елеонъскѫ**. М. А. С.; **елеоньскѫѭ**. З.; Мр. 14–26. **елеонъскѫ**. М.; **елеоньскѫѭ**. З.; Ио. 8–1. **елеонъскѫ**. М.; **елеоньскѫѭ**. З.; Лк. 19–37. **елеоньстцѣи**. М.; **елеоньсцѣ**. З.

44 С существительным **градъ** только краткая форма: Лк. 1–26. **посъланъ бысть ... въ градъ галиленскъ**. М. З. А. (εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας); Лк. 2–4. **вьзнде же иосифъ отъ галилеѩ із града назаретъска**. М. З. А. С. (ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ); Лк. 4–31. **і вьниде и҃съ въ каперънаоумъ въ градъ галиленскъ**. М. З. А. (εἰς ... πόλιν τῆς Γαλιλαίας); Лк. 24–49. **вы же сѣдѣте въ градѣ иероусалимъсцѣ**. М. З. А. (ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλὴμ); Лк. 5–17. **іже бѣахѫ пришьли отъ вьсѣкоѩ вьси галиленскы и июденскы**. М. З.; **въсѣхъ въсні галиленскъ и июденскъ**. А. (ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας); Лк. 9–52. **вънидѫ вь весь самарѣнъскѫ**. М. З. (εἰς κώμην Σαμαρειτῶν). Краткая форма не преобладает при названии городов по области или по другому городу, например: Лк. 4–27. **нееманъ соурьскы**. М.; **асурскъні**. А. (Ναιμὰν ὁ Σύρος); Лк. 4–26. **въ сарефтѫ сидонъскѫѭ**. М. А. С.

езеро — Лк. 5–1. **і тъ бѣ стоꙗ ис҃ъ при езерѣ ѣенисаретъсцѣ.** М. З. А. (παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ).

море — Мф. 15–29. **ис҃ іде при мори галилѣисцѣмъ.** М. З. (τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας)[45].

поустъıни — Мф. 3–1. **проповѣдаꙗ въ поустъıни нерданстѣи.** А. (ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας)[46].

Таковы случаи употребления прилагательных, образованных от собственных имен существительных, означающих место и выступающих в атрибутивной связи с существительными локативного значения (**страна, градъ, море**). В них наблюдается отсутствие закономерности в употреблении полной (resp. краткой) формы; преобладающее число примеров зафиксировано с краткой формой, меньшее число аналогичных примеров с полной формой, число разночтений — весьма значительно. Это объясняется тем, что лексическое значение рассмотренных конструкций прилагательное + существительное столь определенно, что в этом отношении нет нужды в каком-либо дополнительном показателе (ср. подобное положение с притяжательными прилагательными). Само по себе сочетание типа **градъ самарьскъ** не может означать

(εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας); Мр. 1–9. **отъ назарета галилеискааго.** М. З. С. (ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας); то же Мф. 3–13, А.; Мф. 21–11, М. С.; Мф. 2–1. **въ вифлеѥмѣ іюдеисцѣмь.** С. А. (ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας); то же Мф. 2–5, С.; **іюдѣистѣи.** А.; Лк. 23–51. **отъ ариматѣꙗ града іюдеиска.** М. З. (ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων); Ио. 12–21. **отъ вндъ(в)сандъı галѣлѣискъıꙗ.** М. З. А. (τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας); Ио. 2–1. **въ кана галилеисцѣи.** М. З.; **галилеи.** А. (ἐν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας); то же Ио. 2–11, М. А.; **галилеи.** З. Наконец, случай с разночтением: Ио. 21–2. **отъ кана галилѣискъı.** М. З.; **галилеискъıꙗ.** А.

45 В трех остальных случаях зафиксированы разночтения в том же контексте: Мф. 4–18. **галилеисцѣмъ.** З. А.; **галилеисцѣ.** С.; то же Мр. 1–16. **галилеісцѣмь.** З.; **галилеисцѣ.** М.; Мр. 7–31. **на море галилеиско.** М. А. С.; **галилеіское.** З. В аналогичных примерах: Ио. 21–1. **ѣви сѧ пакъı ис҃ оученикомъ своимъ на мори таворьѣдьсцѣмь.** М. З. А. (τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος); Ио. 6–1. **иде ис҃ъ на онъ полъ морѣ галилѣꙗ таверьѣдъскъı.** М.; **тиверидьска,** З. А. (τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος).

46 Остальные примеры с прилагательными, образованными от собственных имен существительных, означающих место: Мф. 3–6. **и крьщахѫ сѧ въ ерданьсцѣи рѣцѣ.** С. А. (ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ); то же Мр. 1–5, М. З. А. С.; Лк. 6–17. **мъножьство мъного людии ... и отъ ие҃рлма і помориѣ тоурьска и сидоньска.** М. А. С.; **т'урьскаѣ.** З. (τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος); Ио. 18–1. **на онъ полъ потока кедръска.** М. З. А. С. (τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων); Ио. 9–7. **оумъıи сѧ въ коупѣли силоуамьсцѣ.** М. З.; **силуамлі.** А. (εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ); Лк. 13–4. **на нѧже паде стлъпъ силоуамъскъ.** М. З. (ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ).

неединичный, неопределенный предмет. Поэтому полная форма как бы индифферентна к подобным случаям, — она может и наличествовать, и отсутствовать, не нарушая этим определенности, единичности, которая заложена в самом лексическом значении данного сочетания[47].

То же приблизительно отношение наблюдается в примерах, где определяемое существительное не локативного, а иного значения.

Мф. 1–11. вь прѣселениѥ вавилоньскоѥ. С.; въ прѣселении вавилонстѣамь. А. (ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος). Мф. 1–12. по прѣселении же вавилоньсцѣмь. С.; вавилоньстѣ. А. (τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος)[48].

Заметим, что в этом случае преобладает полная форма (ср. с греческим оригиналом). Случаи, где определяемое существительное со значением лица, рассмотрены ниже.

б) Несколько иное положение было в тех случаях, когда прилагательное образовалось от нарицательного имени существительного, означающего место (небесьскъ, земьскъ, морьскъ и т. п.). Здесь почти во всех случаях выступает полная форма (примеры и их статистику см. в § 14). Число примеров с краткой формой исчисляется единицами; характерно при этом, что краткая форма фиксируется как раз в тех примерах, где определенность, единичность предмета очевидна[49]. Прилагательные типа земьскъ, небесьскъ и другие, как указывалось выше, встречаются в исследуемых текстах парал-

---

47 Ср. подобную непоследовательность в употреблении членной формы с географическими названиями в современном болгарском языке, где член выступает иногда лишь в силу языковой традиции, а не какой-либо строгой закономерности: *Дунавът*, но *Марица* и т. п. На это же явление указывал Л. П. Якубинский: «Аналогичные явления мы найдем и в языках с ярко выраженной категорией определенности и неопределенности. Ср. во французском языке *Paris* — "Париж" без члена, потому что определенность дана в лексическом значении слова, что и "Новгородъ", но *le Havr* — "Гавр" с определенным членом по той же причине, что и "Новый торг"» (Якубинский, 1953, с. 213–214).

48 Ср. также: Мф. 1–17. до прѣселениꙗ вавилоньскаго ... и ѿтъ прѣселениꙗ вавилоньскаго. С. А. (в обоих случаях τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος).

49 Краткая форма только в двух случаях: Мф. 19–23. не оудобь богатоу вънити вь цр҃ство нб҃ско. С.; нб҃скоѥ. М.; нб҃сьноѥ. А. (εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν); Мф. 18–35. тако и отецъ мои нб҃скъ сътворитъ вамъ. М.; нб҃снъи. А.; нб҃скы. С. (ὁ πατήρ μου ὁ ουράνιος). Здесь же можно привести примеры: Лк. 11–31. цс҃рца южьскаа въстанетъ на сѫдъ. М.; южьска. З. (βασίλισσα νότου); то же: Мф. 12–42. южьскаа. З. Или: Мф. 23–33. како оубѣжите отъ сѫда ѣеонъскааго. М. (ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης).

лельно с прилагательными **земьнъ, небесьнъ** и др.; притом различие в суффиксах не отражается в употреблении полной (resp. краткой) формы.

Причину наличия полной формы в конструкциях типа **цр҃ство небесьское** мы усматривали в конкретности их лексического значения, но определенность этих конструкций была не столь четкой, как в примерах типа **градъ сидоньскъ**, — это, видимо, и требовало дополнительного грамматического оформления определенности в виде полной формы.

в) В исследуемых кодексах зафиксированы следующие случаи, когда прилагательное на **-ьскъ**, образованное от собственного имени существительного, означающего место (город, область и т. п.), выступает в качестве определения к имени собственному, означающему лицо:

Мф. 26–69. **і ты бѣ съ и҆с҃мъ галилеискымъ.** М. З. А. С.$_{88, 105}$ (μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου); Лк. 3–1. **въ пѧтое на десѧте лѣто ... обладаѭштоу понтьскоумоу пилатоу июдѣеѭ.** М. З. А. С. (ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου)[50]; Мф. 26–14. **июда искариотъскы.** М. З. А. С. (Ἰούδας Ἰσκαριώτης)[51].

В этих случаях последовательно фиксируется полная форма. В них прилагательное выполняет ту же функцию, что и в устойчивых сочетаниях, рассмотренных выше (типа **иѣкова малаего**, см. § 19), т. е. в именах, прозвищах и т. п. Полная форма выполняет здесь свою основную функцию индивидуализации, указывает на единичность лица. Важно отметить также, что оттенок притяжательности в данных примерах незначителен.

г) Иное соотношение полных и кратких форм наблюдается в тех случаях, когда прилагательное, образованное от собственного имени существительного, означающего место, выступает в качестве определения к нарицательному существительному со значением лица.

---

50 Ср. также: Мф. 27–2. **і прѣдашѧ и понтьскоумоу пилатоу.** М. З. А. С. (καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι).

51 В греческом оригинале и с членом, и без него: а) без члена: Мр. 3–19. **і юдѫ искариотъскааго.** М. З. (Ἰούδαν Ἰσκαριώτην); Мр. 14–43. **іюда іскариѡтъскы.** З. (Ἰούδας); Лк. 6–16. **июдѫ искариотъскааго.** М. З. (Ἰούδαν Ἰσκαριώθ); Ио. 13–2. **июдѣ симоновоу искариотъскоумоу.** М. З. С.$_{371-7}$ (Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης); Ио. 13–26. **июдѣ симоню искариотъскоумоу** М. З. (Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου); б) с членом: Мр. 14–10. **июда искариотъскы.** М. З. (ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης); Ио. 12–4. **июда симонь и҆скариотъскы.** М. З. А. С. (Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης); Ио. 14–22. **июда не искариотъскы.** М. З. А. С. (Ἰούδας οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης).

Мф. 27–32. **ісходѧще же обрѣтѫ чка куринѣиска іменемь симона.** М. З. А. С. (ἄνθρωπον Κυρηναῖον). Лк. 23–6. **въпроси и аште члкъ галилѣискъ естъ.** М. З. (ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖος)[52].

В этих двух случаях краткая форма закономерна. Лицо, определяемое прилагательным, ничем не выделяется из числа ему подобных, обладающих тем же свойством лиц (один из киринейцев, один из многих ему равных, аналогично примеру **члвкъ богатъ**).

Специального объяснения требует наличие краткой формы в таких примерах, как: Лк. 23–28. **ис къ нимъ рече дъштери іискы не плачите сѧ о мьнѣ.** М. З. (θυγατέρες Ἰερουσαλήμ).

Здесь следовало бы ожидать полную форму, как и в примерах, приведенных выше на с. 115, однако в данном случае, надо полагать, решающую роль сыграл другой фактор — связь прилагательных на **-ьскъ** с притяжательными прилагательными.

Эта связь особенно ярко выступает в таких примерах, как **црь июденскъ**, где прилагательное **июденскъ** понималось, видимо, славянским переводчиком как "царь, принадлежащий иудеям", "царь иудеев" (на это указывает и греческий текст, где фиксируется родительный притяжательный):

Мр. 15–18. **радоуи сѧ цсрю июденскъ.** М. З. А. С. (βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων). Ио. 18–39. **хоштете ли оубо да отъпоущѫ вамъ цсрѣ июденска.** М. З. А. С. (τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων); Мф. 2–2. **къде естъ рождъ сѧ црь июдейскъ.** С. А. (ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς Ἰουδαίων)[53].

Здесь, несмотря на обращение (звательный «падеж») в первом случае и на вышеупомянутость во втором случае, употреблена краткая форма. Краткая форма **июденскъ** выступает довольно последовательно во всех сочетаниях, зафиксированных в исследуемых памятниках, притом большинство

---

52 Того же типа примеры: Мф. 15–22. **і се жена хананенска отъ прѣдѣлъ тѣхъ.** М. З. А. С. (καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία); разночтения зафиксированы в следующих примерах: Мф. 12–41. **мѫжи ниневьѣитьстии въстанѫтъ на сѫдъ.** М. невьѣитьсци. З. (ἄνδρες Νινευεῖται); то же Лк. 11–32, М. З.; Мр. 6–21. **вечерѭ творѣаше ... і старѣишинамъ галиленскамъ.** М. З.; галиленскъними. А. (καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας).

53 Всего сочетание **црь июденскъ** всегда с краткой формой прилагательного в различных функциях и падежах (в греческом при этом последовательно формы с членом) зафиксировано в Савв. кн. 12 раз, в Мар. к. — 16 раз, в Зогр. к. — 15 раз, в Ассем. к. — 15 раз.

из них относится к случаям, когда речь идет о вполне определенном, единичном предмете или понятии (например, **пасха июденска**)[54]. А. Вайан указывает, что «имена прилагательные на **-ьскъ** в том случае, когда они выступают вместо родительного падежа множественного числа, ведут себя как притяжательные прилагательные и склоняются (по крайней мере так было вначале) только по неопределенному склонению: **цѣсарь июдѣискъ** (обычно), зват. п. **цѣсарю июдѣискъ** Матфей XXVII, 29 и др., дат. п. мн. ч. **старѣишинамъ галилѣискамъ**, Марк VI, 21. Мар., Зогр., Остр. (**-скъиимъ** Асс.). Однако притяжательное значение не отграничено строго от обычного значения производных прилагательных, и определенные (полные. — *Н. Т.*) формы колеблются в своем употреблении с неопределенными и впоследствии стремятся их вытеснить» (Вайан, 1952, с. 157–158).

Утверждение Вайана, данное в начале приведенной цитаты, вполне применимо для рассматриваемой нами группы прилагательных (типа **июденскъ**), но оно не относится ко всем прилагательным на **-ьскъ** без исключения[55].

---

54 Прилагательное **июденскъ** зафиксировано также в следующих случаях: Ио. 3–1. **бѣ же чл҃вкъ отъ фарисѣи никодимъ имѧ емоу кънѧзъ июденскъ**. М. З. А. (ἄρχων τῶν Ἰουδαίων); Лк. 1–5. **въ дьни ирода цѣсѣрѣ июденска**. М. З. А. (Ἡρώδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας); Ио. 18–12. **і слоугы июденскы ѩсѧ и҃са**. М. З. А. С. (οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων); разночтение: Ио. 19–21. **гл҃аахѫ же пилатови архиереи июденсции**. М.; **июденсци**. З. (οἱ αρχιερεῖ τῶς Ἰουδαίων); Лк. 7–3. **посъла къ немоу старъцѧ июденскы**. М. З. С. **старцѧ людскъиѧ**. А. (πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων). Определяемым существительным является не лицо, а какой-либо предмет или понятие: Ио. 2–6. **бѣ же тоу ... по очиштению июденскоу**. М. З. А. (τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων); Ио. 11–55. **бѣ же близъ пасха июденска**. М. З. (τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων); то же Ио. 2–13, М. З.; **июденскаа**. А.; Ио. 7–2. **бѣ же близъ праздьникъ июденскъ**. М. З. А. (ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων); **праздьникъ июденскъ** еще: Ио. 6–4, М. З.; Ио. 5–1, М. З.; Ио. 19–42. **тоу же за параскевьѣниѫ июдѣискѫ ... положисте и҃са**. М. З. А. (τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων); наконец, **страхъ июденскъ**: Ио. 20–19. **идеже бѣахѫ оученици его събърани за страхъ июденскъ**. М. А. (διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων); то же Ио. 7–13, М. З. А. и Ио. 19–38, М. З. А.; для этих примеров важно учитывать замечание А. Вайана о том, что «притяжательное прилагательное может иметь объектное значение (пассивное) наряду с обычным субъектным значением (активным): **страхъ июденскъ**, Ио. 19–38 и др. — это не страх, испытываемый иудеями, но страх, который внушают иудеи» (Вайан, 1952, с. 161).

55 В качестве дополнительного примера можно привести еще: Ио. 7–35. **еда въ расѣание елинъско хоштетъ ити**. М. З. (τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων). В греческом родительный притяжательный отсутствует: Лк. 23–38.

д) Конструкции, в которых выступает прилагательное на -ьскъ не от существительных локативного значения (или названий народностей), немногочисленны, но довольно разнообразны.

Почти все они образованы от существительных со значением лица (чл҃вкъ, пророкъ и т. п.) и являются прилагательными родовой принадлежности.

Лк. 14–1. і бысть егда вьниде и҃с въ домъ единого кънѧза фарисѣиска. М. А. С. (τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων). Краткая форма закономерна после числительного единъ, выступающего в функции неопределенного местоимения. В таком же примере, как: Мр. 8–15. блюдѣте сѧ отъ кваса фарисѣиска. М. З. (τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων)[56], она вызвана, видимо, тем же фактором, что и в примере страхъ июденскъ.

Однако, наряду с краткой формой, в данной лексической группе выступает и полная: Лк. 1–9. по обычаю иереискоумоу ключи сѧ емоу покадити. М. З. А. (κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας); Лк. 23–23. і оустоѣахѫ гласи ихъ і архиереистии. М. З. (αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων); Мф. 23–29. ѣко зиждете гробы пророчьскыѩ. М. (τοὺς τάφους τῶν προφητῶν); Мф. 26–56. да събѫдѫтъ сѧ кънигы пророчъскыѩ. М. З. А. С. (αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν).

При этом в последних двух примерах употреблена полная форма, несмотря на то, что в греческом ей соответствует родительный притяжательный множественного числа.

Таким образом, если прилагательные на -ьскъ, образованные от существительных — названий народностей, довольно последовательно выступают в краткой форме, то прилагательные, образованные от существительных, обозначающих

бѣ ... же ... написано ... кънигами елинъскамі и римъскамі і евреискамі. М. З. А. С.; в Савв. кн. грьчъскъіми вместо евреискамі (αὐτῶ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ ρωμαϊκοις καὶ Ἑβραϊκοῖς). У прилагательных, образованных от названий народностей, а также различных социальных групп, греческому родительному притяжательному множественного числа соответствует краткая форма. Однако от существительного пророкъ — полная форма, несмотря на греческий текст. Мф. 26–56. да събѫдѫтъ сѧ кънигы пророчъскыѩ. М. З. А. С. (αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν).

56 Ср. аналогичные примеры: Мф. 16–6. блюдѣте сѧ отъ кваса фарисеиска и садукеиска. М. З. (τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων). То же Мф. 16–11, М. З. и Лк. 12–1, М. З.; и, наконец, Мф. 16–12. не отъ кваса хлѣбънааго нъ отъ оучениѣ фарисеиска и садукеиска. М. З. (τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων), где важно отметить вторичную упомянутость.

представителей социальных групп, чаще встречаются с полной формой (ср. аналогичное положение с прилагательными локативного значения, образованными от имен собственных и от имен нарицательных).

е) Прилагательное, образованное от существительного **чловѣкъ**, чаще всего встречается в сочетании **сн҃ъ чл҃вскъ**, притом применительно к одному, определенному лицу — Иисусу.

Мф. 8–20. **а сн҃ъ чл҃вчскы не иматъ къде главы подъклонити.** М. З. С.; **чл҃чъ.** А. (ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου).

В подавляющем большинстве примеров фиксируется полная форма, однако есть случаи, когда в аналогичной функции выступает и краткая форма. Такое колебание вообще характерно для прилагательных на **-ьскъ**, занимающих промежуточное положение между притяжательными и качественно-относительными прилагательными[57].

В тех случаях, когда речь идет не о конкретном лице, а о людях вообще (см. первый пример) или о каких-либо предметах или явлениях вообще, свойственных, принадлежащих людям (см. второй и следующие примеры), выступает краткая форма.

Мр. 3–28. **ѣко вьсѣ отъпоустѧтъ сѧ сн҃мъ чл҃вѣчъскомъ.** М. З. (τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων); Мф. 23–4. **і възлагаѭтъ на плешта чл҃вска.** М. А. (ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων); Мр. 9–31. **ѣко сн҃ъ чл҃вскы прѣданъ бѫдетъ въ рѫцѣ чл҃вчсцѣ.** М. З. С.; **чл҃кмъ.** А. (εἰς χεῖρας ἀνθρώπων)[58]; то же Лк. 9–44, М. З.

---

[57] В греческом тексте в соответствии с конструкцией **сн҃ъ чл҃вскы** или **сн҃ъ чл҃вскъ** всегда, без исключения, форма с членом (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου или другая, в зависимости от падежа). В исследуемых текстах конструкция с полной формой на **-ьскъ** зафиксирована в Савв. кн. — 31 раз, в Мар. к. — 78 раз, в Зогр. к. — 70 раз, в Ассем. к. — 22 раза; с краткой формой: в Савв. кн. — 11 раз, в Мар. к. — 5 раз, в Зогр. к. — 3 раза, в Ассем. к. не зафиксировано ни одного случая. Этот кодекс отличается от других тем, что в нем широко представлена форма прилагательного с суффиксом *-jь* (**чловѣчь**, всегда краткая). Это еще один пример, иллюстрирующий близость прилагательных на **-ьскъ** к категории притяжательных прилагательных. Важно отметить также, что все краткие формы на **-ьскъ** зафиксированы только как разночтения, т. е. в других кодексах в том же контексте — полная форма (исключение — один пример: Мф. 20–18. **сн҃ъ чл҃вчскъ прѣданъ бѫдетъ.** М., где нет того же контекста в остальных списках). Разночтения при этом не вызваны какой-либо особой функцией прилагательного; это относится и к конкурирующим формам **чловѣчь** — **чловѣчьскъ** в Ассеманиевом кодексе.

[58] Ср. аналогичные примеры: Мр. 7–8. **дръжите прѣданиѣ чл҃вчска.** М. З. (τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρῶπων); Мр. 7–21. **из оутрьѭдѫ бо отъ срдца**

В приведенных примерах, с одной стороны, нет ярко выраженного обособления, уникализации предметов (явлений), с другой стороны, опять-таки ощущается момент притяжательности (ср. греческий родительный притяжательный множественного числа), — это и обусловливает наличие краткой формы[59].

То же положение наблюдается в примерах, где выступают прилагательные **мѫжьскъ, женьскъ, дѣтьскъ**:

Мф. 19–4. **нѣсте ли чьли ѣко сътвори и іскони мѫжескъ полъ и женескъ**. М. З.; **мѫжа и женѫ**. С. (ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ)[60]. Мр. 7–28. **ібо и пси подъ трапезоѭ ѣдѧтъ отъ кроупицъ дѣтескъ**. М. З. (τῶν ψιχίων τῶν παιδίων).

ж) Наконец, следует отметить пример с прилагательным, образованным от названия животного:

Мф. 18–6. **оуиѣе емоу естъ да обѣсѧтъ жрънов на въи его осьльскы**. М. (μύλος ὀνικός), ср. **камень жрънов**ъ в § 18 и три примера, когда прилагательное на **-ьскъ** образовано от названий предмета или отвлеченного понятия:

Лк. 20–42. **а самъ давдъ глетъ въ кънигахъ псаломъскыхъ**. М. З. (ἐν βίβλῳ ψαλμῶν); Лк. 21–34. **еда когда отѧжаѭтъ срдца ваша ... печальми житеискыми**. М. З. А. С. (καὶ μερίμναις βιωτικαῖς).[61] Ио. 1–13. **іже не отъ кръвии ни отъ похоти плътьскы ни отъ похоти мѫжьскы ... родишѧ сѧ**. М. З.; **плътьскыѩ**. А. (οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς).

Как видно, в старославянском языке примеры употребления прилагательных на **-ьскъ** от названий предметов и отвлеченных понятий были весьма немногочисленны; впоследствии в отдельных славянских языках число прилагатель-

---

чл҃вчка помышлениѣ исходѧтъ. М. З. (τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων); Ио. 12–43. **вьзлюбишѧ бо паче славѫ чл҃чкѫ неже славѫ бж҃иѭ**. М.; **чс҃кѫ*. З.; **чл҃чѭ*. А. (τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων); Мф. 15–9. **въ соуе же чътѫтъ мѧ оучѧще оучениѣ заповѣдеи чл҃вчскъ*. М.; **заповѣди чс҃кы*. З. (ἐντάλματα ἀνθρώπων); то же Мр. 7–7, М. З.; Мф. 13–28. **онъ же рече імъ врагъ чс҃къ се сътвори**. З.; **врагъ чл҃вкъ*. М. А. (ἐχθρὸς ἄνθρωπος).

59 Относительно прилагательного **людьскъ**, выступающего только в сочетании **кънижьникы людьскыи** или **старьци людьстии**, см. § 18.

60 Ср. также: Ио. 1–13. **ни отъ похоти мѫжьскы ... родишѧ сѧ**. М. З. А. (οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς); Лк. 2–23. **ѣко вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полоу*. М. З. А. С. (ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον).

61 Ср. также: Лк. 8–14. **і отъ б(га)атьствиѣ и сластьми житеискыими ходѧще подавлѣѭтъ сѧ*. М. З. С. А. (καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου).

ных на **-ьскъ** активно пополнялось именно за счет образований этого типа.

Таковы случаи употребления прилагательных на **-ьскъ** в исследуемых кодексах. Как видно, они имеют целый ряд своих особенностей: четкая корреляция полных и кратких форм по признаку определенности и неопределенности, наблюдаемая, например, в качественных прилагательных, — в отдельных группах прилагательных на **-ьскъ** отсутствует. Полная форма чаще и почти всегда выступает в тех случаях, когда прилагательное образовано не от имени собственного (типа **сидоньскъ**), а от имени нарицательного с локативным значением; при этом полная форма служит дополнительным грамматическим оформителем определенности. Краткая форма преобладает в конструкциях типа **градъ сидоньскъ**; в этих случаях наличие полной формы не привносило сверх основного значения прилагательного еще какого-либо оттенка определенности. То же можно сказать и про конструкцию типа **цр҃ь июдеискъ**, где **июдеискъ** воспринималось в качестве притяжательного прилагательного.

Примеров, в которых бы можно было наблюдать четкую корреляцию кратких и полных форм одного и того же прилагательного на **-ьскъ**, исследуемые кодексы не дают. Наличие полной и краткой формы обусловливалось в первую очередь лексическим значением прилагательного[62].

---

[62] Отметим попутно, что некоторые сторонники теории предикативности не могут объяснить употребление полных и кратких форм прилагательных на **-ьскъ** со своих позиций, — эти прилагательные выпадают из их системы построений. «Наблюдения показывают, — пишет В. Л. Георгиева, — что для времени развитой древнерусской письменности нельзя даже в малейшей мере говорить о зависимости употребления именной или местоименной форм прилагательных данного типа, функционирующих в роли определения, от наличия или отсутствия в этом определении предикативности. Именная форма осталась только в сочетаниях такого типа, который, судя по семантике соответствующих его компонентов, является, очевидно, наиболее древним. Можно предполагать, что именно с этими и им подобными существительными ранее, чем со всеми другими (и еще до появления местоименной формы. — Разрядка моя. *Н. Т.*), могли сочетаться прилагательные, обозначающие принадлежность лица или предмета к определенному племени или народности. Привычность употребления в сочетаниях данного типа именной формы, вероятно, и привела ее к более длительному сохранению» (Георгиева, 1952, с. 8).

Наиболее конкретные по своему значению прилагательные (типа **сидоньскъ**) выступают преимущественно в краткой форме; именно на них падает наибольшее число несоответствий с греческим оригиналом[63].

Прилагательное с краткой формой типа **сидоньскъ** (почти так же, как и притяжательное **петровъ**) является благодаря своему лексическому значению не менее определенным, чем прилагательное на **-ьскъ** с полной формой типа **небесьскыи** (например, в конструкции **отьць небесьскыи**). Естественно, что подобная двойственность в формальном выражении двух типов прилагательных достаточно конкретного лексического значения не осталась без изменений. Полная форма в качестве грамматического оформления определенности стала все шире проникать в прилагательные типа **сидоньскъ**. Этот процесс мы наблюдаем уже вне границ старославянского языка. Во всех современных славянских языках без исключения прилагательные на **-ьскъ** выступают лишь в полной форме. Закрепление только полной формы за прилагательными на **-ьскъ** произошло рано. Даже в болгарском и сербскохорватском языках, сохранивших до сих пор краткие формы в атрибутивной функции, уже в XIV–XV вв., надо полагать, прилагательные на **-ьскъ** имели, в основном, только полную форму[64].

В современном болгарском языке, утратившем противопоставление полных и кратких форм из-за наличия члена, оказавшегося более ярким выразителем отношений определенности и неопределенности, все прилагательные без члена выступают всегда в краткой форме. Исключением из этого правила являются лишь прилагательные на *-ски*, не имеющие краткой формы. Видимо, это явилось результатом того,

---

63 Число этих несоответствий особенно значительно еще потому, что в данном случае часто греческий родительный притяжательный множественного числа с членом передается краткой, реже полной, формой прилагательного на **-ьскъ**.

64 В древнерусском языке почти все прилагательные на **-ьскъ** имели полную форму; краткая форма сохранилась лишь у прилагательных наиболее конкретного лексического значения. «Примеры с именной формой этих прилагательных составляют лишь около 1/15 общей их массы и наблюдаются, в основном, в "Повести временных лет" в сочетаниях с существительными "земля", "племя", "дети", "сын", "язык", причем сами прилагательные представляют образования от названий племен или народностей (*Словеньска* земля, *Хананеиско* племя и проч.)» (Георгиева, 1952, с. 8).

что проникновение полной формы в эту группу прилагательных закончилось к периоду, когда категория членных форм окончательно утвердилась в болгарском языке. Если бы этого к тому времени не произошло, мы вправе были бы ожидать в современном болгарском языке для прилагательных на *-ски* того же положения, что и для других прилагательных (форма с членом *българският*, форма без члена *българск*, по типу *червеният*, *червен*).

В современном сербскохорватском языке, подобно болгарскому, прилагательные на *-ски* выступают только в полной форме, как и некоторые другие группы прилагательных; например: *сеоски*, *београдски*, *мајчински*, *лавовски*[65].

Такое положение, видимо, было характерно и для древнесербского языка.

Это объясняется, так же как и для старославянского языка, конкретностью лексического значения данной группы прилагательных и их близостью к притяжательным прилагательным; в сербскохорватском языке, однако, связь употребления полной формы с семантикой прилагательного имеет еще большее значение.

§ 30. Единственной группой прилагательных в старославянском, где корреляция полных и кратких форм полностью отсутствует и употребляется исключительно краткая форма, является группа притяжательных прилагательных. Выделение этих прилагательных из общего числа качественно-относительных вызвано, таким образом, не только их семантикой (принадлежность одному конкретному живому существу), но и их морфологическими особенностями — наличием только именного типа склонения.

Притяжательные прилагательные в старославянском языке несколько обособлены от других прилагательных и в отношении словообразования; для них характерны только суф-

---

[65] Отметим, что в поэтическом языке (язык народных песен, язык поэзии, подражающей народным песням) возможны некоторые отклонения. Так, множественное число, им., вин., твор., мест. падежи ед. числа прилагательных на *-ски* и в поэтическом языке имеют исключительно полную форму. В род. и дат. падежах ед. числа возможны в редких случаях отклонения, вызванные часто требованиями версификации. Например, у Негоша: *спушки* — *спушку*, см. об этом: Maretić, 1910, s. 170; Алексић, 1931, с. 107; Вушовић, 1930, с. 95; Матић, 1939, с. 45–47. В живом разговорном и литературном языке эти отклонения не встречаются; см. Maretić, 1899, s. 198.

фиксы: *-овъ*, *-jь*, *-инъ* и *-ьнъ*. Отметим, что эти суффиксы при образовании других, качественно-относительных прилагательных мало используются[66].

При помощи суффикса *-ов-* (*-ев*) образуются притяжательные прилагательные как от имен собственных, личных, так и от нарицательных, означающих лицо или животное:

Лк. 1–39. **іде въ гр҃ж ... въ градъ июдовъ**. М. З. А. С. (εἰς πόλιν Ἰούδα); Лк. 24–44. **въсѣмъ написанымъ въ законѣ мосѣовѣ**. М. З. А. С. (ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως); Лк. 17–26. **і ѣкоже бысть въ дьни ноевы**. М. З. (ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε).

Мф. 26–51. **і оударь раба архиереова**. М. З. С. (τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως); Ио. 3–29. **а дроугъ жениховъ стоѩ и послоушаѩ его**. М. А. (ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου)[67].

Мф. 12–34. **іштѧдьѣ ехидънова како можете добро гл҃ати**. М. З. А.; **племѧ аспидово**. С. (γεννήματα ἐχιδνῶν)[68].

При помощи суффикса *-jь*, так же как и при помощи суффикса *-овъ*, образуются притяжательные прилагательные от имен собственных, личных, например:

Ио. 8–39. **гл҃а имъ и҃с аште чѧда авраамлѣ бысте были дѣла авраамлѣ творили бисте**. М. З. А. (εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε τὰ

---

66 Среди качественно-относительных прилагательных широко используется лишь суффикс *-ьн-*, который имеет весьма ограниченное применение среди притяжательных (см. далее). Суффикс *-ин-* вне сферы притяжательных мало употребляется; суффикс *-jь* крайне редко фиксируется только с прилагательными, образованными от географических названий (см. об этом в сноске на с. 113), суффикс *-ов-* вне сферы притяжательных прилагательных употребляется редко (**тръновъ, истовое**).

67 Интересен пример: Мр. 3–17. **і нарече има именѣ воанирѣесъ еже естъ сн҃а громова**. М. З. (ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς), где гром понимается как одушевленная сила.

68 Выше указывалось, что отношение к месту ощущалось в древнем языке как принадлежность месту, поэтому прилагательные на *-овъ*, *-евъ*, образованные от названий места, выступают в краткой форме. Здесь выявляется, во-первых, связь с прилагательным на *-ьскъ*, во-вторых, зависимость от словообразовательного момента — от суффикса. Однако эта связь существует лишь в границах притяжательности (в широком смысле); в тех случаях, когда прилагательное на *-овъ* оказывается не связанным с моментом притяжательности, возможна и полная форма. Например: Ио. 19–5. **изиде же и҃с вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ**. М. З.; **трьнѣнъ**. С. **тръновъи**. А. (ἀκάνθινον στέφανον); Ио. 4–37. **о семь бо естъ слово истовое**. М.; **істинъное**. З. А. (ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός); Мф. 22–19. **покажѣте ми скьлѧзь киносовъ**. С.; **кинъсънъ**. М. З. А. (τὸ νομίσμα τοῦ κήνσου).

ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε). Ио. 4–6. **бѣ же тоу стоуденецъ иѣковль**. М. З. (ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ).

От имен нарицательных, означающих лицо или животное:

Мф. 10–41. **і приемлѧи праведьника въ імѧ праведьниче мъздѫ праведьничѫ приметъ**. М. З. А. С. (εἷς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου). Мф. 21–5. **и вьсѣдъ на осьлѧ і жрѣбѧ сн҃а ѣрьмьнича**. М.; **сн҃а гарьмьника**. С. (ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου)[69].

Мр. 1–6. **бѣ же иоанъ облъченъ власы вельбѫжді**. М. З. А. С. (τρίχας καμήλου)[70].

Прилагательные типа **ехидновъ, вельбѫждь**, в иных случаях и **жениховъ, праведьничь** могут рассматриваться как притяжательные прилагательные родовой принадлежности. Однако в старославянском языке, надо полагать, не было между прилагательными личной и родовой принадлежности столь четкой границы, как это имеет место в современных славянских языках, где все более и более ощущается качественно-относительный оттенок прилагательных родовой принадлежности. Отметим также, что в старославянском языке еще значение родовой принадлежности было на первом плане и лишь через эту принадлежность и осознавался качественно-относительный оттенок (значение) прилагательного, даже в таких случаях, как, например, **власы вельбѫжди**[71]. Поэтому притяжательные прилагательные личной и родовой

---

69 В данном примере, в разночтениях, синтаксическая синонимика (притяжательное прилагательное — родительный притяжательный). Отметим, что случаи употребления родительного притяжательного в соответствии с притяжательными прилагательными в других кодексах наиболее характерны для Саввиной книги (см. об этом Погорелов, 1925, с. 29).

70 Вне сферы притяжательных прилагательных суффикс *-jь* употребляется при образовании прилагательных от собственных имен существительных, означающих место. При этом наблюдается полная синонимика суффиксов *-ьскъ* и *-jь*. Ио. 9–7. **въ коупѣли силоуамьсцѣ**. М. З.; **силуамлі**. А. (εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ). Ио. 9–11. **иди въ кѫпѣль силоуамлѭ**. М. З. А. (ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ). Выше уже отмечались случаи синонимики **чловѣчь** и **чловѣчьскъ** (см. сноску 57). Из области синонимики суффиксов притяжательных прилагательных важно отметить также конкуренцию суффиксов *-овъ* и *-jь* и *-овъ* и *-инъ* при образовании прилагательных от имен собственных–личных: Лк. 3–34. **авраамовъ**. М. З.; Лк. 19–9. **авраамль**. М. З. А.; Лк. 1–39. **иудовъ**. М. З. А. С.; Лк. 3–26. **иудинъ**. М. З.; см. об этом также Meillet, 1905, p. 370.

71 См. об этом в кн.: Потебня, 1899, с. 514–522.

принадлежности с суффиксом *-овъ*, *-jь* и другими суффиксами выступали в краткой форме[72].

При помощи суффикса *-инъ* образуются прилагательные от довольно ограниченного числа существительных, преимущественно собственно-личных (случаи образования от имен существительных нарицательных, означающих лицо или животное, в исследуемых кодексах не зафиксированы). Например:

Ио. 1–43. **ис҃ъ рече ты еси симонъ сн҃ъ ионинъ**. М. З. А. (ὁ υἱὸς Ἰωάννου); Лк. 1–41. **і бысть ѣко оуслыша елисаветь цѣлованиє маринно**. М. З. А. С. (τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας)[73].

Наконец, при помощи суффикса *-ьнъ* образуются притяжательные прилагательные от существительных нарицательных, означающих лицо.

В исследуемых кодексах зафиксировано только прилагательное от существительного **господь** — **господьнь**:

Мф. 28–2. **анѣл бо гн҃ь съшедъ снбсє**. М. З. А. С. (ἄγγελος γὰρ κυρίου); Лк. 1–9. **ключи сѧ емоу покадити въшедъшю въ цр҃квъ гн҃нѫ**. М. З. (εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου).

Таковы основные случаи употребления притяжательных прилагательных в старославянском языке. Наличие исключительно краткой формы во всех примерах определяется самой природой притяжательных прилагательных; по своему значению они существенно отличаются от всех остальных качественно-относительных прилагательных. Качественно-относительные указывают на свойство предмета или лица, притяжательные — на его принадлежность. Поэтому, как отмечает В. В. Виноградов, «притяжательные прилагательные лишены оттенка качественности и сама прилагательность их условна» (Виноградов, 1947, с. 191). «Прилагательные притяжательные, — пишет далее В. В. Виноградов, — подобно указательным местоимениям, несут функцию индивидуализирующего, обособляющего указания на принадлежность одному существу, единичному обладателю. Об-

---

72 В качестве единственного исключения можно привести пример: Ио. 5–2, **естъ же въ ер҃смѣхъ на овьчи кжпѣли**. М. З.; **овчи**. А. (ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα). Возможно, что он указывает уже на начало процесса формального разграничения лично-притяжательных и притяжательных родовых с усиленным качественно-относительным оттенком.

73 Прилагательные на *-инъ* образуются исключительно от существительных основ на *-а*, в то время как с суффиксом *-овъ*, например, возможно образование от существительных и других основ.

щности качества, выражаемого прилагательным качественно-относительным, здесь противостоит значение индивидуализирующего выделения предмета»[74].

Таким образом, сама природа притяжательных прилагательных, само их лексическое значение выполняет в известном роде ту же роль, что и полная форма при качественно-относительных прилагательных. Эта индивидуализация, обособляющее указание на принадлежность единичному обладателю, делает, естественно, излишним еще какое-либо формальное указание на нее. Лексическая определенность притяжательных прилагательных была столь ярка, что не возникла необходимость в грамматическом оформлении определенности. Отметим, что и в этом случае снова наблюдается зависимость употребления полной или краткой формы от лексического значения прилагательного.

В отдельных славянских языках судьба притяжательных прилагательных была различна. Тем не менее, можно отметить один общий процесс их развития — в тех языках, где нарушалась корреляция полных и кратких форм качественно-относительных прилагательных в атрибутивной функции, наблюдалось вслед за этим проникновение полных форм в разряд притяжательных (лично-притяжательных) прилагательных. Однако этот процесс ни в одном славянском языке не достиг своего предела. Дальше всех пошел современный польский язык: в нем краткие формы притяжательных прилагательных употребляются лишь в составе сказуемого (*ojców, żonin, matczyn*), во всех остальных случаях выступает полная форма. В современном чешском языке притяжательные прилагательные (так же, как и в польском, лично-притяжательные только с суффиксом *-ův, -in* не могут выражать родовой принадлежности) склоняются по

---

[74] Там же, с. 192; ср. это положение с еще одним высказыванием В. В. Виноградова, где та же мысль раскрывается несколько подробнее: «Прежде всего бросается в глаза некоторое сходство между ними (притяжательными прилагательными. — *Н. Т.*) и такими местоименными прилагательными, как: *мой*, *твой*, *наш*, *ваш*, *тот*, *этот*. Между обоими этими разрядами обнаруживается тесная смысловая связь. Оба они не только выделяют предмет, но и индивидуализируют его посредством непосредственного указания на него самого или посредством указания его владельца». «Этой особенностью притяжательные и указательно- или притяжательно-местоименные прилагательные резко отличаются от всех других. Они выполняют функцию указания (в широком смысле этого слова), а не качественного определения» (с. 191).

смешанному склонению, где одни падежные окончания имеют формы именного склонения (краткие), другие — местоименного (полные). Русский язык сохраняет краткие формы также только для притяжательных личной принадлежности, и то непоследовательно, — в косвенных падежах часто выступает полная форма (Виноградов, 1947, с. 195). В сербскохорватском языке, подобно русскому, в именительном и винительном падежах лично-притяжательные прилагательные имеют только краткую форму; в косвенных падежах изредка возможны и полные формы (см. Maretić, 1899, s. 197–198). При этом существует довольно четкое разграничение притяжательных прилагательных личной и родовой принадлежности и в плане словообразования: лично-притяжательные прилагательные выступают всегда с суффиксом *-ов*, *-ин*, родовые с суффиксом *-ски* (ср. *лавов* — никогда не *лавови*, но *лавова*, а иногда *лавовог*, и *лавовски* — всегда *лавовски*, *лавовског* и т. д.)[75].

Отметим, наконец, что у притяжательных (лично-притяжательных) прилагательных в отдельных славянских языках никогда не было и не могло быть корреляции полных и кратких форм, так как это исключалось лексическим значением этих прилагательных.

Полная форма проникала в разряд притяжательных прилагательных лишь вслед за активным расширением сферы употребления полных форм в разряде качественно-относительных, проникала часто по аналогии с последними и являлась лишь средством более четкого морфологического обособления категории прилагательных вообще.

§ 31. Таким образом, краткие и полные формы прилагательных в атрибутивной функции выражают отношения определенности и неопределенности существительного-предмета, к которому относится прилагательное. Корреляция полных и кратких форм в старославянском языке не шла по линии атрибутивности и предикативности или энергичности и неэнергичности признака предмета. Активным членом корреляции была полная, определенная форма прилагатель-

---

[75] Некоторые ученые предполагали наличие подобного четкого соотношения и в старославянском языке, однако вышеизложенные факты старославянского языка не подтверждают этого полностью. Подобное соотношение выявлялось лишь в общем плане, четкого разграничения не было.

ного, указывающая на то, что предмет, к которому относится прилагательное, выделен из общего числа ему подобных предметов, обладающих тем же качеством, индивидуализирован и воспринимается как единственный в своем роде, отличный от множества равных ему по роду. Поэтому полная форма употребляется и в тех случаях, когда другими языковыми средствами подчеркивается это неравенство (с указательным местоимением, звательный «падеж»), когда нужно подчеркнуть, что предмет единичен и не имеет себе подобных (с числительным **єдинъ** «единственный»), и в тех случаях, когда это неравенство вытекает из того, что конструкция «прилагательное + существительное» означает фактически иной предмет или понятие (во фразеологических единствах — термины родства, названия болезней и т. п.), наконец, и в тех случаях, когда просто выделяется предмет по указанному принципу. Зафиксированы также отдельные примеры употребления полных форм и в так называемой нейтральной позиции; в ряде положений не всегда можно провести четкое разграничение полных и кратких форм (укажем, что наибольшее число разночтений по кодексам относится именно к этим случаям). Краткая форма, в отличие от полной, указывает на то, что существительное, определяемое прилагательным, ничем не отличается от множества равных ему по роду. Она выступает и в тех случаях, когда нужно подчеркнуть это равенство (с числительным **єдинъ** «один из многих», с местоимением **вьсякъ**), и в тех случаях, когда это равенство не подчеркивается, но вытекает из того, что предмет не выделяется из ряда ему подобных (с глаголом **подобати**, в составе родительного части и др.), наконец, она преобладает в нейтральных позициях. Краткая форма прилагательного чаще всего просто указывает на то или иное свойство (качество) предмета, не давая ему при этом какой-либо дополнительной характеристики.

В связи с этим основным значением кратких и полных форм момент вышеупомянутости выступает как второстепенный, подчиненный, как частный случай более универсальной категории определенности прилагательных. При вторичном упоминании предмета часто возникает необходимость в его уникализации (в указании, что предмет именно тот, а не другой), но в иных случаях такое выделение не обязательно. Отсюда — случаи употребления краткой формы при вышеупомянутости.

Одной из характерных особенностей старославянского языка, сохранившейся в полной мере в современном сербскохорватском языке, является тесная связь полной формы с прилагательными определенных лексических групп. Семантика прилагательного в иных случаях играла огромную, подчас решающую роль при употреблении исключительно полной формы. К таким прилагательным относились темпоральные, локативные и некоторые другие группы прилагательных. В дальнейшем в отдельных славянских языках (в том числе и в сербскохорватском) сфера прилагательных, имеющих только полную форму, расширялась. Без учета семантического момента нельзя объяснить наличие одной полной формы, а тем самым и отсутствие корреляции в целом ряде случаев, так же как и ее отсутствие в группе притяжательных прилагательных.

3. Краткие и полные прилагательные в предикативной функции

§ 32. Выступая в качестве составной части сказуемого, прилагательное выполняет особую, отличную от рассмотренной выше, синтаксическую функцию: прилагательное переходит из сферы атрибутивных отношений, основных для прилагательного, в сферу предикативных отношений, при которых оно, продолжая обозначать качество или свойство существительного (подлежащего), оказывается тесно связанным с глаголом (сказуемым). С формальной стороны при этом прилагательное лишается одного из характерных для атрибутивной функции признаков: наличия двух форм, полной и краткой. В составной части сказуемого в старославянском языке выступает лишь краткая форма.

По определению акад. А. А. Шахматова, «предикативными отношениями называем изъяснительные, т. е. содержащие утверждение или отрицание чего-либо. Кроме этих отношений, существующих между субъектом и предикатом, между представлениями могут быть отношения атрибутивные, т. е. такие отношения, которыми одни представления определяются как свойства или качества других представлений; атрибутивными являются отношения между представлениями, входящими в состав одного сложного, нерасчлененного представления, ибо расчленение ведет к выделению

из него субъекта и предиката, стоящих между собой в предикативных отношениях» (Шахматов, 1941, с. 29).

При утверждении или отрицании какого-либо свойства или качества предмета, лица (субъекта), т. е. в тех случаях, когда глагол указывает на наличие (resp. отсутствие), возникновение (resp. исчезновение) свойства, качества субъекта, выраженного прилагательным, входящим в состав сказуемого, нет необходимости, вернее возможности, одновременно характеризовать субъект с точки зрения его определенности или неопределенности. Такая характеристика может быть дана только в пределах атрибутивных отношений, ибо определенность (resp. неопределенность) субъекта не лексически может быть выражена исключительно при условии нерасчлененности этих двух моментов.

Этим объясняется наличие только одной, краткой формы прилагательных в их предикативном употреблении в старославянском языке.

§ 33. Отсутствие противопоставления полных и кратких форм прилагательных в составном сказуемом во многом облегчает задачу изложения фактического материала. Нет нужды приводить все примеры целиком или хотя бы большую их часть; достаточно указать на основные типы синтаксических конструкций с именем прилагательным в предикативной функции.

1. Конструкции с глаголом-связкой (**быти, ѥсмь**) со значением настоящего, прошедшего, будущего времени, повелительного и условного наклонения.

В этих конструкциях глагол в большинстве случаев лишен своего лексического содержания, — он выполняет формальную роль, обозначая категорию времени и отношение признака, выраженного прилагательным, к подлежащему, и является так называемой незнаменательной связкой.

а) Глагол-связка в настоящем времени: Ио. 13–10. **гл҃а емоу и҃съ ізмъвены не трѣбоуоутъ ткмо ноѕѣ оумыти естъ бо весь чистъ і въ чисти есте.** М. З. А. С.; Мр. 4–40. **і рече имъ чъто тако страшиви есте како не имете вѣры.** М. З.; Ио. 4–35. **вьзведѣте очи ваши и видите нивы ѣко плавы сѫтъ къ жѧтвѣ юже.** М. З. А.

В приведенных примерах прилагательное обозначает признак непостоянный, временно присущий предмету. Однако такое значение прилагательного в составе сказуемого

нельзя считать единственно возможным; нередки случаи, когда с глаголом-связкой, особенно если он стоит в третьем лице, при вневременном настоящем, прилагательное обозначает признак, постоянно присущий предмету, независимо от момента речи. Такие конструкции выступают обычно в предложениях, сообщающих какое-либо умозаключение обобщающего порядка. Например:

Лк. 20–38. бъ же нѣстъ мрътвъıхъ нъ живъıхъ въси бо томоу живи сѫтъ. М. З.; Ио. 7–6. гла же имъ ис врѣмѧ мое не оу приде а врѣмѧ ваше въсегда есть готово. М. З. А.

В последнем примере постоянность признака подчеркивается обстоятельственным словом — наречием вьсегда.

б) Глагол-связка в настоящем времени с союзом да (в функции повелительного наклонения):

Мф. 23–26. фарисею слѣпе очисти прѣжде вьнѫтрьнее стеклъницы і поропсидѣ да бѫдетъ и вьнѣщьнее има чисто. М.

в) Глагол-связка в будущем времени:

Лк. 11–34. егда оубо око твое просто бѫдетъ і вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ. М. З.

г) Глагол-связка в прошедшем времени:

Лк. 16–19. чл҃вкъ же единъ бѣ богатъ. М. З. А. С.; Ио. 21–7. епендитомъ прѣпоѣса сѧ бѣ бо нагъ. М. З. А. С.

д) Глагол-связка в повелительном наклонении:

Мр. 5–34. ис҃ъ же рече еи дъшти ... иди съ миромъ і бѫди цѣла отъ раны твоеѩ. М. З.

е) Глагол-связка в условном наклонении:

Ио. 9–41. аще бисте слѣпи были. М. З. А.

Во всех приведенных примерах с будущим и прошедшим временем и повелительным наклонением отсутствует значение постоянной присущности признака, выраженного прилагательным в составе сказуемого, лицу или предмету, выраженному существительным-подлежащим; признак либо должен еще возникнуть (будущее время, повелительное наклонение), либо дается указание на то, что он был присущ предмету в прошлом или на всем протяжении его существования (чл҃вкъ же единъ бѣ богатъ) или в определенный отрезок времени (епендитомъ прѣпоѣса сѧ бѣ бо нагъ), либо, наконец, просто указывается на возможность того или иного признака для данного предмета (аще бисте слѣпи были).

§ 34. Конструкции, в которых прилагательное входит в состав сказуемого в сочетании с глаголом движения или пребывания в состоянии.

В этих конструкциях глагол сохраняет свое лексическое содержание, разделяя с прилагательным предикативную функцию, и является так называемой знаменательной связкой. Лексическое содержание глагола без прилагательного в большинстве случаев оказывается неполным, действие (состояние), выражаемое глаголом, не раскрытым до конца (например: Мф. 20–6. **чъто стоите сьде весь день праздьни.** М. А. С), что указывает на неразрывную связь глагола с прилагательным, входящим в состав сложного сказуемого. В иных случаях, однако, взаимосвязь может ощущаться слабее (Мф. 21–5. **се цсръ твои грѧдетъ тебѣ кротокъ.** М. С., где прилагательное **кротъкъ** может при желании рассматриваться даже как обособленное определение), — при этом лексическое содержание глагола оказывается более полным, независимым. Некоторые исследователи поэтому усматривают в данной функции прилагательного полупредикативность или так называемую «разделенную предикативность». Однако введение третьего понятия (категории, как полагают некоторые исследователи) — полупредикативности, помимо атрибутивности и предикативности, для данного исследования оказалось бы, по нашему мнению, излишним и запутывающим дело; конструкции «глагол со значением движения (состояния) + прилагательное» следует относить к предикативному употреблению прилагательного[76], различая лишь бо́льшую или меньшую степень лексической знаменательности глагола.

Мф. 19–22. **слышавъ же юноша слово се ѿтиде печальнъ.** С.; **отиде скръбѧ.** М.; Мф. 20–6. **і гла имъ чъто стоите сьде весь день праздьни.** М. А. С.; Ио. 9–2. **оучителю къто съгрѣши сь ли или родителѣ его да слѣпъ роди сѧ.** М. З.; Лк. 1–22. **і тъ бѣ помаваѭ имъ і прѣбываашe нѣмъ.** М. З.

Те же отношения наблюдаются и в примерах, где выступает причастная форма глагола.

Мф. 20–3, 4. **видѣ инъі на тръжици стоѭштѧ праздъніі і тѣмъ рече.** М. С.

---

[76] Укажем, что в этом отношении разногласий среди исследователей нашего вопроса нет. Те, кто усматривает в данной конструкции полупредикативность, не находят возможным рассматривать эту функцию прилагательного как атрибутивную.

В случаях, когда лексическая знаменательность ослаблена (например: прѣбываашє нѣмъ), функция глагола приближается к функции глагола-связки. В тех случаях, когда лексическая знаменательность не ослаблена, в зависимости от порядка слов можно говорить о близости функции прилагательного, входящего в состав сказуемого, к функции обособленного определения.

Отметим также, что во всех приведенных примерах прилагательное выражает временный, преходящий признак.

§ 35. Конструкции, в которых прилагательное выступает в сочетании с причастием настоящего времени съı, сѫшти, съı (или прошедшего времени бывъ, бывши, бывъ), образующим обособленный оборот.

В этой конструкции прилагательное выступает чаще всего в функции так называемого второго именительного; при этом оно «выражает не какое-либо другое, а именно то качество предмета, которым объясняется соответствующее действие этого предмета, выраженного в сказуемом» (Георгиева, 1952а, с. 107). Такой оборот можно считать своеобразным «второстепенным сказуемым», сохраняющим с основным сказуемым тесную смысловую и причинную связь и зависящим от него. Функция причастия съı приближается в данном обороте к функции незнаменательной связки в рассмотренном выше составном сказуемом.

Мф. 12–34. како можєтє добро гл҃ати зъли сѫщє. М. З.; лѫкави сѫщє. С.; Лк. 2–25. і се бѣ чл҃къ въ ил҃мѣ емоуже имѧ сѵмеонъ і чл҃къ съ правъденъ и чьстивъ чаѭ оутѣхъı и҆здр҃въı. М. З. С.; Ио. 3–4. гл҃а къ немоу никодимъ како можєтъ члвкъ родити с[ѧ] старъ съı. М. З.

§ 36. Несколько иные отношения наблюдаются в тех случаях, когда рассматриваемые конструкции относятся к дополнению, где прилагательное выступает в функции так называемого второго винительного. Например:

Лк. 18–23, 24. ѻ҆нъ же слышавъ сє прискрьбьнъ бъıстъ бѣ бо богатъ зѣло видевъ же і҆с҃ прискрьбьна сѫща речє. С.; в других кодексах второй именительный: прискръбєнъ бывъ. З.; прискръбєнъ бывъшъ. М.

Важно отметить единственный случай, где зафиксирована полная форма: Лк. 10–30. ѻ҆ставльшє і єлѣ живого сѫща ѻ҆тідє. С. В других кодексах краткая форма: оставльшє єлѣ живъ сѫштъ. М. З.

Отмеченная нами полная форма могла возникнуть в результате значительного обособления второго винительного от первого винительного, — в данном контексте употребление прилагательного в сочетании с съ приближалось к случаям вышеупомянутости. Ср. Лк. 10–30. чл҃къ ѥдинъ съхождаще ѿтъ ѥрусалима въ ѥрихѫ и въ разбоникы въпаде иже съвлькьше і и газвы възложъше ѿставльше і елѣ живого сѫща ѿтіде. С. Нужно признать, однако, что такое объяснение едва ли достаточно убедительно.

§ 37. Конструкции, в которых прилагательное в сочетании с причастием съ образует оборот, именуемый дательным самостоятельным.

Конструкция с дательным самостоятельным не находится в зависимости от подлежащего или сказуемого главного предложения. Между главным предложением и рассматриваемым оборотом существует только соотносительная во времени связь.

В этой конструкции причастие довольно четко выступает в роли так называемой незнаменательной связки.

В исследуемых текстах зафиксирован единственный пример: Мр. 8–1. въ тыи дьни пакы мъногоу сѫштоу народоу. М. З. Приведем также характерный пример из Супрасльской рукописи: како бо иматъ сътръпѣти толикъ пѫть бѣдноу сѫштоу и горъноу. Супр. 31–10.

§ 38. Особо отметим конструкции, в которых прилагательное выступает в функции второго косвенного падежа (второй винительный и др.). В этих конструкциях прилагательное указывает на признак предмета, выявляющийся лишь посредством действия, выраженного сказуемым. Связь прилагательного с глаголом не позволяет рассматривать данную функцию прилагательного как чисто атрибутивную.

На это указывал А. М. Пешковский: «... Особенность всех этих сочетаний по сравнению с типом 6 (прилагательное + существиельное) (т. е. чисто атрибутивными отношениями. — *Н. Т.*) состоит в том, что падеж прилагательного здесь не подчинен падежу существительного, к которому оно относится, а подчинен прямо глаголу, наравне с самим существительным: *Муж жену любит здоровую* — ощущается как *любит жену* + *любит здоровую*, а не как *любит здоровую жену*... В связи с этим между прилагательным и существительным устанавливается особое отношение предикатив-

ности, приближающее это сочетание к сочетанию *муж жену любит, когда она здорова*. Вторые падежи так и называются часто «предикативными», наравне с именительным и творительным предикативными, хотя, конечно, прав у них на такое название, собственно, нет, так как в состав сказуемого они не входят» (Пешковский, 1938, с. 309).

В старославянском языке в этой функции всегда выступает краткая форма прилагательного.

Лк. 3–4. оуготоваите пѫть гн҃ь правъ творите стьзѧ его. М. З. С.; Ио. 5–11. онъ же отъвѣшта имъ іже мѧ сътвори цѣла. М. З.

§ 39. Таковы, в основном, случаи употребления прилагательных в предикативной функции. Предикативное употребление прилагательных в старославянском языке в плане поставленной проблемы не дает многообразного материала: как видно из приведенных примеров, прилагательное в составе сказуемого всегда выступает в краткой форме.

Это явление объяснялось исследователями различно. Так, например, сторонники теории «предикативности» (Истрина и др.) естественно, и в данном случае правильно, объясняли наличие краткой формы связью прилагательного с глаголом (сказуемым), и ошибочно, по нашему мнению, они в «предикативности» видели нередко единственную причину употребления краткой формы и в атрибутивной функции.

Сторонники теории «определенности и неопределенности», со своей стороны, давали часто неполное, спорное объяснение исследуемому вопросу. Так, Л. П. Якубинский полагал, что употребление исключительно кратких прилагательных «в качестве сказуемого-предиката, т. е. в предикативной функции... объясняется тем, что предикат в именном сказуемом выступает сам по себе, как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определенном предмете; в этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определенным для высказывающегося. Раз я приписываю в именном сказуемом какой-нибудь признак какому-то предмету, ясно, что этот предмет мне уже известен. Член здесь решительно излишен; он никогда не ставился в подобных случаях» (Якубинский, 1952, с. 57). С таким утверждением трудно согласиться. Можно указать на целый ряд случаев, когда в именном сказуемом приписывается признак какому-либо

неопределенному, не выделенному из числа других ему подобных, предмету. При этом неопределенность предмета (подлежащего) может быть подчеркнута каким-либо неопределенным словом (ср., например, чл҃къ єдинъ бѣ богатъ. Лк. 16–19 и др.). Предмет, выраженный подлежащим, может быть и определенным, и неопределенным; на это указывает и употребление с ним в качестве атрибута указательных и неопределенных местоимений, а также полных и кратких прилагательных[77].

Другое объяснение дает А. Белич. «Как известно, — пишет он, — предикатом выявляется в сознании (мышлении) что-то новое, выражается новая связь субъекта с каким-либо свойством или действием. Отсюда неопределенный вид (т. е. краткая форма. — *Н. Т.*), употребляющийся в сказуемом, означает нечто проходящее, случайное, впервые опознанное и т. д., так что по отношению к нему определенная (полная. — *Н. Т.*) форма должна обозначать свойство постоянное, являющееся составной частью самого предмета нашей мысли» (Белић, 1933–1934, с. 216). В отличие от мнения Л. П. Якубинского, полагавшего, что прилагательное в предикате относится к известному («определенному») предмету (подлежащему) и потому не нуждается в формальном выражении определенности, А. Белич считает, что прилагательное в предикате всегда выражает временное свойство и потому выступает в краткой («неопределенной») форме.

Однако принимать момент временности и постоянства признака определяющим употребление краткой формы в предикативной функции для всех случаев едва ли правомерно, так как в предикате прилагательное отнюдь не всегда выражает временное, преходящее свойство. Выше были приведены примеры, когда прилагательное выражет постоянное, неизменное свойство предмета. Правда, такие примеры встречаются в текстах значительно реже, чем примеры с прилагательным, выражающим временное свойство, однако мы не должны недооценивать их роль и значение в развитии исследуемой категории.

---

[77] Отметим еще раз, что в нашем понимании «определенность» и «известность» не одно и то же. Критерий «известности» слишком широк и слишком зависим от различных субъективных моментов, чтобы на нем можно было основываться. Оперируя критерием «известности», мы оказываемся бессильными в определении границ его действия. (Что такое «известность»? — общеизвестность, известность говорящему, известность для группы лиц?).

Постоянство и временность признака в предикате в старославянском языке формально не противопоставлялись. Такое противопоставление в разряде качественных прилагательных, и то далеко не всегда последовательное и четкое, возникло позднее в русском языке после проникновения полной формы в предикат (см. Шведова, 1951).

В старославянском этого не было по той причине, что полные и краткие формы несли другую нагрузку в области атрибутивных отношений, а именно выражали определенность и неопределенность. При таком положении употребление полной формы в составе сказуемого оказывалось невозможным; полная форма проникла в сказуемое (в отдельных славянских языках) лишь тогда, когда в атрибуте были утрачены значения определенности и неопределенности.

Таким образом, причину отсутствия полных форм прилагательных в составе сказуемого, по нашему мнению, нужно находить прежде всего в том, что основным значением полной формы в старославянском языке было значение определенности, которое относилось не к прилагательному («определенность свойства»), а к определяемому существительному («определенность предмета»). Определенность эта имела в основном значение уникализирующее. Функция полной формы была близка в этом отношении к функции указательного местоимения (примерно: **добраꙗ жена** = хорошая эта женщина). Представление определенности и представление предмета не могут быть расчлененными, ибо определенность входит в состав одного сложного, нерасчлененного представления, представления конкретного (выделенного) предмета. Такие отношения, как указывалось в начале настоящей главы, возможны лишь в сфере атрибутивной[78].

Предикативные отношения неминуемо ведут к разрыву двух представлений (здесь — представления предмета и его качества), к отнесению одного из них к субъекту, другого к предикату. Определенность предмета не может быть выра-

---

[78] Отметим также, что в атрибутивной сфере возможна расчлененность, подобная предикативной. Таковы случаи так называемого обособленного определения, при котором возникают синтаксические отношения, нарушающие единство сложного, нерасчлененного представления. В этих случаях в старославянском языке последовательно фиксируется краткая форма — **и не бѫди мі подражатель слабоу и грѣшноу глцю в'сегда й не творѧщю**. Мак. глаг. листок. 1–10.

жена в сфере предикативной[79], не считая чисто лексических возможностей.

§ 40. История проникновения полных форм прилагательных в предикат в отдельных славянских языках подтверждает наши основные выводы в отношении старославянского языка. В этом плане наибольший интерес представляет материал современного русского и сербскохорватского языков, сохранивших, правда, не в полной мере, употребление кратких прилагательных в предикативной функции. В западнославянских языках (польском, чешском, словацком), а также в украинском и западнобелорусских говорах произошел процесс закрепления в предикате только полной формы (за исключением единичных случаев). Интересующий нас материал современного и древнерусского языка достаточно полно изложен в ряде работ (см. следующие работы: Шведова, 1948; см. также Шведова, 1948а; а также: Шведова, 1951; Георгиева, 1952а; Gunnarsson, 1931); поэтому нам представляется целесообразным отметить лишь некоторые, наиболее важные моменты, связанные с процессом проникновения полной формы в состав сказуемого. Некоторые исследователи производили наблюдения над развитием отношений кратких и полных форм прилагательных в предикативной функции, не учитывая одновременно изменений, происходящих в атрибутивной функции, не устанавливая их взаимосвязи. А между тем очевидно, что полная форма начала проникать в предикат лишь после того, как в атрибуте оказалось нарушенным противопоставление полных форм кратким, как бы ни объяснять это противопоставление — различием по линии определенности и неопределенности или «предикативности» и атрибутивности. Только когда старая система корреляции в атрибутивной функции была нарушена, когда в атрибуте стали почти безраздельно господствовать полные формы и значение определенности и неопреде-

---

[79] Ср. положение, по которому в современном русском языке и в других славянских языках указательное местоимение не может быть именной частью составного сказуемого (например, рус. **книга — эта*, **дом — тот*, или серб. **књига је ова*, **дом је онај*). В просторечии известны подобные выражения: «девица — та», или «девица — еще та», обычно с восклицательной интонацией, но в них указательное местоимение-прилагательное выступает в роли качественного прилагательного. Расчлененными могут быть лишь представления качества и предмета, но никак не определенность предмета.

ленности для полных и кратких форм стерлось, в предикат стала активно проникать полная форма. Это произошло довольно поздно, не ранее XVI в. (первые единичные случаи употребления полных форм в предикате относятся к XV в.). Однако прежние значения (определенности и неопределенности) не исчезли полностью: полные и краткие формы, присущие уже только качественным прилагательным, оказавшись в предикате связанными с глаголом (с действием или состоянием), естественно, изменили свое значение и стали выражать первые — постоянное, вторые — временное свойство. Поэтому противопоставление кратких и полных форм сохранили только прилагательные, способные выступать в качестве временных эпитетов[80]. Значение постоянного (resp. временного) свойства, как указывалось, являлось характерным в ряде случев для полных (resp. кратких) форм в атрибутивной функции, но оно не было тогда основным, решающим; главным оставалось значение определенности и неопределенности. В предикате отношения изменились: связь с глаголом выставила в качестве основных значения постоянства и временности признака.

Однако развитие полных и кратких форм в составе сказуемого пошло дальше. В современном русском языке, в отличие от языка XIX и XVIII вв., все чаще употребляется полная форма и при обозначении временного свойства. В прошедшем и будущем временах временность и постоянство свойства обозначаются в современном языке также творительным и именительным падежом полных форм. Краткая форма, употребляемая только в составной части сказуемого и потому неизменяемая по падежам, стала выделяться в особую категорию — категорию состояния, порывая тем самым связь с категорией прилагательных[81]. Между краткими и полными формами возникает значительная семантическая дифференциация. Этим знаменуется новый, последний этап в процессе развития значений кратких и полных форм в предикате.

Таким образом, процесс становления новых соотношений кратких и полных форм в составе сказуемого начинается

---

80 «... в кругу имен прилагательных лишь временные эпитеты, лишь обозначения временных свойств имеют полную и краткую форму» (Виноградов, 1947, с. 262).

81 См. в статье: Поспелов, 1953, с. 62–63.

только после того, как оказывается окончательно нарушена корреляция полных и кратких форм в атрибутивной функции. При этом в предикате на первых порах возникает новая корреляция, видоизмененная и суженная (в связи с характерными особенностями предикативной функции и ограничением круга прилагательных с двумя формами исключительно качественными прилагательными), но все же связанная по значению с предыдущей (новая корреляция по принципу временности и постоянства свойства). Таковы, в общих чертах, факты из истории русского языка.

Сербскохорватский язык также отошел от того состояния, какое мы наблюдаем в старославянском языке. Однако в нем, в отличие от русского, не нарушена корреляция полных и кратких форм в атрибуте. Полные и краткие формы выражают отношения определенности (resp. неопределенности)[82]. Активизация полных форм связана, по-видимому, с лексическим значением прилагательных. В сербскохорватском языке краткую форму утратили относительные прилагательные на *-ски*, локативные и темпоральные прилагательные, прилагательные, выражающие отношение к различным частям тела, к определенным единичным предметам, а также некоторые другие, в том числе и ряд качественных (*мали* и др.)[83]. Важно подчеркнуть, что в современном сербскохорватском языке, в отличие, например, от русского, нет ни одного прилагательного, которое бы в предикативной функции имело только краткую или полную и краткую, а в атрибутивной только полную форму. В тех случаях, когда в предикате краткая форма, в атрибуте употребляется и полная и краткая; но если в атрибуте употребление краткой формы невозможно, в предикате тоже выступает только полная форма[84].

---

82 В этом мнении сходятся все исследователи сербского языка — А. Белич, Т. Маретич, Л. Стоянович, М. Решетар и др. Оно отражено и в сербской грамматической терминологии: «одређени вид» — определенный вид (полная форма), «неодређени вид» — неопределенный вид (краткая форма).

83 См. Maretić, 1899, s. 459, а также § 17 настоящей работы.

84 Другими словами, если относительное прилагательное может иметь краткую форму в предикате (например, прилагательное *необорив(и)*, *-а, -о* 'бесспорный, непреоборимый': *овај доказ је необорив* 'это доказательство бесспорно', т. е. неопровержимо), то полная форма в предикате будет уже невозможна. Нельзя сказать: *Овај доказ је необори-*

Полные формы в предикате, таким образом, не сосуществуют с краткими, а вытесняют их параллельно с вытеснением их атрибута; краткая форма одновременно исчезает и в предикате, и в атрибуте. Так, в современном сербскохорватском языке в предикате не возникает той корреляции кратких и полных форм, которая характерна для русского языка (XIX — отчасти XX вв.). Естественно, нет и условий для перехода кратких прилагательных в категорию состояния. Это происходит потому, что сербскохорватский язык сохраняет противопоставление полных и кратких форм в атрибутивной функции (корреляция определенности и неопределенности), хотя лишь для некоторых прилагательных и не

ви. В современном сербскохорватском языке краткие и полные формы в предикате не могут сосуществовать, подобно тому как это имеет место в современном русском языке: *это доказательство бесспорно — это доказательство бесспорное*. Притом в данном случае, т. е. когда в предикате употребляется исключительно краткая форма, в атрибутивной функции в им. (вин.) падеже должна обязательно сохраняться корреляция двух форм (*необориви доказ* : *необорив доказ*; например, *Необориви доказ натерао га је да призна своју кривицу* '[это] неопровержимое доказательство заставило его признать свою вину', наряду с *само необорив доказ може да га натера да призна своју кривицу* 'только неопровержимое доказательство может заставить его признать свою вину'. Если же в атрибутивной функции во всех случаях употребляется лишь полная форма, например, прилагательное *тајни, -а, -о* 'тайный': *тајни ортак ми је рекао* 'тайный компаньон мне сказал', наряду с *за тај посао може да се нађе тајни ортак* 'для этого дела можно найти тайного компаньона', т. е. противопоставление в атрибуте отсутствует, — в предикате краткая форма невозможна и употребляется лишь одна полная форма. Поэтому нельзя сказать: *овај ортак је тајан*, а можно сказать лишь — *овај ортак је тајни* 'этот компаньон — тайный'. То же положение наблюдается и с относительными прилагательными на *-ски* и другими группами относительных прилагательных, перечисленными выше. Качественные прилагательные в этом отношении ничем не отличаются от относительных. Нужно отметить только, что число качественных прилагательных, имеющих исключительно полную форму, весьма незначительно. Так, в атрибутивной функции возможно: *он је метнуо на главу црни шешир и изишао* 'он надел черную шляпу — эту, определенную — и вышел'; *црни шешир му је врло добро стојао* 'черная шляпа — вообще — ему очень шла'. В предикативной функции: *његов шешир је био црн* 'его шляпа была черная' форма *је био црни* невозможна. Параллельно этой группе примеров можно привести следующие: *он је метнуо на главу свој мали качкет и изишао* 'он надел свою маленькую кепку и вышел'; *мали качкет му је врло добро стојао* 'маленькая кепка ему очень шла' и, наконец: *његов качкет је био мали* 'его кепка была маленькой'.

во всех падежах (из-за совпадения окончаний именного и местоименного склонений и характера ударения)[85].

Некоторые данные старославянских памятников позволяют сделать предположение, что в старославянском языке начинался процесс, который позднее нашел свое более полное выражение в сербскохорватском языке, т. е. начиналась указанная выше одновременная утрата кратких форм и в атрибутивной, и в предикативной функциях.

Нами зафиксирован лишь один пример с употреблением полной формы прилагательного в предикативной функции:

Мф. 20–16. **тако бѫдѫтъ послѣдьнии пръвии і пръвии послѣдьнии**. М. А. (οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι).

Прилагательные локативного и темпорального значения, образованные от наречий, в атрибутивной функции в краткой форме не зафиксированы (§ 13). В предикативной функции другие прилагательные этой группы (кроме **послѣдьнии**) не обнаружены. Можно также предположить, что указанная группа прилагательных вообще не имела краткой формы.

4. Краткие и полные формы субстантивированных прилагательных

§ 41. Прилагательное, субстантивируясь, переходит из сферы выражения атрибутивных отношений в сферу выражения предметных отношений. При этом и с формальной стороны прилагательное лишается некоторых признаков своей категории и приближается к категории существительного. Переходя в существительное, субстантивированное прилагательное не теряет в полной мере связи с категорией прилагательного, потому что при субстантивизации, как правило, название предмета заменяется названием его наиболее характерного и постоянного свойства, затем уже само это свойство начинает обозначать предмет[86]. В зависимости

---

85 Об ударении см. Даничић, 1925.

86 На этот процесс впервые обратил внимание А. Потебня. Он писал: «Я думаю, что во всяком языке, имеющем прилагательное, эта часть речи может указывать на носителя признаков и в этом смысле обозначать его» (Потебня, I–II, с. 97, см. также III, с. 49–50, 59–64). Основные положения А. Потебни были развиты А. Шахматовым («Субстантивация — переход в существительные самих названий признаков» [Шахматов, 1941, с. 455 и далее]) и А. Пешковским («Вообще в

от того, насколько утрачено значение свойства (качества), можно говорить о той или иной степени субстантивации прилагательного.

Нужно отметить, однако, что не всякое прилагательное, не во всех случаях может быть субстантивировано. Для субстантивации необходимы известные условия. Основным и в большинстве случаев решающим условием нужно считать наличие определенного лексического ряда субстантивированных прилагательных[87].

При рассмотрении субстантивированных прилагательных применялись различные классификации в зависимости от того, с какой стороны исследовалась данная категория. Так, при изучении самого процесса субстантивации отмечались обычно четыре основных момента перехода прилагательных в существительные: 1) прилагательные с начальной субстантивацией; 2) атрибутивно-субстантивные прилагательные; 3) прилагательные с завершающейся субстантивацией; 4) прилагательные с законченной субстантивацией. При рассмотрении семантической стороны данной категории устанавливаются различные ряды субстантивированных прилагательных. А. Пешковский разграничивает субстантивированные прилагательные еще по одному признаку. «Можно сказать, — утверждает А. Пешковский, — что в прилагательном есть намек на предмет, и если предмет настолько известен, что одного намека достаточно, или если, напротив, он неизвестен, но говорящий не хочет сделать его известным, а хочет только намекнуть на него — существительное опускается» (Пешковский, 1938, с. 146). В одних случаях, полагает А. Пешковский, «существительное опущено потому, что оно было хорошо известно разговариваю-

---

прилагательных признак ведь изображен не сам, а как заложенный в предмете, и потому в нем заключено и смутное указание на самый предмет, в котором заложен данный признак» (Пешковский, 1938, с. 146).

87 О принципе классификации по лексическим рядам см. Перльмуттер, 1948. См. также диссертацию: Подгаецкая, 1950. «Пешковский рисует процесс субстантивизации как прикрепление прилагательных к существительным. В целях экономии существительное в дальнейшем не употребляется в речи. Но не всегда языковая практика подтверждает эту теорию. Почему не субстантивизируется, например, *вечная ручка*? Потому что нет других названий для ручки. А какая еще бывает ручка? Для субстантивации нужно, чтобы были ряды». Например, ряд комнат: *ванная*, *столовая*, *передняя*, *прихожая*, *кладовая* и т. п. (Перльмуттер, 1948, с. 14).

щим... в других случаях мы употребляем прилагательные в смысле существительных нарочно, чтобы не думать о каком-нибудь определенном предмете, а только о всех предметах, имеющих данный признак» (там же). Разграничение это близко по своей сущности к классификации по принципу «определенности» (единичности) и «неопределенности» (неединичности), и если при исследовании материала современного русского языка оно едва ли имеет первостепенное значение, то при разрешении нашей проблемы такое разграничение крайне важно.

Поэтому при рассмотрении материала старославянского языка для выяснения значений кратких и полных форм прилагательных наиболее правильным принципом классификации нам представляется следующий:

1. распределение субстантивированных прилагательных по рядам;

2. обнаружение прилагательных с единичным и неединичным значением внутри каждого ряда субстантивированных прилагательных.

Степень субстантивации отмечается лишь в отдельных случаях, так как, с одной стороны, для старославянского языка она трудно определима, с другой — она не является решающим фактором при употреблении полной (resp. краткой) формы прилагательного. В той же мере безразлично, в качестве какого члена предложения (подлежащего или дополнения) выступает субстантивированное прилагательное; более важным является учет различных других синтаксических и лексических связей отдельных субстантивированных прилагательных в атрибутивной функции.

Отметим также, что не всякое прилагательное, выступающее самостоятельно, без существительного, можно считать субстантивированным. Есть такие случаи, как например:

Ио. 2–10. **і гл҃а емоу вьсѣкъ чл҃вкъ прѣжде доброе вино полагаатъ і егда оупиѭтъ сѧ тогда тачѣе.** М. З. А.; Лк. 23–30, 31. **гл҃ати горамъ ... зане аште въ сырѣ дрѣвѣ си творѧтъ въ соусѣ что бѫдетъ.** М. З.

Здесь налицо обычное опущение существительного, допущенное во избежание повторения одного и того же слова.

§ 42. Наиболее многочисленной является группа субстантивированных прилагательных со значением лица. Разнообразие лексических значений прилагательных, входящих в

состав этой группы, дает возможность установить еще ряд подгрупп (лексических рядов) внутри общего лексического ряда лица. Таковыми являются: субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по индивидуальным качествам, по физическим качествам, по социальному положению, по степени родства, по локальному и темпоральному признаку и др.

§ 43. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по качествам характера: **вѣрьныи, невѣрьныи, грѣшьныи, добрыи, благыи, зълыи, кротъкыи, милостивыи, правьдьныи, неправьдьныи, мѫдрыи, прѣмѫдрыи, разоумьныи, нищии (дх҃омъ), чистыи (ср҃дцемь).**

Субстантивированные прилагательные со значением неединичности:

Лк. 16–10. **вѣрьныи въ малѣ и въ мъноѕѣ вѣренъ естъ і неправьдьныи въ малѣ и въ мъноѕѣ неправьденъ естъ.** М. З. А. С. (ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ ... ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος).

В приведенных примерах прилагательные **вѣрьныи** и **неправьдьныи** обозначают лицо в обобщенном смысле — тот, кто верен (генерализующая функция)[88], — в атрибутивной функции в этом случае обычна краткая форма.

В той же функции выступает прилагательное **зълы** в примере: Мф. 5–45. **ꙗко слъньце своѥ сиꙗѥтъ на злаго и на добраго и дъждитъ на правьдьныѩ и обидьливыѩ.** С.

Если же субстантивированное прилагательное, обозначающее в единственном числе лицо в обобщенном смысле, заменяется соответствующим субстантивированным прилагательным во множественном числе, то обычно фиксируется краткая форма (вообще злые, вообще добрые). Сравните тот же пример:

Мф. 5–45. **ѣко слъньце своѥ сьѣатъ на зълы и благы і дъждитъ на праведьныи и на неправедьныи.** М.; то же З., где зафиксировано **праведьныѩ** (ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς ... ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους); здесь уже преобладает краткая форма, но ее нельзя считать единственно возможной для данного случая. Сравните тот же пример в Ассем. к., где во всех случаях зафиксирована полная форма (**зьлыѩ, благыѩ, пра-**

---

88 Ср. в современном болгарском языке в той же функции последовательно употребляется постпозитивный член: *умният винаги побеждава*.

ведъныѭ, неправедъныѭ). Число колебаний в данном положении достаточно велико, значительная часть разночтений относится именно к этому случаю употребления субстантивированных прилагательных. Например:

Мф. 11–25. **ѣко оутаилъ еси се отъ прѣмѫдрыхъ и разоумъныхъ**. М. З. (ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν). В том же контексте:

Лк. 10–21. **ѣко оутаилъ еси се отъ прѣмѫдръ и разоуменъ**[89]. М. З. А. С.$_{31, 128.}$ (ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν).

Отметим случай, где краткая форма субстантивированного прилагательного выступает наряду с существительными:

Мф. 23–34. **сего ради се азъ сълѭ къ вамъ прⷪ҃кы и прѣмѫдры і кънижъникы**. М. А. (σοφοὺς).

Краткая форма выступает вместо существительного (единственный случай разночтения такого рода):

Лк. 6–32. **и҆ грѣшнїи бо любѧщѧѧ и҆хъ любѧтъ**. С. (οἱ ἁμαρτωλοὶ).

В других кодексах **грѣшници** — М. З. А., в том же кодексе далее **грѣшници** — Лк. 6–33.

Краткая форма употреблена после прилагательного в атрибутивной функции:

Мр. 6–13. **і мазаахѫ олеемъ мъногы недѫжъны и исцѣлѣахѫ**. М. (πολλοὺς ἀρρώστους); Мр. 1–34. **і исцѣли мъногы недѫжъны імѫштѧ различъны ѩзѧ**. М. (πολλοὺς κακῶς ἔχοντας).

В Зографском кодексе в обоих случаях полная форма **недѫжьныѭ**.

В употреблении краткой и полной формы субстантивированных прилагательных данного ряда со значением неединичности трудно установить четкую закономерность; наряду с краткой формой выступает и полная:

Мр. 6–56. **і ѣможе колижъдо въхождааше вь вьси ли въ грады ли въ села на распѫтихъ полагаахѫ недѫжъныѭ**. М. З. (τοὺς ἀσθενοῦντας); Ио. 6–2. **и по немь идѣаше народъ мъногъ ѣко видѣахѫ знамениѣ ѣже творѣше на недѫжъныхъ**. М. З. А. (ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων).

---

[89] Отметим также случаи разночтения в так называемых «заповедях блаженства»: Мф. 5–5. **блажени кротъци ꙗко ти наслѣдѧтъ земьѭ**. С. А.; **кротьци**. З.; Мф. 5–8. **блажени чисти срⷣцемъ ꙗко ти ба ѹ҆зьрѧ**. С. З.; **чісти*.* А.; Мф. 5–3. **блажени нищи дхомъ ꙗко** ... С. З.; **нищи*.* А. Без разночтения зафиксирован лишь один пример: Мф. 5–7. **блажени милостиви ꙗко ти** ... С. З. А.

Полная форма в рассматриваемом положении является в общем более употребительной[90].

Последовательное употребление полной формы зафиксировано в случаях при противопоставлении одного субстантивированного прилагательного (во множественном числе) — другому, при этом оба прилагательных вместе означают определенный круг лиц, взятый целиком (для данного контекста).

Мф. 13–47, 48, 49. **пакы подобъно естъ цсрство не҃бское неводоу въвръженоу въ море і отъ вьсѣкого рода избъравъшю ... сѣдъше избраша добрыꙗ вь съсѫдъ а зълыꙗ изврьгѫ вонъ** (τὰ καλὰ... τα σαπρὰ) ... **тако бѫдетъ въ съконьчание вѣка ізидѫтъ анѣли і отълѫчѧтъ зълыꙗ отъ срѣдъ праведъныхъ**. М. З. С. (τοὺς πονηροὺς ... τῶν δικαίων).

Данный пример отличается от остальных приведенных выше: в нем субстантивированные прилагательные означают не злых и праведных вообще, а злых и добрых в определенных конкретных условиях, взятых при этом полностью: здесь значение неединичности отсутствует. То же приблизительно положение наблюдается в примерах, где субстантивированное прилагательное выступает наряду с определительным местоимением **вьсѧ**[91].

Лк. 13–17. **и вьси людие радоваахо сѧ о вьсѣхъ славъныихъ бываѭштиихъ отъ него**. М. З. С. (ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις).

С местоимением **вьсѧ** зафиксировано лишь одно разночтение, вызванное, вероятно, тем, что определение **вьсѧ** относится более к словам **ꙗже обрѣтѫ**, а не к субстантивиро-

---

90 Помимо изложенных примеров, приведем остальные: Мф. 13–43. **тъгда праведьнии просвѣтѧтъ сѧ ѣко слъньце**. М. З. А. (οἱ δίκαιοι); Мф. 23–29. **ѣко зиждете гробы пророчьскыꙗ і краситє ракы праведьнъхъ**. М. (τῶν δικαίων); Лк. 1–17. **обратити срьдъца отьцемъ на чада і противъныꙗ въ мѫдрость праведъныхъ**. М. З. А. (ἀπειθεῖς ... δικαίων); Лк. 14–14. **въздастъ бо ти сѧ во вьскрѣшение праведъныхъ**. М. З. (τῶν δικαίων); Лк. 12–46. **і протєшетъ і і чѧсть єго съ невѣрънъими положитъ**. М. З. (τῶν ἀπίστων); Лк. 6–35. **ѣко тъ благъ естъ на невъзблагодатъныꙗ и зълыꙗ**. М. З. А. (ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς).

91 Сюда же относятся случаи, когда местоимение **вьсѧ** отсутствует, но сам контекст указывает на то, что в данных условиях речь идет обо всех вместе взятых лицах с определенными индивидуальными качествами. Для этих случаев характерна полная форма: Лк. 10–8, 9. **і въ ньже г(д)радъ колижъдо въходите ... цѣлите недѫжъныꙗ иже сѫтъ въ немь**. М. З. (τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς); Мф. 14–14. **і ишедъ и҃с видѣ народъ мъногъ і милосрдва о нихъ і исцѣли недѫжъныꙗ ихъ**. М. З. А. С. (τοὺς ἀρρώστους).

ванным прилагательным зълыѩ, добрыѩ, которые несколько обособлены:

Мф. 22–10. събъраша вьсѧ ѩже обрѣтѫ зълыѩ же и добры. М. (πάντας ... πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς); в Ассеманиевом кодексе полная форма: зьлыѩ и добрыѩ.

В таком примере, как: Мф. 25–1 по 9. тъгда оуподобитъ сѧ цсрство нбское десѧти дѣвъ ... пѧть же бѣ отъ нихъ боуи і пѧть мѫдръ боуѩ бо приемъшѧ свѣтильникы своѩ не вьзѧшѧ съ собоѭ олеа а мѫдрыѩ приѩшѧ олѣй ... боуѩ рѣшѧ мѫдрымъ ... отъвѣшташѧ же мѫдрыѩ глѭштѧ. М. З.; боуѩ рѣшѧ мѫдрымъ. С. А. (αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας... αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ... αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν ... ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι), наблюдается вторичная упомянутость лица; однако, как видно из примера, полная форма в этих условиях выступает не всегда последовательно[92]. Для рассмотренного примера нужно признать также момент неполной субстантивации.

Значение единичности, полная субстантивация и вышеупомянутость характерны для следующего примера, взятого из другого лексического ряда:

Ио. 5–7. отъвѣща емоу недѫжъны. М. З. А. (ὁ ἀσθενῶν); предыдущий контекст: бѣ же тоу единъ чл҃вкъ ѣ҃ і осмь лѣтъ имы въ недѫѕѣ своемь. Здесь зафиксирована только полная форма без разночтений.

При обращении (звательный «падеж») довольно последовательно употребляется полная форма:

Лк. 1–28. і въшедъ къ неи анѣ҃лъ рече радоуи сѧ благодатьнаѣ г҃ъ съ тобоѭ. М. З. А. (χαῖρε κεχαριτωμένη); Лк. 4–34. вѣмъ тѧ кто еси ст҃ы бж҃ии. М. З.; стъии. А. (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ).

Разночтение зафиксировано лишь в одном примере:

Лк. 24–25. і тъ рече къ нима ѡ несъмъслъная и мѫдъна сдцмь. М.; мѫдъная. З. А. (ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ).

Колебания в употреблении полной или краткой формы вызваны противодействием двух факторов. Звательный «падеж» требует полной формы, а при обстоятельственном определении в творительном падеже (срдцемь) выступает обычно прилагательное в краткой форме.

---

92 Ср. также: Мф. 21–40, 41. егда же оубо придетъ гн҃ь винограда чъто сътворитъ дѣлателемъ тѣмъ зълы зълѣ погоубитъ ѩ и виноградъ прѣдастъ инѣмъ дѣлателемъ. М. А.; зълыѧ. С. (κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς). Здесь, однако, нет вторичной упомянутости самого субстантивированного прилагательного.

Флексия звательного «падежа» единственного числа на -є редко употребительна.

Лк. 12–20. **рече же емоу бъ безоумьне въ сьѭ нощь дшѭ твоѭ истѧзаѭтъ отъ тебе.** М. З. А.; **безоумьлю.** С. (ἄφρων), ср. **боуѥ** (см. ниже, § 44).

После указательного местоимения всегда, без исключения, выступает полная форма субстантивированного прилагательного:

Мф. 27–24. **не повиненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго.** М. А. С.; **правьдьника.** З. (τούτου τοῦ δικαίου).

§ 44. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по физическим качествам: **глоухъи, слѣпъи, хромъи, нѣмъи** и др.

Употребление краткой и полной формы вызвано в основном теми же факторами, что и в предыдущем лексическом ряде субстантивированных прилагательных.

Субстантивированные прилагательные со значением неединичности выступают и в краткой, и в полной форме. В этом положении зафиксировано значительное число колебаний.

Мр. 7–32. **і привѣсѧ къ немоу глоуха гѫгънива і молѣахѫ.** М. С. (κωφὸν καὶ μογιλάλον); **глоухъ гѫгънивъ.** З.; **глоуха и нѣма.** А.; Лк. 7–21. **і мъногомъ слѣпомъ дарова прозьрѣние.** М. З. (τυφλοῖς πολλοῖς); Лк. 4–19. **проповѣдѣтъ плѣньникомъ отъпоуштение і слѣпъимъ прозьрѣние**[93]. М. А. С. (τυφλοῖς); Ио. 10–21. **ини глаахѫ ... еда бѣсъ можетъ слѣпомъ очи отврѣсти.** М. З.; **слѣпъимъ.** А. (τυφλῶν); Ио. 5–3. **въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштинхъ слѣпъ хромъ соухъ чаѭщинхъ движенитѣ водѣ.** М. З. А. (πλῆθος τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν); Мф. 15–30. **і пристѫпишѧ къ немоу народи мъ(но)зи імѫще съ собоѭ хромъи нѣмъи и слѣпъи и бѣсъни і инъи мъногъи.** М. З. (χολοὺς, τυφλοὺς, κωφοὺς, κυλλοὺς).

---

93 Этот пример может быть растолкован и как «всем слепым прозрение», тогда в нем уже нельзя усматривать значения неединичности, полная форма вполне закономерна. См. первый пример, где есть определение **мъногомъ** (не всем). Это же объяснение применимо к случаю: **горе же непраздънъимъ и доѭштимъ въ тъі дьни,** встречающемуся в исследуемых текстах трижды: Мф. 24–19, М. А. С.; Мр. 13–17, М. З.; Лк. 21–23, М. З. (ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχουσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις).

Употребление краткой формы в последнем примере закреплено, по-видимому, наличием причастия имѫще, за которым следуют субстантивированные прилагательные (ср. § 9)[94].

Число примеров, где субстантивированное прилагательное выступает с уникализированным значением, незначительно. К ним можно отнести случаи употребления субстантивированного прилагательного во множественном числе с определительным местоимением вьсь.

Мр. 1–32. приношаахѫ къ немоу вьсѧ недѫжъныѩ и бѣсъныѩ. М.; только: всѧ недѫжьныѩ. З. (πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους), а также:

Мф. 4–24. і привѣсѧ емоу вьсѧ болѧштаѩ различьными недѫгы і страстьми ѻдръжимы і бѣсъныѩ і мѣсѧчьныѩ зълы недѫгы імѫштѧ і ослаблены жилами і ицѣли ѩ. З. (δαιμονιζομένους). Случаи вышеупомянутости:

Мф. 9–32, 33. се привѣсѧ члвкъ нѣмъ бѣсенъ і изгънаноу бѣсоу проґла нѣмы. М. З. А.; глоуха, бѣсъноуѭща сѧ, глоухы. С. (ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον... ὁ κωφός); Ио. 11–37. едини же отъ нихъ рѣшѧ не можааше ли сь отвръзъи очи слѣпооумоу сътворити да и сь не оумьретъ. М. З. А.; слѣпьцю. С. (τοῦ τυφλοῦ). Речь идет о предшествующем прозрении слепого (см. Ио. 11 гл.).

Естественно, что краткая форма в первом примере члка глоуха не выражает индивидуализации лица (какой-то из многих глухих, вообще глухой, лицо, упомянутое впервые). Однако в исследуемых кодексах есть случай, где эта еди-

---

94 Остальные примеры: с краткой формой: Мф. 21–14. і пристѫпишѧ къ немоу хроми и слѣпии въ цркве и исцѣли ѩ. М. (τυφλοὶ καὶ χωλοὶ); Лк. 14–13. нъ егда твориши пиръ зови ништаѩ маломошти хромы слѣпы. М. З. (χωλούς τυφλούς). С полной формой: Лк. 7–22. ѣже видѣста и слышаста ѣко слѣпии прозираѭтъ хромии ходѧтъ ... глоусии слышѧтъ. М. З. (τυφλοὶ. .. χωλοὶ ... κωφοὶ); Мр. 7–37. дивлѣахѫ сѧ глѭште добрѣ вьсе творить (і) глоухъіѩ творитъ слышати і немъіѩ глати. М. З. А. С. (τοὺς κωφοὺς... καὶ ἀλάλους); Лк. 14–21. рече рабоу своемоу ... і ништаѩ и бѣдъныѩ и хромъіѩ и слѣпъіѩ въведи сѣмо. М. З. А. С. (τυφλοὺς... χωλοὺς). Для этого примера также можно предположить наличие момента единичности — "собери всех нищих, бедных, хромых и слепых". Лк. 5–31. не трѣбоуѭтъ съдравии врача нъ болѧщеи. М. З.; съдравии. А. (οἱ ὑγιαίνοντες); то же, только полная форма без разночтения: Мф. 9–12. М. А. С., Мр. 2–17. М. З. А. С. (οἱ ἰσχύοντες). С разночтениями: Мф. 15–31. ѣко народоу дивити сѧ видѧще нѣмы глѭштѧ бѣдъныѩ съдравы і хромъіѩ ходѧштѧ слѣпъіѩ видѧштѧ. М.; нѣмъіѩ, хромы, слѣпы. З. (κωφοὺς ... χωλοὺς ... τυφλοὺς); Мф. 11–4,5. шедъше възвѣстите иоанови слѣпии прозираѭтъ і хромии ходѧтъ ... и глоусии слышѧтъ. М. А. хроми. З. (τυφλοὶ... χωλοὶ... κωφοὶ).

ничность выступает достаточно ярко: Мф. 12–22. **тъгда привѣсѧ къ немоу бѣсънѫѭщь сѧ слѣпъ и нѣмъ и исцѣли и ѣко слѣпъ і нѣмъ гл҃аше и гл҃ѧдаше.** М. В Зографском кодексе **слѣпъ** и **глоухъ** — при вторичном упоминании. (Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφὸς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν)[95]. И тем не менее, несмотря на вышеупомянутость, употреблена краткая форма. Отметим, однако, что при подобных условиях полная форма встречается гораздо чаще краткой[96].

При обращении (звательный «падеж»):

Мф. 23–17. **боуи и слѣпии кто болеи естъ злато ли ли цр҃кы.** М. (μωροὶ καὶ τυφλοί); аналогично Мф. 23–19, М.

Единственное число с флексией -е:

Мф. 5–22. **а ꙗ҆жь речетъ боуе повиненъ естъ ѣеонѣ огньнѣи.** З. (μωρέ).

К рассматриваемому лексическому ряду можно отнести и субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по отношению к жизни или смерти. Таковы **живъи** и **мрьтвъи**. Почти во всех случаях, как в тех, где выражается индивидуализация лица, так и в тех, где она не выражена, выступает полная форма[97]. Например:

Лк. 7–15. **і сѣде мрътвъі и начѧтъ гл҃ати.** М. З. А.[98] (ὁ νεκρὸς) — вторичное упоминание после слов **се изношаахѫ оуме-**

---

95 Ср. болгарский текст: «тогази му доведохѫ единого бѣснуемъ, слѣпъ и нѣмъ; и го исцѣли, щото слѣпый и нѣмый и говорѣше и виждаше».

96 Ср. также примеры: Мф. 8–28, 33. **сърѣтете и дъва бѣсъна отъ жалии ꙗ҆сходѧща лютѣ ѕѣло ... і шедъше въ градъ възвѣстишѧ вьсѣ і о бѣсъноую.** М. З. А.; **в҃ бѣсъноуѭща сѧ.** С. (δύο δαιμονιζόμενοι ... τὰ τῶν δαιμονιζομένων); Мр. 8–22, 23. **і привѣсѧ къ немоу слѣпа і молѣахѫ и да и коснетъ і емъ за рѫкѫ слѣпааго.** М. З. (τυφλόν ... τοῦ τυφλοῦ); Лк. 8–36. **възвѣстишѧ же имъ и видѣвъшеи како съпасе сѧ бѣсъновавъ.** М. З. А.; **бѣсъінъ.** С. (ὁ δαιμονισθείς); Лк. 11–14. **бъістъ же бѣсоу изгънаноу прогл҃а нѣмъі.** М. З. (ὁ κωφὸς) и уже приведенный пример: Ио. 5–7. **отъвѣща емоу недѫжънъі.** М. З. А. (ὁ ἀσθενῶν).

97 Ср. также: Ио. 11–41. **вьзѧшѧ же камень ꙗ҆деже бѣ лежѧ мрьтвъі.** С.; **оумеръі.** М.

98 С субстантивированным прилагательным **живъи** — два случая: один — приведенный выше, другой — Мф. 22–32. **нѣстъ б҃ъ мрътвъіхъ нъ живъіхъ.** М. (ζώντων); аналогично Мр. 12–27, М. З. и Лк. 20–38, М. З. С субстантивированным прилагательным **мрьтвъи** — 32 случая: 4 приведенных и 28 остальных. Укажем на основные: Ио. 5–21. **ѣко бо оц҃ъ вьскрѣшаатъ мрътвъіѩ и живитъ.** М. З. А. (τοὺς νεκροὺς); Мф. 22–31. **о вьскрѣшении же мрътвъіхъ нѣсте ли чьли.** М. (τῶν νεκρῶν); аналогично Мр. 12–26, М. З.; Мф. 23–27. **вънѫтрьждѫ же плъни сѫтъ костии**

рошъ сн҃ъ. Лк. 24–5. рѣсте къ нимъ чъто иштете живааго съ мрътвъими. М. З. А. (τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν) — обращение ангела к женам-мироносицам.

Мф. 10–8. болѧщѧѧ цѣлите мрътвъыѩ вьскрѣшаите. М. З. С. (νεκροὺς); Лк. 7–22. ѣже видѣста ... ѣко ... прокажении очиштаѭтъ сѧ глоусии слъшѧтъ мрътвии въстаѭтъ. М. З. (οἱ νεκροί).

Зафиксирован лишь один случай разночтения: Ио. 5–25. ѣко грѧдетъ година и нынѣ естъ егда мрътвии оуслъшѧтъ гл҃съ сн҃а бж҃иѣ. М. А.; мрътви. З. (οἱ νεκροί).

§ 45. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по социальному признаку: богатыи, бѣднъıи, нищии, силънъıи, крѣпкъıи, съмѣренъıи и др.

Краткая форма зафиксирована только от прилагательных богатъ и нищь:

Мр. 10–25. оудобѣе естъ вельбѫдоу сквозѣ игълинѣ оуши пройти неже богатоу въ цср҃ствие бж҃ие вънити. М. З. (ἢ πλούσιον); аналогично Мф. 19–23, М. А. С. и Лк. 18–25, М. З. А. С.; Мф. 19–23. ꙗко не оудобь богатоу вьнити вь цр҃ство нбс҃ко. С.; вьнидетъ богатъ. М. (πλούσιος).

Здесь краткая форма прилагательного выступает в генерализующей функции (ср. примеры в § 43, где зафиксирована полная форма), значение единичности отсутствует. Нет значения единичности и в следующих примерах:

Мр. 12–41. і мноѕи богатии въмѣтаахѫ многа. М. З. (πολλοὶ πλούσιοι); Лк. 6–24. обаче горе вамъ богатъıимъ. М. З. (τοῖς πλούσιοις).

Прилагательное нищь выступает в полной форме, притом необходимо отметить, что почти все примеры относятся к случаям неединичности:

Мф. 26–11. вьсегда бо нищѧѩ имате съ собоѭ҃. М. З. А. С. (τοὺς πτωχοὺς). В том же контексте: Мр. 14–7, М. З. и Ио. 12–8, М. З. А. С.; Лк. 14–21. і нештѧѩ и бѣдъıѩ и хромъıѧ и слѣпъıѩ въведи сѣмо. М. З. А. С. (τοὺς πτωχοὺς); Лк. 14–13.

мрътвъıхъ. М. (τῶν νεκρῶν); Лк. 16–30. нъ аште къто отъ мрътвъıхъ идетъ къ нимъ. М. З. А. С. (ἀπὸ νεκρῶν); Лк. 20–37. а ѣкоже въстаѭтъ мрътвии. М. З. (οἱ νεκροί); Мф. 8–22. іс҃ же гл҃а ємꙋ ... оставі мрьтвъıѧ погрети своіхъ мрьтвъıхъ. С.; своѩ мрътвъцѧ. М. З. А.; то же Лк. 9–60, М. З. А. С. (ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς); Ио. 20–9. подобаатъ емоу отъ мрътвъıхъ въскръснѫти. М. А. Кроме того, зафиксированы еще аналогичные примеры, всего 21: в Мар. к. — 20 раз, в Зогр. к. — 17 раз, в Ассем. к. — 16 раз, в Савв. кн. — 6 раз.

нъ егда твориши пиръ зови ништѧѩ маломошти хромы слѣпы. М. З. (πτωχούς ἀναπήρους)[99].

Для других прилагательных данного лексического ряда характерна также полная форма:

Лк. 1–52. низъложи силънъѩ съ прѣстолъ і възнесе съмѣренъѩ. М. З. (δυνάστας ... ταπεινούς); Лк. 11–21. егда крѣпъкы оуоржжь сѧ хранитъ свои дворъ. М. З. (ὁ ἰσχυρὸς); Мф. 20–25. и вѣлицин обладаѭтъ малыими. М. (οἱ μεγάλοι). Здесь в трех примерах прилагательное выступает в значении неединичности, так же как и в первом случае следующего примера.

Мр. 3–27. никтоже не можетъ съсѫдъ крѣпъкааго въшедъ въ домъ его расхытити аште не прѣжде крѣпъкааго съвѧжетъ і тъгда домъ его расхытитъ. М. З. (τοῦ ἰσχυροῦ ... τὸν ἰσχυρὸν). Аналогично Мф. 12–29, М. З. Второй случай — уже вторичная упомянутость лица. Вышеупомянутость также и в примере:

Лк. 16–19 по 22. чл҃вкъ же единъ бѣ богатъ ... нищъ же бѣ единъ ... и желааше насытити сѧ отъ кроупицъ падаѭштихъ отъ трапезы богатааго ... бысть же оумьрѣти ништюмоу ... оумьрѣтъ же и богатыи. М. З. А.; оумрѣтъ же и богаты тъ. С. (τοῦ πλουσίου... τὸν πτωχὸν... ὁ πλούσιος). В Саввиной книге вторичная упомянутость закреплена указательным местоимением.

Значение единичности зафиксировано в примере:

Лк. 1–49. ѣко сътвори мьнѣ величьѣ силъны і свѧто имѧ его. М. З. А. (ὁ θυνατός).

Субстантивированные прилагательные в сравнительной степени зафиксированы лишь в именительном падеже единственного числа, где краткая и полная форма совпадают.

Лк. 7–28. мьнии же въ цс҃рстви божии болии его естъ. М. З. (ὁ δὲ μικρότερος); аналогично Мф. 11–11; Лк. 11–22. а понеже крѣплеи его нашедъ побѣдитъ. М. З. (ἰσχυρότερος).

---

99 Приведем остальные примеры: Лк. 4–18. благовѣститъ ништнимъ (всем?) посъла мѧ. М. А. С. (πτωχοῖς); Лк. 7–22. ѣже видѣста ... мрътвии въстаѭтъ ништии благовѣстоуѭтъ. М. З. (πτωχοὶ); Ио. 12–5. чесо ради мѵро се не продано бысть на т҃ пѣнѧзъ і дано нищнимъ. М. З. А. С. (πτωχοῖς); примеров, аналогичных этому, зафиксировано еще шесть: в Савв. кн. 2 раза, в Мар. к. 6 раз, в Зогр. к. 2 раза, в Ассем. к. 3 раза. Важно отметить также пример, где, казалось бы, налицо разночтение: Ио. 12–6. се же рече не ꙗко ὁ нищихъ печаше сѧ нъ ꙗко тать бѣ. С. З.; ништнихъ. М. А. (τῶν πτωχῶν). Есть основание полагать, что в данном случае не колебание — полная и краткая форма, а стяжение гласных в слове «нищихъ», об этом свидетельствует и предшествующий контекст: Ио. 12–15. чесо ради мѵро се не продано бысть ... і дано нищнимъ.

С указательным местоимением последовательно полная форма:

Мф. 25–45. **понеже не сътвористе единомоу отъ сихъ мьньшихъ ни мьнѣ сътвористе.** М. З. А. С. (ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων); то же и при положительной степени:

Мр. 9–42. **иже аще съблазнитъ единого отъ малыхъ сихъ вѣроуѭштихъ вь мѧ.** М. З. (τῶν μικρῶν τούτων); то же Мф. 18–6, М.; Лк. 17–2, М. З; аналогично Мф. 18–10, М. А. С.; Мф. 18–14, М. А. С.

§ **46.** В исследуемых кодексах зафиксировано следующее субстантивированное прилагательное, характеризующее лицо по степени родства: **иночѧдыи.**

Ио. 1–14. **видѣхомъ славѫ его славѫ ѣко иночѧдаего отъ оц҃а.** М. З. А. (μονογενοῦς). (Ср. § 19).

К этому же лексическому ряду можно отнести и субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо в отношении его близости или отдаленности от других лиц. Таковы: **тоуждии, ближьнии (искрьнии).**

Ио. 10–4, 5. **і егда своѭ овъцѧ иждене́тъ ... овъцѧ по немь иджтъ ѣко вѣдѧтъ гласъ его по тоуждемь же не иджтъ нъ бѣжѧтъ отъ него ѣко не знаѭтъ тоуждиихъ гласа.** М.; **штюждего.** З.; **тоуждааго.** А. (ἀλλοτρίῳ... τῶν ἀλλοτρίων); Лк. 10–27. **вьзлюби ближьнѥаго своего ѩко самъ сѧ.** С.; **искрънѣаго.** М. А.; **подроуга.** З. (τὸν πλησίον). То же Мф. 5–43, М. З. А. С.; Мф. 19–19, М. А. С.; Мф. 22–39, М. А. С.; то же, где и в Зографском кодексе **искрънѣаго:** Мр. 12–31, М. З. А.; аналогично Мр. 12–33, М. З. А.

Во всех случаях зафиксирована полная форма, хотя значения единичности в рассмотренных примерах нет. Отметим, что прилагательное **ближьнии** образовано от предлога-наречия **близь**; можно полагать, что краткая форма от него в старославянском языке была невозможна (ср. § 13). Ягич в словаре Мариинского кодекса дает только **ближьнии.** Прилагательное **ближьнии** можно отнести также к лексическому ряду, обозначающему лицо по локальному признаку.

§ **47.** Субстантивированное прилагательное, характеризующее лицо по темпоральному признаку, — **древьнии:**

Мф. 5–27. **слышасте ѣко речено бы҃ древъниимъ.** М. З. (τοῖς ἀρχαίοις); то же Мф. 5–33, М. З.; Лк. 9–19. **ови же (рѣшѧ) ѣко прк҃ъ единъ древьниихъ воскръсе.** М. З. (τις τῶν ἀρχαίων); аналогично Лк. 9–8, М. З.

Субстантивированное прилагательное **древьнии**, так же как и **ближьнии**, известно было, видимо, только в полной форме. У Ягича в словаре только **древьнии**.

Субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по локальному признаку: **вышьнии, нижьнии, послѣдьнии**.

Мф. 20–16. **тако бѫдѫтъ послѣдьнии пръвии і пръвии послѣдьнии**. М. З. (οἱ ἔσχατοι); то же Мр. 10–31, М. З.; Мф. 20–8. **і даждь имъ мъздѫ наченъ отъ послѣдьниихъ до пръвъихъ**. (τῶν ἐσχάτων); аналогично Ио. 8–9, М.; Ио. 8–23. **глаше имъ въ отъ нижъниихъ есте азъ отъ вышъниихъ есмъ**. М. З. А. В Зографском кодексе только **отъ вышьнихъ** (ἐκ τῶν κάτω ... ἐκ τῶν ἄνω); Лк. 19–38. **миръ нн҃бсе и слава въ вышъниихъ**. М. З. (ἐν ὑψίστοις); аналогично Лк. 2–14, М. З. А. С.; Мф. 21–9, М. С.

Субстантивированные прилагательные данного лексического ряда выступают всегда в полной форме, независимо от того, выражают они единичность лица или нет (ср. § 13).

Случаи единичности:

Лк. 1–31, 32. **наречеши имѧ емоу и҃съ сь бѫдетъ велии і сн҃ъ вышънѣаго наречетъ сѧ**. М. З. А.; аналогично Лк. 1–76, М. З. А., Лк. 6–35, М. З. А. (ὑψίστου. Лк. 1–32); Лк. 1–35. **дх҃ъ ст҃ы наидетъ на тѧ і сила вышънѣаго осѣнитъ тѧ**. М. З. А. С. (ὑψίστου).

С указательным местоимением:

Мф. 20–14. **хоштѫ же семоу послѣдьнюмоу дати ѣко и тебѣ**. М. А. (τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ); Мф. 20–11, 12. **ръпътаахѫ на гн҃ъ глѫште како сьѩ послѣдьнѩѩ единъ часъ сътворьшѧ**. М.; **ѣко си послѣдъни**. А. (οἱ ἔσχατοι).

К рассматриваемому лексическому ряду можно причислить также и субстантивированное прилагательное **домаштьнии**.

Мф. 10–36. **і врази чл҃коу домацьнии его**. М. З. (οἱ οἰκιακοὶ). У Ягича в словаре только **домаштьнии**.

§ 48. Вне приведенных выше шести лексических рядов осталось субстантированное прилагательное **странынъи**.

Мф. 27–7. **съвѣтъ же сътворьше коупишѧ имь село скѫдельниково въ погрѣбание странъныимъ**. М. З. А. С. (τοῖς ξένοις).

Таковы случаи употребления субстантивированных прилагательных, означающих лицо, в исследуемых кодексах.

§ 49. Группа субстантивированных прилагательных с предметным значением крайне малочисленна. В исследуемых кодексах зафиксировано всего три примера:

Лк. 5–11. **і извезъше корабле на соухо и оставьше вьсе вь слѣдъ его идѫ.** М. З.; **на землѭ.** А. (ἐπὶ τὴν γῆν).

А. Вайан объясняет наличие краткой формы в данном примере тем, что считает его застывшим оборотом (Вайан, 1952, с. 201). Тем не менее, нет основания считать данный оборот **извезъше на соухо** фразеологическим единством или сращением. Скорее можно сблизить данную конструкцию краткого прилагательного с предлогом с конструкциями наречного характера (типа **въ малѣ, изъ лиха** — см. § 54), однако считать ее устойчивым наречным выражением едва ли правомерно. Основную причину наличия краткой формы в конструкции **на соухо** нужно искать в том, что субстантивированным качественным прилагательным является не какой-то конкретно выделяемый предмет, а предмет вообще (вообще суша, а не море).

Ио. 21–5. **гла же имъ ис дѣти еда что сънѣдъно имате.** М. З. А. С. (τι προσφάγιον); то же Лк. 24–41, М. А.; Мф. 21–20, 21. **оученици дивишѧ сѧ глште како абье оусъше смоковьница ... аще имате вѣрѫ и не оусѫмьните сѧ не тькмо смоковьничъное сътворите нъ аште и горѣ сеи речете двигни сѧ ...** М. (τὸ τῆς συκῆς).

Краткая форма во втором примере также закономерна, она вызвана наличием вопросительного местоимения **чьто**, употребленного в функции неопределенного местоимения. В третьем примере субстантивированное прилагательное — полу-предметного, полу-абстрактного значения (ср. болгарский перевод «делото на смоковницата»). Оттенок абстрактности значения придает форма среднего рода, обязательная для всех субстантивированных прилагательных с абстрактным значением. В этом отношении в двух последних примерах субстантивированные прилагательные предметного значения близко примыкают к абстрактным субстантивированным прилагательным (см. § 51).

§ 50. Группа субстантивированных прилагательных, означающих отвлеченные понятия, более многочисленна. Характерным внешним признаком этой группы является форма среднего рода. «Форма среднего рода имени прилагательного, — замечает В. В. Виноградов, — употребленная в значе-

нии существительного, приобретает широкое обобщенно-абстрактное значение» (Виноградов, 1947, с. 63). Степень абстракции может быть большей или меньшей (как, например, у притяжательных прилагательных), в зависимости от лексического значения субстантивированного прилагательного, однако отвлеченность значения, обобщенность является основным семантическим моментом, объединяющим всю группу субстантивированных прилагательных, делающим затруднительным их дальнейшее подразделение на более частные лексические ряды[100].

Случаи колебания зафиксированы почти у всех субстантивированных прилагательных абстрактного значения, за исключением тех, которые и в атрибутивной функции выступают только в полной форме. Таковы, например, **вънѫтрьнее** и **вънѣштьнее**, образованные от наречий места.

Мф. 23–25, 26. **Горе вамъ кънижьници ... ѣко очиштаате вьнѣщънее стькльници і паропсидѣ ... фарисею слѣпе очисти прѣжде вьнѫтрьнее стекльници і поропсидѣ да бѫдетъ и вьнѣщьнее има чисто.** М. (τὸ ἔξωθεν ... τὸ ἐντὸς ... τὸ ἐκτὸς).

Некоторую степень конкретности субстантивированным прилагательным в этом примере придает родительный притяжательный — **стькльници і паропсидѣ**. Аналогично Лк. 11–39, 40. **рече г҃ь къ немоу нынѣ въ фарисѣи вьнѣштьнее стькльници и мисѣ очиштаате а вънѫтрьнѣа ваша плъна сѫтъ хъштениѣ и зълобы безоумьни не иже ли естъ сътворилъ вънѣштьнее і вънѫтрьнее сътвори.** М. З. В этом примере субстантивированные прилагательные в последних трех случаях — более абстрактного значения.

Бóльшая абстрактность значения субстантивированного прилагательного наблюдается в следующем примере:

Мф. 13–52. **вьсѣкъ кънижъникъ... подобенъ естъ чл҃вкоу домовитоу іже износитъ отъ съкровища своего нова и ветъхаа.** М.; **новаѣ.** З. А. С. (καινὰ καὶ παλαιά)[101].

---

[100] Такое дальнейшее подразделение теоретически было бы возможно, но практически оно бы ничего не дало. Ср. **новое** и **вьнѫтрьнее**; если бы мы рассматривали эти прилагательные в атрибутивной функции, мы бы отнесли их в различные разряды.

[101] Ср. другой пример с меньшей абстрактностью значения субстантивированного прилагательного: Мр. 2–21. **і никтоже приставлениѣ плата не бѣлена не приставлѣатъ ризѣ ветъсѣ аште ли же ни възьметъ конецъ отъ неѭ новое отъ ветъхааго і горьши дира бѫдетъ.** М. З. (τὸ καινὸν). Здесь из контекста ясно, что речь идет о предмете, тем не менее обобщенно-аб-

§ 51. Наконец, примеры с субстантивированными прилагательными вполне абстрактного значения:

Ио. 3–12. аште земъна рѣхъ вамъ и не вѣроуоуте како аште рекѫ вамъ нбска вѣроуоуте. М.; земънаа, небснаа. А. (τὰ ἐπίγεια... τὰ ἐπουράνια); Мф. 7–6. не дадите стаго псомъ. М. З. А.; сщенига. С. (τὸ ἅγιον); Лк. 16–12. і аште въ тоуджемь вѣрьни не бысте ваше къто вамъ дастъ. М. З. А. С. (ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ); Мф. 13–11. ѣко вамъ дано естъ разоумѣти таинаа цсрствиѣ нбскааго. М. З. (τὰ μυστήρια); аналогично Мр. 4–11, М.; Лк. 5–26. ѣко видѣхо(мъ) дивъна дьнесь. М. З. С.; дівьнаа. А. (παράδοξα).

Все примеры, за исключением последнего, относятся к случаям, где отсутствует уникализация, что вообще более свойственно для данного лексического ряда прилагательных.

К случаям уникализации нужно отнести пример с указательным местоимением: Мф. 5–37. лихое бо сеѭ отъ непрїѣзни естъ. М. З. (τὸ δὲ περισσὸν), здесь, естественно, употреблена полная форма субстантивированного прилагательного.

§ 52. Особую группу составляют субстантивированные качественные прилагательные: благоѥ, доброѥ, зълоѥ. Краткая и полная форма этих субстантивированных прилагательных вступает в тесное взаимоотношение с существительными добро, благо, зъло; факты старославянского языка, а также древнерусского, древнесербского и других славянских языков не позволяют нам рассматривать в отдельных случаях существительные добро, благо, зъло наравне с другими субстантивированными прилагательными среднего рода данного лексического ряда[102]. Существительные добро, благо, зъло нельзя считать субстантивированными прилагательными — они восходят, видимо, к той эпохе, когда еще категория прилагательного не выделилась полностью из категории существительного: в ту пору, очевидно, имя (существительное-прилагательное) не имело столь отвлеченного значения и должно было означать более конкретные понятия и предметы.

страктное значение прилагательного не исчезает. Таков же пример: Мф. 11–8. нъ чесо изидете видѣтъ чл҃вка ли въ мѧкъкы ризи облъчена се иже мѧкъка носѧтъ въ домохъ цср(нхъ) сѫтъ. М. З.; мѧкькаѣ. А. (τὰ μαλακὰ).

102 В данном случае я полностью присоединяюсь к мнению В. Л. Георгиевой по этому вопросу. Ею выдвинуто положение об «омонимичности» именной формы субстантивированного прилагательного добро и существительного добро. См. упомянутую диссертацию.

Субстантивированные прилагательные типа зълоѥ, доброѥ «обозначают не всякое лицо и не обобщенно все лица, обладающие данным качеством, а обобщенно все и лица, и предметы, обладающие тем или иным признаком» (Георгиева, 1952а). Для данного лексического ряда субстантивированных прилагательных, таким образом, характерно «отсутствие определенной субстантивности (определенности)»[103]. Определяя для субстантивированных прилагательных типа зъло, зълоѥ и существительных типа зъло степень их определенности (определенной субстантивности), можно установить следующую градацию: 1. субстантивированные прилагательные краткой формы зъло; 2. субстантивированные прилагательные полной формы зълоѥ; 3. существительное зъло — от меньшей степени определенности к большей. Такая градация возможна, ибо семантического разрыва между субстантивированными прилагательными зълоѥ и зъло (также доброѥ, добро) и существительным зъло (также добро) не произошло, — «омонимия» оказалась неполной, относительной. Например:

Лк. 6–45. благы чл҃къ отъ бл҃гаго съкровишта ср҃дца своего износитъ благоѥ. М. З. (τὸ ἀγαθόν); Мф. 12–35. добры чл҃вкъ отъ добраго съкровишта износитъ добраѣ. М. З. А.; благаꙗ. С. (τὰ ἀγαθά); Мф. 7–11. кольми паче от҃цъ вашъ иже естъ нн҃бсехъ дастъ благаа҃ просѧщиимъ его. М. З. (ἀγαθά).

Случаи разночтения:

Лк. 16–25. рече же авраамъ чѧдо помѣни ѣко въсприлъ еси ты благаа твоѣ въ животѣ твоемь. М. С. З.; благаа твоѣ. А. (τὰ ἀγαθά); Ио. 5–29. и изидѫтъ сътворьшеи благаа въ въскрѣшение животоу. М. А.; блага. З. (τὰ ἀγαθά).

Пример употребления существительного наряду с субстантивированным прилагательным полной формы:

Лк. 12–17, 18, 19. і мышлѣаше въ себѣ гл҃ѧ что сътворѭ ѣко не имамъ къде събрати ... плодъ моихъ і рече се сътворѭ разорѭ житьницѧ моѧ и большѧ възиждѫ і съберѫ тоу вьсѣ жита моѣ и добро мое и рекѫ д҃ши моеи д҃ше имаши мъного добро

---

[103] Лысков, 1926, с. 29. Эту определенность нужно понимать в несколько ином плане, чем определенность и неопределенность исследуемой нами категории прилагательных. И. П. Лысков говорит об определенной субстантивности, далее он добавляет: «Это принуждает нас сравнить их (субстантивированные прилагательные типа *разумное, доброе, вечное*. — *Н. Т.*) с безличными глаголами типа *светает*, под которыми нельзя мыслить никакого подлежащего» (там же).

лежѧште на лѣта мьнога. М. З.; доброе мое. А. С. (τὰ ἀγαθὰ μου... πολλὰ ἀγαθὰ).

Пример с существительным:

Лк. 14–34. добро естъ солъ аште же соль обоуѣатъ о чемъ осолитъ сѧ. М. З. (καλὸν).

Те же отношения наблюдаем и с субстантивированным прилагательным зълоѥ.

Полная форма:

Мф. 12–35. зълы чл҃вкъ отъ зълааго съкровишта износитъ зълаа. М. З. А.; лѫкавага. С. (πονηρά); Лк. 6–45. зълы чл҃къ отъ зълааго съкровища срдца своего износитъ зълое. М. З. (τὸ πονηρόν); Ио. 5–29. и изидѫтъ сътворьшеи благаа въ вьскрѣшение животоу а сътворьшеи зълаа въ вьскрѣшение сѫдоу. М. З. А. (τὰ φαῦλα); Лк. 16–25. рече же авраамъ ... ѣко въсприлѫлъ еси ты благаа твоѣ въ животѣ твоемь і лазарь такожде зълаа. М. З. А. С. (τὰ κακά).

Краткая форма при отрицании ничьсоже выражает неопределенность, неконкретность субстантивированного прилагательного:

Лк. 23–41. і вѣ оубо въ правъдѫ достоинаа бо дѣломъ наю въсприемлевѣ а сь ничьсоже зъла не сътвори. М. З. А. (οὐδὲν ἄτοπον).

Существительное зъло:

Лк. 23–22. онъ же третицеѭ рече къ нимъ чьто бо сътвори зъло. М. З. (κακὸν); Ио. 3–20. вьсѣкъ бо дѣлаѩи зъла ненавидитъ свѣта. М. А. (ὁ φαῦλα).

С указательным местоимением:

Мр. 7–23. вьсѣ си зъла из ѫтрь исходѧтъ і скврънѧтъ чл҃вка. М. (πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ).

Таковы все примеры, в которых употребляются прилагательные и существительные типа доброѥ, добро. Как видно из самого контекста и из сравнения с греческим оригиналом, существительные типа добро употребляются для передачи более конкретных понятий, их значение уже и потому определеннее значения субстантивированных прилагательных типа доброѥ, охватывающего все лица и предметы, обладающие данным свойством. Колебания наблюдаются только при употреблении субстантивированных прилагательных (доброѥ или добро), при употреблении существительных колебаний не зафиксировано. Характерно, что с указательным местоимением употреблено именно существительное добро, а не субстантивированное прилагательное, пусть даже полной

формы, имеющее широкое обобщающее значение. Вообще случаи употребления указательных местоимений с субстантивированными прилагательными, означающими отвлеченные понятия, редки (см. единственный случай в § 43). Это можно считать характерным для данного лексического ряда.

§ 53. Более конкретное значение имеют притяжательные прилагательные, что объясняется их грамматической природой, так как они «не только выделяют предмет, но и индивидуализируют его посредством непосредственного указания на него самого или посредством указания на владельца» (Виноградов, 1947, с. 191). Однако и в данном случае средний род указывает на широкую обобщенность, на меньшую конкретизацию значения, чем в атрибутивной функции.

Зафиксированы следующие примеры:

Мф. 22–21. **тъгда гла имъ въздадите оубо кесарева кесареви і бжиѣ бгви.** М. А. С. (τὰ Καίσαρος); то же Мр. 12–17, М. З.; Лк. 20–25. **въздадите оубо кесаревое кесареви ѣже сѫтъ бжиѣ бви.** З.; **оубо ѣже сѫтъ кесарева.** М. (τὰ Καίσαρος).

Особый интерес представляет последний пример. Нужно отметить, что он является единственным случаем в исследуемых кодексах, когда притяжательное прилагательное имеет полную форму[104]. Неслучайно, что полная форма появилась сначала именно в данном положении, т. е. при субстантивации. Притяжательное прилагательное в атрибутивной функции, как говорилось выше, столь определенно по своему лексическому значению, что нет нужды в дополнительном его определении. При субстантивации же, когда принадлежность предмета сама по себе должна выражать субстанцию, оказалось возможным закрепить это отношение полной формой. Полная форма уже в старославянском языке стала носить в себе момент не только определяющий, но в известной мере и субстантивирующий.

§ 54. Особняком стоят наречные выражения, возникшие из субстантивированных прилагательных. К ним относятся зафиксированные в исследуемых текстах **о малѣ, о деснѫѭ, о лѣвѫѭ (о шюѭѫ).**

---

[104] Подобные случаи можно отметить и в других, уже более поздних памятниках старославянского языка. Например: **Христосовоумоу образоу.** Супр. 289–14; **Христовое рождьство.** Клоц. сб. 1–894; **Христовое изъ мрьтвъіхъ порожденье.** Клоц. сб. 897.

Наречные образования типа **о малѣ** (**въ малѣ**) можно считать характерными для старославянского и других славянских языков. Краткая форма субстантивированного прилагательного среднего рода послужила основой для их образования[105].

Мф. 25–21. **рече емоу гь его добръі рабе ... о малѣ бѣ вѣренъ надъ мъногы тѧ поставлѭ.** М. З. А. С. (ἐπὶ ὀλίγα); Лк. 16–10. **вѣрънъі въ малѣ и въ мъноѕѣ вѣренъ естъ.** М. З. А. С. (ἐν ἐλαχίστῳ); Ио. 16–15, 16. **сего ради рѣхъ вамъ ѣко отъ моего приметъ и възвѣститъ ва(мь) въ малѣ и к томоу не видите мене и пакы въ малѣ и оузърите мѧ.** М. З. А. С. (μικρὸν).

Выступая в предложении в качестве обстоятельственного слова, не согласующегося с именем, а лишь примыкающего к нему (равно как и в отдельных случаях к глаголу), наречие выполняет функцию качественного определения или обстоятельственного отношения. Однако эта определительная функция наречия существенно отличается от функции прилагательного. Грамматические категории, характеризующие прилагательное, по сраведливому замечанию А. А. Шахматова, «не сопутствуют сами по себе представлению о прилагательных; этому представлению сопутствует неизбежно представление о субстанции, определяемой, характеризуемой прилагательным..., представление о прилагательном вызывает неизменно представление о субстанции как носительнице тех пассивных признаков, которые выражаются прилагательным» (Шахматов, 1941, с. 490). Если же говорить о наречии, то ясно, что в нем такое представление о субстанции отсутствует, поэтому наречие не может определять субстанцию со стороны ее определенности или неопределенности, единичности или неединичности. Естественно, что при образовании наречий от прилагательных в их основу легли краткие формы.

Того же типа наречие **из лиха**, например:

---

105 Такой морфологический тип наречий широко представлен в современных славянских языках. В. В. Виноградов отмечает: «Бросается в глаза, что нет наречий этого типа, обнаруживающих в своем составе нечленные формы множественного числа и нечленные формы женского рода единственного числа. Кроме того, в большей части этих наречий этимологически различается форма среднего рода единственного числа. Все это говорит о том, что наречия такого типа возникли из субстантивированных именных форм прилагательных» (Виноградов, 1947, с. 352).

Мф. 27–23. они же из лиха въпиѣхѫ гл҃ѭште. М. З. А. С. (περισσῶς), однако, нельзя твердо установить, лежит ли в основе этого наречия краткое субстантивированное прилагательное или существительное лихо, такого же типа, как и существительные добро, зъло.

Наряду с рассмотренными, в старославянском языке были известны также наречные выражения, образованные от прилагательных полной формы. Таковы о деснѭѭ, о лѣвѭѭ, например:

Мф. 22–44. рече гс҃ъ гв҃и моемоу сѧди о деснѭѭ мене. М. З. А. (ἐκ δεξιῶν); Мф. 25–33. і поставитъ овьцѧ о деснѭѭ себе. М. З. А. С. (ἐκ δεξιῶν)[106].

Число подобных примеров с полной формой значительно; с краткой формой зафиксировано лишь два случая:

Мф. 25–34. тъгда речетъ цс҃ръ сѫштиимъ о деснѭѭ его. М. З. С.; о деснѫ. А. (ἐκ δεξιῶν); Мф. 20–23. а еже сѣсти о деснѫ и о шѫѭ мене нѣстъ мьнѣ сего дати. М. (ἐκ δεξιῶν).

Наречное выражение о лѣвѭѭ зафиксировано только в полной форме:

Лк. 23–33. ового оубо о деснѭѭ. а дроугаего о лѣвѭѭ. З. С.; о шѫѭѫ. М.; о шюѭ. А.[107] (ἐξ ἀριστερῶν).

Наличие полной формы в приведенных выше примерах легко объяснимо. Наречные выражения о деснѭѭ, о лѣвѭѭ являются по сути дела эллипсами (о деснѭѭ странѫ). На это указывает и неизменная для данной группы форма винительного падежа единственного числа женского рода. В функции же определения для прилагательных данного лек-

---

[106] Так же еще в 14 случаях: Мф. 26–64, М. З. А. С.; Мф. 27–38, М. З. А. С.; Мр. 10–37, М. З. А. С.; Мр. 10–40, М. З. А. С.; Мр. 12–36, М. З. А.; Мр. 14–62, М. З.; Мр. 15–27, М. З. А. С.; Мр. 16–5, М. З. А.; Мр. 16–19, М. А.; Лк. 1–11, М. З. А.; Лк. 20–42, М. З.; Лк. 22–69, М. З.; Лк. 23–32, М. З. А. С.; Ио. 21–6, М. З. А. С.

[107] В Мариинском и Ассем. кодексах употребляется лишь синоним: шюи (шоуи). Наречное выражение о лѣвѭѭ зафиксировано также в следующих примерах: Мф. 27–38. ѥдиного ѻ деснѭѭ і ѥдиного ѻ лѣвѭѭ. С.; шѫѭѫ. М.; шюѭѭ. З.; шюѭ. А.; Мр. 15–27. ѥдиного ѻ деснѭѭ а дроугаго ѻ лѣвѭѭ ѥго. С.; шюѭ. М. З.; шоуѭ. А.; Мр. 10–40. ѥже сѣсти ѻ деснѭѭ мене і ѻ лѣвѭѭ нѣстъ мнѣ дати. С. З.; о шюѭѫ. М.; о шюѭ. А.; Мр. 10–37. ѥдинъ ѻ деснѭѭ тебе а дроугы ѻ лѣвѭѭ тебе. С. З.; о шюѭ. М.; о шоуѭ. А.; Мф. 25–33. і поставитъ ... козьлиштѧ о лѣвѭѭ. З.; о шюѭ. М. А.; ѻ шюѭѭ. С.; Мф. 25–41. тъгда речетъ и сѫщимъ о (шѫ)шѫѭ. М.; о шюѭ. З. А. С.; Мф. 20–21. да сѧдете ... ѥдинъ о деснѭѭ тебе и ѥдинъ о шюѭ тебе. М.

сического ряда характерно абсолютное преобладание полной формы (см. § 15).

§ 55. Таковы случаи употребления полных и кратких форм субстантивированных прилагательных в старославянском языке. Рассмотрение примеров показывает, что в тех случаях, когда субстантивированное прилагательное означает лицо или предмет, выступающий в контексте как единичный, уникализированный, наличествует полная форма, независимо от того, к какому лексическому ряду относится данное субстантивированное прилагательное. Здесь, при употреблении полной формы прилагательного, выступающего в роли существительного, отражается действие тех же закономерностей, что и в атрибутивной функции. С указательным местоимением, с определительным местоимением **вьсь**, при обращении (звательная форма) последовательно употребляется полная форма.

В остальных случаях, которые мы обозначили вслед за А. Пешковским как случаи неединичности, употребляются обе формы прилагательного. Краткая форма вполне последовательно выступает лишь тогда, когда неопределенность лица или предмета (выраженного субстантивированным прилагательным) подчеркнута каким-либо другим неопределенным словом (например, **єдинъ: єдинъ ниць**, ср. то же явление в атрибутивной функции). В атрибутивной функции, в так называемой нейтральной позиции, как мы отмечали выше, возможно употребление и полной, и краткой формы, при общем преобладании последней (если не принимать во внимание прилагательные, имеющие исключительно или почти всегда полную форму).

Рассмотрев употребление полных и кратких форм субстантивированных прилагательных в случаях, когда единичность предмета не выражена (т. е. случаи, соответствующие неопределенности и нейтральности в атрибутивной функции), мы вынуждены отметить преобладание полных форм. Однако удельный вес полных форм по отношению к кратким неодинаков в различных лексических рядах. Здесь приходится еще раз подчеркнуть связь употребления полной (resp. краткой) формы прилагательного с семантикой последнего. Наибольший процент кратких форм зафиксирован в лексическом ряде, характеризующем лицо по его физическим качествам (**слѣпъ, хромъ**), затем по индивидуальным качествам (**прѣмѫдръ**) и социальному положению (**богатъ**).

Отметим, что в основном в краткой форме выступают качественные прилагательные и такие относительные, как хромъ, слѣпъ и т. п.

В лексических рядах, характеризующих лицо в отношении его родства (иночѧдъı), его близости или отдаленности от другого лица (ближьнии), в рядах, характеризующих лицо по темпоральному (древьнии) и локальному (вышьнии, послѣдьнии) признаку, зафиксирована только полная форма. В эту обширную группу входят относительные прилагательные с более конкретным лексическим значением (ср. аналогичное явление в атрибутивной функции).

Субстантивированные прилагательные с предметным значением немногочисленны. Но и здесь в употреблении полных и кратких форм также достаточно четко сказались отношения определенности и неопределенности, единичности и неединичности (ср. примеры на соухо, сънѣдьно и смоковьничьное).

Субстантивированные прилагательные абстрактного значения отражают в равной мере, как и другие субстантивированные прилагательные, зависимость употребления полной (resp. краткой) формы от указанных выше первостепенных факторов (например, с указательным местоимением полная форма: лихое сеѭ) и от лексического значения прилагательного (вънѫтрьнее, вънѣшьнее — только полная форма). Важно отметить только, что для этого лексического ряда характерно в общем незначительное число кратких форм в случаях неединичности.

Общее рассмотрение функций субстантивированных прилагательных двух форм позволяет сделать следующие выводы: во-первых, употребление кратких (resp. полных) форм обусловливается теми же факторами и дает в основном те же результаты, что и в атрибутивной функции; во-вторых, единственным и наиболее существенным отличием в употреблении рассматриваемых форм при случаях субстантивации прилагательных от их употребления в атрибутивной функции является больший удельный вес, бо́льшая распространенность полных форм прилагательных в примерах неединичности.

На это отличие уже обращали внимание многие исследователи, полагая даже, что субстантивация в старославянском языке требовала и своего формального выражения в виде полной формы. Исследуемый материал показывает, что

в древних старославянских кодексах зафиксировано значительное число субстантивированных прилагательных в краткой форме. Основываясь на фактах старославянского языка, можно лишь говорить о процессе, ведущем к закреплению полной формы в качестве единственной формы для субстантивирования прилагательных. Этот процесс получил свое окончательное завершение в современном сербскохорватском и других славянских языках.[108]

Прилагательное при субстантивации не просто указывает на качество (свойство) предмета, оно именно, по меткому замечанию А. А. Потебни, «в этом смысле и обозначает его» (Потебня, I–II, с. 97).

Указание на качество (свойство) не отсутствует, но и не является единственной функцией прилагательного, которое одновременно выражает и субстанцию, принимая на себя и ее функции. Качественный (относительный) признак и субстанция даны в одном прилагательном (ср. «старый» и «старый человек», где во втором случае «старый» — лишь качественный признак, а «человек» — субстанция). Естественно, что такой признак никак не может считаться временным, непостоянным для субстанции, а постоянство признака ведет к большей определенности последней. Однако, как уже указывалось, постоянство, так называемая «определенность» признака, не есть еще определенность предмета (субстанции). Центр тяжести рассматриваемой категории определенности и неопределенности лежит не в признаке, а в субстанции. Предмет может оставаться неопределенным, не выделенным из числа других предметов и в том случае, если мы знаем, что он обладает каким-либо постоянным, «определенным» качеством (свойством). Отсюда — возможность крат-

---

108 В сербскохорватском языке субстантивированное прилагательное выступает лишь в полной форме (*стари, чупави, бели, црни*). Это отмечает и Т. Маретич: «Только определенная форма, я полагаю, употребляется в тех случаях, когда прилагательное выступает без существительного, но относится к существительному, которое хорошо известно, например: *али безазлени све прима драге волье*, Даничич, письма 128» (Maretić, 1899, s. 458). С местоимением *сваки*, с числительным *један* употребляется, однако, и краткая форма: *сваки жив га је жалио* (И. Андрић). В современном болгарском языке субстантивированное прилагательное, как правило, употребляется с членной формой (*старият, рошавият, белият, черният*); только с указательным местоимением и с неопределенным местоимением *един* (*някой*) — краткая форма (*един черен, този черен*).

ких форм при субстантивированных прилагательных. В современном сербскохорватском языке, отчасти и в других славянских языках, полные и краткие формы выражают уже несколько иные отношения: постоянность и временность признака становятся здесь более решающими факторами при употреблении той или иной формы[109]. Старославянский язык указывает нам лишь на начало этого процесса.

Заключение

§ 56. Результаты наблюдений над употреблением полных и кратких форм прилагательных отдельно в атрибутивной и предикативной функциях и при субстантивации изложены соответственно в конце каждой главы. При этом наиболее важными для понимания исследуемой категории оказались выводы второй главы (атрибутивная функция); выводы из двух последующих глав лишь подтвердили уже полученные результаты, позволили глубже охарактеризовать категорию кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке. Это позволяет нам, подводя окончательные итоги, остановиться только на главном, опуская все более частные и второстепенные моменты.

Полные и краткие формы прилагательных в старославянском языке выражали отношения определенности и неопределенности существительного, к которому относилось прилагательное. Корреляция полных и кратких форм не шла, таким образом, по линии атрибутивности и предикативности или «энергичности» и «неэнергичности» признака.

Параллельное изучение полных и кратких форм прилагательных с учетом контекста и других языковых моментов, фиксирующих их характер (наличие указательных местоимений, числительного **єдинъ**, обстоятельственных слов, наречий и т. п.), помогло определить основное значение рассматриваемой категории.

---

[109] Ср. отношения полных и кратких форм в предикативной функции в современном русском языке. «В кругу имен прилагательных лишь временные эпитеты, лишь обозначения временных свойств имеют полную и краткую форму» (Виноградов, 1947, с. 262); «Краткие формы обозначают качественное состояние, протекающее или возникающее во времени; полные — признак, мыслимый вне времени, но в данном контексте отнесенный к определенному времени» (там же, с. 263).

Активным членом корреляции является полная, определенная форма прилагательного (добрыи). Она обозначает, что предмет, к которому относится прилагательное, выделен из общего числа ему подобных предметов, обладающих тем же качеством, уникализирован (или, по терминологии И. Курца и других, индивидуализирован), воспринимается как один, единственный в своем роде. Именно этот момент — уникализация и неуникализация — и является основным содержанием, основным значением категории определенности и неопределенности. Остальные моменты, такие, как, например, вышеупомянутость, эмфаза и тому подобное, являются лишь частными случаями, частными проявлениями основного значения[110].

Краткие формы, в отличие от полных, выступают как нейтральные, «неопределенные» в том смысле, что они не выполняют роли полных форм, не выделяют определяемый предмет из ряда ему подобных, обладающих тем же качеством. Они лишь наделяют предмет тем или иным свойством (качеством), не давая ему при этом какой-либо дополнительной характеристики.

Таково основное значение кратких и полных форм прилагательных.

Однако нужно указать, что на конкретном материале старославянского языка оно в ряде случаев представляется более сложным. Во-первых, отсутствие специальной неопределенной формы, подчеркивающей значение, противоположное определенной форме, приводит к тому, что полные и краткие формы прилагательных в иных случаях не оказываются полярными, ни в каких случаях не перемежающимися, не сталкивающимися формами. Между этими двумя категориями, впрочем, как и между другими синтаксическими категориями (например, различными прошедшими временами), в некоторых функциях нельзя провести абсолютно четкой границы. Среднее, нейтральное положение характеризуется часто не только краткой, но и полной формой.

Во-вторых, рассматриваемая нами категория определенности и неопределенности в старославянском языке была свойственна исключительно прилагательным и не распространя-

---

[110] При вторичном упоминании предмета может возникнуть необходимость в его выделении («тот же самый», «тот, о котором шла речь, а не другой с подобными качествами»), а может и не возникнуть. Отсюда и случаи употребления краткой формы при вышеупомянутости.

лась на те случаи, когда существительное выступало самостоятельно, без атрибута. И здесь лексическое значение прилагательных в свою очередь играло огромную, подчас решающую роль. Ряд прилагательных (притяжательные на -овъ, -инъ, отчасти притяжательные на -ьскъ) благодаря определенности (конкретности, единичности) своего лексического значения вовсе не нуждались в наличии полной формы и не имели ее; ряд прилагательных в силу большой конкретности своего лексического значения (темпоральные, локативные и др.) почти всегда принимали полную форму и тем самым не имели достаточно четкой корреляции двух форм.

Вскрытие тесной связи полной формы с отдельными, семантически выделенными группами прилагательных является вторым наиболее важным выводом нашей работы, дополняющим вышеизложенное определение значения полных и кратких форм. Без учета этого фактора (т. е. семантики прилагательного), без этой существенной поправки определение основного значения исследуемой категории в старославянском языке было бы слишком общим, абстрактным, а потому в некоторых случаях неверным.

Связь полных форм с прилагательными определенных лексических групп в дальнейшем, в истории отдельных славянских языков, крепла и активизировалась, разрушая и упраздняя в этих группах корреляцию полных и кратких форм. Сама корреляция (и в других группах прилагательных) в отдельных славянских языках нарушалась и видоизменялась, уступая место новым отношениям.

Примечание от автора [к изданию 1957 г.]: В настоящей статье, завершенной почти три года тому назад, к сожалению, не приняты во внимание следующие ценные труды: Horálek, 1954 (важно для § 3 и др.); Brodowska-Honowska, 1956a (важно для § 1, 2 и др.); Brodowska-Honowska, 1956 (важно для § 30 и др.). Эти работы, безусловно, следует учесть будущему исследователю нашей темы.

К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных

В прежнем исследовании о старославянских именных и местоименных прилагательных (Толстой, 1957; наст. изд., с. 52–170) мною выдвигалось положение об известной обусловленности краткой resp. полной формы прилагательного семантикой конкретного прилагательного. Для старославянского языка это означало, что грамматическая категория определенности/неопределенности находилась в некоторой связи, а в отдельных случаях и в прямой зависимости от значения или семантического класса прилагательного. Уже для старославянского языка можно считать неоспоримой ситуацию, согласно которой существовали прилагательные, имевшие только полную форму (прилагательные, образованные от наречий места и времени, большинство прилагательных темпорального и локативного значения, например: вънѣшьнии, вънѫтрьнии, кромѣштьнии, ноштьнии, послѣдьнии)[1]

---

1 Можно считать поэтому неоправданным употребление во многих словарях и лексикографических трудах кратких форм от этих прилагательных в качестве заглавных (в словарных статьях и т. п.). Так, в словаре Ф. Миклошича дано вънѣшьнь, вънѫтрьнь, кромѣшьнъ, послѣдьнъ и т. п. (см. Fr. Mikolosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865). Аналогично в словаре Л. Садник и Р. Айцетмюллера, где в скобках дополнительно отмечается и полная форма: *kromĕšьnь* (*-ьńijь*) и т. п. (см. L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten.'s-Gravenhage–Heidelberg, 1955). В пражском словаре старославянского языка наблюдается известная непоследовательность: вънѣшьнь (ни), вънѫтрьнь (ни), но лишь кромѣшьнии и вновь ноцьнъ (ни), и вновь лишь послѣдьнии и т. п. (см. SJSS). Гораздо принципиальнее в прошлом веке эту проблему решал А. Х. Востоков, давая в своем словаре интересующие нас формы в следующем виде: только вьнѣшьний, аꙗ, кк, вънѫтрьнии, кромѣшьний, аꙗ, кк, ноцьнъый, аꙗ, кк, послѣдьний, аꙗ, кк, однако добръый, аꙗ, ок, ъ, а, о, кратъкый, аꙗ, ок, ъ, а, о, и т. п. Для праславянского языка, видимо, удачное решение интересующего нас вопроса предложил О. Н. Трубачев. Он писал: «Реконструированные формы имен прилагательных даются, как правило, в местоименной, членной форме, по-видимому наиболее употребительной в связанной речи, во всяком случае — наиболее активной и определенной уже с праславянского периода, за вычетом таких исключительных категорий, как последовательно крат-

и только краткую (притяжательные на -овъ, -євъ, -инъ). Старославянские памятники одновременно четко отражают тенденцию к связи отдельных словообразовательных моделей (например, на -ьск-) с полной формой, последовательно выявившуюся затем во всех славянских языках и диалектах. Современный сербскохорватский язык (прежде всего ряд диалектов штокавской зоны), как известно, лучше всех других живых славянских языков сохраняет, хотя и в реликтовом виде, праславянскую категорию определенности/неопределенности прилагательного[2]. Именно в нем достаточно ярко отражена связь лексической семантики прилагательного с полной (resp. краткой) формой, связь, ограничивающая сферу функционирования обеих форм прилагательных, но в то же время проясняющая их грамматическую сущность, грамматическую семантику. Речь идет о наличии только полной формы в таких семантических классах, как локативный (означающий место — *прѐдњи, за̏дњи, го̏рњи, до̂њи, дѐсни, ле̂ви, ѝсточни, сѐверни, по̀следњи, срѐдњи* и т. п.; два последних относятся к группе, которая в равной мере может быть причислена к темпоральным; также *мѐсни, нѐбесни* и др., которые могут быть не чисто локативными, а локативно-притяжательными и даже с оттенком качества-свойства), темпоральный (означающий время — *ју̏тарњи, дне̂вни, но̀ћни, да̀нашњи, нѐдељни, го̀дишњи, мѐсечни*), в классах прилагательных, близких к локативным, т. е. ориентирующих в пространстве, оказывающихся также и пространственно-посессивными и т. п. (означающих отношение к частям тела — *гла̀вни, но̀сни, зу̏бни, ру̏чни, лѐђни, вра́тни*, а также *кр̑вни, ме́сни*; отношение к постройкам, усадьбам и их частям — *ку̏ћни, со̏бни, црквѐни, башчѐни*), а также у таких прилагательных, как *сто̏чни, жи̏тни, др̀жа̏вни, на́родни, бо̂јни,*

кие формы притяжательных прилагательных на *-ovъ, -inъ»* (см. Трубачев, 1963а, с. 16). Еще лучше было бы, на наш взгляд, указывать две формы в тех случаях, когда они бесспорно были, например, **plytъkъ* (*-jь*), или **plytъkъjь* (**plytъkъ*), т. е. в духе Востокова. Относительно слова **zvěrinъjь* (см. Трубачев, 1963а, с. 92) можно довольно уверенно утверждать, что в праславянском оно имело только форму **zvěrinъ*.

2 По степени сохранности этой категории или ее реликтов славянские языки могли бы быть представлены по следующему ранжиру: сербскохорватский, словенский, русский, болгарский, македонский, западнославянские языки.

сȳдњӣ. Любопытна и тенденция к закреплению только полной формы и у некоторых качественных прилагательных — *сȋњӣ*, *јȃркӣ*, *жȃркӣ* и у двух прилагательных, характеризующих величину, объем: *вѐликӣ* (*вѐлик* — очень редко) и *мȃлӣ* (*мал* и *мао* уже неизвестно). Другие относительные и качественные прилагательные (кроме притяжательных на *-ov-/-ev-*, *-in-*, **-jь* и на *-ьsk-*: *ȍчев*, *сѐстрин*, *ȍвчӣ*, *сѐоскӣ*, *ȍпштинскӣ* и др.) имеют краткую и полную форму (см. Стевановић, 1964, с. 252–256 и 262–268; подробнее в монографии: Фекете, 1969). Хотя тут же приходится признать, что утверждение о наличии двух форм — полной и краткой — у всех остальных прилагательных тоже нуждается в ряде существенных дополнений и оговорок. К их числу следует отнести прежде всего: 1. отсутствие различения определенной и неопределенной формы во флексиях творительного единственного и во всей парадигме множественного числа у прилагательных всех трех родов, затем еще именительного и винительного падежа единственного числа среднего рода и во всей парадигме женского рода; во всех этих случаях различие, если оно выражается, то выражается лишь типом (тоном) или местом ударения, а также долготой; 2. возможность неразличения падежных флексий так наз. «неопределенного» и «определенного» склонения во всех парадигмах — мужской, женской и средней, кроме форм именительного и винительного падежа мужского рода (ср. аналогичную ситуацию в словенском языке и в некоторых чакавских говорах), при которой единственным дифференциальным моментом остается ударение (например, род. падеж ед. ч. муж. р. *зелѐног* — «неопределенная форма» вместо более нормативной формы *зелѐна* при *зѐленог(а)* — «определенная форма»); 3. возможность неразличения в косвенных падежах единственного числа мужского рода и во всех падежах женского и среднего рода и множественного числа «неопределенной» и «определенной» формы не только в отношении флексии, но и в отношении ударения, которая отмечена А. Беличем следующими словами: «... у очень большого числа прилагательных нет никакого различия между ударениями прилагательных определенного и неопределенного вида» (Белић, 1962, с. 160); 4. возможность неразличения по принципу заударная долгота/краткость, т. е. отсутствие долготы у так называемых «определенных», или полных, форм. Все это приводит к тому, что целый ряд прилагатель-

ных в сербскохорватском языке никак формально (ни по флексиям, ни по характеру ударения, ни по заударной долготе) не различаются во многих звеньях отдельных «определенных» и «неопределенных» парадигм, или же противопоставление парадигм отсутствует полностью (например, в женском и среднем роде). Специального исследования типов и характера соотношения форм «неопределенных» (именных, кратких или полных с ударением, как у кратких) и «определенных» (полных, местоименных) в сербскохорватских говорах, в первую очередь в штокавских говорах, не проводилось. Поэтому П. Ивич отметил с полным основанием, что «наша (сербскохорватская. — *Н. Т.*) диалектологическая литература вообще дает скудные сведения о положении адъективного вида в наших говорах» (Ивић, 1957, с. 210–211). Однако он сам сделал довольно любопытные и ценные наблюдения по интересующему нас вопросу над архаическим говором галлипольских сербов, бывших в отрыве от носителей говоров метрополии более трех с половиной столетий (они жили в Галлиполи с конца XVI в. или с начала XVII в. до первой четверти XX в., а затем в Пехчево в Македонии). Так, «галлипольцы» сохраняют в родительном падеже ед. ч. мужского рода формы именного склонения и противопоставляют их в отдельных случаях формам склонения местоименного. Им известны такие словоупотребления, как *учу Ђу̏рђова дна̀* 'накануне Юрьева дня', *учу Јува̀на дна̀* 'накануне Иванова дня', *учу Нико̀ла дна̀* 'накануне Николина дня' и др., а также *ида̂н ре̂ᵘжањ бе̂ᵘла лу̏ка* 'одна долька чеснока', *ѝди ми ку̏пи су̏ва гро̂зја* 'пойди купи мне изюму', т. е. архаические формы в названиях праздников[3] и в родительном партитивном, а в остальных случаях (включая иногда и конструкции с родительным партитивным) они употребляют полную форму — *не мо̀ж да ве̂ᵘдјеш ено̀га тре̂ᵘзно̂га* 'не увидишь ни одного трезвого', *вѐликога* 'большого', *ѝзне дрвѐнога ма̀сла* 'взял древесного (постного) масла', *ѝмасе ино̀га ле̂ᵘпо̂га бра̀та* 'имеет одного красивого брата' (полная форма с числительным *ида̂н* 'один', 'некий'). При этом, как правило, обе парадигмы унифицируются сле-

---

[3] Ср. аналогичные случаи сохранения архаических форм в названиях праздников в болгарских говорах, в частности, в странджанских говорах в сочетаниях *на светóк Никóла* сохранилась форма родительного падежа, утраченная в словоупотреблениях другого типа (собств. записи, с. Заберново, 1957 г.).

дующим образом — формы (флексии) по местоименной (исключая отчасти формы именительного и винительного неодушевленного ед. ч. муж. рода), а ударения по именной («неопределенной») парадигме. Подобная ситуация (включая случаи с родительным партитивным) наблюдается в вршацко-шумадийских диалектах (в Банате и в других зонах) (см. Ивић, 1957, с. 210–211).

Характер адъективных парадигм и соотношение именных и местоименных форм в говоре галлипольских сербов близки к морфологическому статусу имен прилагательных в словенском литературном языке и в некоторых чакавских и кайкавских говорах хорватскосербского языка[4].

Современный словенский язык в его литературном обличьи сохранил противопоставление краткой (именной) и полной (местоименной) формы лишь в именительном-винительном неодушевленном падеже ед. ч. муж. р. *bogàt* — *bogáti*, *temèn* (*temán*) — *temnì*, в косвенных же падежах употребительны местоименные (полные, «определенные») формы, притом ударение, как правило, следует по «определенной» парадигме — *bogátega*, *bogátemu*, *bogátem*, *bogátim* и т. д., *tèmnegà*, *temnemù*, *temnèm*, *temnìm* и т. д., хотя известно и возможно и *tèmen*, *tèmnega*, *tèmnemu* и т. д. (см. Ramovš, 1952, s. 101–105; Svane, 1958, S. 51–56; Bajec, Kolarič, Rupel, 1964, s. 157–163).

Существенный интерес представляют ограничения словообразовательного и лексического порядка, которые частично нивелируют и эту незначительную противопоставленность именной и местоименной формы. Так, словенские прилагательные на *-ji*, *-nji*, *-ski*, *-čki*, *-ški* (*bôžji*, *dívji*, *góbji*, *krávji*, *prédnji*, *srédnji*, *zádnji*, *zgódni* 'ранний', *slovénski*, *rúski*,

---

4 Речь идет прежде всего о парадигмах флективных, а не акцентных. С акцентными парадигмами дело несколько сложнее. В чакавском говоре острова Сусак и во многих других говорах чакавского и кайкавского ареала в местоименных формах сохраняется, как правило, система ударения «определенного» типа. См. Hamm, Hraste, Guberina, 1956, s. 112–114; Rešetar, 1907, стб. 215–217 и др. В кайкавском говоре с. Бедня при противопоставлении только флективных форм им. п. ед. ч. муж. р. *dèber* — *dýbri* 'хороший' выявляются, однако, две парадигмы — «неопределенная», где в им. п. ед. ч. *dèber*, *dèbro*, *dèbre*, а в косвенных *dèber*, *dèbrego*, *dèbremu* и т. д., и «определенная», где в им. п. ед. ч. *dýebri*, *dýebro*, *dýebre*, а в косвенных *dýebri*, *dýebrego*, *dýebremu* и т. д. По свидетельству Й. Едвая, «обе формы смешиваются без каких бы то ни было правил». См. Jedvaj, 1956, s. 303–304.

junáški, benéški 'венецианский') имеют только полную (местоименную) форму, равно как и прилагательные *lévi, désni, právi, rájni* 'покойный', *óbči, máli* (но *mâjhen* имеет только краткую форму в им.-вин. неодуш. ед. ч.) и др.[5], а притяжательные на *-ov* (*-ev*), *-in* (*očétov, máterin, brátov, sêstrin*) — только краткую именную, хотя в косвенных падежах (кроме вин. неодуш. муж. р. ед. ч.) — всегда местоименную: *brátovega, brátovemu* и т. д.[6]

Аналогичная тенденция наблюдается в современном русском языке, где в косвенных падежах отдается предпочтение местоименным (полным) формам у притяжательных прилагательных типа *тещин, мамин — тещиного языка, тещиному языку, маминого платка, маминому платку*, наряду с архаическим *тещина языка, тещину языку, мамина платка, мамину платку* (но только *отцов дом, отцова дома, отцову дому*; во избежание кратких форм чаще *отцовский дом, отцовского дома, отцовскому дому*, но еще чаще во всех приведенных случаях употребляется родительный притяжательный типа *дом отца, язык тещи, платок мамы* и т. п.). В современном литературном сербскохорватском языке также наблюдается конкуренция форм именного и местоименного склонения (кроме им. и вин. неодуш. муж. р. ед. ч.): род. п. муж. р. ед. ч. *ȍчева дȍма* и нередко *ȍчевог дȍма* (см. об этом подробнее Стевановић, 1949). Именное склонение притяжательных прилагательных на *-ov, -in* сохраняется несколько искусственно в чешском литературном языке, в то время как в говорах чешских и моравских и в языках словацком, польском и лужицких в косвенных падежах притяжательных прилагательных на *-ov, -in* известна

---

5 Прилагательные, означающие отношение к частям тела, к постройкам и их частям, в словенском литературном языке имеют, согласно лексикографической практике, обе формы — полную и краткую (в им.-вин. неодуш. падеже муж. р. ед. ч.): *nósen, zóben, róčen, hŕbten, híšen, sôben, vŕten, cerkvén* (см. Pleteršnik, I–II; Janežič, 1893; SSKJ, I; SSHS). Следовало бы проверить, насколько эта лексикографическая традиция соответствует действительному устному и письменному узусу. В словаре Я. Юранчича (Jurančič, 1955) в рассматриваемых случаях даются лишь полные формы: *nosni, zobni, ročni, hrbtni, hišni, sobni, vrtni, cerkevni*.

6 Любопытно также наличие в словенском языке таких неизменяемых прилагательных в краткой форме, как *žal, peš, napak*: *žal beseda* 'обидное слово', наряду с *žala beseda*, или *po peš poteh* 'по пешим дорогам', *napak sveta* 'неправого мира' и др. (см. Toporišić, 1965, s. 189).

только полная форма (см. Trávníček, 1951, s. 539–540; Селищев, 1941, с. 140–142, 250, 357). Эта черта сближает словенский язык с западнославянскими языками и украинским и белорусским языком.

Обращаясь к материалу словенских диалектов, следует указать прежде всего, что в большинстве говоров в результате новой редукции гласных в формах им. падежа ед. ч. мужского рода типа *bogati* конечное *i* утратилось, и таким образом разрушилось и последнее звено противопоставления полной («определенной») и краткой («неопределенной») форм прилагательных. В диалектах же прлешских и замурских, где не действовала новая вокалическая редукция, противопоставление также утратилось, так как в формах им.-вин. неодуш. ед. ч. муж. рода полные («определенные») формы стали употребляться во всех случаях, во всех функциях, в том числе и в функции предикативной (см. Kolarič, 1960) (ср. положение в западнославянских языках). Однако сама категория определенности/неопределенности в большинстве словенских диалектов не исчезла, а, наоборот, укрепилась из-за того, что стала связана со всей категорией имени, из-за наличия члена-артикля определенной и неопределенной формы *ta, ta, to* и *en, ena, eno*. Нормативная грамматика словенского языка отмечает: «Если в обиходном говоре ты говоришь *en len fant* ('ленивый парень'. — *Н. Т.*), то это ты будешь говорить в неопределенной форме, если же ты скажешь *ta len fant* ('ленивый парень'. — *Н. Т.*), то это считается определенной формой. Однако ни *en*, ни *ta* в таком употреблении в литературном языке не допускаются» (см. Bajec, Kolarič, Rupel, 1964, с. 118). Таким образом, словенский литературно-языковой узус поддерживается несколько искусственными нормативными правилами.

Сербскохорватская (прежде всего литературная штокавская), а также словенская ситуация во многом проливает свет на отдельные этапы процесса утраты категории определенности/неопределенности прилагательных в других славянских языках, в первую очередь в русском языке, где развилось и свое специфическое противопоставление сначала по линии атрибутивности/предикативности, а потом только для качественных прилагательных, выступающих в составе предиката, по линии постоянства/временности свойства, качества (см. Шведова, 1952).

Есть, однако, отдельные южнославянские диалектные системы, пошедшие в своем развитии дальше сербскохорватской литературной штокавской и литературной словенской систем. В них принцип, по которому утрачивалось и утратилось последнее противопоставление кратких и полных форм прилагательных, интересен и показателен для характеристики внутренней сущности рассматриваемой категории. К таким системам относится в первую очередь чакавский колонистский диалект в Словакии в селах Девинска Нова Вес и Дубравка (села эти расположены недалеко от устья Моравы, впадающей в Дунай северо-западнее Братиславы).

В говорах сел Девинска Нова Вес и Дубравка категория определенности/неопределенности прилагательных в общем утрачена[7]. Из двух парадигм — именной и местоименной возникла одна парадигма — местоименная по своему флективному облику. И только применительно к парадигме мужского рода единственного числа можно говорить о двух ее не очень резко отличающихся друг от друга вариантах — о варианте «смешанном» и варианте «однородном». В «смешанном» варианте почти во всех косвенных падежах употребляется местоименная форма и лишь в им. и вин. неодуш. — краткая: *žût* 'желтый', *žutù̯oga, žutù̯omu, žût/žutù̯oga, žûtim, žûtu̯om*. В «однородном» варианте все формы, включая именительный и винительный неодушевленный, — местоименные: *lîvi* 'левый', *livù̯oga, livù̯omu, lîvi/livù̯oga, lîvim, lîvom*[8]. По второму — «однородному» варианту склоняются прилагательные, имеющие в им.-вин. падеже ед. ч. муж. рода только полную («местоименную») форму (список см. ниже). По «смешанному» варианту склоняются прилагательные, имеющие в им.-вин. неодуш. п. ед. ч. муж. р. только краткую форму, и незначительное число прилагательных (типа *nù̯ov — nù̯ovi, bȉel — bȉeli*), имеющих в том же падеже обе формы (список см. ниже). Если же обратить внимание на характер акцентной парадигмы в описанных случаях, то

---

7 Этот говор монографически описан Вацлавом Важным в начале 20-х годов (см. Vážný, 1927). Все приведенные ниже чакавские примеры взяты из указанной книги. Было бы очень полезно провести исследование состояния этого говора в наше время — полвека спустя после наблюдений известного словацкого диалектолога.

8 Парадигма *zût, zutù̯oga* дана В. Важным, парадигма *lîvi, livù̯oga* установлена нами.

можно заметить довольно широкое распространение именного («неопределенного») акцентного типа[9]. Различные формы одного и того же прилагательного в им.-вин. падеже, отражающие прежние противопоставления (*nu̯ov — nu̯ȍvi, bi̯el — bi̯eli*), могут встречаться лишь в «смешанной» парадигме мужского рода. Они зафиксированы только у семи прилагательных, список которых приводится ниже. Таким образом, абсолютное большинство прилагательных подчинилось следующему разграничению: в им.-вин. неодуш. п. ед. ч. муж. р. сохранилась только одна форма — полная или краткая. Только одна, как правило, форма, либо полная, либо краткая, употребляется в разных синтаксических условиях — и в составе атрибутивных сочетаний, и в предикативной функции: *ȕon je du̯ȍbar; to je mȕoj du̯ȍbar prîti̯el'*, и даже при субстантивации прилагательного — *grîšan* 'грешный человек'[10]. Именно этот момент имеет особое значение для наших разысканий. Возникает вопрос: какие семантические

---

9 По свидетельству В. Важного, в случаях, когда прежняя именная форма двух сложных прилагательных имела ударение на окончании или на долгом слоге основы, «в сложное склонение проник прежний акцентный тип именного склонения с ударением на окончании (в нашем диалекте с передвижкой ударения с последнего слога); ср., например, род. п. *bi̯elȕoga* (*bi̯elȕoga hlìba* от им. п. *bi̯el* или *bi̯eli hlīb*), *mrtvȕoga, živȕoga, lipȕoga* и т. п. В некоторых случаях бывают и дублетные формы: *mladȕoga, mladȕoga* и *mlâdoga, mlâdomu* и т. п. Тот же тип у прилагательных с кратким слогом (ударением. — *Н. Т.*) в основе; ср., например, род.-вин. п. *dobrȕoga, bosȕoga*, дат. п. *dobrȕomu* и т. п.». Ср. им. п. ед. ч. *du̯ȍbar, dȍbra, dȍbro* (с перетяжкой ударения на один слог вперед). У трехсложных прилагательных «в случаях, когда неопределенная форма имела ударение на окончании, наблюдается значительное колебание ударения и употребление дублетных форм. Ср., например, *dèbi̯el, dèbela* и *debi̯éla, dèbelo* и *debi̯élo, vìsu̯ok, vìsoka* и *visȍka, vìsoko* и *visȕoko, zèli̯en* и *zeli̯ièni, zèlena* и *zeli̯ièna, zèleno* и *zeli̯ièno*. Из примеров с беглым *а* из *ъ, ь* ср., например, *smîšān, smîšna, smîšno, žâjan, žâjna, žâjno*. Это колебание ударения наблюдается во всем сложном склонении; ср., например, *na vìsokoj gòri* и *na visȕokoj gòri* и т. п.» (Vážný, 1927, s. 51–52).

10 См. Vážný, 1927, s. 211. — Некоторое исключение составляют устойчивые сочетания, близкие иногда к фразеологизмам, типа *sûhi bèti̯eg* 'чахотка' (дословно 'сухая болезнь'), *zlâti krìžīt'* 'золотой крест' (в словаре при этом дается и *sûh* и *sûhi*, и *zlât* и *zlâti*). Последний пример, как и ряд других, взят В. Важным из сказок, где, видимо, сохранилось достаточное число архаизмов. К сожалению, этот источник широко использован и в грамматическом описании языка западнославацких чакавцев.

разряды прилагательных приняли только полную форму, а какие только краткую? Ответ на него можно дать после внимательного прочтения грамматического описания и словарного материала В. Важного.

По свидетельству В. Важного, «только сложную форму на *-i* имеют прилагательные: *dìvl'ī* или *dìvjī*, *lîvi*, *lîva*; прилагательные на *-ski*: *brácki*, *sr̀pski* и т. п., прилагательные на *-ni*, означающие принадлежность или отношение к предмету, выраженному именем существительным: *crikvièni*, *kukuȍl'ni*, *pakliȅni*; на *-ňi*: *priȅdňi*, *víšňi*, *zádňi*, *ráňi*, *lètňi* и т. п., также и *sadášňi* и т. п., на *-jši*: *ráňajši*, *zútrajši* и т. п.» (Vážný, 1927, s. 198). Приводим полный список прилагательных, имеющих только местоименную форму на *-i*, извлеченный из словаря В. Важного[11]: *bábji*, *bárnavi* 'гнедой, коричневый', *brácki*, *buhîňi*, *buȍži*, *cibîlňi* 'общинный', *crikvȉenski*, *čeráňi* 'вчерашний', *čȉerajši* 'то же', *četr̂ti*, *člověčji*, *člověči*, *desȉeti*, *devȉeti*, *dìvl'ī*, *domášňi*, *domát'i*, *drugačìji*, *duȍl'ňi*, *dûšni* 'душевный', *dušȉet'i* 'пахучий', *gòloglâvi*, *golubîňi*, *gospuȍcki*, *govȉècki*, *guȍrňi*, *guȍranski*, *gusîňi*, *hlàvnī*, *hlìbovi* 'хлебный', *horvâcki*, *jesȉènski*, *kapucînski*, *kobilîňi*, *kokošîňi*, *konuȍpni*, *kožȉèni*, *krâjňi*, *krávji*, *kráfski* 'коровий', *krížovi*, *kršt'ânski*, *kudìl'ni*, *kukuȍl'ni* 'относящийся к куколю', *kufruȍvi* 'медный', *kuȍňski*, *kuȍzji*, *lètňi*, *lîvi*, *máčji*, *mášni* 'относящийся к мессе', *mîšji*, *mišîňi*, *muȍžd'ani*, *nebȉèski*, *nímški*, *novosȉèlski*, *ofčîňi* 'овечий', *ostátňi*, *paklȉèni*, *pàsji*, *pòlitrovi*, *priȅdňi*, *protulît'ňi*, *prvi*, *ráňi*, *ráňajši*, *ribîni* 'рыбный', *rìbji*, *sadášňi*, *sákorački* 'разнообразный', *sȉedmi*, *siromáški*, *skrâjňi*, *sredînski*, *srídňi*, *svîlni* 'шелковый', *svîňski*, *šȉesti*, *támojši*, *telȉèt'i*, *tičîňi* 'птичий', *tìsut'i*, *trȉèt'i*, *túji*, *tûrski*, *ùgrski*, *uȍčji* 'глазной', *uȍčňi*, *uȍfči* 'овечий', *uȍsmi*, *vazmèni* 'пасхальный', *večȉèrňi*, *víšňi*, *vlàstnī* 'свой', *vráňi*, *vr̀li*, *vûčji*, *vuȍlski*, *zaráni*, *zgoráňi*, *zútrajši*, *žabji*.

Что касается кратких форм прилагательных, то о них В. Важный пишет следующее: «Первоначальная именная форма им. п. ед. ч. муж. р. сохранилась и почти совсем вытеснила сложную форму на *-i* преимущественно у прилагательных, означающих качество, свойство (vlastnost), как, например: *bȉel* (и *bȉeli*), *bȉela*, *buȍs*, *bòsa*, *čȉerān*, *čȉerna*, *duȍbar*, *dòbra*, *frížak*, *fríška*, *kìsȉel*, *kìsela*, *kìselo*, *krîv*, *krîva*,

---

11 Переводы слов даются лишь в том случае, когда слово по его форме или значению резко отличается от общехорватскосербских слов.

láčan, láčna, lágak, láchka, mâl, mála, mál'učak, màl'učka и т. д., *vèlīk, vèlika*, но *zlâti*, см. *zlât* (в сказке *Ò trī kt'ìèra: zlâti krîžīt'*), у прилагательных, означающих материю, вещество (*látku*), из которого что-то сделано: *drìvien* (*drìvena* или *drivièna*), *stàklien, vùňien* и т. д. и у прилагательных на *-ov, -in*: *brátov, brátova, bábin, bábina, dùbuov* и т. п. (см. Vážný, 1927, с. 198). Приводим полностью перечень прилагательных, зафиксированных В. Важным только в краткой форме им. п. ед. ч. муж. р.: *bábin, bâzguov* 'бузиновый', *bèlast, bètieg* 'больной', *betièžan, bèzočiv, bìstar, blied, bògat, bojàžl'iv, brátov, búčav* 'тыквенный', *ciel, čieran, čèrnāst, čîst, čřl'ien, črl'engâst, čřvl'iv, čùdan, čvřst, dâreban* 'ленивый', *dèbiel, dìbuok, drâg, drìvien, druòban, dùbuov, dùguov* 'радужный', *duòbar, dùžan, dùžičak, frížak* 'свежий', *gládak, glâdān, glàvāt, glûh, gňîl, gňûsan, gràbruov, gríšan, grûban* 'грубый', *guòdinov* 'дождливый', *gùol, gûst, hítar, hrúškov, hûd, hùdoban, kìsiel, kòsnat* 'волосатый', *kòšt'ien, krástav, krâtāk, krîv, krûmpav* 'кривой, округленный', *krvāv, kt'ièrin, láčan, lágak, lákom, lîp, màlien, mál'učak, máterin, mièkak* (*mièhak*), *mîl, mìlostiv, mlâd, mřtāv, mřzal* 'холодный', *nesrìt'an, nèvieran, nèzdrāv, nèzriel, ňìžak, òčiev* (*òčiov*), *pìruov* 'свадебный', *pîšān, plâv, plîtāk, pobuòžan, popèlāv, poslùšan, prâzan, prèdrāg, pruòčivan, puòldrug, pûn, pûst, râvān, řd'av* 'ржавый', *slâb, slábak, sládak, slân, slîp, slûgin, sluòbodan, srdit, srièbrn, srìt'an, stâr, strâšān, střm, strùopav, sûh, šántav, šìruok, škòdl'iv, škûr* 'темный', *špìnav* 'грязный', *št'ièdar* 'щедрый', *tának, tièpal, tièžak, třnuov, tûst, tvřd, uòduran* 'дурной', *uòštar, úzak, vèlīk, vèsiel, vièran, vìsuok, vlàsnat, vřbuov, vřhovan, vrîdan, zard'áven, zdrâv, zlùočest, zrìel, žâjān, žálostiv, žìduov, žîv, žùkak* 'жухлый', *žût*.

Общий вывод В. Важного о судьбе интересующей нас категории достаточно четок. «Различие между прилагательными определенными (сложное склонение) и неопределенными (именное склонение), — пишет он, — не сохранилось. Обе парадигмы (флексии) слились в одну так, что кроме им. п. ед. ч. муж. р., где у большинства прилагательных победила именная форма, во всех остальных падежах определенная форма вытеснила форму неопределенную. В случаях, где две формы, определенная и неопределенная, различались характером ударения, проникал обыкновенно в сложное склонение акцентологический тип именного склонения. Ср., на-

пример, наряду с парадигмой прилагательного *žût, žutu̯oga, žûtū, žûtie* и т. п.[12], род. п. ед. ч. жен. р. *mr̀tvie* (*mr̀tvie vòdie*), вин. п. *mr̀tvū* (*mr̀tvū vu̯òdu*) из сказки *O jèdnu̯om prìnci*; род. ед. *bielu̯oga* (*hliba*) к им. п. *biel* или *bieli*. Иногда бывают дублетные формы, ср., например, род. п. ед. ч. *mladu̯oga* и *mlâdoga*, главным образом в прежних трехсложных словах, например, *vèlīk*, жен. р. *vèlika, velíka* или *vièlika*, сред. р. *véliko, veliko* или *vièliko*, ср., например, *va vièlikoj vòdi* и *va vèlikoj* либо *na velíkoj vòdi* и т. п.» С этим заключением известного словацкого диалектолога нельзя не согласиться. Оно хорошо подкреплено материалом, представленным в монографии. К нему можно лишь на основе тех же материалов сделать несколько дополнений и коррективных пояснений. Так, о параллельном употреблении двух форм типа *nu̯ov* и *nu̯ovi* в им. п. ед. ч. муж. р. В. Важный специально ничего не говорит. Следует, однако, предположить, что такое употребление — последний реликт прежней оппозиции именной и местоименной форм, сохранившийся преимущественно в единичных устойчивых сочетаниях[13] — *sûhi bètieg, zlâti krìžīt'* (последний пример, как отмечалось, из сказки). Есть сочетания, в которых замечены колебания — *slân ròžit', slâni ròžit'* 'соленый рожок', и, наконец, в которых выступает лишь краткая форма — *čŕl'en krîž* (известно и в микротопонимии). Из остальных отмеченных В. Важным дублетных форм интерес представляют прилагательные, означающие материал — *slámen–slamieni, vâpnien–vapnieni, kòšt'ien–košt'ièni*. Полный же список прилагательных, зафиксированных с двумя формами им. п. ед. ч. муж. р., следующий: *nu̯ov–nu̯òvi, blied–bliedi, drâg–drági, mâl–mâli, prâv–prâvi, nàžut–nažûti, sûh–sûhi, slân–slâni, zlât–zlâti, gríšan–gríšni, slámen–slamieni, vâpnien–vapnieni, kòšt'ien–košt'ièni* (всего 13 прилагательных).

Нетрудно заметить также при обращении к спискам, что прилагательные, означающие материал, встречаются и только в полной форме (*svîlni, konu̯òpni*), и только в краткой

---

12 Эта парадигма в единственном числе полностью выглядит так: муж., сред. р. — *žût, žûto, žutu̯oga, žutu̯omu, žût/žutu̯oga, žûto, žûtim, žûtu̯om*; жен. р. — *žûta, žûtie, žûtu̯oj, žûtu, žûtū, žûtu̯oj*.

13 О характере подобных сочетаний в старославянском языке см. в моей работе «Значение кратких и полных форм прилагательных», с. 52–170 наст. изд.

(*drìvi̯en, stàkli̯en*), и в полной и краткой (*slámen–slami̯eni*) в им. п. ед. ч. муж. рода, вопреки утверждению В. Важного о «победе» краткой формы (см. выше, с. 181). Притяжательные же прилагательные (в широком смысле этого слова) все последовательно имеют либо полную, либо краткую форму в зависимости от суффиксов *-ov* и *-in* (с краткой) и *-ji* [*-ši*], *-ňi*, *-ski* [*-ški*, *-cki*] (с полной)[14]. С этими же суффиксами *-ňi* и *-ski* только в полной форме употребляются и непритяжательные (типа *krâjňi* и *kršt'ânski*). Темпоральные, локативные и прилагательные, выражающие отношение к частям тела (*mu̯òž-d'ani*), имеют лишь полную форму (если они не сочетаются с суффиксом *-ov*, что крайне редко).

Некоторые поправки и дополнения к основным выводам В. Важного не лишают их большой ценности и существенности для славянских сравнительно-грамматических штудий. Чакавские островные диалекты в Словакии демонстрируют довольно тесную связь именной или местоименной формы им. (-вин. неодуш.) п. ед. ч. муж. р. с семантикой (и словообразованием) прилагательного[15]. Именно на семантической (и отчасти словообразовательной) основе и оказалось почти полностью ликвидированным противопоставление полных и кратких форм как форм определенных и неопределенных[16].

Аналогичное состояние наблюдается на другой окраине сербскохорватского диалектного континуума — в одном из торлакских диалектов, в говоре Сретечской Жупы, граничащем с северо-западными македонскими диалектами.

По свидетельствам М. Павловича (см. Павловић, 1939, с. 177–180), к сожалению, неполным, но все же дающим определенное представление об общем положении интересующей

---

14 Ср. своеобразную конкуренцию отдельных суффиксов в таких случаях, как *bábin* и *bábji*, *mîšji* и *mišîni*, *mu̯òžd'ani* и *mu̯òžd'anov* и др.

15 В говоре сел Девинска Нова Вес и Дубравка прилагательные, заимствованные из словацкого, употребляются в им.п. ед. ч. муж. р. только в полной или только в краткой форме в зависимости от их принадлежности к тому или иному семантическому (отчасти словообразовательному) классу: *hlàvni*, *ostátňi*, но *hùdoban* 'бедный', *špìnav* 'грязный', *dâreban* 'ленивый'. В словацких говорах в этих случаях выступает только полная форма.

16 В чакавских диалектах в Бургенланде (Австрия) положение с краткими и полными прилагательными им.(-вин.) п. ед. ч. муж. р. несколько иное. Там сохраняется их противопоставление, как в словенском литературном языке. См. Hadrovics, 1974, S. 126–146, 225–226.

нас категории, в сретечском диалекте в им. (-вин.) п. ед. ч. муж. р. прилагательные на *-ски* (*-чки*) употребляются только в полной форме — *же́нски, не́бески, пла́њински, сви́њски, чо́вечки*, равно как и локативные и темпоральные прилагательные на *-њи* (*-ни*) — *кра́јњи, за́дни, сре́дни, до́вни* 'нижний', *но́ћњи, ле́тњи, бо́жићни* (исключение — *дь́ᵃнашен* 'сегодняшний'), прилагательное *ди́вљи*, прилагательные же на *-ов* (*-ев*) и *-ин* — только в краткой: *бра́тов, бра́тњов, та́тков, кра́љев, ма́јкин, го́спођин*. Исключительно краткую форму имеют и качественные и относительные прилагательные на *-ок* (<*ъkъ) и *-ен* (<*ьnъ): *ни́зок, сла́док, ми́цок* 'маленький', *гла́ден, а́рен, ли́чен, бо́лен, ду́жен, му́тен, ра́вен, си́тен, сре́брен, по́сен, че́ничен* 'пшеничный', *сре́тен* (*сре́ћен*) и др. Наконец, также «у известного числа прилагательных, очень часто употребляемых, имеется только им. пад. неопределенного вида (неопределенной формы. — *Н. Т.*), так: *вет* 'ветхий', *го́лем* 'большой', *да́лек, до́бар* (толкования мои. — *Н. Т.*)» (Павловић, 1939, с. 177). На этом основании, на базе других примеров и собственных полевых наблюдений М. Павлович считает, что «как вообще в говорах этого типа, так и в сретечском говоре различие между определенным и неопределенным видом (прилагательного. — *Н. Т.*) сведено к минимуму: форма неопределенного вида вытесняет форму определенного вида даже в тех случаях, в которых определенность очевидна и само прилагательное может иметь и форму определенного вида (имеется в виду сербскохорватский литературный язык. — *Н. Т.*), например: *че́кала цев ноћ, на ста́р пут, бив прв на во́јска*, так же и в топографических названиях *Мав Крс* (= *мал крст* 'малый крест'. — *Н. Т.*), *Мал Камен*» (там же).

Все же в ряде устойчивых сочетаний и фразеологизмов полная форма им. п. ед. ч. муж. р. сохраняется: *Свети Ни́кола, на први камењ, пусти болес* (где *болес* мужского рода из-за окончания на согласный), *бели свет* (ср. русск. *белый свет*, но *по белу свету* и т. п.), *ве́лики пос* 'Великий пост'. Но у прилагательных на *-ен* она и в этих случаях отсутствует. Абсолютно преобладает полная (местоименная) форма и в косвенных падежах (кроме винительного неодушевленного муж. р.[17]), хотя и не имеет уже определенного значения: *на*

---

[17] Так, в творительном падеже по значению, но винительном с предлогом *сьᵒс* по форме сохраняется краткая форма: *сьᵒс го́лем стап* 'боль-

Све́тога Ни́колу, средњога брата, сре́тњога чо́ека[18]. Лишь родительный партитивный, усиленный иногда предлогом *од*, требует краткой формы: *од го́споцка рода* (ср. положение в говоре галлипольских сербов). Что же касается вопроса о характере ударения, то он применительно к прилагательным сретечского говора отпадает. Ударение в этом говоре не тоническое, а экспираторное, тяготеющее к третьему слогу от конца слова (в том числе и в сложных словах и устойчивых синтагмах типа *дивљи́ вепар* 'дикий кабан'). Артикль-член, в отличие от некоторых других торлакских говоров, а также от говоров македонских и болгарских, в сретечском диалекте отсутствует, так что утерю противопоставления определенности/неопределенности прилагательного не следует приписывать влиянию артикля (возможно лишь влияние косвенное — соседних диалектных зон).

Любопытно положение в еще одном островном сербскохорватском диалекте торлакского (тимочско-лужничского) типа — в говоре сербского села Свиница в румынском Банате (области Оршова)[19]. Находясь в румынском окружении, этот говор укрепил противопоставление категории определенности/неопределенности прилагательного особым способом — введением в парадигму определенного склонения своеобразного члена-артикля *-јен* (муж. и сред. р. ед. ч.), *-на* (жен. р. ед. ч.), *-ни* (муж. и сред. р. мн. ч.)[20], *-не* (жен. р. мн. ч.): *лęп* 'красивый' (им. п. муж. и сред. р. ед. ч. неопред.), *лęпа́* (им. п. жен. р. ед. ч. неопред.), *лę́пијен* (им. п. муж. и сред. р. ед. ч. опред.), *лę́пана* (им. п. жен. р. ед. ч. опред.), *лę́пи* (им. п. муж. и сред. р. мн. ч. неопред.), *лę́пе* (им. п. жен. р. мн. ч. неопред.), *лę́пини* (им. п. муж. и сред. р. мн. ч. опред.), *лę́пене* (им. п. жен. р. мн. ч. опред.). Ср. также соответственно: *бел* 'белый', *бела́, бели́, бе́ле, бе́лијен, бе́лана, бе́лини, бе́лене*; *бос* 'босой', *боса́, боси́, бо́се, бо́сијен,*

шой палкой'. Винительный одушевленный употребляется, однако, и как casus generalis — *сьо́с бе́лога ко́ња, сьо́с бо́сога чо́ека, сьо́с жи́вога ко́ња*, а не **сьо́с жив коњ*, и т. п. См. Павловић, 1939, с. 178.

18 Есть основания предполагать, что подобный процесс переживали македонские и болгарские говоры. Однако этот вопрос должен быть предметом отдельной статьи

19 См. Tomici, 1967. Все приведенные из диалекта с. Свиницы примеры взяты из указанной статьи.

20 Объединение мужского и среднего рода в форме мужского рода в ед. и мн. ч. — любопытная черта свиницкого говора.

бо́сана, бо́сени (*бо́сенини*), *бо́сене*. Из косвенных падежей в мужском роде ед. числа имеются падежи родительный и дательный *лѣ́пога, лѣ́пому* для неопределенного «вида» и *лѣ́понога, лѣ́пономy* для «вида» определенного. В винительном неодушевленном ед. ч. употребляется форма именительного падежа (*лęп, лѣ́пијен*), а в винительном одушевленном — родительного (*лѣ́пога, лѣ́понога*). Эта же форма родительного употребляется как casus generalis одушевленный в инструментальных и, вероятно, также в локативных конструкциях (ср. положение в сретечском говоре), и только в творительном определенного вида наряду с родительным с предлогом может быть употреблена форма *лѣ́поногам* 'красивым (тем)'. Во множественном числе мужского рода винительный равен именительному во всех случаях, и имеется один лишь косвенный падеж — дательный (неопред. *лѣ́пим*, опред. *лѣ́пиним*). Аналогичное положение наблюдается в среднем роде, где, однако, нет винительного одушевленного. Если свидетельство Миле Томича применимо ко всем кратким прилагательным, то родительный и дательный неопределенный среднего рода ед. ч. отличается от тех же падежей мужского рода лишь иным местом ударения — *лęпога́, лęпому́*. Вместо родительного падежа, однако, может быть употреблен именительный *лęп* с предлогом. Краткая форма в свиницком говоре победила даже в вокативе — *ч'ове́ку леп!*

Парадигма женского рода ед. ч. сохранила большее число падежей — именительный, родительный–дательный, винительный, творительный, звательный. Приводим в той же последовательности попарно формы неопределенные и определенные: *лѣ́па — лѣ́пана, лѣ́пој — лѣ́поној, лѣ́пу — лѣ́пону, лѣ́пом — лѣ́поном, лęпо — лѣ́поно*. Множественное число женского рода имеет только два падежа: именительный–винительный–звательный и дательный: *лѣ́пе — лѣ́пене, лѣ́пем — лѣ́пенем*. У существительных в говоре с. Свиница соответственно то же число отдельных падежных форм в разных парадигмах, что и у прилагательных (исключение — наличие вокатива мужского рода у существительных при отсутствии особой формы у прилагательных). Следует отметить, что в свиницком говоре с существительными очень часто употребляется указательное местоимение, имеющее, по свидетельству М. Томича, функцию члена: *тој команда́нт од ти ло́пови* 'командир воров', и *у тејдън, ка се ро́дил тој дете* 'в день, когда родился ребенок' и т. п. С указательным место-

именением (членом?) *теј* (муж. и сред. р.), *таја* (жен. р.), *ти* (мн. ч. муж. и сред. р.) и т. д. прилагательное употребляется в «неопределенной» форме: *теје бęлé и пéремо*. Формы сравнительной и превосходной степени известны в двух формальных разновидностях — неопределенной и определенной — с наличием того же качества падежных форм, что и у прилагательных в положительной степени: *полęп, полęпога, полęпому́, полęпога* (*ч'овéка*), *полęп* (*астáл* 'стол'), *полęпи, полęпим*[21], *полęпá, полęпој, полęпу, полęпо, полęпóм, полęпе, полęпе* и *полęпијен, полęпонога, полęпономy, полęпонога* (*човéка*), *полęпијен* (*астáл*), *полęпини, полęпиним* (аналогично *најлęп, најлęпá, најлęпијен, најлęпана*). Миле Томич дает также список прилагательных, которые называются им «качественно-определенными» (calificative): *бел, бéсън, блáжън, блéдаў, бос, вéлик*(*-и*), *висóк, гол, дълг* (*дл̥г*), *дебęл, дóбър, жиў, крáтък, мъ́нъч'ък* 'маленький', *млад, нúсък, стар, тъ́нъцък* 'тонкий', *увáбен* 'тупой, притупленный', *фрúшък* 'свежий', *ч'рн*[22]. В этот же список внесены: *прв̥ьи* 'первый', *трéћи* и *десęти* (соответственно *прв̥ьијен, трéћијен, десęтијен*). По тому же типу образуются *другијен, ч'етвртијен* и т. д. до 11-ти, затем *јединáјесети, дванајесети*. Судя по «неопределенным» формам *прв̥ьи*, а также *стрáжњи*, локативные и темпоральные имеют, как в других сербских говорах, только местоименную (полную) форму, которая после противопоставления формам *прв̥нијен, стражњијен* стала восприниматься как неопределенная.

Долгóты и тоника ударения в свиницком говоре исчезли, однако, судя по месту ударения в нечленной форме, победил в принципе именной тип ударения, хотя в косвенных падежах, как и в галлипольском и сретечском говоре, распространилась местоименная флексия. Так, муж. р. ед. ч. *бóлън, жълт, рéтак* и т. д. соответствует жен. р. ед. ч. *болнá, жълтá, реткá* и т. д.

Таковы материалы, извлеченные из очень ценной и интересной статьи Миле Томича и вкратце изложенные нами.

---

21 Формы среднего рода совпадают с формами мужского рода, кроме род. ед., который равен форме им. п. ед. ч., но употребляется с предлогом.

22 Помимо приведенного списка в тексте статьи приводятся еще: *болън, дóбър, дълбок* (*дл̥бок*), *жълт, жéсток, здраў, зъл, лък* 'легкий', *леп, мек, мъртъ́в, облéч'ен, остър, плúтаᵊк, рéтак, слáтък, ширóк, тив* 'тихий', *товáрън* 'тяжелый'.

П. Ивич, обративший внимание на то, что в восточных сербскохорватских диалектах преобладает унификация двух склонений по неопределенному виду (имеется в виду прежде всего акцентный тип, тип ударения), а в западных хорватскосербских говорах (говоры на юге Италии, кайкавский говор Вирья, штокавские, восточночерногорский и црмничский и другие) — по определенному виду, по этому поводу заключает: «Очевидно, таким образом, что речь идет о значительной изоглоссе, которая связывает или разделяет большие диалектные группы» (Ивић, 1957, с. 367).

Материал чакавского говора сел Девинска Нова Вес и Дубравка свидетельствует, что и в западной части сербскохорватского диалектного континуума есть говоры, в которых краткая форма выступила как унифицирующая (равно как и акцентная парадигма именного прилагательного), что заставляет вновь вспомнить о латеральной и центральной балкано-славянских зонах (ср. этнолингвистическую гипотезу Гавацци — Братанича)[23]. Окончательное или хотя бы более четкое решение этого вопроса в лингвогеографическом плане станет возможным лишь после привлечения нового материала обследования новых пунктов (говоров), а также получения более полных сведений из уже обследованных пунктов (говоров) и зон.

Во всяком случае, можно заранее сказать, что следует учитывать ряд параметров, которые могут дать разные (различные) изоглоссы.

А) Противопоставленность флексий кратких и полных форм в парадигмах (прежде всего ед. ч. муж. р.). Здесь возможны: а) нередуцированная флективная система, близкая к системе сербскохорватского литературного языка, и б) редуцированная система, ограничивающаяся противопоставлением форм лишь в им. (-вин. неодуш.) п. ед. ч. муж. р.

Б) Противопоставленность ударений кратких и полных форм. Здесь возможны: а) комбинация (сосуществование) параметров А и Б; б) очень значительная редукция параметра А. При непротивопоставленности (или приближенном к

---

[23] В ряде своих прежних работ эту ценную для славянской лингвогеографии гипотезу я определял как «гипотезу Братанича» (см. Толстой, 1962, с. 141 и др.), так как мне долгое время был недоступен доклад М. Гавацци на IV конгрессе славянских этнографов и географов (Gavazzi, 1936).

ней состоянии) учитывается абсолютное преобладание акцентной парадигмы — α) именной, β) местоименной.

В) Неупотребительность в составе сказуемого полных форм тех прилагательных, которые выступают и в полной, и в краткой форме в атрибутивной функции (преимущественно муж. рода ед. числа)[24].

Г) Противопоставленность прилагательных, имеющих а) только полную форму, б) только краткую форму (особенно в им. п. ед. числа муж. р.) по разным семантическим классам.

Д) Противопоставленность прилагательных с артиклевой формой прилагательным без артикля.

При формулировке вопросов в программе на основе указанных параметров, помимо моментов противопоставленности/непротивопоставленности и употребительности/неупотребительности (для пункта В), следует учитывать моменты иного плана — словообразовательного, синтаксическо-фразеологического, синтаксического и семантического. В этих случаях выявится момент сочетаемости прилагательных отдельных семантических классов (классов достаточно дробных и заданных списком) с определенными суффиксами, равно как и «индивидуальное» поведение ряда прилагательных (*велики, мали, мален*), т. е. очень весомая роль значения (семантики) того или иного прилагательного, воздействующего на его форму (морфологический статус) или зачастую даже определяющего ее.

Корректурное примечание. Любопытный, но отнюдь не неожиданный процесс, ведущий к ликвидации противопоставления «определенных» и «неопределенных» акцентных парадигм, произошел в некоторых кайкавских говорах кайкавско-штокавского пограничья (хотя не исключено, что это явление распространено и значительно шире). Так, в Бании в селе Хрватско Село наблюдается следующее явление. «В парадигме обычно сохраняется ударение им. п. муж. рода ед. числа во всех родах, числах и падежах: ед. ч. им. п. *zdrȁv, zdrȁvo, zdrȁva*; род. п. *zdrȁvoga, zdrȁve*, дат. п. *zdrȁvomu, zdrȁve*(*oj*), вин. п. *zdrȁvoga, zdrȁvu*, тв. п. *zdrȁvim, zdrȁvom*, мест. п. *zdrȁvomu, zdrȁve*(*oj*); мн. ч. *zdrȁvi, zdrȁva*,

---

[24] Ср. обратное положение в чакавском говоре острова Сусак, где возможно *Krȕh je studẽni. Pūt je širõki*. См. Hamm, Hraste, Guberina, 1956, s. 130. Ср. аналогичную ситуацию в древнерусском языке.

zdrȁve» (Zečević, 1975, s. 222). Единственное формальное противопоставление имеется в ед. ч. им. п. муж. р.: *zȅlen* — *zȅleni*, *dȕbok* — *dȕboki*, *bȍgat* — *bȍgati* и т. п. Оно, однако, не выражено семантически.

Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля

Если понимать член как определенный детерминатив или «актуализатор» (по удачному определению Балли), а такое общее понимание нам кажется правильным, то следует решить еще вопрос об отличии функции члена от функции указательного местоимения, ибо последнее, равно как и «постпозитивная частица» в русских говорах, при широком понимании термина «актуализатор» также может быть им обозначено. На важность разграничения функций (значений) указательных местоимений и члена (resp. «частицы») указывают споры о наличии категории члена в старославянском (см. работы Милетича, Трифонова, Курца, Гълъбова) и в древнерусском и севернорусских говорах (см. работы Халанского, Иванова, Черныха, Погорелова, Висемана, Чичагова, Раковица, Гринковой, Кодухова, Кузьминой и Немченко и др.). Эти споры довольно трудно разрешимы без типологического подхода, т. е. без применения единого постулируемого критерия, устанавливающего соответствия как в современно-синхронном плане, так и в плане синхронно-историческом.

Единый критерий может быть выражен в виде моделированной схемы-шкалы, последовательно и внутренне непротиворечиво отражающей основные функции (значения) определенного члена. Такая схема-шкала вырабатывается сначала индуктивным путем на основе анализа положения в языке с наиболее развитой системой члена (в данном случае в болгарском литературном) и служит затем как модель, которая накладывается на системы значений реального или предполагаемого члена в других языках или диалектах (в македонских, родопских, словенских, севернорусских, старославянском, древнерусском, древнесловенском, серболужицком). Такая модель-шкала устанавливает систему соответствий между рассматриваемыми языками или диалектами. Она может быть представлена приблизительно в следующем виде (для обобщенной типологии славянских языков и диалектов достаточно взять только определенный член).

Член	Возможность подстановки указательного местоимения
а) ⟨эмфатический⟩	+
б) анафорический	+
в) дейктической определенности	+
г) ситуативной определенности	+ и –
д) ГЕНЕРАЛИЗУЮЩИЙ	–
е) константной определенности	–
ж) посессивной определенности	–
з) чисто грамматических отношений	–

Однако для разрешения основного интересующего нас вопроса — разграничения функций (значений) указательных местоимений и члена на основе подобной схемы-шкалы следует использовать прием своеобразной «трансформации» или подстановки на место конструкций с членом (или «членом») конструкций с соответствующим указательным местоимением. Такая подстановка может быть «внутренней» — на основе материала того же языка и «внешней» — на основе материала другого славянского языка, где категория члена полностью отсутствует, например, русского литературного.

В тех случаях, когда основная информация (инвариант информации) будет сохранена, значения (функции) члена мы назовем не чисто артиклевыми, а демонстративно-детерминативными; в тех же случаях, когда основная информация будет нарушена после указанной подстановки, значение члена мы признаем чисто артиклевым, а в языке или диалекте, манифестирующем подобный материал, мы отметим наличие категории члена. Например, в генерализирующей функции: болг. «Човекът е цар на зверовете» — «Человек — царь зверей», но нарушение информации при подстановке: «Този човек е цар на зверовете» — «Этот человек — царь зверей».

В приведенной выше схеме-шкале последовательность функций (значений) в основном соответствует постепенности развития члена из указательного местоимения. Это генетическое развитие с чисто типологической точки зрения можно было бы не учитывать, хотя оно и не вызывает противоречия историко-сравнительного и типологического подходов, но именно изложенный выше типологический прием и прием подстановки дают нам объективный критерий установле-

ния за генерализирующей функцией (значением) фактора, определяющего наличие (возникновение) или отсутствие категории члена в данном языке или диалекте. Генерализирующая функция — красная черта на шкале соответствий, разрешающая спор о наличии или отсутствии члена в конкретной грамматической системе. На этом основании можно говорить о наличии члена в западно- и восточноболгарских, родопских, македонских, в части словенских и части севернорусских диалектов и об его отсутствии в других славянских диалектах. В старославянском категории члена не было. Проблемы препозиции и постпозиции, или энклитичности, а также регулярности употребления являются в этом вопросе не решающими, а лишь сопутствующими.

При ареальном исследовании понадобится построение более развернутой и дифференцированной модели (словенские диалекты войдут в среднеевропейский ареал с рядом германских и романских диалектов; болгарские, родопские, македонские диалекты — в балканский). Родопские и некоторые македонские диалекты с тройным членом могут быть типологически противопоставлены остальным болгарским и македонским диалектам; такая же более частная типология может быть разработана для словенских (с учетом неопределенного члена) и северно-русских говоров. Категория члена в некоторых славянских говорах связана не только с указательными и неопределенными местоимениями, но и с относительными местоимениями, союзами и наречиями, а также с категорией лица и времени глагола. Частные типологические модели за отсутствием места в тезисах опускаются.

Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах

1. Вопрос наличия или отсутствия члена-артикля в отдельных славянских языках и диалектах следует, как я уже отмечал (см. наст. изд., с. 191–193), связать с определением ряда функций (значений) артикля и признанием генерализирующей артиклевой функции решающей для восприятия его в качестве отдельной категории или части речи, ибо многие другие функции, например, современного болгарского и любого балканского артикля — эмфатическая, анафорическая, дейктической определенности, ситуативная — могут быть присущи и указательным местоимениям. Это условие, на наш взгляд, решает спор о старославянском члене (где его не было) и о члене севернорусском (где часть говоров его имеет, а часть не имеет, как показало, в частности, и интересное исследование С. И. Иорданиди, 1970 г.). Однако такая типология члена-артикля в славянских и балканских языках (по принципу есть/нет) оказывается слишком общей. Весьма существенны более частные показатели: наличие только определенного артикля или также развитого неопределенного (как в словенских диалектах), склоняемость/несклоняемость члена, наличие «тройного» члена, употребление артикля с именами собственными, употребление/ неупотребление/факультативность в отдельных синтаксических конструкциях и т. п. Остановимся на двух локальных и специфических моментах.

2. Общеизвестно, что система члена в языках, где он существует, связана с системой указательных местоимений. Эта связь особенно ярка в диалектах, где имеется так называемый «тройной» член (македонские, родопские говоры). Генетически (этимологически) всякий член восходит к указательным местоимениям. Последние влияли на смысловую сторону члена, определяли его формальный облик, и эта часть вопроса хорошо исследована. Но мало внимания обращалось на то, что иногда сформировавшаяся система артик-

ля в свою очередь влияла на систему указательных местоимений и в функциональном, и даже в формальном (морфологическом) плане. В ряде случаев прежняя структура указательных местоимений оказывалась в смысловом отношении стертой, ослабшей и подвергалась усилению при помощи частиц (или наречий). Таковы, например, болг. родопск. *айсóй, айсáва, айсвá, айсéва* (ср. ст.-сл. **сь, си, се...**), *айтóйа, айтъ́йа, айтвá, айтéва, айн'óйо, айнáва, айнвá, айнéва* (Златоград и соседние насел. пункты, собств. запись 1959, далее сокращ. Зл.) Близкая картина наблюдается в северозападных словенских и северновеликорусских говорах, где, однако, тройной член отсутствует. Словен. терск. *télə* 'этот', *téla* 'эта', *téjlej* 'этой' при определенном члене *te, ta, to* и неопределенном *den, dna, no* (Пластища, Брезья и соседние насел. пункты, запись И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1873 г.); сев.-в.-рус. пинежск. *нутóт, нутогó, нутомý, в нутóм* и т. п., красноборск. *тотвóт, тогóвоту, темвóтым, в томвóтом, товóто, тавóта, тувóту, в тевóте, тевóты, техвóтых* и т. п., при члене — *обуй синякот* 'надень сарафан', *кустыте по тутам сторону стоят* пинежск. (запись Г. Я. Симиной, 1968, 1970 гг.). Последний пример отражает общее сев-в.-рус. *тоттам, тоготам, темтам* и т. д. (Г. Я. Симина, 1968 г.), со склоняемым вариантом, как и *тотвот*. Ср. чеш. «полуосложненный» вариант: им. ед. *tentýž, tatáž* (при *týž* и *táž*), *totéž*, вин. ед. *tentýž, tutéž, totéž*, им. мн. *tytéž* (одуш. *titiž*), *tytéž, tatáž* (но и *táž*), наряду с род. ед. *téhož, téže* и т. д., а также *tenhle, tendle, tenhleno* и т. п., *tento, toten* и т. п. При этом функция местоимения *ten, ta, to* в разговорном чешском языке приближается к функции члена (Mathesius, 1947).

3. В родопских говорах с тройным членом (элементы *-с-*, *-т-*, *-н-*) обычно *-с-* означает ближайшие предметы (или те, о которых идет сейчас речь), *-т-* выступает как немаркированный показатель определенности (и в генерализирующей функции), *-н-* указывает на отдаленные предметы: *óтвори вратáна!* 'открой внешние двери', *óтвори вратáса!* 'открой те двери, что в комнате' Зл. (беседа шла в комнате. — *Н. Т.*). Но в том же Златограде и в некоторых близких к нему насел. пунктах *-н-* может выступать как нейтральный и генерализирующий член: *Ага* (когда) *умрé чулéк, тугáва го погребът ф черкована, попън гу упéва* и т. д. Зл., собств. запись, 1959 г.).

В той же зоне *-с-*, *-т-*, *-н-* распределяются при образовании относительных местоимений и наречий по принципу соотносительности 1-го, 2-го и 3-го лица (*касо мо́йсо* 'как мое', *като тво́йто* 'как твое', *кано не́говоно* 'как его' Зл.). По этому же принципу, хотя и не всегда последовательно, функционирует и член (*боли́ ме гърбъс* 'у меня болит спина (хребет)', *боли́ го гърбъ́н, скъ́ршил ти се ⁱе гърбъ́т* Зл.). Таким образом, наблюдается связь артикля и относительных местоимений и наречий (помимо указательных). Она нуждается в дальнейшем исследовании.

О непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках

Последовательность процесса первой палатализации всегда представлялась исследователям довольно строгой в отличие от второй (прогрессивной) и даже третьей палатализации, в которых отступления отмечались неоднократно[1]. А между тем число примеров, демонстрирующих отсутствие первой палатализации, довольно значительно и характерно для большинства славянских языков и диалектов. Все дело, однако, как правило, сводится к тому, что семантика слов, не отразивших первую палатализацию, довольно разнообразна и поэтому некоторые из них не воспринимались как однокоренные друг с другом и со словами, пережившими палатализацию, т. е. как восходящие к одному этимону. Более того, из-за отсутствия результатов первой палатализации некоторые из таких слов воспринимались как заимствованные и в качестве таковых и трактовались.

Таким образом, назрела необходимость выделить фонд слов, не переживших первую палатализацию. В настоящей работе анализируются такие славянские корни и слова, в которых в одних случаях палатализация прошла, а в других прошла частично или не прошла. Выбор подобных корней важен потому, что они, во-первых, отводят подозрения о неславянском происхождении соответствующих корней и слов, а во-вторых, проливают свет на условия или случаи, тормозившие процесс палатализации. Об этих условиях и о семантических и иных классах слов, не охваченных или частично охваченных палатализацией, можно будет говорить лишь после того, как будет проведена работа по всем корням. Постепенное рассмотрение отдельных корней важно и потому, что оно ведет к пересмотру ряда этимологий и к установлению новых этимологических связей и результатов.

---

1 Краткий обзор вопроса и работ см. Толстой, 1977; наст. изд., с. 10–30.

1. Слова с корнем *geg-

Этот корень представлен в ряде глаголов и существительных. Притом в глаголах он отмечен во всех трех группах славянских языков — южной, западной и восточной. Ср. серб.-хорв. *гéгати* 1. 'идти раскачиваясь, идти медленно, волочиться', 2. обл. (Бания, Лика) 'качаться на качелях', *гéгати се* 1. 'идти раскачиваясь', 2. 'качаться' (Босанско Грахово), 3. обл. 'двигаться с места', 'качаться, раскачиваться', *гéгати* 'играть на гуслях, гудеть (на музыкальном инструменте, гуслях)', *гѐгнути* 'ударить, стукнуть' (Ресава, Дучаловичи), *гегу̏цати* (*се*), *гегу̏цкати* (*се*) уменьш. от *гéгати* (*се*) 'идти слегка раскачиваясь' (РСХКНЈ, III, с. 223), макед. *гега* (*се*) диал. 'идти раскачиваясь', *гегање* 'ходьба вразвалку, раскачиваясь' (РМЈ, I, с. 95), болг. *гѐкнувам* диал. (самоковск.) 'бросать с силой, сваливать' ('ударить оземь'. — *Н. Т.*) — Йа го гѐкни у̀ земи! (фактически глагол *гѐкна* сов. в. — *Н. Т.*) (БД, III, с. 208), чеш. *gégat'* = *gágat'*, *gagotat'* диал. (восточноморавск. или моравскословацк. «валашск.») 'гоготать (о гусях)' (Bartoš, 1895, s. 312), *gegnút'*, *gegovat'* диал. («валашск.») 'выражение про звук, испускаемый из горла, когда кому-нибудь неожиданно ударят в спину, когда кто-нибудь прыгнет с высоты' = *heknút*, *hrknouti* 'стукнуть' (Bartoš, 1895, s. 312; Bartoš, 1905, s. 92), словац. *hegat'* 'дергать', 'толкать', 'трясти', 'пошатывать', 'сильно махать', *hegat' sa* 'дергаться', 'пошатываться', 'трястись', *hegnút'* 'дернуть', 'толкнуть', 'пошатнуть', *hegnút' sa* 'удариться' (SSJ, I, s. 465; Kálal, 1923, s. 165), *heg(ot)at'*, *heglovat'* 'громыхать', 'сотрясать' (Kálal, 1923, s. 165), польск. *gęgnąć* 1. 'крикнуть (о гусе)', 2. 'невнятно сказать', 3. 'испустить дух', 'умереть', несов. *gęgać* с теми же значениями, а также со значением 'плести чепуху, чушь' (SW), белорус. *ґéгаць* диал. (свислочск.) 'гоготать (о гусях)' (Шаталава, 1975, с. 40), *гегаць* диал. (гродненск.) 'гоготать (о гусях)' (Сцяшковіч, 1972, с. 118), *ґéґнуць* диал. (зельвенск.) 1. грубое 'умереть, дать дуба' — Ду́маяш ве́чно жы́цімяш. Не, ґéґняш і ты. 2. 'забить, кокнуть' — І тагды́ ґéґнулі таго́ за́йца (Сцяцко, 1970, с. 43), *ґéґнуты* диал. полесск. (столинск.) экспресс. 'умереть, дать дуба' — Му́сыт' до ве́чора гéгне стары́й (запись В. Л. Веренича), великорус. *гéкать* диал. (зап.-брянск.) 'ударять топором', также *гáкнуть* и *гóкнуть* диал. (зап.-брянск.) 'сильно ударить' и *гéкнуцца* диал. (зап.-брянск.)

'удариться' (Расторгуев, 1973, с. 33, 78), *гегота́ть* диал. (сев.-зап. петроградск.) 'гоготать' (СРНГ, 6, с. 165).

Параллельной вокалической огласовкой корня **geg-* является **gig-*. Ср. сербск.-хорв. *гѝгати* 1. 'двигать вправо-влево, вверх-вниз, качать', 2. 'качаться', 'идти вразвалку, раскачиваясь', 3. обл. 'прыгать на одной ноге', 4. 'идти на ходулях', 5. 'быстро расти (о детях)', *гѝгати се* 'качаться', 'раскачиваться', *гѝгнути* 'толкнуть, чтобы вызвать качание, закачать', *гигу̀цати се* уменьш. от *гѝгати се*, *гигѐтати* 1. 'петь завывающим голосом', 2. 'неумело играть на гуслях', *гигѝштати се* 'громко смеяться, гоготать', *гигѝјати* 'подвизгивать, вскрикивать', 'бурно веселиться, кутить', *гигѝљати* 'щекотать' (РСХКНЈ, III, с. 257), словен. *gígati* 'кричать' (Pleteršnik, I, s. 210), болг. *гигѝл'ъ съ* диал. (казанлыкск.) 'смеяться легкомысленно' (БД, V, с. 112), диал. (троянск.) 'подхихикивать' (БД, IV, с. 195), диал. (севлиевск.) 'смеяться несильно, подхихикивать' (БД, V, с. 15), чеш. *gigač'* диал. (среднеопавск.) 'гоготать (о гусях)' (Lamprecht, 1963, s. 40), укр. *ґ'іґнути* диал. (ровенск.) пейоративн. 'умереть' (запись Н. Д. Дидыч), *ґи́ґнуть* диал. вульг. (сумск.) 'умереть' — Диви́, а то вда́р'у так, шо й ґи́ґнеш (Приймак, 1957, с. 9), белорус. диал. *гиги́каць* несов., *гиги́кнуць* сов. 1. 'хихикать, хохотать, впрочем негромко', 2. 'ржать потихоньку', — 1. Чêго вы тут гиги́каеце; 2. Ко́ни гиги́кающь, пиць хо́чуць (Носович, 1870, с. 112), великорус. *гѝгать* диал. (тамбовск.) 'шуметь, устрашать криком' (СРНГ, 6, с. 169). Ср. также русск. литер. *гикать* 'громко кричать резкими отрывистыми звуками, вскриками', сов. *гикнуть*.

Гораздо реже встречаются варианты древнего чередования *е ~ о*: **gog-* и со ступенью долготы — **gag-*. Любопытно, что два или даже три варианта одновременно могут встретиться в одной и той же диалектной зоне. Так, в зоне украинского бойковского диалекта по записям М. О. Онышкевича бытует и *ґе́ґати*, и *ґи́ґати*, и *ґе́йґати* 'гоготать (о гусях)', и *ґа́ґати* 'квакать (об утках') (Онишкевич, ркп.). В укранском буковинском диалекте зафиксировано *гогота́ти* 'начинать говорить, лепетать' (МСБГ, II, с. 18). Ср. также русск. литер. *гоготать* 1. 'кричать (о гусях)', 2. 'хохотать', белорус. *гагата́ць* диал. (гродненск.) 'кричать (о гусях)' (Сцяшковіч, 1972, с. 105). В последнем случае форма *гагата́ць*, вероятно, отражает аканье. В словенском глагол *gágati* (несов. вид) означает и 'гоготать (о гусях)', и 'говорить', и

'изнемогать' (отсюда 'тонуть', 'изнывать от жары, жажды', 'изнемогать от долгов'), *gágniti* (сов. в.) 'крикнуть (о гусе)', 'пробормотать' и 'умереть, сдохнуть' (SSKJ). Вариант **gug-* ярко представлен в словенском *gúgati* 'качать', *gúgati se* 'качаться', *gugljati se* 'качаться', *guncati* 'качать', *guncati se* 'качаться', *gugniti, zagugati* 'качнуть' (SSKJ, I, с. 774).

Нетрудно заметить, что значение перечисленных глаголов связано с двумя семантическими регистрами — движения и звука, притом в семантике глаголов несовершенного вида во многих случаях и движение, и звук выступают в виде колеблющегося, повторяющегося, неярко выраженного действия — 'раскачивать(ся)', 'звучать раскатисто, с интервалами'. Что же касается глаголов совершенного вида, то их семантика выражает однократное, довольно резкое действие — 'толкнуть(ся)', 'ударить(ся)' (а отсюда и 'испустить дух, умереть') и 'крикнуть'.

Глаголы подобного типа, и особенно те, что могут сочетать свою основу (корень) с суффиксом *-ot* (ср. *hegotat', гегота́ть, gagotat, гоготать, гиготати*)[2], довольно устойчиво сохраняют в своей семантике признак прерывистости и свою принадлежность к регистрам движения, звука и света. Значение света в приведенном списке ни разу не было выявлено, но оно выступает в существительном *гега* в несколько завуалированном виде, впрочем, как завуалирована в других значениях слова *гега* и тема движения.

Однако прежде чем обратиться к вопросу о том, с какими семемами сочетается лексема *gega* в славянских языках, обратимся к существительным, образованным от корня **geg-*, **gig-*, **gug-* суффиксальным способом. Приводим их сокращенным списком: серб.-хорв. *ге́гавац* (*гѐгавац*) 1. 'прихрамывающий, качающийся при ходьбе человек', 2. 'нищий', 3. 'слепец', 4. 'гусляр' (значения 2–4 — диалектные), *ге́гало, гега́вкɔ, гѐгāш, гегу̀цало, ге́гоња* — 'то же, что *ге́гавац* 1' (РСХКНЈ, III, с. 232–233), *ге́галица, ге́гавица* 'раскачивающаяся или прихрамывающая при ходьбе женщина', *ге́галица, ге́гāлька* 'качели' (РСХКНЈ, III), словен. *gúgavec* 'прихрамывающий, раскачивающийся при ходьбе человек', *gugálnica, gúgalica* 'качели' (SSKJ, I, с. 774), *gêgač* 1. 'носильщик', 2. 'сорокопут', *gígalo* шутл. 'блоха (в загадке)' (Ple-

---

[2] См., например, состав и структуру таких глаголов в верхнелужицком (Толстая, 1971).

teršnik, I, s. 208–210), болг. *гигúл* диал. (севлиевск.) 'человек, который посмеивается, насмешник' (БД, V, с. 15), белорус. *гíгель* бранно, диал. (полесск. мозырск.) с неясным для информатора значением (запись А. П. Непокупного) — Гíгель ты! (слово это А. П. Непокупный неправомерно причисляет к балтизмам, ЛББМ, с. 29), белорус. *ніґéґлік, няґéґлік* диал. (слуцк.) 'слабосильный, замухрышка, убогий, никчемный', жен. р. *няґéґліца, ніґéґліца* (Янкоўскі, III, с. 77). Ср. также макед. *гегало* 'замухрышка', наряду со значением 'прихрамывающий человек' (РМJ, I, с. 95) и полесск. *ґэ́ґало* 'породистый домашний гусь' (Словечанск. и Овручск. р-н, ЛП, 1968, с. 445).

Семантически белорус. *няґéґлік* может быть сближено с серб.-хорв. *гéгавац*, макед. *гегало*, если учесть при этом, что начальное *не* (*ня, ні*) отнюдь не означает в данном случае отрицания, а лишь подчеркивает качественную характеристику слова (см. об этом Толстой, 1971).

Наибольший интерес представляет слово **gega*, структура которого в фонетико-морфологическом отношении аналогична структуре славянских «детских слов» типа **žiža* 'огонь', **vava* 'огонь', **koka* 'яйцо' и т. п. У этого слова, на первый взгляд, значения по разным славянским языковым зонам довольно сильно отличаются, и, действительно, общая картина не столь монолитна, как в случае с глаголом **gegati, *gegnǫti*.

В сербскохорватском языке *гѐга* и *гéга* имеют ряд значений. Помимо *гѐга* 'шум, гам', *гѐга* 'сварливый человек, задира, крикун', *гѐга* 'скряга, скупец', слово *гéга* может означать 'пошатывающегося при ходьбе человека, прихрамывающего, идущего вразвалку', и 'двуструнные гусли' (РСХКНJ, III, с. 232). В то же время *гѐге*, уменьш. *гѐгице* только мн. означают либо 'штаны', либо 'детские штанишки' (РСХКНJ, III, с. 232–233). Уже в сербскохорватском наборе значений выявляется глубинная семантика звука ('шум', 'гам') и особенно — движения, где кроме момента качания, прихрамывания и раскачки при ходьбе (дающего дальнейшую, отходящую в сторону семантическую эволюцию) есть момент 'ноги', преобразовавшийся в 'штаны' → 'детские штанишки'. Именно это значение сохранено в словен. диал. (Словенские Горицы, Бела Краина) *gége*, уменьш. *gégice* 'длинные узкие штаны' (Pleteršnik, I, s. 208). Ср. семантически белорус. диал. *нагавіцы* и польск. диал. *nogawice* 'штаны'.

Болгарский и македонский материал дает довольно единообразную картину, согласно которой **gega* — 'палка', 'большая палка', 'пастушеская палка': диал. троянск. *гéгъ* 'большая палка' (БД, IV, с. 195), ихтиманск. *гéга* 'закругленная часть пастушеской палки для ловли овец' (БД, III, с. 50), пирдопск. *гéга* 'пастушеская палка с крючком для ловли овец' (БД, IV, с. 94), страндж. *гéга* 'длинная пастушеская палка с закруглением на конце для ловли овец за ногу' (БД, I, с. 75), самоковск. *гéга* 'палка' (БД, III, с. 208), макед. *гéга* 'длинная пастушеская палка' (РМJ, I, с. 95). Отмечается пока лишь одна семантическая модификация: болг. диал. софийск. *гéга* 'длинная верхняя одежда (вероятно, пастушеская. — *Н. Т.*) наподобие дохи' (БД, II, с. 74). Интересен и пример: болг. *гúги* обычно мн. 'ходули' (Младенов, 1951, с. 324). Ср. также серб. диал. косовско-метохийск. *гигàље* — Идē кај на гигàље «говорится, когда кто-нибудь идет покачиваясь» (Елезовић, I, с. 96). Наконец, ценен болгарский диалектный (страндж.) пример из «детской речи» — *гáга* 'палочка' — Зéми гáгата та фúрни прáсенцето (БД, I, с. 74). Вероятно, с мотивом длинных ног или палки связано сербское значение *гȕга* 'кличка высокой женщины' (РСХКНJ, III, с. 256).

Украинский и белорусский материал может дать много ценного по интересующему нас вопросу, однако он, к сожалению, собран еще весьма неполно. Однако и то, что есть в нашем распоряжении, весьма любопытно. В украинском Полесье на Житомирщине, а также на Пинщине *ґéґи* уничижительно 'ноги' (часто женские) (запись Н. В. Никончука и В. Л. Веренича). Это слово широко распространено наряду с междиалектными синонимами: *ґéлы, ґерéґи, ґарéґи, ґарнéґи, ґарлúґи* 'ноги', формы и происхождение которых заслуживают отдельного рассмотрения. Интересно и пока трудно объяснимо значение укр. диал. (полтавск.) *гéга* 'грубое рядно, подстилка' (Ващенко, 1960, с. 23). Украинскому *ґéґи* 'ноги' соответствует польск. диал. *gęgi* 'ноги', употребляемое во фразеологизме *zadarł gęgi* 'умер, протянул ноги' (SW).

Северо-запад белорусской языковой территории сохранил значение *гéга* 'камень' — на пóл'и жанчы́ны саб'ирáл'и г'éг'и (Зельвенщина, Сцяшковіч, 1972, с. 118), которое возникло, вероятно, из белорус. диал. (белостоцк.) *ґéга* 'кремень' (Smułkowa, 1963, s. 220). Этот последний пример весьма любопытен и ценен для наблюдений в общеславянском

плане, так как он свидетельствует о прежнем наличии третьего семантического регистра для значения слова **gega*, регистра света (огня). Однако для того, чтобы это можно было утверждать достаточно уверенно, следует обратиться к этимологической проблематике интересующего нас слова.

В отношении глагола **gegati* и т. п. в этимологической литературе сведений немного. В. Махек глагол *hegnút'* оставляет без объяснения, не обращая внимание на отсутствие палатализации (Machek, 1971, s. 164). Приблизительно так же дает материал о *gégati se* П. Скок, поясняя лишь, что дело касается ономатопоэтики, характеризующей образ действия (Skok, I, s. 558). Аналогичным образом поступает и Ф. Безлай, который приводит ряд параллелей к слову *gúgati*, излагая при этом и мнения коллег (Bezlaj, I, s. 185). Таким образом, хотя и не в подчеркнутой форме, мнение о славянском происхождении глагола **gegati* и сходных по форме (и значению) устанавливается и разделяется видными славянскими этимологами.

Однако, что касается существительного **gega*, вернее его этимологии, то с ним положение противоположное. Большинство этимологов относит его к разряду заимствований, ищет для него неславянские источники, мотивируя свои поиски обычно отсутствием в слове результатов палатализации задненебных. Так, в сербскохорватском диал. *gège* 'штаны' (Хорватия, Славония, Лика) П. Скок видел заимствование из старофранцузского *gregues* 'haut de-chausses plus ample que la culotte' и 'jambes' (Skok, I, s. 613), что вызвало справедливое сомнение Ф. Безлая, отметившего, что «из-за удаленности и фонетического различия, это — маловероятно» (Bezlaj, I, s. 141). Болгарское *гéга* 'пастушеская палка' сближалось, на наш взгляд, совершенно ошибочно, с болг. *глог*, русск. *глог* 'Cornus sanguinea', греч. γλωχίς 'острие, верх' и т. д. При этом, однако, инициатор такого сближения В. Георгиев заявлял, что «болгарск. *гéга* не может быть унаследованным из праславянского словом, так как исчезновение *l* и изменение *ō* (или *ə*) в *е* не присущи исторической фонетике нашего (болгарского. — *Н. Т.*) языка. Можно считать, что *гéга* заимствована из языка каракачан или куцовлахов-пастухов, притом до перехода *о* > *оа*. В таком случае *гéга* заимствовано из **dhiogă* с переходом *гьо* > *ге*, как в (*Геóрги* >) *Гьóрги* > диал. *Гéрги*. Однако *гьо* > *ге* — только диалектное изменение, в то время как *гéга* распространена во

всей Болгарии. По сути дела албанское слово должно было бы звучать точно *gjegë из инд.-евр. *glōghā, так как в албанском инд.-евр. gl- переходит в gj (палатальное g), а инд.-евр. ō переходит в e. Следовательно, вероятнее предположить, что слово гéга заимствовано из албанского или из дако-мизийского субстрата, чем из румынск. ghioga» (Георгиев, 1960, с. 12–13; БЕР, I, с. 235).

Приведенная нами подробная цитата показывает, сколько разных допущений, в том числе и реконструкцию несуществующего албанского слова, пришлось сделать В. Георгиеву, чтобы укрепить свою весьма шаткую позицию. Родственный славянский материал при этом (исключая слово глог, восходящее к иному этимону) им не рассматривается. В отношении болгарского слова гиги 'ходули' (также серб.-хорв. гúгати се, гȉга и др.) известный болгарский лингвист строит более простую схему, предполагая без серьезной мотивировки вновь заимствование: «Болгарские и сербские слова не могут быть унаследованы из праславянского, как показывает неизменившееся г: они заимствованы из балканского субстрата или, вероятнее, из немецкого. Поскольку слово гȉга и его производные распространены главным образом в сербскохорватском, то следует предполагать, что болг. диал. гúга перешло к нам (болгарам. — Н. Т.) через сербский» (Георгиев, 1960, с. 53).

Наконец, для несколько изолированного, но очень интересного белорусского белостокского диалектизма ґéґа 'кремень' Э. Смулкова предлагает литовское происхождение (от литовск. dêgti 'жечь' с допущением южнолитовского диалектного перехода d' > g'). Мотивы такого предположения те же, что и в предыдущем случае: «В связи со славянской палатализацией задненебных согласных перед гласными переднего ряда, облик корня geg- мог сохраниться только на неславянской почве' (Smułkowa, 1963, s. 218). Но этот аргумент, как видно из всего вышеизложенного материала и материала, нами еще не опубликованного, не может считаться веским. Тем более, что в литовском для названия кремня употребляется другая лексема — titnagas. Ввиду этого осложнения Э. Смулкова пытается белорусское ґеґа 'кремень' вывести из литовского dẽgti, dẽginti 'жечь', предполагая, что d перешло в g еще на литовской почве (подобное явление, по свидетельству польской исследовательницы, можно наблюдать в южнолитовских диалектах); что же касается разви-

тия семантики 'кремень' < 'огонь', то место (язык, диалект) и время такого развития не уточняются. Э. Смулкова стремится подкрепить свою гипотезу о литовском происхождении белорусского белостокского *ґéґа* 'кремень' также ссылкой на то, что «сохранение происхождения *-g-* (взрывного. — *Н. Т.*) в *géga* в языке, в котором каждое исконное *g* > *h*, дополнительно свидетельствует о его чужеродности» (там же). Однако такое утверждение тоже неверно, так как в белорусском и украинском языке существует целый ряд слов исконного происхождения, в том числе и рассматриваемое слово *ґеґа* (известны случаи с *гега* с фрикативным *h*), в которых взрывное *ґ* сохраняется. Правда, эти слова исследователи часто относят к ономатопеическим, но класс славянских ономатопеических слов давно превратился в своего рода склад не совсем выясненных корней, лексем и форм.

В исследовании Э. Смулковой есть среди прочего и любопытный материал, свидетельствующий в пользу достаточно древней связи значения 'огонь' (регистр света) с лексемой типа **gega*, **gaga*. Таковы польские «детские слова»: *gaga*, *gagi*, *gaguś* 'огонь' (Smułkowa, 1963, s. 218; SW, I, 791). Ср. также *gaga* 'огонь, горячо' (Gołąb, 1955, s. 64). Они хорошо согласуются со словен. *izgâga* 'изжога', польск. *zgaga* 'изжога', русск. *изгага* 'изжога' (Фасмер, II, с. 121).

Во всех этих случаях, как и в примерах со словами **gaga*, **giga* и т. п., нет основания видеть иной корень (этимон), чем в рассмотренных выше глаголах, и искать источник вне славянских языков, т. е. объяснять формы этих слов заимствованием.

Таким образом, славянский корень **geg-*, сохранившийся до наших дней и не переживший палатализацию, равно как и переживший (ибо имеется очень значительное число примеров с результатами перехода **geg-* > **žeg-*), выступает в трех семантических регистрах — движения, звука и света (огня).

2. Слова с корнем **gep-*

Этот корень представлен в существительных, глаголах и междометиях. Притом глагольные формы зафиксированы достаточно широко в южно- и восточнославянских языках и в меньшей мере в языках западнославянских, а существи-

тельные выявлены в отдельных диалектах как реликты во всех трех славянских группах.

Еще Б. Гринченко привел в своем словаре укр. *гéпа* 'задница' (Грінченко, I, с. 274), сопроводив это слово примером из сборника М. Номиса (№ 14074: А я знаю, що він діє, — коло печі гепу гріє) и производным словом *гепáка* с тем же значением (зафиксировано М. Номисом и И. Манжурою). В украинских диалектах, в частности на Житомирщине, известно *негéпа* 'неряшливый человек' (запись Н. В. Никончука), где *не*, как в случае с белорус. *нігéґлік*, лишь усилительное. В южновеликорусских западнобрянских говорах отмечено *гéпала* (конечное *а* < *о*) 'мастер, производящий плохую по качеству продукцию' (Расторгуев, 1973, с. 79). С иным чередующимся на той же ступени вокализма гласным *о* известны примеры из белорусских диалектов: *гóпа* (новогрудск.) 'толстая неповоротливая женщина низкого роста' (НС, с. 8), *гóпа*, уменьш. *гóпка* (карелицк.) 'картофельная бабка, запеканка' — Сягодня спякла гопку (Шаталава, 1975, с. 42). Ср. также болг. диал. (родопск.) *г'ŏпка* 1. 'что-то, что мешает, помеха', 2. 'человек, мешающий работать кому-либо, неуклюжий человек' (БД, II, с. 146). Если болгарский материал требует некоторых дополнений и проверки (в связи с вокалической огласовкой корня *ŏ*), то верхнелужицкий материал уже не вызывает сомнения (на что мне любезно указал проф. Х. Шустер-Шевц): *hepa* (шутливо и пренебрежительно) 'простоватая, простодушная женщина', 'коза' (в детском языке), прилагательн. *hepojty* и *hepojće* 'простоватый, мешковатый', *hepjel* 'неотесанный человек, медведь, грубиян' (Pfuhl, 1866; Jakubaš, 1954).

С верхнелужицким *hepa* 'простоватая женщина' соотносится моравск. среднеопавск. *hepa* устар., экспрессивн. 'высокая девочка, девушка' — taka hepa a oš'če se z laličkama hraje (Lamprecht, 1963, s. 43) и моравско-ляшск. фрештатск. 'высокая девушка, дылда' (Horecka, 1941, s. 95). Верхнелужицкому же *hepa* 'коза' соответствует чеш. ходск. *hepa* в детской речи 'коза', уменьш. *hepidla* — Baba pase hepi (Hruška, 1907, s. 28).

Семантические отношения в приведенных примерах как будто не вызывают сомнений, к тому же из-за деликатности исходной семантики мы их не будем подробно рассматривать. По той же причине не станем предлагать и этимологи-

ческого разбора, который, по нашему мнению, достаточен у М. Фасмера (см. статью *жопа* в Фасмер, II, с. 61–62).

Обращение к ряду «непечатных» славянских слов, в первую очередь к словам русского языка, дает возможность установить семантическую субстантивно-глагольную модель, по которой существительное может означать 'vulva', 'penis' и т. п., а глагол с той же основой значить 'ударить', 'шлепнуть' (при возвратной форме 'удариться', 'шлепнуться', 'упасть', — а затем 'стянуть', 'украсть' и т. п.). Подобные отношения или мутации наблюдаются и в словах с корнем **gep-*, **gop-*.

Представим последовательно глаголы с корневым *е* и затем с корневым *о*: серб.-хорв. *гѐпити* сов. в. жарг. 'украсть, стащить, слямзить' (РСХКНЈ, III, с. 245), болг. диал. *гéпим* (софийск.) 'воровать' (БД, II, с. 74), *гéпъм* (свиштовск.) 'красть, таскать' (БД, III, с. 296), *гéпêм* = *г'ôпêм* (родопск.)[3] 1. 'путать концы пряжи', 2. перен. 'обманывать, перехитрять', 3. перен. 'спутать кому-либо концы, помешать в работе' (БД, II, с. 146), *гéлпе* (с возможной метатезой *пл*?; странджанск.) 'перепутать что-либо кому-либо' (БД, I, с. 75), в.-луж. *hepać* 'медленно бежать (о зайце)' (Pfuhl, 1866) (вероятно, 'бежать припадая'. — *Н. Т.*), укр. диал. *гéпати си* (*-са*) 'падать (с разгона, с высоты)', *гéпнути си* (*-са*) 'упасть (с разгона, с высоты)' (МСБГ, I, с. 85), белорус. диал. *гэ́пнуты* (зап.-полесск.) 'упасть (с приглушенным стуком)' (ЛП, с. 28), великорус. диал. несов. в. *гéпать*, сов. в. *гéпнуть* (брянск., курск., орловск., тульск., донск.) 'ударить, шлепнуть', 'ударить об землю, об пол', *гéпнуться* (курск., орловск., брянск., донск.) 'упасть, шлепнуться, упасть со всех ног' (СРНГ; Кардашевский, 1956–1960; СРДГ; Расторгуев, 1973, с. 79). Сюда же, вероятно, следует отнести и диал. *гéкнуть* (донск.) 'ударить' — Как гекну, так — и атлитиш (СРДГ). Примеры с корневым *о* зафиксированы только в восточнославянских диалектах: белорус. диал. несов. в. *гóпаць*, сов. в. *нагóпаць*, *гóпнуць* 'бить ладонью под задницу' — Гопай, гопни его хорошенько! Нагопали жепенку (Носович, 1870, с. 118), *гóпаць* (игуменск.) 'сильно бить кого или что тяжелым предметом', *гóпнуцца* (игуменск.) 'сильно с отзвуком шлепнуться о землю или удариться о предмет' (Ша-

---

3 На этом основании можно предположить, что в слове *г'ôпка* гласный *ô* из *е*.

талава, 1975, с. 70), *го́пнуть* (логойск.) 'свалиться' — Дзіця гопнула з калыскі (Varłyha, 1970, s. 44), *го́пнуць* (минско-молодеченск.) 'упасть' (МСММГ, III, с. 36), южновеликорус. диал. *го́пнуть* (зап.-брянск.) 'сильно ударить, огреть' (Расторгуев, 1973, с. 79), *го́пать* (донск.) 'тяжело ступать в пляске' (СРДГ, по Миртову), *го́пнуть* (русск. старожильч. латвийск.) 'броситься' — Как го́пнули нъ йаво́ фсе́ быки́ (МСРГЛ, VI, с. 16).

Материал по междометиям богат, но мы ограничимся лишь примерами с *геп!*: великорус. диал. *геп!* (курск., орловск.) — Геп его в ухо! (СРНГ; Кардашевский, 1956–1960 и др.). Приведенный пример понравился Далю, и он дал его в своем словаре. В восточной Белоруссии на Мстиславщине *геп!* отмечено в примере, где его можно понимать как 'гоп, прыг!' и т. п.: Думылі, ў цянёты жарёбку зловім, а йна гэп цірізь вярёўку і толька была (НЛ, с. 73). Не менее красочны примеры с *гоп!*, но они, безусловно, известны читателю («Гоп, мои гречаники!» и т. д.).

3. Слова с корнем **kek-*

Рассмотрим корень **kek-*, встречающийся в славянских языках в палатализованном и непалатализованном виде.

В самом «чистом» виде с формальной точки зрения и, вероятно, с точки зрения семантической этот корень встречается в междометиях.

Хорватскосербское диал. (косовско-метохийское) *кêк* 'восклицание, которым отвращают детей от предметов, которыми они могут обрезаться' (Елезовић, I, с. 289) сохраняет не только древнюю форму, но и, видимо, архаическое значение 'нечто острое, колющее'. Это же значение сохраняется в косовско-метохийском *кêка* (в детском языке) 'бритва или нож' (там же). На значительном расстоянии от Косова и Метохии, на Псковщине и в Тверской зоне в западновеликорусских диалектах зафиксировано *кек* междом. 'шлеп, трах', т. е. со значением, связанным с известным в тех же говорах (а также в донских) глаголом *ке́кнуться* 'удариться', 'упасть', 'шлепнуться' (СРНГ, 13, с. 176; СРДГ, II, с. 56). Невозвратный глагол *ке́кнуть* 'издать звук (вскрикнуть, крякнуть) при падении, толчке от сильной боли и т. д.' отмечен в великорусских владимирских, тверских и ярославских гово-

рах (СРНГ, 13, с. 176), *кéкнуть* 'сильно ударить, стукнуть' в тех же говорах и на Псковщине, а близкое по значению *кéкнуть* 'разбить, ударить' — в рязанских и ярославских диалектах: кекнула чашку-то (там же). Владимирские говоры знают и значение *кéкнуть* 'погубить, извести, умереть', равно как и 'погибнуть, пропасть, умереть' (там же). Что же касается несовершенного глагола *кéкать*, то он может употребляться в значении 'издавать крик (о птице, курице и т. п.)' (среднеуральск.), 'икать' (владимирск.), 'испражняться' (псковск., тверск.), а также 'сильно ударять, бить' (владимирск., ярославск.) (там же).

Хорватскосербские примеры либо полностью, либо частично соответствуют великорусским. Так, литер. и диал. (Морача) *кѐкнути* значит 'сильно ударить' — Кекну га и раскока му главу, а диал. (Босанска Краина) *кѐкнути* — 'украсть' (ср. *гѐпити* 'украсть'), в то время как для того же глагола известно и значение 'влить, перелить' — Кекно сам у њ пет краљача воде (РСХКНЈ, IX, с. 421). Несовершенного вида диал. (Лесковац) *кéкати* зафиксировано пока только в значении 'чрезмерно есть', т. е. 'набивать брюхо, напихиваться едой' (РСХКНЈ, IX, с. 420). Что же касается русского *кéкать* 'испражняться', то с ним соотносится в.-луж. *kekać*, означающее то же действие (Pfuhl, 1866, с. 248).

Отсутствие палатализации наблюдается и в ряде глаголов того же корня с расширительным формантом *-l-*, *-r-* (*er*, *ar*) и др. (+ *ov*). К таковым относятся чеш. диал. (моравск.) *kéklat se* 'размахивать (чем-либо)', 'махать (чем-либо)' (Bartoš, 1895, s. 326), хорв.-серб. диал. (Орешац) *кекѐљати* 'заикаться' (РСХКНЈ, IX, с. 420), в.-луж. *keklować* 'фокусничать, ломать комедию' (Pfuhl, 1866, s. 248), чеш. диал. (моравск.) *kekářit' sa* 'забавляться, проводить время, развлекаться, пребывать' (Bartoš, 1905, s. 141), болг. диал. (ботевградск.) *кéкера* 'тараторить, говорить сильным и резким голосом' (БД, I, с. 193), диал. (ихтиманск.) *кекéрим* 'говорить резким голосом, или держаться развязно, гримасничая' (БД, III, с. 230), хорв.-серб. диал. (Момина Клисура) *кѐкерити се* 'гримасничать' (РСХКНЈ, IX, с. 420). Однако для глаголов типа *кѐкерити* не исключено и иное происхождение, чем для глагола *кéкать*.

В глаголах с расширенным формантом семантическая связь с предыдущими глаголами еще довольно явственно ощущается, хотя и наблюдается семантическая мутация в

сфере движения: 'ударять' → 'махать чем-либо' → 'фокусничать' и в сфере звука: 'бить, колотить' → 'тараторить' (и 'заикаться').

Более сложные семантические переходы наблюдаются у существительных того же корня, которые довольно полно представлены в хорватско-сербском: диал. (Срем) *кѐка* 'коротконогая курица, курица-коротышка', диал. (Шумадия, Тимочская Краина) *кѐка* и *ке́ка* 'кучка из трех орехов' и *кѐка* и *ке́ка* ласкат., фамильярн. 'женщина, чаще родственница' (РСХКНЈ, IX, с. 420).

Связь приведенных слов с детской речью довольно очевидна. На эту связь указывалось при рассмотрении таких слов, *как гега, гига, гага* и т. п. (см. выше, с. 198–205). Здесь же, на основе «чередующихся» гласных *е* и *о*, можно говорить о родстве слов *ко́ка* 'курица' (РСХКНЈ, IX, с. 471–472), а также *кока* 'яйцо' (в детской речи во многих славянских диалектах) с *ке́ка* 'курица-коротышка'. Тема «укороченности», «подрезанности», «коротких ног» и т. п. довольно ярко выступает в прилагательном хорв.-серб. диал. (Срем) *кѐкав* 'у кого короткие ноги (обычно у курицы, реже у человека)' — Их, како је она девојка кекава (там же, с. 420) и в существительном хорв.-серб. диал. (Срем) *кѐкица* 'название свиной матки с короткими ногами' (там же, с. 421), а также хорв.-серб. диал. (Требинье) *кѐкељ* 'медведь' (вероятно, табуистическое по признаку «коротких ног» — там же, с. 420).

Хорватскосербский материал поясняет семантику болгарского прилагательного *ке́кав, -а, -о*: диал. (севлиевск.) *ке́къф* 'неуклюжий, хилый' (БД, V, с. 23), диал. (плевенск.) *ке́коф* 'хилый, болезненный', 'неуклюжий' (БД, VI, с. 185), диал. (поповск.) *ке́къф* 'болезненный' (БД, V, с. 249), диал. (еленск.) *ке́къф* 'хилый', 'неуклюжий, неловкий' (БД, VII, с. 65), диал. (троянск.) *ке́къф* 'малоподвижный, неповоротливый, неуклюжий', 'слабый' (БД, IV, с. 206). Отсюда и болг. диал. (плевенск.) *ке́ковец* 'хилый человек' (БД, VI, с. 184). По вышеприведенным признакам возникли и болг. диал. название лягушки (родопск., ихтиманск., плевенск.) *кекери́ца* 'большая лягушка, жаба' (БД, V, с. 178; БД, III, с. 87, 230; БД, VI, с. 184) и неуклюжей женщины (еленск.) *ке́кла* 'неторопливая, неуклюжая женщина' (БД, VII, с. 65), а также хорв.-серб. диал. (Черногория) *кѐкна* 'неповоротливая, неуклюжая девушка' (РСХКНЈ, IX, с. 421). Последним двум

словам соответствует русское слово *кекéла* 'ленивая хозяйка, неряха', зафиксированное в 1909 г. в Тифлисе (других фиксаций пока нет — СРНГ, 13, с. 176).

С семантическим регистром звука связано болг. диал. (гюмурджинск.) *кéк'а* 'заика' (БД, VI, с. 43). К этому же регистру, как правило, относятся и слова, корень которых распространяется суффиксом *-et*. Ср. хорв.-серб. диал. (Лика) *kȅket* 'гомон, смех' (RHSJ, IX, с. 933), диал. (Буковица, Бания и др.) *кекѐтати се* 'смеяться, хихикать' (RHSJ, IV, с. 934; РСХКНJ, IX, с. 420). Сюда же следует отнести и производные *kekètalo* 'хохотун', *kekètalica* 'хохотунья' (RHSJ, IV, с. 933–934; Skok, II, с. 73).

На этом заканчивается обзор материала, который демонстрирует непалатализованную форму корня **kek-*. Надо полагать, что в славянских диалектах такого материала больше, но он еще не собран как следует. На эту мысль нас наводит ряд моментов, среди которых есть и тот, что русский диалектный материал, так же как и хорватскосербский, в изложенном объеме стал известен лишь недавно (в 1975 и 1977 гг.) в связи с выходом томов на букву *к* словарей РСХКНJ и СРНГ.

Изложение материала с результатами палатализации будет дано в сокращенном виде, потому что он известен в науке и довольно широко представлен в новейших общеславянских этимологических словарях (ЭССЯ, 4, с. 13–14, 36–37; SP, II, s. 123–124).

Примеров, фиксирующих результаты прогрессивной («второй» или «третьей», бодуэновской) палатализации[4] и при этом не отражающих первой регрессивной палатализации, немного. К ним относятся чеш. диал. (моравск.) *kecat* 1. 'болтать чепуху', 2. 'резко сесть', 'броситься на землю' (Gregor, 1959, s. 74), словац. диал. (восточноновоградск.) *kecat'i* 'очень сбивчиво говорить', *kecoš* 'человек, который много болтает и притом глупости' (Matejčík, 1972, s. 252) и, вероятно, полесск. диал. (брестск.) *кéцало* — Ну хтó так мэ́е, кéцало тэ ныгодéшчэ? — с толкованием 'пачкун, мазило', которое, видимо, дано под влиянием контекста и должно быть расширено или видоизменено (НЛ, с. 229). Ср. в той же полесской зоне (брестск., дрогичинск.) бытование друго-

---

4 О глаголах этого типа см. Jeżowa, 1968.

го слова: *кэ́ц'а* 'размазня' — Н'а́кыјн кэ́ци наварыла, мука́ ны кл'е́јка, то вы́јшлы ны галушкы́, а кэ́ц'а. О́т, дэ кэ́ц'а, ны хло́пэц, трэ́ба гэ́так вы́мазатыс' (ЛП, с. 41, запись Ф. Д. Климчука).

Значительно больше примеров, где первая палатализация зафиксирована, а вторая не произошла. Приведем некоторые из них: болг. диал. (страндж.) *че́кам* 'тыкать, колоть' (Bernard, 1959, p. 67–68), диал. (родопск.) *че́кам* и *ча́кам* 'ломать' (БД, V, с. 217), диал. (хасковск.) *че́към* 'отламывать (хлеб)' (там же, с. 98), диал. (севлиевск.) *че́кнъ* 'нарубить, наломать' (там же, с. 48), диал. (родопск.) *че́кна, ча́кна* 'наломать, сломать' (там же, с. 217), диал. (пирдопск.) *че́кна* 'растопырить (ноги, пальцы)', 'разинуть (рот)' (БД, IV, с. 150), литер. *че́кна* 'резать, рубить (ветки)', 'разевать (рот)', 'растопыривать (ноги, пальцы)' (БТР, с. 942), диал. (троянск.) *че́кнъ съ* 'залезть, забраться, зацепиться (на дерево и т. п.)' (БД, IV, с. 232), хорв.-серб. *čéknuti* 'толкать, колоть', 'щипать' (RHSJ, I, s. 924–925, по Стуличу), белорус. диал. (игуменск.) *чэкаць* 'тикать (о часах)' (Шатэрнік, 1929, с. 304), великорус. диал. *чо́кать* (*чёкать*) 'постукивать, стучать тихо, поколачивать', *чо́кнуть* сов. в. 'стукнуть', *чо́кнуться* 'стукнуться' (Даль, IV, стлб. 1355), *чеке́ться* 'попадать, бросать в цель (в игре)' (там же, с. 1238). Ср. также хорв.-серб. *čèkalo* 'мельничная доска, вытрясающая зерно на жернов', *čèktalo, čàktalo* 'то же' и *čèkalo* 'било, подвесная доска, в которую бьют, как в колокол' (RHSJ, I, s. 922). Форма хорв.-серб. *čekètalo* 'то же, что *čèkalo*' (там же, s. 924) содержит суффиксальное *-et* (*-ot*), столь характерное для производных слов от рассмотренных нами ранее корней **geg-*, **gog-*, **gag-*. Этот суффикс «в чистом виде» представлен в словен. *čekèt* 'щебетанье птиц' (Pleteršnik, I, s. 97). Ср. выше хорв.-серб. *kèket* 'гомон, смех', укр. *че́кіт* 'птица Lanius excubitor' (Грінченко, IV, с. 449), великорус. *чёкот* 'затычка, колок, чека (у тележного колеса)' (Даль, IV, стлб. 1297). Подробнее см. ЭССЯ, 4, с. 37.

С расширительным формантом *-l-* в словацких диалектах зафиксирован глагол *čekl'at, čekl'it* 'щекотать', откуда и *čeklivy* 'щекотливый' (Kálal, 1923, s. 70).

По нашему мнению, к рассматриваемому этимону восходят и такие слова, как словен. *čékelj* 'клык' (Pleteršnik, I, s. 97), укр. диал. (екатеринославск.) *чока́лка* 'особенно злой волк?' — Той же вовк, тільку злійший над вовка (Грін-

ченко, IV, с. 468, по Д. Эварницкому), укр. диал. (полесск.) *вѐлики чо́кал* 'дубонос' (ЛП, с. 467, запись Н. В. Никончука), великорус. диал. (курск.) *чеклу́хка* 'обрубок бревна, насаженный на рукоять дерева, деревянный молот' (ЭССЯ, 4, с. 37). При всем кажущемся разнообразии значений этих слов в них довольно четко выступает «глубинная» тема 'резать, обрубать, бить, долбить'.

Очень любопытна семантика междометий, отразивших первую палатализацию. Ср. кашубск. *čëks!*, чаще *čaks!* 'звук при складывании чего-либо (ножа)' — Nóž zrob'il čëks i są zamk (Sychta, I, s. 166) и связанный с междометием глагол *čëksnąc*, чаще *čaksnąc* 1. 'закрыть, защелкнуть (о складном ноже)' — Nož čëksnǫl 2. 'спустить курок' — Střele čëksnǫl (Sychta, I, s. 166). Ср. также хорв.-серб. *кѐк* (см. выше), укр. диал. *чок-чо́к* — З за гору вовчок бо козу: чок-чок (Грінченко, IV, с. 468, по П. П. Чубинскому), великорус. диал. *чок-чок* 'стук-стук, бряк-бряк, щелк-щелк' (Даль, IV, стлб. 1356).

С темой 'стучать, бить, ударять' и с приведенными выше глаголами связано и русское просторечное или арготическое *чо́кнутый* 'придурковатый, не от мира сего' и хорв.-серб. *чàкнут*, макед. *чакнат* (PMJ, III, s. 529), с тем же значением и с той же стилистической окраской[5]. Правда, последнее слово относится к корню **čak-*, являющемуся вариантом корня **ček-* (производным от корня **ček-*) и выражающему ту же семантику, что и в глаголе **čekati*. Ср. хорв.-серб. диал. (Лика) *čȁkati* 'клевать, поклевывать', а также (согласно словарю А. Делла Беллы XVIII в.) *čȁkati* 'бормотать, плохо говорить, не зная языка' (RHSJ, I, s. 883), болг. диал. (родопск.) *ча́кам* 'ломать' и 'высекать огонь огнивом' (БД, V, с. 216–217), чеш. диал. (моравск.) *čȁkat* 'плескать, выплескивать (о воде)' (Bartoš, 1905, s. 43), диал. (мистрицк.) *čakat* 'брызгать водой' (Malina, 1946, s. 16), великорус. диал. (пермск.) *ча́кать* 'колотить, стучать' (Даль, IV, стлб. 1282), а также хорв.-серб. *čȁknuti* 'стукнуть, звякнуть' — только в загадке: Čaknu čakara, ču se do cara (RHSJ, I, s. 883), болг. диал. (родопск.) *ча́кна* 'сломать, переломить' и 'высечь огонь кресалом' (БД, V, с. 216–217), чеш. диал. (моравск. мистрицк.) *čȁknút* 'сильно ударить', 'обмануть, обсчитать' (Malina, 1946, s. 16). О связи с глаголами типа русск.

---

5 Ср. возникшие по той же семантической модели хорв.-серб. *ударен* и русск. *уши́бленный* 'придурковатый, странный'.

ча́хнуть, ча́вкать, хорв.-серб. *čvakàti* 'хлестать' см. ЭССЯ, 4, с. 13–14.

О. Н. Трубачев с достаточным основанием видит общность этимона и семантическую связь через цепь семантических мутаций у **čekati* и **čakati* I 'ждать' и **čekati* и **čakati* II 'бить, колоть, рубить' (ЭССЯ, 4, с. 14). Инвариантное значение **čakati* II 'бить, колоть, рубить, тыкать' древне́е, чем значение **čakati* I 'ждать'. Интересно, что **čakati* I не имеет в славянских языках параллельных форм с отсутствием палатализации, а **čakati* II имеет их в достаточном количестве, как это видно из приведенного выше материала. Этот и другие факты могут быть полезными при выяснении общих мотивов и причин непоследовательности первой палатализации. Следует также учитывать, что **čakati* I 'ждать' распространено в славянском языковом мире не повсеместно. Таким образом, в дальнейших исследованиях интересующей нас темы придется принять во внимание и лингвогеографическую ситуацию, к которой все чаще и чаще обращается современная сравнительная грамматика славянских языков.

4. Слова с корнем **kev-*

Слова с корнем **kev-* (в глагольном оформлении **kevъkati*) пока не привлекали специального внимания славистов, и лишь слова с палатализованным вариантом корня были отмечены в четвертом выпуске «Этимологического словаря славянских языков» (М. 1977), осуществленном под редакцией О. Н. Трубачева: «**čev(ъ)kati*: сербохорв. *čȅvkati* 'лаять, тявкать' (в словарях Белостенца, Ямбрешича и Стулли, см. RJA II, 18), словен. *čêvkati* 'лаять, тявкать', 'болтать' (Plet. I, 102), русск. диал. *че́вкать* 'чиликать' (волог. Опыт 255), *чо́(е́)вкать* 'чиликать, как воробей' (волог., Даль[3] IV 1356). Звукоподражание. Сербохорв.-словен.-русск. изоглосса указывает на его возм. древний характер».

Словари Скока, Безлая и Фасмера этого слова не отметили. О. Н. Трубачев на параллельную непалатализованную форму не указывает, а между тем эта форма известна в сербскохорватском и белорусском языках. Ср. серб.-хорв. *кѐвкати* (*кѐвкати*) и *кѐвтати* 'лаять тонким прерывистым лаем (о щенке, охотничей собаке)', *кѐвнути* 'залаять (о со-

баке)', также *кѐвчати* с тем же значением. Кроме того, *кевтати* может означать 'болтать, говорить пакости', 'оговаривать' (ср. русск. *лаять, облаивать, лаяться* в том же значении) (РСХКНЈ, IX, с. 41); белорус. *кéўкаць* 'мяукать (о коте)' (с. Замошье, Любанск. р-н, Минск. обл. — ЖСл., с. 149), *кéўкнуць* 'пискнуть (о кошке)' (с. Рудня, Червенск. р-н, Минск. обл. — НЛ, с. 64). Другие белорусские примеры указывают на употребление этого глагола применительно к человеку и на эволюцию семантики глагола 'громко глотать' → 'тяжело, с хрипом дышать' → 'испустить хриплый выдох или вздох' (соверш.) → 'сдохнуть, помереть': *кéўкать* 'глотать так, чтобы было слышно' (полесск., с. Окропно, Дрогичинск. р-н, Брестск. обл. — НСТ, с. 147), *кéўкаць* 'едва существовать, едва дышать' (с. Замошье, Любанск. р-н. Минск. обл. — НСТ, с. 115), *кéўкнуць* 'сдохнуть, помереть' (с. Бережно, Столбц. р-н, Минск. обл. — ЖСл., с. 72), *кéўкнуць* 'помереть' — Атстань, бо як трэсну, дык и кéўкнеш! (с. Морач, Клёцк. р-н, Минск. обл.), *кéўкнуць* 'помереть' (с. Чамяры, Слонимск. р-н, Гродненск. обл. — НСТ, с. 34).

По поводу серб.-хорв. *kѐv* П. Скок в своем словаре пишет следующее: «*kѐv-* звукоподражание, которым передается лай. Оформлено с *-kati*: *kѐvkati*, *kѐvčē* несов. (XVIII в. Травник, субъект — утенок, щенок), с *-tati: kѐvtati, kѐvčē* (в словаре Вука — Лика, субъект — собачонка, сучка)» (Skok, II, s. 77). Тем не менее, форму *kѐvkati* он не связывает с формой *čȅvkati*, и она в словаре П. Скока вообще не приводится.

Белорус. диал. *чеўрыць* 'сохнуть, недомогать' (Лагойщина, Минск. обл. — Varłyha, 1970, s. 31), судя по всему, является примером с палатализованным согласным и с другим распространителем корня. Ему соответствует непалатализованный болгарский диалектный вариант *кéвр'ъсъ* несов. 'хныкать, часто плакать, капризничать' (с. Страхилово, Свиштовско — БД, III, с. 301), отражающий, видимо, более ранний этап семантического развития слова. Ср. также белорус. *чáвриць* (*счáвриць, зачáвриць*) 1. 'сохнуть, чахнуть' — За тобою мы без хлеба чаврим... 2. 'черстветь' — На дворе хлеб чаврииць, зачаврив (Носович, 1870, с. 696). Переход *че* > *ча* аналогично **čekati* > *čakati* и др. Дальнейшее развитие форм находим в серб.-хорв. *чевр̏љати* (*чавр̏љати*), *чеврка́ти* 'болтать, нести вздор' (RHSJ, II, s. 18).

В белорусских говорах известно и распространение корня *kev-* другим сонорным — *l*: *кéўляць* 'едва дышать (доживать

век)' — Пляцецца, як бы ледзьве кеўляе (гомельск. — НЛГ, с. 72), *кéўлець* 'еле жить, едва дышать (про слабого человека)' (с. Берсеневка, Брагинск. р-н, Гомельск. обл. — ЗНС, с. 157), *кéўляць* 'слабеть' (гродненск., с. Войновичи, Дятловск. р-н — Сцяшковіч, 1983, с. 209), *кéўляць* 'есть без аппетита' (судя по примеру, толкование дано неудачное и под влиянием контекста; правильнее — 'слабеть, едва дышать') — От, порося ўзяў паганэ, кеўляе, дай годзи! (полесск., с. Стодоличи, Лельчицк. р-н, Гомельск. обл. — ЗНС, с. 174).

Белорусские, русские, украинские и сербские говоры богаты словами с другой огласовкой корня — *kav-*, в которых, естественно, и не следует ожидать никакого смягчения, но этот материал дает дополнительные сведения, важные для семантики и географии анализируемых слов. Ср. белорус. *кáвкаць* (сов. *закáвкаць*) звукоподраж. 1. 'каркать' — Вороны кавкаюць, закавкали; 2. перен. 'рыгать при рвоте'; *кáвкнуць* 1. 'каркнуть' — Ворона кавкнула, 2. перен. 'пикнуть' — А ни кавкни мне; 3. 'дохнýть, испустить вздох' — А ни кавкнув, так и сконав; Кавкнув на тэй свет» (Носович, 1870, с. 226), *кáўкаць* 'мяукать (о коте)' (червенск. — Шатэрнік, 1929, с. 133; гродненск. — Сцяшковіч, 1972, с. 224; витебск. Докшицк. р-н — МСНДМ, с. 73; лоевск. Гомельск. обл. — Янкова, 1982, с. 155); *кáўкаць* 'мяукать', 2. 'отрыгивать, рыгать (об аисте и под.)' (полесск. туровск. — ТС, II, с. 185), *кáўкнуць* 'мяукнуть' (Краснополянск. р-н, Могилевск. обл. — Бялькевіч, 1970, с. 224), *кáўкнуць* 'заплакать' (Вилейск. р-н, Минск. обл. — СПЗБ, II, с. 440, ср. литовск. *kaũkti* 'выть, завывать'); русск. *кавкать* 1. 'мяукать (о кошке)' — Кошка кавкает (пинежск., архангельск., сев.-двинск., вологодск., пермск., уральск., брянск.), 2. 'лаять, тявкать (о собаке)' (олонецк.), *кáвкнуть* сов. 'то же' (смоленск.), 3. 'издавать звуки, кричать (о галке)' (смоленск., пермск.), 4. 'издавать звуки, стонать, вздыхать' — Чуть жив, ледва кавкает (смоленск.), *кáвкнуть* сов. 'то же' — Помер тихо — не кавкнул (смоленск.), *кáвнуть* 'то же' — Не кавнула (вологодск.), 5. 'кашлять' (вологодск., ярославск., тобольск., енисейск., сибирск. — СРНГ, 12, с. 294); укр. *кáвкати, кáвкнути* 'кричать, крикнуть (по-вороньему)' (Грінченко, II, с. 205); серб.-хорв. *кȁвкати* (*кȁвчēм*) 'издавать звуки, кричать (об индюшке, индюке)', *каȕкати* (*кȁȕчēм*) 1. 'то же', 2. 'выть, скулить (о собаке)', 3. 'причитать, стонать, плакать' (РСХКНЈ, IX, с. 353); словен. *kâvkati*

1. 'кричать (как галка, как индюшка)', 2. 'вопить, причитать' (юго-вост., штирийск. — Bezlaj, II, s. 24); в.-луж. *kawkać* 1. 'каркать, кричать (о галке)', 2. 'зевать по сторонам, ротозейничать' (Pfuhl, 1866, s. 246); н.-луж. *kawkaś* 'каркать' (Muka, I, s. 582). Дальнейшие внеславянские этимологические связи хорошо показаны в статье юбиляра* проф. Ф. Славского: в статье *kawka* во втором томе его фундаментального этимологического словаря польского языка (Sławski, II, s. 108–109). Изложенный материал дает дополнительные сведения к соотношению слов **kavъka*, **čavъka*. На их географическое распространение уже обращалось внимание (Kopečný, 1981, s. 147), но любопытна и географическая характеристика слова **kavъkati* согласно с его связью с субъектом — вороной, собакой, кошкой, инюшкой и т. д. и с переносными значениями. Но для таких наблюдений за фактами довольно старого происхождения, видимо, нужен дополнительный материал. Все же можно уже сказать, что, в принципе, там, где *гавкает* собака (вариант со звонким начальным согласным), *кавкает* кошка, но не наоборот, и т. д., и т. п.

Наконец, в свете изложенного, видимо, о русском слове *чавкать*, как о палатализованном варианте формы **kevъkati*, можно сказать определеннее, чем это сделал М. Фасмер, который писал: «*чáвкать*, *чáмкать*, др.-русск. чавкати ртом (Домострой, К. 5). Звукоподражательно, как и *чмóкать*; см. Горяев ЭС, 407; Сюда же *чавкú*, *чавкалы* мн. «нижние челюсти», псковск. (Даль)» (Фасмер, IV, с. 309). Н. В. Горяев же, надо полагать, напрасно поспешил объединить *чавкать*, *чамкать* (польск. *ciamkać*) и *чмокать* и дать им такое объяснение: «*чмок-а-ть*, *-ну-ть*, и *чавк-а-ть*, *чамк-а-ть*; ср. с немецк. *schmat-z-en* (id) = ср.в.н. *smatz-en* из побочной формы в ср.в.нем. *smackez-en* из *sma(e)ck-en* англ. *to smack*» (Горяев, 1896, с. 407, 415).

Ономатопеические слова имеют столь же строгую последовательность в своем формальном (фонетическим) развитии и в своем развитии смысловом, семантическом, как и слова не ономатопеические. В некоторых случаях эволюция формы и смысла именно таких слов прослеживается четче, по-

---

* Настоящий раздел работы был опубликован в юбилейном сборнике, посвященном известному польскому этимологу — проф. Ф. Славскому. — *Прим. ред.*

следовательнее и глубже. Этому нередко способствует и их хорошо очерченная лингвогеографическая характеристика. Русское *чавкать* не введено этимологами-палеославистами в праславянский лексический фонд в качестве праславянского (прарусского) диалектизма. А может быть, оно заслуживает этого?

5. Слова с корнем **kep-*

Этимологически слова с корнем **kep-* неоднородны, среди них: 1. восточнославянские продолжения праславянского корня **kěp-*, отличающиеся отсутствием второй палатализации; 2. южнославянские образования от праславянского корня **kep-*, не пережившие первой палатализации (до сих пор не этимологизировались); и 3. западнославянские слова, восходящие, по мнению большинства этимологов, к корню **kъp-*, а также семантически близкие к ним украинские и белорусские лексемы, считающиеся заимствованными из польского, что и объясняет отсутствие в них палатализации. Примечательной особенностью этих слов, независимо от общности или различия этимонов, является их семантическая связанность и параллелизм между формами с эффектом палатализации и без него (т. е. слов с корнями **kěp-/*cěp-* и **kep-/*čep-*), что отмечалось и в предыдущих разделах в связи с другими случаями отсутствия следов палатализации задненебных согласных. Рассмотрим подробнее материал, относящийся к трем указанным группам.

1. О сохранении *k* перед $ě_2$ (*ě* из дифтонга **oi*) в ряде русских диалектов нам приходилось кратко писать еще в 1977 году (Толстой, 1977, с. 46, 47; наст. изд., с. 19, 20) в связи со статьями З. Штибера (Stieber, 1968) и С. М. Глускиной (Глускина, 1968), посвященными этой теме. Тогда же отмечалось, что это явление наблюдается в северо-западных великорусских говорах, равно как и в северных — олонецких и архангельских, и в говорах к востоку от Москвы, но сами факты были подтверждены небольшим числом примеров. Приводим в более подробном изложении материал, относящийся к интересующему нас корню **kěp-*: псков., новгор. *кеп* 'цеп', псков. *кеп, кепо́к* 'рукоятка цепа, бьющая часть цепа', москов. *кепи́на* 'рукоятка цепа', юго-зап. *ке-*

пи́нка 'рукоятка цепа', олонецк., новгор. *кепе́ц* 'цеп', 'рукоятка цепа', новгор., петерб. 'бьющая часть цепа' (СРНГ, 13, с. 182; НОС, с. 38), яросл. *ке́пина* 'часть цепа' (Мельниченко, 1961, с. 28), псков., новгор., петерб., арханг. пинежск. *кеп*, иногда мн. *кепы́* 'палочки для ниток в ткацком станке', 'нитяные петли, протянутые через две параллельные жердочки, для подъема нитей основы'; твер., псков., новгор. *ке́пина* 'ткань, полотно, тканое в пять, шесть и более кеп' (СРНГ, 13, с. 182). В тех же говорах, и тем более в других великорусских диалектах, распространены формы, отражающие результат палатализации: *цепы́, цепки́* 'ниченки ткацкого станка, через кои, для подъема подножкою, пропускаются нити основы' (Даль, IV, стлб. 1268, 1274, 1276), курск. *цепи́нка* 'короткая палка, прикрепленная ремнем к рукояти молотильного цепа' (Дополнение, 1858, с. 297) и т. п. Соответствующие палатализованные формы можно обнаружить во всех славянских языках. Так, в сербскохорватском известно *цȉјеп* и *це̑п* 'цеп, бьющая часть цепа, палка, батог', множ. *цȉјепци, це́пци* 'поперечные палочки, находящиеся в ткацком станке между нитями и верхним навоем' (РСХКЈ, IV, с. 784; RHSJ, I, с. 790), черногор. ускоцк. *цијѐпац* 'деталь ткацкого станка, служащая для скрещения основы', а также 'женский половой орган' и переносн. 'сильная, крепкая, ядреная девка' (Станић, II, с. 467).

Коллекция палатализованных форм типа **cěpъ*, **cěpь*, **cěvь* и **cědь* разных славянских языков хорошо представлена в третьем выпуске «Этимологического словаря славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева (см. **cěpъ*, **cěpъkъ*, **cěpьcь*, **cěpъka*, **cěpiti*, **cěpati*, **cěpidlo* — ЭССЯ, 3, с. 184–187) и во втором томе Праславянского словаря под ред. Ф. Славского (см. **cěpъ*, **cěpъkъ*, **cěpiti*, **cěpati* — SP, II, s. 78–81). Обе книги вышли одновременно, в 1976 г., при этом в Праславянском словаре при палатализованных формах указываются и непалатализованные — **kěpъ*, **kěpъkъ*, **kěpьcь*, равно как и **kěvь* — **cěvь* и **kědь* — **cědь*, а в московском словаре эти формы не приводятся ни на букву *c*, ни на букву *k* (см. ЭССЯ, 3 и 10).

2. К примерам, демонстрирующим отсутствие палатализации задненебного *k* в словах того же семантического поля, относятся серб. областн. (черногор., герцегов., ужицк., дурмиторск.) *ке̑п* 'толстая и короткая палка', а также дурмиторск. 'грубый, дубоватый человек' — Како га Бог онако

кепом створи (РСХКНЈ, IX, с. 428). В черногорской зоне Ускоци *кêп* — 'большая палка', затем 'сильный человек' и, наконец, 'длинный и толстый мужской уд' (Станић, I, с. 358). В этом случае имеет место семантически прозрачный перенос значения. Серб.-хорв. областн. (ужицк., подринск.) *кѐпа* 'палка, батог' и особенно диал. (вероятно, из зоны гор. Сисак) *кéпа* 'комок', 'комок земли, грязи' (РСХКНЈ, IX, с. 428) родственно словен. *képa*, уменьш. *képica* 'толстый или круглый кусок, комок чего-либо: снега, грязи, масла, смальца, золота' (Glonar, 1936, с. 154; SSKJ, II, с. 312). С семантикой перечисленных существительных согласуется и семантика глаголов: серб.-хорв. *кѐпити* 'сильно бить кого-либо палкой, «кепом»' (РСХКНЈ, IX, с. 428), словен. *képati* 'швырять комья (снега, грязи, земли)', *képati se* 'швыряться снежками, комьями земли и т. п.', *kepiti se* 'сбиваться в комья (о снеге, земле)' (Glonar, 1936, s. 154; SSKJ, II, s. 312; Pleteršnik, I, s. 395), болг. великотырновск. *кéпцам* 'задевать, поддразнивать', 'выманивать, зажиливать (деньги)', *скéпцам, скéпцвам* 'придираться, цепляться, хвататься за что-либо' (Младенов, 1951, с. 1017; БЕР, II, с. 332).

Если в случае с русск. диал. псков., новгор. *кеп*, *кепóк* 'бьющая часть цепа' обнаруживается отсутствие палатализации *k* перед *ě* (из **oi*), то в случаях с серб.-хорв. *кêп* 'толстая короткая палка' и др. и глаголами *кѐпити*, *képati* палатализация не произошла уже не перед ятем (*ě*), а перед *е*, на что указывают формы серб.-хорв. *кêп* и др., зафиксированные в зоне говоров, где ять дает *ije*, *je*, т. е. на екавской, а не экавской территории.

Известную устойчивость и закономерность в семантической эволюции слов с корнем **kep-* подтверждает параллелизм значений слов с палатализованной формой *čep-*. Ср. русск. диал. курск. *чоп* (*чёп*) 'виноградный сук', западн. 'гвоздь в бочке', 'затычка', 'кран', донск. 'затычка в бочке' (Даль, IV; ЭССЯ), укр. *чіп*, *чопá* 'деревянная затычка у бочки', 'стержень', 'колышек в сновалке', 'колышек в бороне', 'шип в столбе для связи с другим бревном', белорус. *чеп* 'железная пластина, запор'; болг. диал. *чеп* 'остаток обрубленной ветки дерева', 'сук', 'деревянная затычка бочонка', 'мужской половой член'; макед. *чеп* 'пробка, затычка'; серб.-хорв. *čep* 'затычка, цапфа', а также *čâp* 'то же', словен. *čèp* 'затычка, втулка'; чеш. *čep* 'затычка, втулка', диал. моравск. 'железный конец люшни, воткнутый в ось'; 'цапфа';

словац. *čap* 'деревянная затычка, втулка, цапфа', 'обрезки виноградной лозы'; польск. *czop* 'затычка в бочке', 'шпунт' (ЭССЯ, 4, там подробнее источники). Значения глагола **čepiti*, **čapiti* несколько шире, чем глагола **kepiti*: болг. *чéпя* 'разбивать, дробить', 'бить, ломать, сечь, рубить'; макед. *чепи се* 'ломаться, кривляться'; чеш. *čepit* 'бить', *čapiti* 'дать оплеуху', 'схватить'; чеш. диал. *čápit' sa* 'пригибаться к земле'; словац. *čapit'* 'быстро ударить, шлепнуть'; русск. *чáпить* 'кренить, нагибать, нарушать равновесие' (ЭССЯ, 4, там подробнее источники).

Число производных форм от глаголов **čepiti*, **čapiti* и существительного *čep* значительно, поэтому в целях экономии места ограничимся лишь некоторыми, на наш взгляд, любопытными примерами. Так, в болгарских диалектах известно севлиевск. несов. *чéпкъм*, сов. *чéпнъ* 'обрабатывать дерево топором, рубить', врачанск. несов. *чéпа* (*са*), сов. *чéпна* (*са*) 'ломать' (Не чепи клончета!), 'искривлять, вывихивать'; *чéпар* 'оставшаяся на дереве часть отрубленной ветки' (БД, V, с. 48; БД, IX, с. 339); чакавск. *čepušàt* 'рвать, теребить, забивать' (Čepušâla son dvî kȍkoše za obîd), *čepìžit ȉse* 'рваться, дергаться, теребиться' (ČDL, I, S. 112); словац. чемерск. *vičapkač* 'побить, излупить' (Dobre spravev, kaj tä vičäpkav) (Orlovský, 1982, s. 51).

3. Западнославянские имена с корнем *kep*, возводимые к праславянской форме с редуцированным — **kъp-* ввиду беглости гласного (польск. *kiep* — *kpa*), а также считающиеся заимствованиями из польского украинские, белорусские и западнорусские слова с этим корнем имеют значение 'глупец': польск. *kiep, kpa* 'дурак, болван, олух' (SJP, III, s. 665), чеш. *kep*, обычно в сочетании *kep zlořečený* и т. п. 'бесстыдный, безумный человек' (PSJČ, II, s. 106), чеш. сев.-моравск., ляшск. *kep* 'дурак, безумец' (Horečka, 1941, s. 107), словац. нижнетренчинск. *kep* 'нечистоплотный человек' (Ripka, 1981, s. 126), укр. *кеп* (также *кепа* и *кпа*) 'дурак, глупец' и 'карточная игра в дурака' (Грінченко, II, с. 235), белорус. гомельск. *кеп* 'дурак, дурень' — Калі ты такій кеп, што грошы згубіў (НЛГ, с. 72), белор. диал. столбцовск., молодеченск. *кéпало*, *кéпала* 'придурковатый, нерасторопный человек' (Прышчэпчык, 1976, с. 150; Крамко, 1976, с. 72), русск. диал. смоленск. *кеп* 'дурак' и *кéпа* 'дура' — И слепа и кепа (Даль, II, стлб. 262; СРНГ, 13, с. 182). Выше было приведено серб.-хорв. *kêp*, имеющее сходное значение

'грубый, дубоватый человек', наряду со значением 'толстая и короткая палка'. О стандартности и распространенности такого сочетания значений нет нужды говорить, достаточно вспомнить русск. *дубина, болван, чурбан, чурбак, чурка; глуп, как пень* и т. п.

Производные от этого имени глаголы в тех же языках также обнаруживают общность значений: польск. *kiepkować* 'насмехаться, подшучивать, разыгрывать' (SJP, III, s. 665; Steffen, 1984, s. 58; Maciejewski, 1969, s. 222 и др.); диал. *kiepki wyjmać* 'насмехаться, подшучивать' (Karłowicz, II, s. 347); кашуб. *képkovac* 'насмехаться над кем-либо', *strojic kepki* 'то же', *képk'i* 'издевка, насмешка, шутка' (Sychta, II, s. 155); белорус. *кéпілі строіць* 'насмехаться, подтрунивать, издеваться' (БРС, с. 388), диал. слуцк. *кéпкаваць* 'подсмеиваться над кем-либо, насмехаться' (Бірыла, 1975, с. 102), гродненск. *кепкавáць* 'то же' (Сцяшковіч, 1972, с. 228), белорус. лагойск. *кéпік* 'шутник, насмешник' (Varłyha, 1970, s. 53); укр. *роскепувáтися* 'приняться за насмешки' (Грінченко, IV, с. 66). Несколько обособленным в семантическом отношении на польско-белорусском фоне оказывается белорус. столбцовск. *кéпацца* 'копошиться, возиться, мешкать' — Чаго ты там доўго кéпаясься? (Крамко, 1978, с. 87), однако ему соответствуют значения некоторых глаголов с палатализованной формой корня: хорв. кайкавск. *čepeti* 'оставаться долго на одном месте, томиться' (RHKKJ, I, sv. 2, s. 284), укр. бойковск. *чапíти* 'мешкать, плохо двигаться' (Онишкевіч, II, с. 362).

Вероятно, на основе этого значения возникает и значение 'медленно думать, соображать', которое зафиксировано в полесском туровском говоре: *кеповáць* 'смыслить, смекать, кумекать'. Слово снабжено характерной иллюстрацией: Мы трóхі кéпуем, дармó, шчо стары́е (ТС, II, с. 189). В том же говоре отмечено *кéпелі* 'мозги' — Тряба шоб кéпели дóбрэ варылі (там же). Не исключено, что и в этом случае имеет место заимствование из польского. Ср. польск. *kiepełe* 'голова', 'разум, толк' (SJP, III, s. 665). При этом в академическом словаре под ред. В. Дорошевского дается пояснение, что это слово редкое, употребляемое в бесцеремонной речи, и что это слово известно языку идиш. Безусловно, здесь присутствует экспрессивный фактор.

Довольно широкий спектр значений демонстрируют чешские и словацкие примеры. Так, в словацком *kiepit'* — 'чис-

тить' (Kálal, 1923, s. 237), а моравск. *kepit sa* означает 'реветь, плакать' (Bartoš, 1905, s. 143).

Исторические словари западнославянских языков отмечают для древнечешского *kep* и древнепольского *kiep*, наряду с современным значением 'дурак, глупец', значение 'vulva, cunnus'. Ян Гебауер документирует это слово пятью примерами XIV–XVII вв., а Старопольский словарь — тремя примерами XV в. (Gebauer, II, s. 34; SSP, III, s. 275). Восьмитомный пражский академический словарь современного чешского языка отмечает два значения слова *kep*: одно устарелое — 'cunnus' и другое — 'бесстыжий, безумный человек' (PSJČ, II, s. 106). В качестве устарелого, со ссылкой на словарь Линде дается *kiep* «srom kobiecy» и в академическом польском словаре (SJP, II, s. 665). В кашубском в качестве реликта существовало слово *przedkiepnik*, зафиксированное в рукописном словаре Поблоцкого (Karłowicz, IV, s. 369). Б. Сыхта его уже не приводит, а дает другое название фартука — *předputk*, *předputka*, *předputnica* с той же внутренней формой. Ср. кашуб. *put*, *puta* 'pudentum mulibere' (Sychta, IV, s. 234). Любопытно, что с этим же значением 'vulva' А. Брюкнер приводит древнепольскую приставочную форму XV в. *rozkiep* (Brückner, 1957, s. 58) и сближает ее семантически и формально с аналогичными префиксальными производными от корня **kĕp-* с ятем, широко представленными в восточнославянских языках. Так, В. Даль с пометой «зап., южн.» толкует слова *раскéп* и *раскéпина* как 'расщеп, щель, трещина, раскол' (Даль, III, стлб. 1594). Ср. русск. тверск. осташк. *раскéпица* и *раскéпина* 'расщеп', сибир. *раскéпина* 'наколотая с одного конца палка' (Дополнение, 1858, с. 228); зап.-укр. *рóскіп* 'раскол, расщеп', 'разветвление в рукоятке грабель, в дышле воловьего воза и т. п.' (Грінченко, IV, с. 66 со ссылкой на В. Шухевича) и *роскíп*, *рóскіп*, *разскíп* 'расщелина, расселина', 'расколотый кол для забора', 'вилы для снопов', 'ручка грабель' (Онишкевіч, II, с. 190). С приставкой *с-*: белорус. *скепúна* 'щель', *скёпка* 'искусство щепать, колоть', *скёпкий* 'колкий' и *скёпистый* 'способный к колке' (Носович, 1870, с. 582); укр. *скíпа*, *скíпка* 'щепа, щепка' (Грінченко, IV, с. 135), укр. киев. *скéпка* 'щепка для разжигания дров' (Лисенко, 1961, с. 196). Приставочные глаголы: русск. *раскепиться* 'расщепиться' (Даль, III, стлб. 1594), белорус. *раскепúць* 'расколоть, расщепить', *раскéпливаць* 'раскалывать', *раскепúцьца* 'расколоться' (Носо-

вич, 1870, с. 582), витебск. *раскéпіць* 'расщепить' (Касьпяровіч, 1927, с. 266), русск. *скепáть* 'расщеплять, колоть' (др.-русск. *поскѣпани* 'расколотые') (Фасмер, III, с. 638); укр. *скіпáти* 'колоть, раскалывать, щипать (лучину), раздроблять в щепки' (Грінченко, IV, с. 135); белорус. *скепáць* 'щепать, колоть', *скепáцьца* 'колоться, раскалываться, лопаться' (Носович, 1870, с. 582). Эти восточнославянские приставочные формы с непалатализованным *k* в корне **kĕp-* существенно расширяют на восточнославянской территории ареал лексем, не переживших второй палатализации, так как они охватывают и украинские, и белорусские говоры. Среди белорусских слов особого внимания заслуживают слоним. *раскéпа* 'дурень, недотепа' (Чыгрын, 1978, с. 159) и столбцовск. *раскéпа* 'растяпа' (Крамко, 1978, с. 93), составляющие семантическую параллель к польским (и белорусским) словам с корнем **kъp-*. Русск. *скепáть* 'расщеплять, колоть' достаточно подробно рассмотрено М. Р. Фасмером. Им же приводятся различные мнения целого ряда этимологов-славистов. Изложение их аргументации и контраргументации заняло бы слишком много места. Отметим только справедливое замечание М. Р. Фасмера, что «обычно считают исходным *сцѣпати*, откуда **степати*, **скепати* (Соболевский, Брандт, Шахматов, Дурново)» (Фасмер, III, с. 638). Но, вероятно, правильнее признать исконное отсутствие палатализации в русск. *скепáть*, к чему, судя по всему, склоняется и Р. О. Якобсон (см. добавление О. Н. Трубачева в: Фасмер, III, с. 638).

Можно предположить, что исходными семемами большинства рассмотренных слов были: либо а) 'батог, палка, чурбак, обрубок дерева' (чаще всего уже в виде технического орудия — цеп, рукоятка, затычка, деталь ткацкого станка), либо б) 'расщелина, проруб, щель'. Развитие этих двух исходных семем привело к появлению значения 'penis' и 'vulva'. Последнее значение, по Ф. Славскому, породило семемы 'глупый, плохой'. Изначальной глагольной семемой, вероятно, было 'бить, сечь, рубить', от которой ответвлялись значения 'разбивать, дробить', 'швырять (комья)', затем 'хватать, цепляться', а от значения 'глупый' — 'глупо смеяться', 'дурачиться', 'смеяться'. За палатализованными лексемами закрепились некоторые обособленные значения, которые могли быть связаны и с определенным фонетическим обликом корня, т. е. с его вариантом. Так, «техниче-

ская» семантика связана с корнем **kĕp-* (где **ĕ* из **oi*): 'цеп, рукоятка цепа', 'палочка, деталь ткацкого станка' и т. п., а семантика экспрессивного характера — с корнями **kep-*, **kъp-*.

Таким образом, мы подошли к последнему вопросу, к вопросу об этимонах рассмотренных выше слов. Достаточно надежную этимологию имеют, пожалуй, только слова первой группы, т. е. слова с корнем **kĕp-*. Большинство слов второй группы (южнославянские) до сих пор не были этимологизированы, но их диалектная принадлежность указывает на единственно возможный вид корня — с гласным *e*, т. е. **kep-*. Достаточно проблематичной остается этимология западнославянских лексем. Этимологи, начиная с Е. Бернекера (Bernecker, I) и Г. А. Ильинского (Ильинский, 1918, с. 149), реконструируют корень **kъp-*, тем не менее Ф. Славский оценивает эту этимологию как «ненадежную» («niepewna») (Sławski, II, s. 151). Авторы украинского этимологического словаря привели ту же последовательность, которая была предложена Г. А. Ильинским, т. е. и.-е. **keup-* → праслав. **kъp-* → укр. (из польск.) *кеп*, без критических оценок (ЕСУМ, II, с. 423), в то время как В. Махек заявил, что «прасл. **kъpъ* неясного происхождения» (Machek, 1971, s. 249).

Ф. Безлай для словен. *kepa* 'комок, глыба' и *kepiti* 'бросать снежки' определил этимологию как неясную и счел возможным предположить секундарность начально *k* (Bezlaj, II, s. 29). П. Скок, анализируя серб.-хорв. **čȅp* 'затычка, кран', отнес его к группе славянских слов с варьирующим корнем **qĕp-/*qēp-* (Skok, I, s. 307), а О. Н. Трубачев, рассматривая аналогичный материал, болг. *чеп* 'сук', 'затычка' и т. п., ограничился отнесением его к праслав. **čepъ* без указания на индоевропейскую праформу (ЭССЯ, 4, с. 56–57). Наконец, «Słownik prasłowiański» под ред. Ф. Славского под словом *cĕpъ* дает и вост.-слав. вариант *kĕpъ* (что не делали и не делают иные словари) и предлагает корневую цепочку: праслав. *cĕpъ–kĕpъ* < **koi̯po-* < **sk̑oipo-*. Там же упоминаются ближайшие «родственники» праслав. **cĕpъ* (**kĕpъ*): др.-инд. *śepa* 'penis', пракрит. *cheppa* 'то же', латин. *cippus* 'столб, опора' и др. (SP, II, s. 80).

Изложенный выше материал, особенно чеш. и древнечеш. *kep* и его производные, дает нам основание решительно отвергнуть утверждение В. В. Мартынова, что «более досто-

верным представляется объяснение польск. *kiep* как слова балтийского происхождения» (ЭСБМ, V, с. 21), равно как и попытку А. Непокупного и Ю. Лаучюте вывести белорус. *кéпала* 'придурковатый человек' из литов. *kẽpalas* 'булка хлеба' (Лаучюте, 1982, с. 67).

Не предлагая новых этимологических решений и не претендуя на полную реконструкцию семантической эволюции избранных слов, отметим в заключение, что семантическая связь всех рассмотренных в работе лексем, вероятно, указывает на апофонические отношения праславянских корней **kĕp-*, **kep-* и **kъp-*, причем непалатализованные формы от **kĕp-* представлены в восточнославянских диалектах, а от **kep-* — в южнославянских. Впрочем, нельзя исключать, что некоторые из восточнославянских (а возможно, и западнославянских) лексем также содержат корень **kep-* в непалатализованном виде.

III

Из блокнота диалектолога

Странджанский предикатив *нѐма*

Проф. С. Б. Бернштейн* вместе с покойным проф. С. Стойковым был инициатором создания «Болгарского диалектологического атласа» и руководителем экспедиции по собиранию материала для 1-го тома атласа (юго-восточная Болгария). Именно Самуилу Борисовичу я и многие мои друзья и коллеги обязаны знаниями по болгарской диалектологии, навыками полевой работы, любовью к славянскому народному слову, которую он воспитывал в нас начиная с 1948 г., с первых поездок в Бессарабию. В первую экспедицию в Болгарию летом 1956 г. наша группа[1] приехала 17 августа в приморское село Синеморец (где живут выселенцы из с. Блаца, оставшегося на территории Турции) и как обычно начала свою деятельность с устройства на квартиру. Нас направили к некоему дядо Киро, доброму и словоохотливому старику. Но когда мы подошли к калитке его дома и спросили у босоногой девочки, что была во дворе: Къде е дядо Киро?, мы услышали в ответ: *Д'áдо Кúро? Тоj је нѐма!* ('Дядо Киро? Его нет!'). Хоть и было плохо оставаться без пристанища и ждать хозяина, мы были вознаграждены тем, что услышали до тех пор неизвестный нам диалектный предикатив (категория состояния) наличия.

Болгарской диалектной форме *Тój је нѐма* соответствует русск. литер. *его нет* и болг. литер. *няма го*, серб. литер. *нема га* и т. п. Опираясь на мнение А. М. Пешковского о том, что русские слова типа *есть, нет* «не собственно глагольные и не присвязочные»[2], проф. А. В. Исаченко предло-

---

* Статья была написана для юбилейного сборника, посвященного профессору С. Б. Бернштейну. — *Прим. ред.*

1 В группу входили Кирилл Костов, Димитр Кичев и автор этих строк. Автор с чувством сердечной благодарности вспоминает время совместной работы с Кириллом Костовым, большим знатоком болгарского народного языка, хорошим товарищем и другом.

2 «Можно сказать, что глагольность, поскольку мы пока отвлекаемся от интонационного момента, лежит в основе сказуемности. Но, может быть, есть еще слова в языке не собственно-глаголы и не присвязочные, которые способны были бы выражать мысль? Нам известно в регулярном употреблении только три таких слова в русском языке: *есть* (в смысле «существует»), *нет* (в смысле «не существует») и *на* (в смысле «возьми»). Первые два связаны с глаголом происхождением: это бывшие глаголы (*есть* — бывшее 3-е

жил называть их предикативами наличия, подчеркивая, что в современном русском языке слова *есть* и *нет*, употребляемые в данной функции, не являются глаголами (Исаченко, 1954, с. 378, 379). Именно с этой точки зрения между русским *его нет* (равно как и *его жаль* и *ему пора*, с опущенным глаголом-связкой) и болгарским и сербским *няма го*, *няма га* наблюдается существенное различие. В болгарских и сербских формах *няма го*, *нема га* слово *няма* (*нема*) выступает как глагол (ср. безличн. *няма вода*, *нема воде*), имеющий к тому же и свою парадигму (ср. личные конструкции *нямам вода*, *нямаш вода*, [той] *няма вода*... и *немам воде*, *немаш воде*, [он] *нема воде*...). Что касается странджанского *нѐма* в приведенном примере, то он соответствует русскому *нет* и является предикативом наличия, т. е. «неглагольным сказуемостным выражением», на что явно указывает сопутствующая ему форма глагола-связки — *je*: *Тój je нѐма*, дословно 'Он есть нет'.

В странджанском диалекте при этом представлена полная парадигма спряжения глагола-связки, что не дает основания видеть в рассматриваемой конструкции какой-либо «фразеологизм», застывший оборот и т. п. (Горов, 1962, с. 61).

Ср.	*já съм нѐма*	*нѐма съм*	'меня нет'
	тú си нѐма	*нѐма си*	'тебя нет'
	тój je нѐма	*нѐма je*	'его нет'
	нúje сме нѐма	*нѐма сме*	'нас нет'
	вúje сте нѐма	*нѐма сте*	'вас нет'
	тѐ са нѐма	*нѐма са*	'их нет'

Рассматривая интересующие нас предикативы наличия в русском языке, А. В. Исаченко подчеркивает, что «вопрос о грамматическом характере слов типа *есть*, *нет* осложняется еще и тем, что они не образуют прямых форм прошедшего или будущего времени: при предикативах *есть*, *нет* имеются формы *был* (*былá*, *бы́ло*, *бы́ли*), *бýдет* (*бýдут*) в прошедшем и будущем, ср. *в садý бы́ли фруктóвые дерѐвья*, *у меня́ бýдет велосипѐд*, *в ручьѐ нѐ было воды́*. По-видимому,

---

лицо ед. числа настоящего времени от глагола *есмь*, а *нет* — сокращение из *несть*, а это последнее из *не есть*). В отношении времени и наклонения они и сейчас стоят в связи с глаголом, так как образуют как бы настоящее время изъявительного наклонения к глаголу *был* — *буду*» (Пешковский, 1938, с. 174).

мы здесь имеем дело с безличным употреблением форм глагола *быть*» (Исаченко, 1954, с. 379)[3].

Странджанские конструкции с *нѐма* существенно в этом отношении отличаются от русских конструкций с *есть*, *нет*, имея последовательно формы прошедшего и будущего времени (последние либо с определенным модальным оттенком, либо в составе форм «сложного будущего»):

Ср.:	*já бêх нѐма*	*нѐма бêх*	'меня не было'
	ти́ бêше нѐма	*нѐма бêше*	'тебя не было'
	то́j бêше нѐма	*нѐма бêше*	'его не было'
	ни́je бêхме нѐма	*нѐма бêхме*	'нас не было'
	ви́je бêхте нѐма	*нѐма бêхте*	'вас не было'
	те́ бêха нѐма	*нѐма бêха*	'их не было'

Личное местоимение соответственно может быть заменено существительным: *тạ са нѐма*, или *тạ са нѐма хо́рата*, или *хо́рата са нѐма* (Син.).

Приводим часть наших записей: *ја съм нѐма ту́ка* (Син.); *ми́слех, че си нѐма ту́ка* (Брод.); *де́ је та́тко ти? – то́j је нѐма* (Бъл.); *к'а* [-тя] *је нѐма ту́ка* (Син.); *ја ре́къх, че сте нѐма* (Син.)[4]; *те, къд'ѐ са? — те съ нѐма!* (Кон.); *сега́ је ра́ботну вр'ѐме; те са нêма хо́рата ту́ка* (Бъл.); *ја бѐх нѐма там* (Брод.); *тој бѐше нѐма* (Бъл.); *Куме́тът* [Комитетът] *бê нѐма, Ди́н'у, бê нѐма куме́т* (Син.) [речь шла об Одринском восстании 1903 г.].

Отличие от русских слов типа *нет*, *есть* странджанского предикатива *нѐма* заключается еще в следующем: в русском языке отмеченные предикативы имеют значение не только наличия, но и посессивности (*у меня есть велосипед, у меня нет велосипеда*) (см. монографию: Safarewiczowa, 1964; там же литература вопроса), а странджанское *нѐма* лишено посессивного значения. Кроме того, *нѐма* есть предикатив отрицания наличия, не имеющий пары с положительным

---

3 Ср. также мнение А. М. Пешковского (см. цитату в сноске 2).

4 Следует отметить также пример с опущением глагола-связки при вторичном его употреблении, несмотря на отличие в категории лица: *ви́je сте здра́ви, а пък ни́je нѐма!* (Кон.) [это было сказано нам больной старухой]. Вероятно, в этом примере, как и в некоторых случаях безличного употребления, можно видеть начало процесса утраты глагола-связки и формирования функций предикатива *нѐма*, как в русском языке. (К сожалению, нам осталась недоступной работа: Исаченко, 1941).

семантическим показателем. Подобная «одночленность» характерна и для русских предикативов типа *невтерпёж, невдомёк* и т. п., у которых нет коррелятов **втерпёж, *вдомёк* (Исаченко, 1954, с. 381).

Несколько сложнее обстоит вопрос с будущим временем. В этом случае *нѐма* выступает уже не как предикатив наличия, а как компонент отрицательной формы будущего времени.

Ср.	*нѐма да съм*	'меня не будет'	*нѐма да сме*	'нас не будет'
	нѐма да си	'тебя не будет'	*нѐма да сте*	'вас не будет'
	нѐма да је	'его не будет'	*нѐма да са*	'их не будет'

В приведенной парадигме, во-первых, порядок слов стабилен (в парадигмах презенса и имперфекта отмечались две возможности), во-вторых, значение наличия (существования) выражается глаголом *съм* 'быть, esse'. На то, что это так, указывают формы отрицательного будущего, где вместо глагола *съм* ('быть, esse') употребляется какой-либо иной глагол.

Ср.:	*ја́ нѐма да на́пъл'н'ê*	'я не наполню'
	ти́ нѐма да на́пъл'ниш	'ты не наполнишь'
	то́ј нѐма да на́пъл'ни	'он не наполнит'
	ни́је нѐма да на́пъл'ним	'мы не наполним'
	ви́је нѐма да на́пъл'ните	'вы не наполните'
	те́ нѐма да на́пъл'нет	'они не наполнят'

Примеры из наших записей: *нѐма да ја на́пъл'н'ê* (Кон.); *нѐма да у́мреш* (Кон.); *нѐма да мо́же* (Кон.) 'нельзя будет'; *ви́је га́т* [като] *сте мла́ди ше до́јдете пак ту́ка, ми* [ами] *ја нѐма да съм ту́ка* (Син.) [речь шла о том, что группа через несколько лет снова приедет и встретится с дядо Киро][5].

В записях Горо Горова в селе Заберново (у 80-летнего старика Петра Горова Никова) можно найти склоняемые формы: *нѐмам, нѐмаш, нѐма...* в составе сложного отрицательного будущего: *йа́ нѐмам да ти да́вам,* (те) *не́мат да ти да́ват* и т. п. (Горов, 1962, с. 160). Из этих глагольных форм, встречающихся в речи старшего поколения, произо-

---

5 Можно отметить также соотношение форм отрицательного будущего с конструкциями модально-предикативных выражений с *тр'а́ба* и т. п. Например: *ја нѐма да съм ту́ка* — [ја] *тр'а́ба да съм ту́ка* и др.

шли зафиксированные нами формы типа *нѐма да да́вам, нѐма да да́ваш* и т. п.

Употребление глагола **iměti* (**iтать*) в роли вспомогательного при образовании будущего времени широко распространено в славянских языках, и поэтому его рассмотрение и даже приведение отдельных примеров потребовало бы много места. Отметим только, что в болгарских диалектах и литературном языке отрицательная форма *няма да мога, няма да ходя* и т. п. встречается значительно чаще, чем *не ще мога, не ще ходя* (Андрейчин, 1942, с. 248). Наряду с ней возникает и «положительная» форма типа *имам да ходя* (Георгиев, 1957, с. 43; Пенчев, 1968), ограниченная, правда, некоторыми модальными категориями (необычно *имам да мога* и т. п.). Сербское типа *имам да ти кажем, имаш да ми кажеш* не означает будущего времени, а имеет яркий оттенок долженствования, сохраняя, в общем, категорию настоящего времени ('я должен тебе сказать', 'ты должен мне сказать' и т. п.)[6]. Того же в принципе характера и странджанское *и́мат да ти да́ват* 'должны тебе дать' и т. п. (Горов, 1962, с. 160).

Грамматикализованная форма *нѐма* выступает в странджанском говоре (так же как и в ряде других болгарских говоров) в качестве компонента отрицательного оптатива-императива наряду с инфинитивом без форманта *-ти*:

... Ја но́сих једна́ бо́мба. Ви́ка: «Нѐма съ фъ́рли бо́мби!» (Брод.) 'Я нес бомбу. Он кричит: «Не (нельзя) бросать бомбы!»' [из рассказа о событиях Одринского восстания 1903 г.][7].

Важно отметить еще одну любопытную странджанскую форму, которую уже нельзя трактовать как императив-оптатив, а следует воспринимать как будущее с модальным оттенком долженствования:

---

6 На польском материале аналогичные наблюдения сделаны в статье Świderska-Koneczna, 1930, s. 263.

7 Эти формы употребляются в говоре наряду с императивами с *ми, ми́те* (из новогреч. μη 'не'). *Ми, мите* могут сочетаться с сокращенной инфинитивной формой и с формами настоящего времени: *ми́ хорато́ва!* (Бъл.) 'не болтать, не болтай!'; *ми́ ба́ра ту́ка!* (Бъл.) 'не шарь здесь!'; *ми хапиш!* (Син.) 'не кусай!'; *ми́та се сме́јте д'а́ца!* (Брод.) 'не смейтесь, дети!' Г. Горов приводит только конструкции с инфинитивными формами (Горов, 1962, с. 40). Распространение форм с *ми́* см. БДА, I, карта № 273.

Ср.:	*нѐма пи́јê*	'мне не пить'	*нѐма пи́јем*	'нам не пить'
	нѐма пи́јеш	'тебе не пить'	*нѐма пи́јете*	'вам не пить'
	нѐма пи́је	'ему не пить'	*нѐма пи́јêт*	'им не пить'

Пример из записей: *јê ре́къх нѐма пи́јê та́а ода́* (Заб.) [разговор со стариком шел о том, что будут рыть новый колодец, где будет хорошая вода; старик сказал 'я думаю, мне не пить эту воду', намекая на скорую смерть].

Особый интерес представляет употребление предикатива *нѐма* в составе конструкции *ше* + глагол *съм*, выражающей настоящее (будущее) вероятное:

ше съм нѐма	*ше сме нѐма*
ше си нѐма	*ше сте нѐма*
ше је нѐма	*ше са нѐма*

Для этой конструкции характерно модальное значение возможности, вероятности или неполной уверенности[8]. Например: *ја гат* [= като] *ше нѐма съм ху́бава* (Кон.) [был сделан общий снимок членов группы и хозяев дома. Хозяйка сказала: «Какие вы красивые! А я...» — далее следовали слова, приведенные в примере]. Здесь *нѐма* выступает не как компонент сложной глагольной формы (как вспомогательный глагол), а как предикатив, указывающий на отсутствие состояния или качества, выраженного глаголом или прилагательным, о чем свидетельствуют случаи, когда вместо *нѐма* употребляется другой предикатив, например *ну́жно*: *зашчо́ ше ви је ну́жно да пи́шете за коно́пъл'êт?* (Кал.) [старуха начала по нашей просьбе рассказывать, как выращивают и обрабатывают коноплю, а затем в середине рассказа задала приведенный вопрос]. В безличной конструкции допустимо опущение глагола-связки[9]: *та́а гуди́на ше нѐма* (Заб.) [старик рассказал о весенней и летней засухе, о том, что нет винограда и не будет вина — «в этом году, вероятно, не будет (нет)»]. В последнем примере, в отличие от

---

8 Конструкцию можно сопоставить с будущим пересказывательным литературного языка *щял съм да правя*, имеющим некоторое формальное сходство и сходство в значении. Ср. *Дошъл един... депутатин ли го рече какъв. Щял да сказва слово* — Й. Йовков (см. Андрейчин, 1942, с. 282–283). *Щял да сказва слово* не всегда следует воспринимать как 'говорят, он выступит со словом'; не менее допустимо и 'вероятно, он выступит со словом' и т. п.

9 Это опущение могло возникнуть чисто фонетическим путем: *ше ʲе* > *шē* > *ше*.

предшествующих, глагол выражает действие (точнее состояние) после момента речи, т. е. категорию будущего времени.

Наконец, следует отметить, что в странджанском говоре, как и в прочих болгарских и южнославянских диалектах, глаголы *и́мам* и *нѐмам* употребляются в своем обычном значении 'иметь, habere', 'не иметь, non habere' и сохраняют полные парадигмы спряжения. Например, *лѐп и́мам, ви́но нѐмам* (Кон.). В таком примере, как *се́а* [= сега] *сти́га да и́ма пари́! въ́л'ни нѐма ве́ке* [= вече] *на́шчу* [нашето ≅ нашите] форму *нѐма* следует воспринимать как безличное употребление глагола *нѐмам*, что также не является специфической особенностью странджанского диалекта. Столь же регулярно для этого диалекта и употребление форм будущего времени с компонентом *ше* (*шъ, ша*) (см. БДА, I, карта № 273 и «Коментари», с. 129) и образования повелительного наклонения типа *ори́, лежи́, гле́дай* (*глей*).

Странджанский говор характеризуется еще одной особенностью, сближающей его с македонским диалектным массивом. В нем распространены конструкции, состоящие из форм презенса глагола *имам* и прошедшего страдательного причастия в значении прошедшего времени (по Г. Горову, «отдавна минало време»): *тва́... дъ̀рѡо... йа́ и́мам отц'а́кано на́пролек'* 'это дерево я срубил весной'; *тва́ сви́не ти́ ли го и́маш фка́рано ф ко́чурът?* 'этого поросенка ты загнал в свинарник?'; *тъ̀ва ни́ва ę и́маме ора́на орта́чка с бажена́кът* 'это поле мы пахали вместе со свояком' и т. п.[10] Однако формы с непереходными глаголами типа *имам одено* в нем не фиксируются.

Таким образом, формы глагола *и́мам* (*нѐмам*) в странджанском говоре могут выступать в различных функциях и даже относиться к различным частям речи:

1) *и́мам, нѐмам* — полнозначный глагол с парадигмой спряжения со значением 'habere', 'non habere'.

2) вспомогательный глагол с парадигмой спряжения в составе:

а) отрицательного будущего — *нѐмам* с формой *да* + парадигма презенса спрягаемого глагола (характерно для старшего поколения — *нѐмам да да́вам*);

б) конструкции долженствования (настоящего времени) — *имам* с формой *да* + парадигма презенса спрягаемого глагола;

---

[10] Примеры взяты из монографии Г. Горова (Горов, 1962, с. 59). См. также Бояджиев, 1968.

в) прошедшего (результат действия которого сохраняется в настоящем) — *имам* с формой страдательного причастия прошедшего времени спрягаемого глагола;

3) неизменяемый грамматикализованный компонент формы времени, наклонения или модальной конструкции:

а) отрицательного будущего — *нѐма* с формой *да* + парадигма презенса спрягаемого глагола (характерно для среднего и младшего поколения — *нѐма да да́вам*), ср. 2 а);

б) императива отрицания, запрета — *нѐма* с усеченной формой инфинитива — *нѐма съ фъ́рли*!;

в) будущего долженствования — *нѐма* с формами презенса спрягаемого глагола;

4) предикатив наличия (вернее, отсутствия).

Характерной чертой последнего является функционирование во фразе с вспомогательным глаголом и невозможность сочетания с другими глаголами.

Но самым главным и незыблемым признаком любого предикатива является его неизменяемость (несклоняемость и неспрягаемость). Этим признаком и обладает странджанский предикатив *нѐма*.

P. S. Вот почему, вопреки мнению А. В. Исаченко, словацкое *je* и *sú* во фразах *v potoku je voda, v potoku sú ryby* при их «синонимичности» с *jesto* не являются предикативами, а тем самым, надо полагать, и «омонимами» форм *je, sú*, выступающих в качестве связки во фразах *voda je v potoku, ryby sú v potoku*. При замене в приведенных примерах существительных личными местоимениями возникнут такие фразы: *v potoku je on, v potoku sú oni*, затем *v potoku som ja* и т. д., наконец, *on je v potoku, oni sú v potoku, ja som v potoku*, т. е. ярче выявится парадигма глагола («синонимичного» с *jesto*) и исчезнет «омонимичность» двух типов фраз с разным порядком слов.

Наличие парадигмы ярко свидетельствует о сохранении категории глагольности, в то время как предикатив — категория неглагольная, но во многих случаях, как в примере с *нѐма*, — отглагольная.

Сокращения: Брод. — Бродилово, Бъл. — Българи, Заб. — Заберново, Кал. — Калово, Кон. — Кондолово (Мързево), Син. — Синеморец. См. карту в цитированной работе Г. Горова и в I томе Болгарского диалектологического атласа.

Рефлекс *ѣ* и *'а* в говоре с. Кондолово (Мързево)

Покойный проф. Ст. Стойков* вместе с проф. С. Б. Бернштейном был, как известно, инициатором и руководителем первой совместной болгаро-советской экспедиции по сбору материалов для «Болгарского диалектного атласа», работавшей летом 1956 года на крайнем юго-востоке Болгарии. Это была счастливая пора первых выездов в поле («на терен»), оживленных обсуждений программы, споров о транскрипции. Участники экспедиции по-разному слышали отдельные слова и звуки, по-разному их транскрибировали. Проф. Ст. Стойков, как отличный знаток болгарской литературной и диалектной фонетики, многое записывал, разъяснял, уточнял, делился опытом с учениками и коллегами, помогал им и вместе с тем прислушивался к чужому мнению. Именно тогда, летом 1956 года, я обратил внимание на то, что один и тот же встречающийся в странджанских говорах звук *ê* в разных позициях записывается некоторыми участниками экспедиции по-разному. Отмечал по-разному первоначально его и я. Однако вскоре мне стало ясно, что от различия в записи могут появиться «изоглоссы», которые на самом деле не существуют[1]. Опасаясь такого поворота дела, тогда же в поле я стал внимательнее относиться к транскрипции отдельных звуков и прежде всего к транскрипции ятя (*ѣ*) и *а* после мягких согласных, йота и шипящих. Для уяснения этого вопроса мною был взят материал несколько шире того, который предусматривался программой. Наблюдения

---

* Статья была написана для сборника, посвященного памяти проф. Стойко Стойкова. — *Прим. ред.*

1 Мне представляется, что в первом томе Болгарского диалектного атласа (БДА, I) такие «изоглоссы», отчасти отмечающие маршруты разных групп, а не фонетические различия, в отдельных случаях все же получились, в чем, возможно, повинен и автор настоящей статьи. См., например, положение на карте № 177 (БДА, I) и маршруты групп на с. 187 (БДА, I, част 2).

проводились в Странджe в разных пунктах (Резово, Рушовец, Заберново, Калово и др.), но в одном из них, в селе Мързево (Кондолово), где интересовавшее меня явление отражено в фонетической системе довольно последовательно, они велись наиболее интенсивно. Тем не менее в одном звене (позиции) я не успел собрать достаточное количество примеров, и именно этот момент препятствовал публикации моих диалектных записей в свое время. Сейчас я не ставлю себе иной цели, кроме как обратить внимание болгарских диалектологов на одно из интересных, хотя уже и достаточно известных явлений диалектной фонетики в надежде, что оно будет точнее описано и проиллюстрировано новым материалом.

Мой полевой блокнот с заметками в то же памятное лето 1956 года внимательно просмотрел и запись со мной обсудил проф. Ст. Стойков. Он посоветовал мне после выхода в свет первого тома атласа опубликовать мои дополнительные наблюдения. Исполняю его доброе пожелание.

* * *

В селе Мъ̀рзево (Ко̀ндолово), означенном на карте «Болгарского диалектного атласа» (БДА, I) кружком под № 4041, представлен достаточно чистый тип странджанского диалекта, хотя в принципе из-за миграций населения в прошлом и особенно в начале XX века все странджанские говоры отражают сильное смешение болгарского этнического элемента и его говоров в этом районе и говорить о «чистом» странджанском типе трудно, что отражается также на примере нашего относительно частного вопроса. И все же ряд диалектных черт и особенностей, зафиксированных в соседних диалектах сел Българи, Резово, Заберново, Калово и др., выступает несколько ярче и последовательнее (в структурном и статистическом отношении) в диалекте с. Мързево (Кондолово). Это, на мой взгляд, прежде всего относится к результатам рефлексов *ѣ* и *'а* в различных позициях, которые здесь образуют следующее соотношение:

Этимологическ.	Позиция / Акцент	Начало и середина слова		Исход слова		
		перед твердым слогом	перед мягким слогом	открытый слог	закрытый слог	
ѣ	ударн.	’а	ê	ê	’а	1
	безударн.	а	а	ệ	–*	2
’а	ударн.	’а	ê	ê	’а	3
	безударн.	а	а	ệ	ệ	4
		а	б	в	г	

* Материал отсутствует.

Примеры:

Позиция 1а: *мл’áко, зв’áзда, къд’áто, л’áцка* ‘этим летом’, *н’áколко умр’áа* (3 л. мн. ч. аориста), *п’áсък, тр’áба, д’áлани, тр’áва.*

Позиция 1б: *гол’ѐми, м’ѐсим, в’ѐтер, сед’ѐнки, ц’ѐпи са.*

Позиция 1в: *дубр’ѐ, къд’ѐ, дв’ѐ, изгор’ѐ* и т. п. Такой рефлекс последовательно сохраняется в абсолютном конце слова и речевой синтагмы. В середине синтагмы наблюдается явление междусловной фонетики: перед последующим твердым слогом фиксируется *’а*, а перед последующим мягким — *ê*: *добр’à‿дóхте!, дв’à‿кóзи, дв’à‿момчéнца, тé къд’á‿са?, добр’ѐ‿ли си?, дв’ѐ‿штéрки, къд’ѐ‿сме?*

Позиция 1г: *сед’áх* и т. п.

Позиция 2а: *травѣ́та* (ср. ед. ч. без члена *тр’áва* и ст.-сл. трѣва).

Позиция 2б: *пат̣éл’* ‘петух’.

Позиция 2в: *зúм’ę̣, л’ѐтę̣.*

Позиция 3а: *пол’áна, вид’áло* ‘одеяло’, *нар’áдът* ‘наряд, разнарядка’.

Позиция 3б: *пол’ѐни* (ед. ч. *пол’áна*).

То же после *j* и шипящих *ж, ч, ш*: *пијѐни* ‘пьяные’, *Стојѐне, държéви* (ед. ч. *държáва*), *жѐмче* (уменьшит. от *жам* ‘окно’ при довольно регулярном переходе *ц̣* > *ж*), *жѐби* (ед. ч. *жáба*), *чѐшê* (ед. ч. из **чаша*, см. 3в), *чѐсен* ‘частный’, *шѐпки* (ед. ч. *шáпка*), *шѐјек* (из **шајак* ‘сорт сукна’, см. 4г).

Позиция 3в: *бу^jѐ* ‘краска, цвет’, *турчил’јѐ* собират. ‘турки’, *худајѐ* (членная форма *худајѣ́та*) ‘комната’, *лоз’^jѐ* (член-

ная форма *лозјáта*), *кладарјẽ* (мн. ч. *кладарúји*) 'задвижка', *мирјẽ* (< *мирúја*) 'общественный выпас, выгон'. Приведенные примеры относятся к случаям перехода конечного *'а* в *ê* после *ј* и мягких согласных. При этом в конечной группе **-ија* происходит стяжение *-ија* > *-ијê* > *јê* (часто просто *'ê*). Этот процесс может иногда значительно изменить внешний облик слова: *пихк'ẽ* 'студень' из *пихтúја* > *пихтúјê* > *пихт'јẽ* > *пихкјẽ*, где смягченное *т'* дало *к'* (ср. *кромúк'* из *кромúд* > **кромúт'*), *пируск'ẽ* 'таган, треножник' (< *пиростúја*)[2]. Процесс перехода *а* в *ê* в данной позиции наблюдается также после шипящих *ж, ч, ш*, которые акустически не являются мягкими: *лъж'ẽ* (членная форма *лъжъ́та*), *пеш'ẽ* 'пешком'. Особый интерес представляют случаи с сочетанием *шт* (и, вероятно, *жд*[3]), где наблюдаются те же результаты, что и после шипящих: *кадештẽ* (из членной формы **кадештъ́*, без члена *кáдеш* < **кáдеж*, ср. *чéлус — челустъ́*, *прах — прахтъ́*, *мас — мастъ́*). При этом в форме *кадештẽ* сочетание *шт* не исконное (т. е. не из **tj* и т. д.), а из *ж* + *т*, и возникло оно на границе двух морфем или даже, как считают некоторые языковеды, слов. В этом случае аналогично *а* ведет себя *ъ* (из **ǫ*). Ср. и примеры в позиции 4в.

Позиция 3г: *тимјáн* 'ладан', *Стојáн*, *пијáн*.

Позиция 4а: *змúјата* (ед. ч. без члена *змúјę̂*), *бурúјата* (ед. ч. без члена *бурúјę̂*), *димúјата* (ед. ч. без члена *димúјę̂*), *нед'ẽл'ата*, *пóстел'ата*.

Позиция 4б: *јаснúкът* 'вид ветра', *сéл'анин*, *сéл'ане*.

Позиция 4в: после мягких *м', н', л', р'* — *зéмˀę̂* (членная форма *земъ́та*), *глáвнˀę̂*, *плẽвнˀę̂*, *лéлˀę̂* 'тетка по матери', *нę̂д'ẽлę̂*, *дъ́штер'ę̂*, *три‿дéн'ę̂*; после мягких *б', д', т'* (> *к'*) — *рúб'ę̂* (*рúб'ę̂ чóрба*), *пéд'ę̂* 'пядь', *брáк'ę̂* 'братья'; после *ј* — *змúјę̂*, *буријę̂*; после шипящих *ж, ч, ш* — *кóжˀę̂*, *мр'ẽжę̂*, *чурẽшę̂*, *чẽшę̂*; после *жд, шт* — *ръ́ждˀę̂* (членная форма *ръ́ждъ́та*), *прéждˀę̂*, *нýждˀę̂*, *къ́штˀę̂* (членная форма *къ́штата*, в соседнем селе Заберново — № 4040 по БДА, I — известна только форма *къ́шчˀę̂*), *лéштˀę̂* и т. п.

Как отмечалось выше, в аналогичной с *а* позиции *ъ* (и в том случае, когда он из **ǫ*) дает тот же рефлекс *ê*. Он последовательно встречается в формах 1 л. ед. ч. наст. вр. — *пó-*

---

[2] В словах с суффиксом *-жијę̂* (< *ꙗија*) этот процесс не представлен: *хоратажúјę̂* 'разговорчивый человек', *мáндражијę̂* и т. п.

[3] Случаи с *жд* в позиции 3 в не записаны.

внˈę 'помню', *хùлˈę се* 'ухмыляюсь', *рáботˈę, ше фъ̀рлˈę, ше зáпалˈę, мúję, трúję, ше пóстоję, не штˈê* 'не хочу', *сéдˈę, хóдˈę, ше рáздˈêлˈę, ше кáжˈê*. То же в 3 л. мн. ч. наст. вр. — *тýрˈęт, рáботˈęт, трúję̂т, хóдˈęт*. Следует отметить, что при этом конечное *т* как бы «не закрывает» слог, так как гласный оказывается тот же, что и при открытом слоге. Аналогичный результат наблюдается в многочисленных и достаточно последовательных примерах с членной формой мужского рода ед. ч. существительных и прилагательных — *кумúнˈęт* (без члена *кумúн'*), *фасýл'ęт* (без члена *фасýл'*), *ватрáл'êт* (без члена *ватрáл'*), *чуфлúкˈęт* (без члена *чуфлúк'*), *к'улéрę̂т* (без члена *к'улéр'* 'чулан'), *лáкътęт* (без члена *лáкът*; здесь переход *т'* > *к'* не фиксируется). Тот же результат под ударением (т. е. позиция 3в) — *мъжę́т* (без члена *мъш* 'мужчина'). У прилагательных мужского рода ед. ч. с членной формой наблюдается процесс стяжения группы *ија* в *ê*, хотя и не всегда последовательно (известны формы с *ије*, *је* наряду с *ę̂*): *црѐн'ęт* 'черный', *мáл'к'ęт, мáл'кję̂т, Кръстòскęт м'éшец* 'сентябрь', *Никýл'ск'ęт* 'декабрь', *гул'éмję̂т* и т. п.

Позиция 4 г: *шę́ję̂к* 'вид сукна' (< **шáјак*), *пајęк* 'паук' (число примеров следовало бы увеличить).

Справедливости ради следует отметить, что, например, в позициях 2а, б (безударная позиция ятя) не всегда встречается *а* и может быть зафиксирован звук *е* или близкий к *е* (*пресна́кът* и т. п.), что следует объяснить либо влиянием соседних диалектов, либо неустойчивостью в системе самого говора. Некоторые отклонения от изложенной ситуации зафиксированы в отдельных случаях и в других позициях: *дрýга вˈę́ра* (1а), *jáгнето* (3б), *плę́внêта* (4а — здесь, вероятно, отражен процесс генерализации фонетической формы ед. ч. без члена *пл'ę́внˈę*, нарушающий автоматичность описанного явления), *прохéсија* 'профессия' (4г — иностранное слово), *кутúја* (4г).

Тем не менее, мне представляется, что приведенные в таблице соотношения являются типичными для фонетической системы говора с. Мързево и для тенденции фонетического развития других странджанских говоров, хотя эту тенденцию нелегко выявить из-за многочисленных помех, вызванных процессами этнического смешения и, наконец, в последние десятилетия, влиянием литературного языка. Этот вопрос еще ожидает своего исследователя.

Однако параллелизм рефлексов *ѣ* и *'а*, обнаруживаемый в таблице, на мой взгляд, не случаен. Историю ятя в юго-восточных болгарских говорах, как уже отмечалось, целесообразно исследовать с учетом процессов, переживаемых *а* (и *ъ*) с предшествующей мягкостью как в фонетическом, так и в фонологическом аспекте.

Контракция гласных в с. Горска Поляна, Елховско

Летом 1957 года во время сбора материала для I-го тома «Болгарского диалектного атласа» по программе, в разработке и обсуждении которой активно участвовал покойный профессор Кирилл Мирчев*, мне довелось побывать в селе Горска Поляна. Жители этого села говорят на фракийском диалекте с некоторыми характерными особенностями своего микродиалекта, которые, однако, не так резко выделяются на общем диалектном фоне, как особенности соседнего села Воден с его типичной акцентной системой и редукцией некоторых гласных во втором слоге от конца (*на вàтта вòтта пò-ỳбаа от рѐкта* — 'на вадата водата е похубава от реката'). Вообще почти все говоры сел на юго-западном пограничье странджанского диалекта и на восточной окраине елховской диалектной микрозоны (сёла Горска Поляна, Воден, Крайново, Сливово, Голямо Буково) в чем-то между собой разнятся и не создают единообразного лингвистического ландшафта. С другой стороны, есть ряд черт, их объединяющих и противопоставляющих всему массиву окружающих говоров. Таковыми чертами являются, например, произношение ятя (*ѣ*) в словах типа *бяла, дядо, хляб*, где слышится звук *ê* — *бѐла*, иногда *ê* и *е* — *бѐла, бèла*, редко *е* — *бèла*, в то время как вокруг абсолютно преобладает рефлекс *ѣ* в виде *'а* — *бя̀ла* (см. карту № 17, БДА, I)[1], произношение *ê* в слове *шепа* (карта № 14), отсутствие коренной гласной в слове *дъно* (карта № 3), наличие начального гласного *а* в слове *един* (карта № 79), сохранение этимологического *н* в слове *вътре* — *внътре* (карта № 85) и др. (БДА, I). Говор с. Горска Поляна Горо Горов считает странджанским и относит его к

---

* Статья была написана для сборника, посвященного памяти проф. К. Мирчева. — *Прим. ред.*

1 Произношение с *ê* (*е*) зафиксировано в пунктах №№ 3982, 3984, 3987, 3998, 4000, 4001, 4010, 4011, 4012, 4014 (Горска Поляна, Воден, Крайново, Сливово, Факия, Голямо Буково, Кирово, Железково, Долно Ябълково, Горно Ябълково) — БДА, I, карта № 17.

грудовской подгруппе странджанского диалекта (Горов, 1962, с. 13–14).

Одной из весьма характерных черт горскополянского говора является контракция гласных, в том числе и контракция *aje* > *a* в презентных глагольных парадигмах, в результате которой глаголы первого спряжения («*a*-подгруппа седьмого разряда», по Л. Андрейчину) переходят в третье спряжение.

Контракция гласных в глаголах с *-aje* приводит к результатам, широко распространенным в южнославянских языках и диалектах[2]. В с. Горска Поляна говорят:

ês знам	*ни знàме*	*ês кòпам*	*ни кòпаме*
ти знаш	*ви знàте*	*ти кòпаш*	*ви кòпате*
той зна	*тӣ знāт*	*той кòпа*	*тӣ кòпат*

При наблюдаемом переходе глаголов первого спряжения в класс глаголов третьего спряжения приобретается окончание в виде прежней «атематической» флексии *-м* в первом лице единственного числа[3]. Контракция гласных проводится во всей парадигме в отличие от сербскохорватского языка (в литературной форме и в диалектах) и некоторых западноболгарских говоров (в частности, говора с. Ново Село), где в 3 л. множ. числа контракция отсутствует (ср. серб.-хорв. *знâм, знâш, знâ, знáмо, знáте, знàјӣ*, болг. новоселск. *кàръм, кàръш, кàръ, кàръмо, кàрътъ, кàръйу*). Х. Кодов в своем кратком описании фракийских говоров отмечает, что они «изобщо взето, са се развили по спрежения тъй като и в другите източнобългарски говори, па и в книжовния ни език. В някои случаи обаче срещаме отклонения — било архаизми, било като нови аналогии. Така напр. ... срещу *копая, копаеш* (стб. **копаѭ, копакши, копати**) тук в повечето говори намираме *кòпа̯м, кòпа̯ш, кòпа̯, кòпа̯ме, к'е іа̯ закòпат* и пр. (passim); само в някои от одринските села (Адъраа, Кадъкьой) казват *купàіа̯, купàі̯им* и пр. Срещу *играя, играеш* (стб. **играѭ, игракши, играти**) имаме *і̯ѝгра̯м, і̯ѝгра̯ш, і̯ѝгра, нѐка с'и і̯ѝгра̯, і̯ѝгра̯ с'и* и пр. ... В Странджанските села (Бунар Хисар, Яна, Ятрос, Пенека и др.) имаме *в'ê̞нч'а̯м, в'ä̞нч'а̯ме, в'ä̞нча̯ш*; в Кавакли намираме *бòза̯м, бòза̯ш, бòза̯* и

---

2 См. подробнее Бернштейн, 1968, там же библиография.

3 Отсутствие флексии *-м* в подобных случаях — очень редкое явление, наблюдаемое в говорах к югу от Крумовграда и в дебрских и преспанских говорах. См. Бернштейн, 1962.

пр. *лòкам, лòкаш', лòка, кỳч'ето а локàло* и пр. срещу [новобълг. книжовн. — вставка моя. — *Н. Т.*] *венчая, венчаеш* (стб. **вѣньчаѭ, вѣньчакши, вѣньчати**), *лоча, лочиш* (стб. **лочѫ, лочиши, лочити**), *бозая, бозаеш*» (Кодов, 1936, с. 104 отд. пагинации). Но наряду с этим Х. Кодов заявляет, что «срещу новобълг. *тъка, тъчеш* (стб. **тъкѫ, тъчеши, тъкати**) навсякъде из тракийските говори намираме *ткàіа, ткàіим, ткàіат, ткàат* и пр. (passim)» (там же). Можно, однако, отметить, что в тех фракийских говорах или даже в тех глаголах, где есть контракция, результатом которой является гласная *а* (*аје* > *а*), эта контракция проведена во всей парадигме, как в болгарском литературном языке и в большинстве болгарских говоров. Поэтому горскополянские формы типа *знам, знаш, зна...* или *кòпам, кòпаш, кòпа...* нельзя назвать особыми для фракийских говоров и шире, скажем, для восточноболгарских говоров вообще.

Специфическая особенность горскополянских форм выявляется в презентной парадигме некоторых глаголов, где результаты контракции в принципе те же, что и в вышеописанном типе (т. е. появление монофтонга), но в первом лице ед. числа отсутствует флексия, и форма первого лица выражается долготой гласного, которая в третьем лице ед. числа отсутствует:

[трая]

ѐс трā	*ни трāме*
ти траш	*ви трāте*
той тра	*тū трāт*

По этой же модели происходит контракция в глаголах «второго» спряжения:

[кроя]		[роя — пчелите]	
ѐс крō	*ни крōме*	*ѐс рō*	*ни рōме*
ти крош	*ви крōте*	*ти рош*	*ви рōте*
той кро	*тū крōт*	*той ро*	*тū рōт*

В этих случаях первое и третье лицо ед. числа различаются лишь долготой гласной основы, и обе формы оказываются бесфлективными, отражающими чистую стяженную основу, которая остается неизменной в парадигме. Однако в глаголе *стоя* возникает чередование гласных новой основы по той причине, что в 1 л. ед. ч. и в 3 л. мн. ч. контракция проходит по первому гласному, а во всех остальных формах парадигмы — по второму (в то время как в предыдущих и

последующих примерах контракция проходит всегда лишь по первому гласному).

[стоя]

ѐс стō	*ни стūм*
ти стиш	*ви стūте*
той сти	*тū ст'ѐ̄т*

Отдельного комментария требует 3 л. мн. ч., где контракция прошла по второму компоненту и йот оставил свой след в виде *'ê* [4] (*'ê* < *jê* < *ja*: *ст'êт* < **ст'êјѐт* < **стојѐт* < **стојàт*?), в парадигме же *крō, крош... крōт* контракция прошла по первому компоненту. Наиболее вероятным объяснением этого факта может быть различие в прежних акцентных парадигмах двух упомянутых глаголов. Такое толкование применимо и к первому лицу (**крòја, *крòјиш... *крòјат*, но **стòја*[5], **стòјиш... *стòјат*?).

Особый интерес представляют формы «первого» спряжения.

[бия]

ѐс бū	*ни бù^{а}ме*
ти биш	*ви бù^{а}те*
той би	*тū бūт*

В них полная контракция по первому гласному наблюдается во всей парадигме, кроме 1-го и 2-го лица мн. ч., где сохраняется *j* и из-за его сохранения не развилась долгота. Это же явление наблюдается в презентных парадигмах глаголов *грея* (праслав. **grěti*) и *крия* (праслав. **kryti*).

[грея]		[крия]	
ѐс гр'ѐ̄	*ни гр'ѐ̄^{а}ме*	*ѐс крū*	*ни крù^{а}ме*
ти гр'êш	*ви гр'ѐ̄^{а}те*	*ти криш*	*ви крù^{а}те*
той гр'ê	*тū гр'ѐ̄т*	*той кри*	*тū крūт*

В некоторых парадигмах в 1-м и 2-м лице мн. ч. после лабиализованных гласных *у* и *о* прежнее интервокальное *j* переходит в билабиальный призвук *w* (или даже *у̯* (= *u̯*).

---

4 См. Толстой, 1974а; наст. изд., с. 236–241.

5 Подобное перемещение ударения на первый слог только в 1 л. ед. ч. двусложных глаголов в странджанских говорах отмечает Г. Горов — *плѐта, плетѐш, плетѐ...*; *ора, орѐш, орѐ...* (Горов, 1962, с. 54). Аналогичное явление наблюдается во многих болгарских говорах в Севлиевско, Троянско, Тетевенско, Ботевградско и др. наряду с общим (т. е. во всей парадигме) перемещением ударения на первый слог.

[плюя]		[броя]	
ѐс пл'ȳ	*ни пл'ỳ^{ш}ме*	*ѐс брō*	*ни брò^{ш}ме*
ти пл'уш	*ви пл'ỳ^{ц}те*	*ти брош*	*ви брòте*
той пл'у	*тū пл'ȳт*	*той бро*	*тū брōт*

Однако известны и случаи без подобных остатков прежнего *j*:

[чуя]

ѐс чȳ	*ни чȳме*
ти чỳш	*ви чȳте*
той чу	*тū чȳт*

Связывать их с мягким или твердым вариантом трудно, так как парадигма *брō, брò^{ш}ме* не принадлежит к мягкому варианту. Дело скорее заключается в согласном ряде, где оказываются губные и плавные (*п, л, м; б, р, м*).

И, наконец, можно указать на примеры неполной контракции в парадигме глагола *вия* (очевидно, диалектного **вуя*) 'выть'.

[вуя]

ѐс вȳ	*ни вуѝм*
ти вуѝш	*ви вуѝте*
той вуѝ	*тū вуѐт*

Следует отметить еще одну морфологическую черту. В 1-м л. мн. ч. в глаголах первого и третьего спряжения употребляется флексия *-ме*, а в глаголах второго спряжения флексия *-м* и *-ме* (*вỳим, стим, крòме*). Впрочем, такое утверждение нужно считать очень условным, так как при определении класса глаголов мы исходим из общеболгарских (resp. общеславянских) представлений. Не исключена возможность, что до контракции, которая происходила, безусловно, достаточно поздно, глаголы *крō* (кроя), *рō* (роя), *брō* (броя) изменялись по парадигме первого спряжения **крòя — *крòеш*. В таком случае следовало бы сказать, что глаголы второго спряжения типа *вуѝм, стим* имели только флексию *-м* в 1 л. мн. числа. Поэтому, отвлекаясь от плана диахронического и переходя к плану синхронному, следует сказать, что глаголы рассматриваемой группы не имеют различий между первым и вторым спряжением, пользуясь флексиями *-∅, -ш, -∅, -ме* (*-м*), *-те, -т* (плюс показатель долготы корневого гласного).

К сожалению, список приведенных глаголов не полон, его следовало бы в будущем увеличить. Но и записанные

мною примеры показывают, что дело идет о довольно исключительном для болгарских говоров явлении. Нужно было бы исследовать глагольные акцентные парадигмы в говоре с. Горска Поляна и в соседних диалектах, а также явление контракции вне глагола (ср. местоимение *нӣ* вм. *нѝйе*). Контракция в результате исчезновения интервокального *х* в говоре с. Горска Поляна нами не зафиксирована (*сраува* = страхува: *той се сраѝва да флѐзе там* 'он боится туда войти' и т. п.). Отмечены лишь отдельные случаи уподобления по ударному гласному (3 л. мн. ч. аориста от глагола *нàйда* 'найти' будет *найдòо* при общей парадигме: *найдòх'*, *найдò*, *найдò*, *найдò*^{й}*ме*, *найдò*$^{х'}$*те*, *найдòо*; конечное *о* во 2-м и 3-м лице ед. ч. возникло путем морфологической аналогии).

Едва ли не самой интересной особенностью изложенного материала оказывается противопоставленность форм 1-го и 3-го лица ед. ч. ряда глаголов по долготе: *стō* — *сто*, *пл'ӯ* — *пл'у*, *бӣ* — *би*. Этот факт нуждается в проверке. Но, если мои записи были верны, а информаторы выбраны удачно, мы сталкиваемся с фактом фонологической роли долготы в горскополянском говоре[6]. Утрата долготы во 2-м и 3-м л. ед. ч. могла быть вызвана морфологическими причинами, так же как и сохранение ее и стабилизация в других формах.

В ихтиманском говоре в глаголах третьего спряжения М. Младенов отметил долготу, возникшую в результате контракции гласных после утраты интервокального и неинтервокального *х*. Эта долгота имеет также фонологическую значимость, так как отграничивает в 1-м и 2-м л. мн. числа формы имперфекта от форм презента; в безударной позиции *глѐдāме* (имп.) — *глѐдаме* (през.); *ѝмāме* — *ѝмаме*; *стрѐл'āме* — *стрѐл'аме* и формы 3 л. ед. ч. настоящего времени от форм 1 л. мн. числа имперфекта в ударной позиции *земе* — *зѐме* (Младенов, 1966, с. 25–26).

Горскополянские примеры типа *крӣ* — *кри* или *трā* — *тра* интересны тем, что противопоставленность по долготе наблюдается внутри одной парадигмы, а не в разных парадигмах. Мне, однако, трудно указать на аналогичные случаи в других болгарских диалектах (см. Тодоров, 1930, с. 47).

О контракции гласных в родопских говорах писал С. Кабасанов (см. Кабасанов, 1974, с. 117; 1963, с. 73–74). Он от-

---

6 О долгих гласных в болгарских диалектах см. Младенов, 1963.

мечал в с. Виево (Смолянско) тип, где в первом лице глаголов **kopaję, *znaję* стяжение происходит на основе первого гласного, а в остальных звеньях парадигмы — на основе второго:

[копая]

кòпам	*капéме*
капéш	*капéте*
капé	*кап'ôт*

В случае с *кóпам* чередование *а/е*, вероятно, следует объяснять позициями безударности и ударности.

Аналогичная контракция с противопоставлением форм 1 ед. и 3 мн. остальным формам парадигмы, но без исходных различий в ударении, представлена в глаголе

[зная]

знàм	*знѐме*
знѐш	*знѐте*
знѐ	*знôт*

В говоре с. Тихомир (Кырджалийско) парадигма с разными результатами стяжения в 1 ед., 3 мн., с одной стороны, и остальных формах, с другой, отмечена С. Кабасановым только у глаголов с корневым **ě*: *сея, вея*:

[сея]		[вея]	
сòм	*сѐме*	*вòм*	*вѐме*
сѐш	*сѐте*	*вѐш*	*вѐте*
сѐ	*с'ôт*	*вѐ*	*в'ôт*

У глагола же *зная* во всей парадигме результат контракции одинаков:

[зная]

знòм	*знòме*
знòш	*знòте*
знò	*знòт*

Недостаток примеров затрудняет дальнейшее обобщение. С. Кабасанов указывает только: «как *знòм*, спрягается *ѝгром*» (в статье 1974 г., однако, *игрòм*). Но в том же говоре имеются парадигмы типа

[питам]

пы̀там	*пы̀таме*
пы̀таш	*пы̀тате*
пы̀та	*пы̀тат,*

где контракция прошла по первому гласному сочетания гласных с интервокальным *j*-ом, как в большинстве болгарских диалектов.

Что касается флексии 1 ед., то во всех приведенных парадигмах закрепилось *-м*, что отражает общую тенденцию в родопских говорах указанных микроареалов.

Таким образом, отличие результатов контракции в селах Виево и Тихомир от результатов в с. Горска Поляна довольно значительное.

В западноболгарском говоре города Лом Цв. Тодоров (Тодоров, 1930) отмечает параллельные формы без контракции и с контракцией в настоящем времени глагола *дȍідем* (литер. *дȍйда*). Притом случай этот несколько особый, ибо в интервокальном положении находится не только *j*, но и *д*, а результаты контракции не ведут к грамматической омонимии, а затем к количественному противопоставлению гласных:

чę дȍідем	*чę дȍідеме*	или:	*чę дōм*	*чę дōме*
чę дȍідеш	*чę дȍідете*		*чę дōш*	*чę дōте*
чę дȍіде	*чę дȍідạт*		*чę дō*	*чę дȍ̆ᵃт*

Надо полагать, что в будущем число интересующих нас примеров увеличится в результате интенсивного и подробного изучения отдельных болгарских диалектов, начало которому было положено проф. Кириллом Мирчевым и его современниками.

IV

Из истории славистики

Опыт карты праславянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 г.

Проблема диалектного членения праславянского языка и праславянских диалектизмов (локализмов) всех языковых уровней живо интересует современных славистов. Актуальна она и для этнологов, фольклористов, исследователей славянских древностей, стремящихся к живому, а не схематическому представлению о праславянском состоянии, понимающих диалект не как исключительно языковую, а как культурно-этноязыковую единицу. Проблема диалектного членения праславянского языка позднего периода разрабатывается активно лингвистами, занятыми вопросами реконструкции праславянских явлений и связей с другими родственными и неродственными этноязыковыми зонами и комплексами, этимологами, топонимистами, представителями других специальностей.

В связи с этим представляют интерес первые, пусть даже не во всем достаточно аргументированные и профессионально выполненные, опыты картографического представления праславянского диалектного континуума.

В канун Первой мировой войны в Варшаве вышла на русском языке книжка тогда еще молодого и малоизвестного сербского лингвиста Д. П. Джуровича «Говоры общеславянского языка (с лингвистической картой)». Издание это, предпринятое самим автором, не лишенное, к сожалению, опечаток, некоторых фактических неточностей и спорных моментов, затерялось в потоке лингвистической литературы первой трети XX в. и оказалось почти забытым. К тому же и тираж книги был, видимо, ничтожным, и сам автор, занявшийся впоследствии изданием своих лексикографических и научно-популярных фольклористических сочинений, больше не обращался к вопросам сравнительной грамматики славянских языков и праславянского языка и тем самым ничем не напоминал о своей ранней работе. Сейчас нет нужды, спустя более чем семь десятилетий, производить подробный разбор книги, рассматривающей звуки праславянского языка в историко-сравнительном плане, и говорить о кон-

кретных авторских методологических недостатках и недочетах, так же как и о несовершенстве приемов сравнительной грамматики славянских языков самого начала нашего века. Достаточно отметить, что задачей книги было «указать близость или взаимные отношения между отдельными славянскими языками, развившимися из общеславянских говоров, и на основании лингвистических данных указать место жительства отдельных славянских племен на их прародине» (Джурович, 1913, с. 7). Эти взаимные отношения и близость отражены на карте, которую мы в несколько адаптированном виде прилагаем к нашей заметке и которую Д. П. Джурович представил как итог своей работы. Он писал: «Изложенные мною звуковые особенности общеславянских говоров не говорят в пользу существующего в науке мнения, по которому первоначальные дифференциальные центры будто вполне соответствуют теперешнему разложению славян. Эти особенности настолько разнообразны и подвижны, т. е. разбросаны по разным углам славянского мира, что малейшая попытка группировать их резко нарушает установившуюся классификацию. Некоторые из тех особенностей, которые говорили о взаимных отношениях тех или других общеславянских говоров, получили неодинаковую окраску в языках, а другие в языках пошли по одинаковому пути процесса» (там же, с. 143).

Д. П. Джурович высказал предположение, что «сербо-лужичане, судя по вышеуказанным звуковым особенностям,[1] в начале дифференциации общеславянского праязыка соседили отчасти с русскими (т. е. с восточными славянами, что одно и то же. — *Н. Т.*). Когда они перешли реку Одер, трудно сказать» (там же, с. 141). Он также высказал гипотезу, что «территория на юго-западе от верховьев Западного и Южного Буга до северо-восточных хребтов Карпат населена была нынешними южными славянами (см. карту). Это предположение подкрепляется значительным количеством слов, сохранившихся только в сербо-хорватском и в татранских говорах польского языка» (там же, с. 131), и т. д., и т. п. В то же время «на северо-западе от занимаемой сербо-хорватами и словинцами территории, между верховьем Варты и от-

---

1 См. ниже о выдвигаемых Д. П. Джуровичем релевантных историко-фонетических показателях, обозначенных на карте.

рогами Судетских гор жили в данную эпоху чехо-словаки» (там же, с. 138) и т. д., и т. п.

Таков общий характер суждений автора книги «Говоры общеславянского языка», которые привели его к следующим выводам: «На диалектической карте общеславянского языка мы получили весьма сложный рисунок путей распространения той или другой языковой особенности. Классификация указанных звуковых явлений, конечно, возможна; но группировку славянских языков на основании изложенных звуковых данных необходимо подкрепить морфологическим и лексическим материалом. Поэтому от подобной классификации отказываюсь до окончания задуманных мною морфологии и словаря говоров общеславянского языка» (там же, с. 148–149).

Как указывалось выше, замыслам в ту пору молодого сербского лингвиста не суждено было сбыться, — морфологический и лексический очерки не были написаны. В публикуемой же нами с некоторыми упрощениями карте приводились в легенде в качестве релевантных показателей следующие: 1. произношение *ǫ* как *u*, 2. произношение *ę* как *a*, 3. произношение *ѣ* как *ia*, *ie*, 4. произношение *i* как *ji*, 5. произношение *ь* как *'e*, *ⁱe*; *ъ* как *ö* (sic! — *Н. Т.*), 6. произношение *ь* как *'e*^{a}, *ъ* как *o*, 7. произношение придыхания *h* в начале слов, 8. переход *h* в *γ*, 9. чередование *γ* и *g* и переход *γ'* в *ʒ'*, *dz*, 10. сохранение сочетаний *kv*, *gv*, *γv*, 11. отсутствие *v* из *u̯* в начале слов, 12. произношение *g*^{v} как *d'z'*, *g'* как *t'z'* (sic!), 13. переход *č* из *k* перед *ь* в *c*, 14. мена *z*, *s* и *š*, *ž*, 15. произношение *r* с фрикативным призвуком *r*$^{ž'}$.

В виде отдельных пронумерованных кружочков эти признаки Д. П. Джурович нанес на карту (в приводимой нами карте они отсутствуют) на территории каждого общеславянского диалекта, в будущем языка. Так, кашубам приписаны признаки — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, полабским славянам — 6, 7, 10, 12, 15, лужичанам — 7, 10, 12, 15, а также 1, 2, 5 на пограничье с чехами и поляками, полякам — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 и 13 на периферии рядом с сербо-хорватами и 14 с русскими, чехам — 1, 7, 10, 12, 15, словакам — 1, 2, 7, 10, 12, 15, словенцам — 1, 5, 6, 8, 11, сербо-хорватам — 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14 и 5 на пограничье с поляками, болгаро-македонянам — 6, 8, 9, 10, а 3 и 5 на пограничье с русскими и сербо-хорватами и, наконец, русским — 1, 2, 4, 7,

9 и 3 и 14 на пограничье с сербо-хорватами и болгаро-македонянами и 10 на пограничье с поляками.

Отнесение некоторых кружков из центра на периферию во многих случаях можно объяснить стремлением графически «разгрузить» центр конкретного этнодиалектного ареала, так как все кружки с одинаковым номером на карте оригинала объединялись линиями разного рисунка (что нами также не воспроизводится из-за уменьшения масштаба карты), но можно также предположить, что в отдельных случаях, как, например, в случае с признаком 10 (сохранение сочетаний *kv*, *gv*, *γv*), кружок с цифрой ставился на периферии, так как этот признак характерен лишь части восточнославянских (русских) говоров (ср. совр. укр. *квітка*). Аналогично с произношением *ѣ* (ять) и некоторыми другими признаками. Характерно, что карта имеет подзаголовок «Приблизительное распределение славян после дифференциации общеславянского языка». Естественно, что в этом случае русские (восточнославянские) диалекты не следовало разделять на великорусские, белорусские и малорусские (украинские). Однако наметить возможное дробление древнего русского диалекта праславянской поры все же было бы возможно и следовало бы вслед за Д. К. Зелениным выделить четыре диалектных массива — прасеверновеликорусский, праюжновеликорусский, прамалорусский и прабелорусский. Тем не менее, не будем судить о том, чего нет на карте, а обратим хотя бы бегло внимание на то, что на карте имеется. Любопытно, что на карте болгаро-македоняне непосредственно примыкают к русским, и между двумя их ареалами небольшими прямоугольничками обозначено их присутствие на территории прасербо-хорватов. Сербо-хорваты в свою очередь также граничат с русскими. Трудно сказать, волею автора или волею художника-графика болгаро-македонцы закрашены тем же интенсивно зеленым цветом, что и русские[2]. Уместно, однако, напомнить, что почти полвека спустя, в 1958 г., В. М. Иллич-Свитыч на IV-м съезде славистов в Москве выдвинул гипотезу о довольно северном

---

[2] Разные цвета оригинала заменены в публикуемой карте следующим образом: интенсивно зеленый — пунктирной штриховкой снизу вверх направо (русские и болгаро-македоняне), зелено-голубой — горизонтальной штриховкой (поляки и др.), зелено-коричневый — штриховкой снизу вверх налево (чехи и словаки), вертикальной штриховкой заменен салатно-зеленый цвет (сербо-хорваты и словинцы).

расположении праболгаро-македонцев и об их контактах с балтийцами. Эта гипотеза привлекла внимание ряда ученых.

Наконец, хотя лужичане на карте Д. П. Джуровича расположены далеко от русских (восточных славян), в книге их близость к восточным славянам отмечается (см. цитату выше), что в какой-то степени предвосхищает гипотезу О. Н. Трубачева, выдвинутую в связи с вопросом о составе праславянского словаря на V съезде славистов в Софии в 1963 г. (Трубачев, 1963). Согласно схеме О. Н. Трубачева, приводимой нами в таблице II, оба лужицких праязыка контактируют с южной правосточнославянской группой и с прасербскими диалектами.

Относительно своей схемы, предложенной ровно через полвека после карты Д. П. Джуровича, О. Н. Трубачев пишет: «Предлагаемая схема, естественно, многим обязана научной традиции, что мы с благодарностью признаем. Некоторые звенья размещены в ней более условно (впрочем, вполне традиционно), будучи менее обеспечены новым материалом сравнительно с другими звеньями. Есть, однако, и отличия. За ориентир взят балтийский и локальные лексико-словообразовательные изоглоссы (изолексы), тянущиеся от него к отдельным частям славянского. Они вынудили нас принять более интимную близость сербско-хорватско-словенского и балтийского (рядом с болгарским и македонским). Упомянутый рубеж между лужицкими языками получил так же графическое выражение, как и связи лужицких с сербско-хорватским, а также нижнелужицкого — с украинским и белорусским (последнее здесь отмечается как будто впервые). Лексико-словообразовательные общности в отношениях с балтийским у сербско-хорватско-словенского и украинского/белорусского тоже повлияли на их расположение в схеме. Имело смысл также отразить старые лексико-словообразовательные различия между древним югом и севером восточнославянских диалектов» (Трубачев, 1963, с. 194–195). Таково краткое пояснение О. Н. Трубачева к его «Схеме праславянского членения начала нашей эры».

Любопытно сделать еще два сравнения и привести материал из книг Г. Ю. Шевелева по исторической фонологии праславянского языка (Shevelov, 1964) и А. Фурдаля о расчленении праславянского языка в результате его звукового развития (Furdal, 1961). В книге Г. Ю. Шевелева после 608 страницы приводится современная политическая карта Вос-

точной и Центральной Европы, на которой нанесены изоглоссы, существенные для решения проблемы диалектного членения в период распада праславянского языка. При этом соответствующей штриховкой выделена не только современная славянская этническая территория, но и территория, заселенная в прошлом славянским этносом (частично германская, австрийская, греческая). Изоглоссы и ареалы выделяются на основании следующих 16 показателей: 1. замещение носового *ę* звуком *ě* в окончаниях «мягких» типов склонения, 2. *x* > *š* во второй (третьей) палатализации, 3. сохранение групп *tl*, *dl*, 4. аканье/оканье, 5. $*o^a rt$ > *ret* (*rat*) под нисходящей интонацией, 6. e^a > *o* (в разных позициях), 7. совпадение **ŭ* и **ĭ* в одном звуке, 8. переход *ŭ* и *ĭ* перед *j* в ёры, 9. заместительное продление гласных, вызванное редукцией или падением еров в следующем слоге, 10. рефлексы еров в группах **tьrt*, *tьlt*, *tъrt*, *tъlt* (выделяется ареал частичного сохранения *ŭ*, *ĭ* в указанных группах. — *Прим. ред.*), 11. отсутствие автоматической палатализации перед гласными переднего ряда, 12. сокращение долгих гласных под ударением, 13. контракция гласных, 14. новое нисходящее (циркумфлексное) ударение, 15. новое восходящее ударение (акут) на кратких гласных, 16. $*to^a rt$ > *trat* (соответственно *torot* и т. п.).

Как видно из материала, одна часть изоглосс объединяет восточнославянский ареал с восточной (болгаро-македонской) частью западнославянского ареала (9, 10), другая часть охватывает весь восточнославянский и почти весь южнославянский ареал (2, 3), третья изоглосса объединяет весь южнославянский мир с чешско-словацким (16). Есть изоглоссы, охватывающие славянский запад и восток целиком (1) или с исключением части словацких говоров (5), либо всей чешско-словацкой территории (6). Западнославянская территория, кроме словацкой, и южнославянская, кроме болгарско-македонской, также очерчивается одной из изоглосс (7). Отдельные изоглоссы выделяют белорусско-русский ареал (4) или ареал севернорусский (8) и т. п.

Помимо этих признаков в книге рассматриваются в качестве расчленяющих или классифицирующих еще другие явления, часть из которых отражена в пяти диаграммах. Правда, в этих диаграммах имеются и некоторые из уже перечисленных показателей.

В первой диаграмме (с. 308) приводится семь изоглосс, членящих всю славянскую языковую территорию по признакам групп согласных или качества согласных: 1. группа *tl*, *dl*, 2. колебания *libo* ~ *ljubo*, 3. *sk* > *šč* перед *ě*$_2$, 4. форма *sem̥ъ* 'седьмой', 5. *x* > *š* во 2-й (или 3-й) палатализации, 6. *sk* > *st* перед *ě*$_2$, 7. *kv*, *gv* > *cv*, *zv* перед *ě*$_2$ с выделением трех локальных зон по показателям: a) *sk* > *sk'* (частично *БР* и *У*)[3], b) форма *vajce* 'яйцо' (*Ч* и *Ск*), c) *tj*, *dj* > *št*, *žd* (*Бг*, частично *М*). Изоглоссы 1, 3, 5, 7 (1-я с коррективами) отделяют западных славян от южных и восточных, т. е. объединяют южных и восточных славян, а изоглоссы 4 (частично) и 6 — болгар и македонцев от всех других славян (при этом учитываются только южномакедонские говоры. — *Н. Т.*). Изоглосса же 4-я (*седьмой*) выделяет восточных славян из всей славянской группы.

Вторая диаграмма Г. Ю. Шевелева (с. 313) касается славянской назальности, определяемой семью признаками: 1. сохранение назальности (*Пб*, частично *П*), 2. частичное сохранение назальности (*П*, частично *М* и *Сн*), 3. *ǫ* > *u* и в основном *ę* > *'a* (*БР*, *Р*, *У*, *НЛ*, *ВЛ*, *Ч*, *Ск*, *СХ*), 4. *ǫ* > *a* или *ə* (*Бг*, *М*), 5. *ę* > *e* (*Бг*, *М*, *СХ*, *Сн*), 6. *ę* > *e* в безударном положении (*БР* и *У* частично), 7. *ǫ* > *o* (*Сн*). Третья диаграмма (с. 480) рассматривает разные результаты рефлексов еров в группах **tъrt*, *tъlt*, *tъrt*, *tъlt*: 1. обычный рефлекс еров — так же, как и в других позициях (*Пб*, *БР*, *У*, *Р*, *ВЛ*, отчасти *НЛ*, *П*, *Ск*), 2. сохранение этапа *ə* — в виде *a* (отчасти *НЛ*, *П*, *Ск*), 3. утрата еров и возникновение слоговых сонантов (*СХ*, *Сн*, *М*, *Бг*, *Ч*, в большей части *Ск*), 4. сохранение исходного состояния — с *i*, *u* (в большей части *П*). Четвертая диаграмма (с. 481) на основе значительного числа показателей дает обобщенную картину типов рефлексов сочетаний **trъt*, *tlъt*, *trъt*, *tlъt*: тип А (*Р*), тип В (*Пб*, *НЛ*, *ВЛ*, *Ч*, *П*, *БР*, *У*, *М*, часть *СХ*), тип С (*Сн*, *СХ*, *Бг*, большая часть *Ск*). И, наконец, пятая диаграмма (с. 524) делит славянские языки по принципу позиционного сокращения долгих гласных: 1. сокращение в ударной, предударной и заударной позиции, проведенное частично (*Пб*, *Бг*, *Сн*), 2. сокращения, проведенные последовательно (*П*, *Ч*, *Ск*, *СХ*), 3. сокращение

---

[3] Сокращения: *Бг* — болгарский, *БР* — белорусский, *М* — македонский, *НЛ* — нижне-лужицкий, *ВЛ* — верхне-лужицкий, *П* — польский, *Пб* — полабский, *Р* — русский, *Ск* — словацкий, *Сн* — словенский, *СХ* — сербскохорватский, *У* — украинский.

в безударной позиции (*Р*, *БР*, *У*), 4. сокращение долгот отсутствует (*НЛ*, *ВЛ*, *М*). В последнем случае, как видно, признаки, помимо двух компактных ареалов — восточнославянского и чешско-словацко-польского, распределены по окраинам славянского мира: ср. македонско-лужицкое соответствие и словенско-болгарско-полабское соответствие.

Перечислим в еще более конспективной форме показатели, предлагаемые А. Фурдалем. А. Фурдаль выделил шесть праславянских диалектных групп — русскую, лехитскую, лужицкую, чешско-словацкую, сербскохорватско-словенскую и болгарско-македонскую. При этом он привел показатели, отделяющие [I] южных и восточных славян от западных (1. *cv* : *kv*, 2. *š*$_2$: *s'*, 3. *šč*$_2$: *s'c'*, 4. *l* : *tl*), [II] западных и восточных от южных (1. *rŏt* : *răt*, 2. перенесение палатальности в консонантную сферу, 3. *ě*$_3$: *ę̌*, 4. *nesa* : *nesy*, 5. *-ъть* : *-оть*), [III] восточных славян от западных и южных (1. лабиализация *ъ̥*, 2. *o* : *je*, 3. *tilt* > *tult*, 4. *telt* > *tolt*), и показатели, объединяющие [IV] чешско-словацкие диалекты с южнославянскими (1. *trat*, 2. *r̥*), [V] часть лехитских с восточнославянскими (1. *tilt* > *tult*, 2. *telt* > *tolt*), и [VI] вычленяющие из остальных славянских групп лехитскую группу (1. *ět* > *'at*, 2. *ęt* < *'ǫt*) и, наконец, [VII] обособляющие болгарско-македонскую группу (1. делабиализация *ε*, 2. совпадение рефлексов *tj* с рефлексами *stj*, *skj* и рефлексов *dj* с рефлексами *zdj*, *zgj* и [VIII] сербскохорватско-словенскую (1. объединение *ь* и *ъ*). Такой показатель, как [IX] отсутствие эпентетического *l*, объединяет западнославянские диалекты с болгарскс-македонскими, а [X] сужение *e* — сербско-хорватско-словенские с лехитскими.

Приведенные перечни признаков, которые можно было бы умножить, даже не выходя за рамки материала книги Г. Ю. Шевелева, не говоря уже о других критериях — морфологических, словообразовательных и лексических, показывают, сколь сложно переплетение соотношений различных историко-фонетических явлений. Чем явственнее обрисовывается сложность картины, тем с большей осторожностью ученые реконструируют праславянское состояние и праславянское диалектное дробление и распределение. Однако следует признать, что и материал, освоенный и разработанный Г. Ю. Шевелевым и А. Фурдалем, и другие материалы, в том числе и лексические, пока не опровергают и не исключают того распределения говоров, которое предложил

Д. П. Джурович на своей карте. Вопрос же о составе определяющих признаков на карте Д. П. Джуровича, часть которых, вероятно, будет отклонена современной наукой, должен решаться в связи с общим вопросом — какие историко-фонетические показатели следует принимать во внимание и выделять в первую очередь для классификации славянских языков с историко-фонетической (грамматической) точки зрения. Приведенные выше перечни показывают, что самым полным и систематизированным является перечень Г. Ю. Шевелева и что пока нет единого мнения относительно числа и характера историко-фонетических дифференцирующих признаков.

В наше время уместно вновь поставить вопрос о хронологии признаков, о их иерархии и их числе на каждом языковом уровне. Неограниченное и особенно необоснованное увеличение числа признаков может лишь усложнить и без того достаточно неясную картину первоначального распределения праславянских диалектов. Поэтому исключительное значение приобретает вопрос о весе (valeur) классифицирующих признаков. Кроме того, следует учитывать возможность этнической чресполосицы, инфильтрации одной праславянской этнической группы (одного диалекта) по отношению к другой (см. на карте Д. П. Джуровича сербскохорватско-болгарскомакедонскую смешанность на пограничье с русским этносом), а также необходимость, особенно при рассмотрении лексики, членения современной лингвистической карты Славии на лингвистически и этнографически «автономные» более мелкие ареалы, чем ареалы отдельных языков[4], о чем свидетельствуют хотя бы еще не опубликованные лексические карты Общеславянского атласа, в котором изоглоссы, особенно изолексы, нередко идут не по границам «национальных» языковых регионов, а внутри этих регионов. Это принудило, в частности, в ряде случаев Г. Ю. Ше-

---

[4] Мне приходилось уже отмечать, что «реконструкция праславянских лексических отношений, праславянской лексической дифференциации требует разделения всего современного славянского языкового континуума, или ландшафта, на части и зоны более дробные и меньшие, чем нынешнее членение на языки. Даже при сравнении, скажем, белорусского и болгарского языков нужно сравнивать отдельные крупные (и даже мелкие) диалектные зоны, как, например, восточно-полесская зона, шопская зона, родопская зона и т. п.» (Толстой, 1977а, с. 117).

велева к частичной заштриховке отдельных квадратов, символизирующих тот или иной современный славянский язык, или к заштриховке их двумя или даже тремя видами. Некоторые современные малые диалектные ареалы могут оказаться реликтами гораздо более обширных ареалов в прошлом (такую возможность предусмотрел Д. П. Джурович для кашубского праславянского диалекта). Это следует учитывать, так же как следует иметь в виду, что некоторые общие, одинаковые языковые показатели настоящего времени не обязательно свидетельствуют о соседстве их носителей в прошлом. Помимо фактора соседства могли действовать факторы центра и периферии, параллельной инновации, географической и культурной замкнутости и т. п.

Д. П. Джурович назвал свою карту — «Карта говоров общеславянского языка (Приблизительное распределение славян после дифференциации славянского языка)». Он поместил славян в пределах, начинающихся несколько севернее нижнего течения Нарева и Западного Буга, простирающихся южнее Припяти и западнее среднего Днепра, севернее и северо-западнее зоны верхнего течения Днестра, Прута и Серета, заселенной славянами, севернее верховьев Тисы, Вислы и Одры и западнее течения верхней Лабы, верхней Спревы и средней Одры, наконец, севернее Варты и нижнего течения Вислы (см. карту). По Д. П. Джуровичу, славяне в период после дифференциации выходили к Балтийскому морю клином.

Карта Д. П. Джуровича во многих отношениях совпадает с картой распространения в первой половине первого тысячелетия после Р. Х. двух славянских археологических культур — пшеворской и зарубинецкой, выполненной в 1975 г. Рудольфом Ямкой на основании новейших достижений польских и других славянских археологов (Jamka, 1975). Правда, на польской карте 1975 г., естественно, не обозначающей внутренней дифференциации славянства, северная, балтийская граница славян проведена по всему побережью от Поморского (Штетинского) до Гданьского залива, а на востоке славянам отведена в бассейне Десны небольшая часть днепровского Правобережья, но во многих других случаях обозначенные пределы славян совпадают до деталей. Карта Д. П. Джуровича имеет немало общего и с картой В. В. Седова, помещенной в его книге 1979 г. «Происхождение и ранняя история славян» (с. 54). Различия обнаруживаются

лишь в западной границе и в юго-восточной: на западе В. В. Седовым очерчивается отдельный славянский остров на средней Лабе, а на юго-востоке верховья Буга, Прута и Серета не обозначены как славянские; на северо-западе же, по В. В. Седову, на рубеже нашей эры славяне вообще не выходили к Балтийскому морю.

Определение Д. П. Джуровичем границ славянства эпохи распада праславянского языка и до начала великой миграции славян выдержало, таким образом, испытание временем. Выдержит ли то же испытание его определение границ праславянских диалектов — покажет будущее, так как пока еще никто не решился дать столь же подробную и конкретную карту праславянского членения. К. Мошинский в своей книге о первоначальном распространении праславянского языка (Moszyński, 1957) не дает карты этого языка. Не́ дал такой карты и А. А. Шахматов в «Введении в курс истории русского языка» (Петроград, 1916), не дали ее многие другие слависты, авторы сравнительных грамматик и курсов, вводящих в изучение славянских языков.

* * *

P. S. Экземпляр книги Д. П. Джуровича, хранящийся в моей личной библиотеке, достался мне в одном из счастливых походов по московским букинистам в мае 1958 г., в канун Московского съезда славистов. Он ранее принадлежал известному московскому слависту проф. В. Н. Щепкину, что легко устанавливается по дарственной авторской надписи: «Многоуважаемому Проф. Вячеславу Николаевичу Щепкину отъ автора. Варшава 25/VIII 1913».

Книга испещрена карандашными пометками и даже рисунками В. Н. Щепкина, иногда довольно резкого содержания вроде: «старо!» (с. 3), «но какъ иначе!» (с. 4), «Но однако! вѣдь не всѣ раздѣлятъ Вашу схему, и потому сошлитесь на Ваши авторитеты!» (по поводу изложения системы гласных, с. 6), «не формулированы условія фонетич(ескаго) закона» (по поводу перехода *ă* > *е* в чешском, с. 17–18), «Нельзя писать книгу исключительно на Шахматовскихъ дрожжахъ» (в конце раздела «Звук *е*», с. 44) и т. д., и т. п.

Однако, отказавшись от разбора книги Д. П. Джуровича в целом, мы, естественно, не можем сейчас разбирать и замечания В. Н. Щепкина, который, по воспоминаниям современников, в том числе и моего дяди проф. П. С. Попова, был человеком довольно нетерпимым к инакомыслящим, но искренне преданным

науке, славяноведению, славянским народам. Глубоко приверженным филологии и славянству был и проф. Д. П. Джурович, жизнью своей и своей трагичной смертью в мае 1945 г., за несколько дней до конца войны, в концентрационном лагере Маутхаузен (Австрия) доказавший свою преданность родному сербскому народу и его единоплеменным братьям. Люди уходят, а их дела остаются!

Сокращения на карте и в диаграммах:

По Д. Джуровичу: *БМ* — болгаро-македоняне, *К* — кашубы, *Л* — сербы-лужичане, *П* — поляки, *ПЛ* — полабские славяне, *Р* — русские, *СК* — словаки, *СН* — словинцы (словенцы), *СХ* — сербо-хорваты, *Ч* — чехи.

По О. Н. Трубачеву: *Б* — болгарские, *ВЛ* — верхнелужицкие, *ВС* — восточнославянские, *М* — македонские, *НЛ* — нижнелужицкие, *ПЛ* — полабские, *ПМ* — поморские, *С* — сербские, *Х* — хорватские, *Юж. Г.*, *Св. Г.* — южная группа и северная группа, *П*, *СК*, *СН*, *Ч* — как у Д. Джуровича.

По А. Фурдалю: *ЛХ* — лехитские, *ЧС* — чешско-словацкие, *СХС* — сербскохорватско-словенские. Остальные — как у Д. Джуровича, но обозначаются прилагательным к слову *диалекты*.

В диаграмме Г. Шевелева сокращения даны, как у Д. П. Джуровича и О. Н. Трубачева. В оригинале схемы О. Н. Трубачева все славянские прадиалекты обозначены с префиксом *пра-*.

„Карта говоровъ общеславянскаго языка" Д. П. Джуровича 1913 г.

Схема праславянских диалектов по А. Фурдалю 1961 г.

Схема праславянского членения начала н. э. О. Н. Трубачева 1963 г.

Диаграмма 3 Г. Ю. Шевелева. Распределение древних рефлексов сочетаний типа **tьr(l)t, *tъr(l)t* (легенду см. на с. 258)

И. И. Срезневский — диалектолог

«В языке народ выражает себя полнее и многостороннее, чем в чем-либо другом — не только в последнем своем положении, но и исторически. Все, что есть у народа в его быте и понятиях, и все, что народ хочет сохранить в своей памяти, выражается и сохраняется языком. В высшем своем жизненном и исторически важном применении язык становится орудием и проводником всех потребностей образованности народа: жизненных правил, научных знаний, религиозных верований и художественного вкуса».

(И. И. Срезневский. Энциклопедическое введение в Славянскую филологию. Лекции, читанные в 1876/77 учебн. году).

Об Измаиле Ивановиче Срезневском как диалектологе можно и нужно написать книгу. Такая книга была бы полезна во многих отношениях. Во-первых, она дала бы более ясное и полное представление о И. И. как слависте, во-вторых, она показала бы на примере трудов и записей выдающегося русского филолога состояние славянской диалектологии в середине XIX в., в-третьих, она представила бы современной лингвистической науке очень ценный, в основном неопубликованный материал в записях более чем столетней давности, наконец, она бы дала новые факты о научных и личных связях русских филологов с филологами зарубежными на раннем этапе развития мирового славяноведения. Надо надеяться, что такая книга будет написана и все архивные записи напечатаны, ибо до тех пор, пока это не будет сделано, все работы о И. И. — диалектологе будут носить предварительный характер. Именно такой характер и имеет настоящая статья, так же как и ряд предыдущих статей других авторов, о которых речь пойдет ниже.

Почти все диалектологические исследования и записи И. И. относятся к раннему периоду его научной деятельности, к 1840–1842 гг., когда он совершал свое знаменитое путешествие по зарубежным славянским землям. Русскому

университетскому славяноведению на заре его расцвета удалось направить своих молодых воспитанников за границу для подготовки к чтению нового, введенного университетским уставом 1835 года, предмета — история и литература славянских наречий. В инструкции командированным, выработанной в Московском университете и принятой в основном другими университетами — Петербургским, Казанским и Харьковским, значилось, что «летнее время он (командированный. — *Н. Т.*) должен проводить в путешествии по замечательнейшим и наименее исследованным странам, входить под мирную кровлю поселянина, сдружиться с ним душою и беседою и выпытать у него все, что только напоминает славянина, не оставляя без замечания и чуждого влияния, которое стерло в нем черты его народного первообраза», зимнее же время следовало проводить в городах, «пребывание в которых могло бы быть для него поучительно: там с помощью библиотек, богатых собраний, в беседе с учеными мужами он поверит свои наблюдения, на досуге приведет в порядок и систему собранные им материалы» (Срезневский, 1913, с. 11–12). На таких условиях, как известно, выехали в славянские страны П. И. Прейс, О. М. Бодянский, В. И. Григорович и И. И. Срезневский. Они добросовестно выполняли поставленные им условия и заложили прочный фундамент русского славяноведения, отличавшегося всегда той широтой и многосторонностью охвата предмета, которую мы теперь нередко называем несколько казенным словом «комплексность», но которая не давала русской науке замыкаться в кабинетные рамки, требуя от ученого последовательного и самостоятельного прохождения всех стадий научного процесса — от сбора «сырого» (чаще всего «полевого») материала и первоначальной обработки до его конечного преобразования в исследования — статьи, монографии или публикации.

Путешествие И. И. длилось три года: 17 сентября (по старому стилю) 1839 г. он выехал из Харькова, а 23 сентября 1842 г. вернулся в Харьков. Первоначально он жил в Берлине, Праге и Вене, где изучал славянские языки, санскрит и работал в музеях. Лишь в мае 1840 г. из Праги и из Вены он выезжал в путешествия по Чехии и Моравии. Затем его путь лежал во Вроцлав (Вратиславль), откуда 6 августа 1840 г. он отправился в Ополе «к слезакам» (полякам-силезцам) и занимался там этнографическими и диа-

лектологическими наблюдениями. Августовские дни были посвящены изучению «слезакской» речи и фольклора, а сентябрьские и октябрьские — наблюдениям за обычаями, песнями, бытом и языком верхних и нижних сербов-лужичан. После зимнего перерыва, отведенного в Праге и Вене на занятия в библиотеках и архивах и на подготовку к посещению южнославянских земель (этнографические занятия с Шафариком, уроки сербского языка у Караджича и т. д. и т. п.), ранней весной 1841 г., в конце февраля по старому стилю, И. И. направился в Словению и Штирию (Градец = Град, Марибор = Марбург, Птуй), в Хорватию (Загреб = Аграм, Бистрица, Крапина) и снова в Словению (Ново Место, Любляна, Крань, Целовец = Клагенфурт, Горицу, Резью). Это путешествие началось в первых числах мая и закончилось в Триесте в середине июня. Из Триеста совместно с П. И. Прейсом И. И. направился в Далмацию, доехав до ее южного побережья, посетив Черногорию (Сень, Крк, Оточац, Госпич, Паг, Нин, Задар, Шибеник, Сплит, Котар, Цетинье, Дубровник) и вернувшись пароходом на север Адриатики в Риеку в самом конце июля. В начале августа 1841 г. И. И. проездом через Карловац (Хорватия) снова посетил Загреб, где встречался с Гаем и с другими хорватскими национальными лидерами. Там он провел весь август и половину сентября, выезжая время от времени в хорватские местечки и поместья. С середины сентября продолжалось путешествие по Хорватии, Славонии и по Срему (Градишка, Брод, Винковцы, Вуковар, Митровица, Крушедол, Петроварадин), а 1-го октября И. И. приехал в Белград, откуда и совершил поездку по Сербии вплоть до Алексинца (через Крагуевац и Крушевац), с возвращением в Белград и отъездом в Пешт (Будапешт). Научная экскурсия в Сербию длилась двадцать дней. Еще в Загребе, на обратном пути из Далмации, И. И. встречался со словаком Колларом — «превосходным человеком, фанатиком в любви к Славянству» (из письма И. И. к матери от 15. IX. 1841 г.), с ним же он снова встретился в Пеште. Пробыв около недели в Пеште, И. И. вновь отправился на зимние штудии в Вену, где пробыл декабрь, январь, февраль и половину марта. Последний год своих полевых наблюдений и диалектологических разысканий И. И. начал в Словакии. 19 марта 1842 г. И. И. выехал из Вены в Братиславу, где прожил около месяца, встречаясь со словаками, изучая их язык и временами выезжая в окрестности,

а затем направился в путешествие по Словакии и Венгрии, побывав в Тернаве, Глоговце, Нитре, Эстергоме (Остригоме), Паркане, Вышеграде. С начала мая и до второй половины июня (по старому стилю) И. И. посещал Штявницу, Лиготку, Кремниц, Тренчин, Сучаны, Банскую Бистрицу, Св. Микулаш, Левоч и другие пункты. Таким образом, основная полевая работа велась в северной части среднесловацкой диалектной территории, в пределах Липтовских гор и Татр. В начале июня И. И. направился через Прешов в Ужгород (Унгвар) и, почти не задерживаясь в этом городе и Мукачеве, проехал во Львов, где пробыл десять дней. Затем с непродолжительными остановками в пути, через Краков, Вроцлав (Вратиславль), Познань, Варшаву, Ковно и Вильну вернулся в конце августа в Россию, а через двадцать дней и в родной Харьков (Срезневский, 1895, с. 357–363).

И. И., как явствует из его писем, воспоминаний современников и других свидетельств, был человеком открытым, общительным, доверчивым и добрым, готовым всегда понять собеседника и найти с ним общий язык (Русское и славянское языкознание, 1980, с. 73–106; Памяти Срезневского, 1916). Эти последние слова нужно понимать не только в переносном, но и в прямом смысле, так как со всеми славянами он старался говорить на их языке, и это ему в большинстве случаев удавалось. Часть путешествия И. И. провел вместе с П. И. Прейсом, но диалектологические разыскания И. И. всегда были самостоятельными и единоличными. Лишь иногда И. И. прибегал к посредству местных ученых и писателей при знакомстве и работе с информаторами. Склонность И. И. к полевой работе хорошо подметил П. Й. Шафарик, сказавший однажды П. И. Прейсу относительно его возможных совместных со Срезневским поездок следующее: «Как бы хорошо вам вместе путешествовать по Сербии и Болгарии: Вы бы покопались в библиотеках, он бы побродил между народом!» (Срезневский, 1895, с. 182). Впоследствии в своих многочисленных исследованиях и заметках о древних славянских рукописях И. И. доказал, что он не менее успешно может «копаться в библиотеках» и древлехранилищах и делать в области истории древнерусского и древнеславянского языка значительные открытия.

При жизни И. И. опубликовал лишь часть своих диалектологических записей и разысканий. Эта часть относилась в основном к довольно обширным словенским материалам.

Материал же словацкий, силезский, сербскохорватский и серболужицкий оставался и во многом остается до сих пор неопубликованным. Словацким и силезским записям И. И. посвящены отдельные статьи Н. А. Кондрашова, С. Роспонда, Е. Кухарской. Последней принадлежат и ценные публикации полевых наблюдений И. И. Словацкие же блокноты Срезневского опубликованы выборочно в виде отдельных слов и дневниковых листов.

Как отмечалось выше, внимание И. И. более всего привлекали северные и отчасти центральные пределы среднесловацких говоров, главным образом зона Липтовских гор и Липтовской котловины, однако он имел и записи западнословацкой диалектной речи (в Трнаве, Тренчине, Жилине), так же как речи восточнословацкой (Шаришская Верховина, Земплин) и речи гемерской (юго-восточной части среднесловацкой зоны). Большинство словацких записей принадлежит И. И., но он собирал и чужие автографы с фиксацией диалектной речи (Ю. Томбы, Б. Носака, Л. Гала, Я. Гловыка, Я. Клинчака и др.). Так, в архиве И. И. оказались заметки по фонетике и морфологии тренчинского говора, по фонетике шаришского наречия, по фонетике, морфологии и лексике муранского говора в Гемере, образцы жилинского, земплинского, шаришского, липтовского, гемерского, гонтянского и других диалектов. Образцы эти содержат богатый фольклорный материал, так как помимо диалогов, монологов и других типов диалектной речи записывались сказки, пословицы, песни и т. п. (Кондрашов, 1959; Архив ЦГАЛИ, ф. 436). Самым большим начинанием И. И. по словацкой диалектологии были рукописные «Материалы для словаря наречий горных словаков, собранные мною во время путешествия» (Кондрашов, 1958; Архив АН, ф. 216, опись I, № 511). Словарь имеет пять тетрадей общим объемом в 135 больших листов (материал дан в три столбца), в которых помимо собственных полевых записей имеются слова, сообщенные А. Г. Шкультети и Самкой (гемерские и липтовские), Цохиусом (оравские) и др., а также выписки из сборников песен Я. Коллара. Словарь отражает лексику среднесловацких диалектов и содержит более 7000 слов и 700 выражений. И. И. не обобщил своих наблюдений над словацкими диалектами. По справедливому замечанию Н. А. Кондрашова, «только в своей рецензии на “Slovanský národopis” П. Й. Шафарика он блестяще применил свои на-

блюдения над словацкими говорами. Здесь он точно указал границы распространения словацкого языка и со знанием дела полемизировал с П. Й. Шафариком по поводу групп *tl*, *dl* в словацком языке» (Кондрашов, 1959, с. 166). Нужно учесть, что материалы И. И. были собраны в марте—июле 1842 г., т. е. до появления работ и описаний по словацкому языку (и диалектам) Л. Штура, М. Годжи, М. Гатталы, а тем более Ф. Пастрнка, С. Цамбеля, А. Г. Шкультети и др. Из словацкого полевого собрания И. И. опубликовал лишь купальские песни (из Шариша) и ряд пословиц (из Малого Гонта) (ПОНЯС, II, стлб. 247–250; 159–160), в дополнение к другой фольклорной публикации — «Словацкие песни», осуществленной им двадцатью годами ранее, в 1832 г. (Срезневский, 1832). И. И. не дал и не предложил в общих чертах классификации словацких диалектов, однако он сумел собрать материал из разных зон, обратив основное внимание на ту, которая вскоре была выделена и избрана писателями и филологами в качестве диалектной базы нового словацкого литературного языка.

Для наблюдения над польской диалектной речью И. И. избрал Силезию-Шленск и силезские говоры Опольской округи. Как и в Словакии, он не пропускал ни одного случая, удобного и неудобного, для записи народной речи. В связи с этим возникало немало трудных и комических случаев, часть которых он сам с юмором описал в письмах к матери (разговор с подвыпившим слезаком, вынимавшим из кармана бутылку за бутылкой, с горничной гостиницы и т. п.). В итоге И. И. сделал немало ценных этнографических наблюдений, записал ряд песен и познакомился с живой силезской речью. Лингвистические наблюдения были обобщены в статье «Записка о наречиях слезских», а фольклористические — в статье «Народные špjewki горных слезаков» (Срезневский, архив, оп. I, ед. хр. 441, 447; опубликовано: Wieś śląska, 1973, s. 55–70 и 75–85). Обе эти статьи до недавнего времени оставались в рукописном виде. В «Записке о наречиях слезских» И. И. отмечает, что «всех славян слезских 880 000 (из них говорящих на «мораво-слезском наречии» не более 80 000) и что «одни из слезаков принадлежат к отрасли славян лехитской, а другие к чехославянской», поэтому «два главные слезские наречия отличаются одно от другого столько же, как, например, наречие кашебское от древне-полабского, если не более» (Wieś śląska, 1973, s. 76).

И. И. описывает эти наречия порознь, сравнивая факты мораво-силезские с явлениями чешского языка. Довольно подробно излагается фонетическая система и фрагментарно — морфологическая; совсем не затрагивается синтаксическая сторона, в то время как лексическая представлена небольшим списком слов. Тем не менее работа И. И. о силезских диалектах после сочинения Я. С. Бандтке, М. Р. Фидлера и одного анонимного автора начала XIX в. была серьезным шагом вперед в деле систематического описания силезских говоров. Лишь крупные работы 70-х годов того же века Л. Малиновского, выполненные в духе младограмматической школы, серьезно превзошли силезские этюды И. И. Срезневского. В сороковые и пятидесятые годы, однако, ничего подобного в силезской диалектологии не существовало. По авторитетному свидетельству С. Роспонда, «Записка» И. И. были фактически кратким очерком силезской диалектологии, а не отрывочной фиксацией отдельных диалектных черт, как это было характерно для работ его предшественников. Тем не менее И. И., видимо, считал свой очерк предварительным, а свое знакомство с силезскими говорами из-за кратковременности своего пребывания в Силезии недостаточным, и потому не побеспокоился о публикации своего очерка. Более 130 лет он был неизвестен славистам, а в наше время он уже только свидетельствует о хорошей подготовке, большой наблюдательности и научной прозорливости автора. Классификация, предложенная И. И., близка к той, которую в наше время выдвигают К. М. Пшивара и Р. Олеш, разделяющие силезские говоры на мазуракающие (северные и центральные говоры) и немазуракающие (южные — тешинские и соседние говоры)[1]. В то же время различия между «польско-силезским» и «моравско-силезским» наречиями не столь значительны, как это казалось И. И. Срезневскому (Dejna, I–II).

Записями явлений и текстов словацких говоров И. И. завершил свое трехгодичное диалектологическое турне по зарубежным славянским землям. Турне это, как известно, было не только диалектологическим, однако наблюдениям за живой славянской речью отводилась важная роль. Собирание словацких материалов свидетельствует уже о немалом

---

1 См. статьи С. Роспонда, Е. Кухарской и А. Наша в кн.: Wieś śląska, 1973; а также Bąk, 1974; Zaręba, I–VIII.

опыте Срезневского-диалектолога, уделявшего все большее внимание лексике, трудоемкой и благодарной сфере языковедческих штудий. Однако и первые шаги на диалектологическом поприще в Словении, как видно из истории словенской диалектологии, были и самостоятельными, и плодотворными. Они принесли большую пользу науке еще и потому, что были своевременно опубликованы. Путь от Штирии до Триеста, собственные диалектные записи и знакомство с чужим, хотя и довольно отрывочным и по современным представлениям весьма скудным материалом позволили И. И. первому среди славянских филологов дать достаточно подробную и убедительную классификацию словенских говоров, представить общую картину диалектного дробления словенского языка. Под свежим впечатлением своего путешествия по Словении И. И. написал и опубликовал в «Журнале министерства народного просвещения» статью «О наречиях славянских» (Срезневский, 1841). Помимо удивительной скорости написания статьи (И. И. при этом продолжал свое путешествие) и еще большей быстроты публикации, нельзя не отметить большую фактическую осведомленность автора, его научную точность и прозорливость, подтвердившуюся историей словенской диалектологии как науки. И. И. довольно четко определяет границу распространения словенского языка в Каринтии и Штирии, в Фурландии (Фриуле), в Хорватии и Венгрии, отмечает теперь уже хорошо известную чрезвычайную диалектную дробность словенского языка («что касается разнообразия местных наречий, то здесь, как у Кашебов, почти каждый приход отличается от другого или выговором некоторых букв, или употреблением тех или других слов. Без сомнения, сие разнообразие наречий нельзя объяснять влиянием чужеземщины») (Срезневский, 1841, с. 136), выделяет главные диалектные признаки и на их основании определяет основные диалектные зоны. Принципы выделения этих признаков и зон представляются нам актуальными и неустаревшими. Они применяются и сегодня и оплодотворяют нашу диалектологическую и лингвистическую науку. Вот как пишет об этом сам И. И.: «Во время путешествия моего по землям Словенским, я старался, сколько было возможно, и сам наблюдать и других расспрашивать касательно отличий местных наречий Словенских, и успел, как мне кажется, внести в свои записи все главное по сему предмету. Соединения красок могут быть до бесконечности разнообразны, но количество самых

красок все же остается небольшим: так и здесь. Я не мог и желать заметить все сближения признаков отличий языка, какие можно найти в разных местах у Словенцев; тем большее внимание обратил на самые признаки отличий, и старался понять характеристику главных наречий» (там же, с. 137). В этом пасусе особенно интересно образное сравнение с красками и комбинациями красок, вернее их оттенками («соединениями»). Важно и стремление И. И. членить диалекты не по одному признаку (одной «краске»), а по целому ряду признаков («по количеству самих красок»), обращая при этом особое внимание на признаки отличий, а не на «сближения признаков отличия языка». В общем, говоря языком современной структурной диалектологии, И. И. склонялся к созданию матрицы идентификации диалектов, построенной по иерархическому принципу. Этого же иерархического принципа И. И. придерживался и в лингвогеографическом аспекте, разделяя крупные территориальные зоны (наречия) на более мелкие и, наконец, на дробные местные наречия. Но даже такое, казалось бы, очевидное постепенное территориальное деление диалектов в первой половине XIX в. было для славянской диалектологии новым и принципиально важным (ср. ниже о членении В. И. Далем великорусских диалектов).

В 1841 г. в упомянутой статье И. И. выделил 18 словенских наречий (нижне-краинское, верхне-краинское, средне-краинское, полянское, циркницко-рыбницкое, липавское, идрианское, толминское, богинское, плесское, словинское, резьянское, зильское, рожневское, забельское, штирийско-каринтийское, драво-мурское, или собственно штирийское, угро-штирийское). Несколькими годами позже, в 1845 г., в статье «Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских» (Срезневский, 1845) И. И. сократил число основных диалектных групп до восьми, выделив наречия: верхнекраинское, нижне-краинское, словинское, резианское, зильское, забельское, штирийское и угро-словенское (с. 150). Эта классификация приближается к современному членению, предложенному в 1931 г. Ф. Рамовшем (Ramovš, 1931), на основе которого выделяются семь диалектных групп: гореньская, доленьская, каринтийская, штирийская, паннонская, ровтарская и приморская[2]. Однако нынешняя

---

[2] Гореньской группе, по терминологии И. И., соответствует верхне-краинская, доленьской — нижне-краинская, каринтийской, в общем, —

общеизвестная классификация, во многом схожая с классификацией И. И., была принята не сразу, а лишь после длительных и настойчивых поисков оптимального проекта. Еще знаменитый Ф. Миклошич, следуя принципу А. Шлейхера, который стремился диалектный континуум изучаемого языка расчленить сначала на два массива, а потом на меньшее число частей, разделял словенские наречия на северо-западные и юго-восточные по характеру произношения старого ятя: *ě* > *ie* и *ě* > *ei*. В. Облак предлагал проводить другую основную диагональную изоглоссу — не с юго-запада на северо-восток, а с северо-запада на юго-восток, т. е. членить все говоры на северо-восточные и юго-западные по рефлексам древних редуцированных: *ъ, ь* > *е* и *ъ, ь* > *а*. Классификации Ф. Миклошича, В. Облака, так же как и предложения подобного рода И. А. Бодуэна де Куртенэ, М. Мурко и др., обладали целым рядом недостатков и непоследовательностей. По мнению Ф. Рамовша, можно было бы считать, что до начала 30-х годов XX в. проблема классификации словенских диалектов и не ставилась серьезно, если бы не было «капитальной» работы И. И., появившейся раньше других работ, решающих так или иначе вопрос о диалектном членении словенского языка. Крупнейший словенский диалектолог полагает, что И. И. «правильно учел факторы, приведшие к такому разнообразию диалектов», и далее цитирует мнение И. И. о том, что «сие разнообразие наречий нельзя объяснить влиянием чужеземщины. Может быть, действовала и она, но еще сильнее, как мне кажется, было влияние недостатка народонаселения и промышленности, недостатка сближения между разными частями народа: под этим отрицательным влиянием язык легко мог развиваться в своей мелодии и гармонии в одном месте так, а в другом иначе: время укрепляло, узаконяло местные отличия, — и еще не успело, вследствие распространения промышленности и торговли, стереть их, а только кое-где смешало» (Ramovš, 1931; Срезневский, 1841, с. 136–137). Ф. Рамовш справедливо отмечал, что работа И. И. была напрасно забыта и что деление И. И. словенского диалектного континуума на 18 диалектов, а затем на восемь, куда входят и выявлен-

---

зильская, паннонской — угро-словенская, ровтарско-приморской, в некотором отношении, — словинская. Миниатюрная группа резьянская, как особая, в принципе выделяется и Ф. Рамовшем, и И. И. Срезневским.

ные восемнадцать, наиболее удачно. Сам Ф. Рамовш, как отмечалось выше, разделил территорию распространения словенского языка на семь диалектных групп, включающих в себя 49 диалектов.

Выдвинув принцип постепенной классификации диалектов, притом не по одному, а по ряду показателей, И. И. предвосхитил некоторые дискуссии нашего времени о методах вычленения отдельных диалектов из общего диалектного континуума. В славянском языковом мире известны факты, когда изоглосса одного яркого признака совпадает с пучком изоглосс (а также изопрагм и изодокс) других признаков (изоглосса ятя в болгарских говорах или аканья в великорусских), но немало случаев, в том числе с диалектами словенскими, польскими и белорусскими, когда такая совместимость не наблюдается[3]. Однако возможность учета сразу целого ряда (списка) признаков в равной мере существует для всех славянских языков и диалектных континуумов (Терновская, 1975).

Помимо уже упомянутых работ И. И. по словенским диалектам, можно указать еще на ряд его статей по резьянским и «словинским» (приморским) говорам (Sreznewski, 1841; Срезневский, 1843; 1844; 1881), насыщенных интересными этнографическими и географическими фактами, а также на оставшиеся в рукописи «Песни, пословицы и сказки хорутанских словенцев, собранные во время путешествия» и на публикацию нескольких каринтийских (хорутанских) песен с комментариями. Занятия И. И. положили начало непосредственному изучению словенских, в том числе и резьянских, диалектов русскими славистами, среди которых почетное место занимает И. А. Бодуэн де Куртенэ. Но об этом я уже имел возможность писать в другом месте (Толстой, 1960; наст. изд., с. 285–301).

Пытливый ум и внимание И. И. были направлены и на сербскохорватскую диалектную зону, где он также вел свои наблюдения и записи. И. И. работал преимущественно в Хорватии, и то в основном в той ее части, которая примыкает к Загребу, к его ближним и дальним окрестностям (Вараждин, Крапина, Карловац и др.: см. маршрут путешест-

---

3 См. полемику Й. Хамма и П. Ивича о принципах классификации диалектов: Хамм, 1965; Ивич, 1966. См. также ценную работу: Dejna, 1973.

вия). Свои наблюдения И. И. обобщил в статье-отчете «О наречиях хорватских», которая осталась в рукописи и до сих пор неизвестна широкому кругу славистов[4] . Судя по фактам, И. И. описывает некоторые черты кайкавских говоров (*ъ, ь* > *е*; *ě* > *е* и др.), которые он называет «посавскими», но поясняет, что их зовут и «кайкавскими» и распространены они «в северной части Вармежии — Загребской, Крижевской и Вараждинской». Некоторое внимание уделяет он и наречию чакавскому, которое «с небольшими различиями употребляется как на юг от хорватской Босны в приморской военной границе хорватской, так и вообще в Адриатическом приморье хорватском, в архипелаге Кварнерском и Истрии». Во многих случаях описание основных фонетических и морфологических особенностей кайкавских и чакавских говоров сопровождается сравнениями с явлениями словенских диалектов и диалектов сербских (штокавских). Такое сравнение И. И. считал необходимым и отмечал во многих случаях некоторые переходные черты и переходные говоры, справедливо рассматривая южнославянские диалекты на фоне всего лингвистического ландшафта славянского Юга или какой-то его части, преимущественно западной. К сожалению, еще не установлено, является ли черновая рукопись И. И., выставленная в 1912 г. в Петербурге на выставке, посвященной столетию со дня рождения И. И. Срезневского, под названием «Отличия наречия хорватского безъяцкого от словенских» (Описание выставки, 1913, с. 18)[5], частью рукописи «О наречиях хорватских», копия которой сохраняется в архиве А. А. Потебни, или нет. Не исследована и бывшая на той же выставке тетрадь «Разные разности хорватские» с песнями, переводами из Евангелия, отдельными словами, равно как и некоторые другие материалы, относя-

---

4 Статья эта обнаружена В. Ю. Франчук в архивных материалах А. А. Потебни, хранящихся в Отделе Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР (фонд 73, ед. хр. 3; 11 ненумерованных листов). Она переписана рукой А. А. Потебни и снабжена пометой после заголовка «Ненапечатанная статья пр. И. Срезневского» (тоже рукой А. А. Потебни). Приношу искреннюю благодарность В. Ю. Франчук за предоставленную мне возможность ознакомиться с машинописной копией этой статьи.

5 Следовало бы переиздать библиографию трудов И. И., составленную А. Ф. Бычковым (Сб. ОРЯС, 1880, т. XXII, прил. № 6), с дополнениями (издания XX в. и т. п.) и приложить к ней подробную опись архивных материалов И. И. (ЦГАЛИ, Архива АН и др.).

щиеся к отчетам и записям из путешествия по Хорватии и Сербии. Все же часть этого материала опубликована И. И. при жизни в академических изданиях. Это — сербские песни, собранные в Дернише в Далмации, сербская песня «Секула дијете» и песня перойских (истрийских) черногорцев «Невовјица Стипе каваљира» (ПОНЯС, II, стлб. 195–206 и 243–248; III, стлб. 281–286).

Отдельного рассмотрения требуют занятия И. И. лужицко-сербскими и кашубскими диалектами. Как и во многих случаях с другими славянскими языками, и здесь было бы важно исчерпывающее обследование архивных источников. О научных, культурных и фольклористических связях И. И. с серболужичанами, а также с чехами, словаками и поляками в последнее время писалось много (см. работы М. Ю. Досталь, С. Б. Бернштейна, П. Недо, А. В. Крюкова, К. И. Ровды, С. И. Левинской и др.)[6], однако ждут своего лингвистического рассмотрения «Записка о наречиях и народной словесности лужицких сербов» и некоторые лужицко-сербские рукописные материалы И. И.

Определенный интерес представляют и мелкие заметки И. И. по отдельным славянским диалектным зонам и их особенностям, такие, как «Записка о трудах г. Цейновы касательно Кашебов, их земли и наречия», «Записка о словаре малорусского наречия, составленном А. Афанасьевым» или «Записка о трудах г. Носовича касательно наречия белорусского» (см. ПОНЯС, I, стлб. 74–77; II, стлб. 199–204). Все эти записки, наряду с более крупными уже упомянутыми работами, имели, помимо диалектологического, еще один важный аспект. Они писались в ту пору, когда для всех славянских языков, кроме русского (великорусского), польского и чешского, решалась проблема формирования национальных (или регионального нормированного — для кашубского) литературных языков, решалась проблема диалектной базы литературного языка, нормы литературного языка и ее соотношения с диалектами (и не только с базовым диалектом). И. И. знакомился с литературно-языковой ситуацией в зарубежных славянских странах, в том числе и в Болгарии, которую он сам не посещал, но был знаком с болгарами и с болгарской книжностью того времени. Со многими

---

[6] Библиографию см. в статье «Срезневский» в кн.: Славяноведение, 1979, с. 320–321.

деятелями славянского национального возрождения, активными борцами за новый литературный язык и его нормы, И. И. был знаком лично и притом близко — с Караджичем, Гаем, Штуром, Смолером и др. Эта сторона деятельности И. И. также известна: в последнее время ей тоже уделено серьезное внимание (см. работы П. А. Дмитриева, Н. А. Кондрашова, С. И. Левинской и др.)[7]. Путешествие и встречи И. И. со славянскими литературно-языковыми деятелями происходили до или накануне важных историко-литературных событий, до революции 1848 года и Славянского съезда в Праге в том же году, до «литературного договора» в Вене сербов В. Караджича и Дж. Даничича, словенца Ф. Миклошича и хорватов Л. Гая, Д. Деметера, И. Кукулевича-Сакцинского и В. Пацеля 16.III.1850 года о единстве сербско-хорватского литературного языка, до активного выступления Л. Штура и штуровцев, до окончания конкуренции преднорм словенского литературного языка (метелчицы, опытов С. Враза, краньской, штирийской, каринтийской, прекмурской основ), до утверждения в литературе языка Ф. Прешерна, реформ Ф. Левстика, выступления Ф. Миклошича и др. И. И. хорошо понимал литературно-языковую ситуацию в тех славянских землях, в которых он побывал, и трезво оценивал значение диалектологических разысканий для нужд историко-литературных. Он писал, настаивая на необходимости обращать «тем большее внимание... на самые признаки отличий и... характеристику главных наречий». «Предмет этот важен не только в чисто филологическом отношении, но и для тех, кои посвящают себя изучению краинской литературы. Общего литературного словенского языка нет и не было. Каждый писатель писал и пишет своим местным наречием, думая только о том, чтобы не быть странным или непонятным для тех, кои говорят иным наречием! Так действовали не только писатели, но и самые лексикографы и грамматики: Гутсман и Ярник — корушцы, Копитар и Метелко — краинцы, Мурко и Дайнко — штирийцы; это заметно, сколько ни желали они стереть со своего языка, со своих понятий о языке словенском, местный колорит. Они сходятся между собою более всего в некоторых условиях правописания; но никто из них и не думал

---

[7] Библиографию см. в статье «Срезневский» в кн.: Славяноведение, 1979, с. 320.

выговаривать так, как писал. Дайнко и Метелко хотели, каждый по-своему, изменить старое правописание, заменить некоторые из букв другими, но и тут действовали каждый по своему местному чувству о языке. Словом, кто хочет отчетливо понять словенский язык, как язык, отличный от других языков славянских, тому остается изучать наречия местные, и из их сличения уже выводить заключения о характеристике словенского языка вообще» (Срезневский, 1841, с. 137–138).

«Понять словенский язык» старались и сами словенцы, их общественные деятели и писатели. Известно, как «паннонская теория» Ф. Миклошича, т. е. теория о древнесловенском происхождении старославянского языка, повлияла на становление норм словенского национального литературного языка, пришедшего на смену областным вариантам и опытам, о которых писал И. И., в середине и в начале второй половины XIX в. Влияли на становление единого словенского литературного языка и диалектологические познания и представления современников, но этот вопрос еще мало изучен и не поставлен в славистике сегодняшнего дня во всей полноте.

И, наконец, последнее. Заслуги И. И. нельзя оценить, не зная или не учитывая уровня славянской диалектологии в конце первой половины XIX в. В Чехии, Словении и Польше диалектология лишь зарождалась, некоторые более или менее систематизированные представления о сербских диалектах возникали у Вука Караджича (см. Белић, 1910), но о существовании в ту пору словацкой или лужицкой диалектологии говорить не приходится. Невысок был тогда и уровень русской диалектологии, хотя русские ученые были в более благоприятных условиях, чем ученые многих зарубежных славянских стран.

В 1841 г. появилась статья Н. И. Надеждина «Диалекты русского языка» (на немецком языке) (Nadeschdin, 1841)[8], основанная на некоторых его ранее высказанных взглядах о разделении русского языка (т. е. восточнославянского диалектного континуума, по современной, более принятой терминологии) на два главных наречия — южное («понтийско-

---

8 Ср. статью «Великая Россия» в Энциклопедическом лексиконе, изданном Плюшаром (СПб., 1837, т. IX, с. 261–276). Важной работой Н. И. Надеждина является также исследование «Об этнографическом изучении народности русской» (Надеждин, 1847).

русское») и северное («балтийско-русское»), т. е. на белорусское и малорусское. Третьим главным наречием, образовавшимся позднее, является восточнорусское. Восточнорусское (т. е. великорусское) наречие, по мнению Н. И. Надеждина, впитало в себя черты первых двух наречий, что отразилось в его двух главных диалектах — акающем и окающем. Другой труд, вышедший в 1839 году и принадлежащий М. А. Максимовичу, касался древней русской словесности и лишь отчасти — истории возникновения восточнославянских диалектов. По М. А. Максимовичу, украинские диалекты могут считаться отдельным языком, в то время как русские диалекты (и белорусские в их числе) делятся по признаку оканья и аканья на окающие — верхнерусские и нижнерусские (суздальские) и акающие — среднерусские и московские (Максимович, 1839). Известная статья «О наречиях русского языка» В. И. Даля появилась в 1852 году (Даль, 1852). В ней знаменитый русский лексикограф предлагает многостепенную классификацию, что отчасти присутствовало уже в труде М. А. Максимовича, однако многостепенность В. И. Даля более подробная и точная. Все русские говоры делятся на окающие (к северу от Москвы) и акающие (к югу от Москвы). Окающие в свою очередь распадаются на северные («новгородские») и восточные («владимирские и суздальские»), а акающие — на южные («рязанские») и западные («смоленские», белорусские). Кроме того, В. И. Даль выделяет еще московское наречие (общенародное), сибирское (смешанное новгородско-суздальское), новорусское (на юге России) и донское.

Членение русских диалектов В. И. Даля, как и кратко изложенные выше классификации славянских наречий И. И. Срезневского, отличаются от классификаций их современников и отчасти предшественников[9] прежде всего синхронно-типологическим подходом, при котором вопрос о происхождении (генезисе) диалектов не смешивается с вопросом о их различении по ряду языковых признаков.

---

9 См. глубокий анализ и объективную оценку научных результатов по классификации русских говоров В. И. Даля и его современников в статье И. А. Оссовецкого «Начальные этапы развития русской диалектологии» (Оссовецкий, 1961). Современное лингвистическое членение русских (великорусских) диалектов см. в кн.: Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1964 и Захарова, Орлова, 1970).

И. И. Срезневский независимо от В. И. Даля преодолел чувство излишнего пиетета к показаниям памятников и приоритета показаний письменных источников и обратился непосредственно к живой народной речи. И. И., будучи, вероятно, удовлетворенным точной и подробной для своего времени классификацией В. И. Даля, не занимался специально проблемой членения великорусских говоров. В «Мыслях об истории русского языка» он делил русский язык (иначе — восточнославянский континуум) на четыре основных части: северное (великорусское) и южное (малорусское) распадаются, по И. И., еще на две части каждое, первое — на восточное (собственно великорусское) и западное (белорусское), а второе тоже на восточное (собственно малорусское) и западное (русинское, карпатское). Такое деление И. И. считал относительно новым, а еще новее, по его мнению, были черты отличия говоров местных, на которые распалось каждое из русских наречий[10]. В одном, однако, И. И. пошел дальше В. И. Даля, предвосхитив развитие славянской диалектологии почти на полстолетия — в понимании необходимости для дальнейшего развития диалектологии — лингвогеографических исследований. Эти мысли И. И. выразил в своей работе «Замечания о материалах для географии русского языка», в которой он отметил, что «первой принадлежностью... лингвистической географии должна быть... карта языков, наречий и говоров» (Срезневский, 1851, с. 6).

Весьма значительна заслуга И. И. и в разработке принципов собирания материала и издания первого славянского академического диалектного словаря — «Опыта областного

---

10 В своих «Мыслях...» И. И. не ставил цели выработать классификацию великорусских или восточнославянских (русских) диалектов. Он говорил о том, как исторически складывался русский язык и некоторые его наречия. Здесь он предложил традиционный генетический подход, которым пользовался еще митрополит Евгений (Болховитинов). Митрополит Евгений в письме к П. И. Кеппену выделял «российские наречия» — церковнославянское, новгородское, киевское, владимиро-суздальское, белорусское (с XIV в.) и киевско-малороссийское. Классификация произведена по памятникам и потому смешивает особенности книжные и историческо-диалектные. Все же, если отстранить церковнославянский как общеславянский и книжный, выделяются два севернорусских диалекта, два «малороссийских» и один белорусский, что приближает представления митрополита Евгения к взглядам И. И. См. Срезневский, 1959, с. 38–39. Письмо митрополита Евгения опубликовано в работе: Симони, 1896, с. 396–399.

великорусского словаря» (1852 г.) и «Дополнения» к нему (1858 г.). И. И. не только составил «Программу» к этому словарю, но и внес в его издание свою значительную лепту — более 3000 диалектных слов. Его работа в этом направлении известна и хорошо описана Л. И. Балахоновой. Ей же принадлежит и первая статья о Срезневском-диалектологе, написанная на довольно обширном русском, преимущественно историческом материале, что позволяет нам об И.И. как исследователе великорусских и украинских («малороссийских») говоров говорить кратко, в общих чертах (см. Балахонова, 1961; 1966).

Хотелось бы в заключение подчеркнуть еще одну немаловажную сторону всей диалектологической деятельности И. И., в том числе и его работы над «Опытом». И. И. не мыслил себе успешного развития диалектологии без связи с этнографией. Еще в 1848 г. в рецензии на «Словарь церковнославянского и русского языка» он писал: «Словарь с объяснениями историко-этнографическими всегда будет предпочтен словарю, в котором их нет» (ЖМНП, 1848, март, ч. LVII, отд. VI, с. 170). Восемь лет спустя, в 1856 г., он выступил с заявлением о необходимости издания «Материалов для этнографического словаря русского языка». Он готов был взять на себя подготовку и редактирование такого словаря (Срезневский, 1913, с. 31). Работа над историческим «Словарем народного и церковного языка», который посмертно был назван издателями «Материалами для словаря древнерусского языка», отняла у И. И. почти все время и силы, и он, увы, не дождался выхода в свет своего фундаментального труда. Задачу создания Этнографического словаря, надо надеяться, выполнит грядущее молодое поколение славистов, которому окажутся близкими интересы и проблемы, ставившиеся и решавшиеся одним из самых крупных филологов ранней истории славяноведения — Измаилом Ивановичем Срезневским.

О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку

В огромном и многообразном научном наследстве Бодуэна де Куртенэ работы по словенскому языку занимают особое, отнюдь не маловажное место. Почти все труды Бодуэна по словенистике — а их насчитывается до сорока[1] — тесно связаны с его деятельностью как этнографа, диалектолога, текстолога, лексикографа и теоретика языкознания. При этом на первый взгляд может показаться, что в области изучения словенского языка Бодуэн был довольно ограничен в своих интересах: он оставлял в стороне проблемы грамматики современного словенского литературного языка, его нормализации, исторической грамматики. Основное внимание Бодуэн сконцентрировал на резьянских и терских говорах, расположенных на крайнем западе словенских диалектов и занимающих не более чем 1/25 всей территории распространения словенского языка. В чем же главная причина такой территориальной ограниченности интересов Бодуэна, ограниченности, как будто непонятной для начала 70-х годов прошлого века, когда словенская диалектология, как и вообще диалектология славянских языков, только зарождалась и славистика нуждалась в широком изучении диалектов?

Мы можем предположить, что внешней причиной выбора Резьянской долины для диалектных штудий была предварительная поездка и исследования И. И. Срезневского[2], автора

---

1 См. библиографию И. А. Бодуэна де Куртенэ, № 50, 51, 57, 58, 60, 70, 79, 100, 106, 122, 128, 133, 134, 143, 155, 161, 171, 181, 193, 211, 213, 214, 218, 219, 221, 248, 251, 259, 264, 285, 313, 343б, 387, 560 и др. (Бокарева, Леонтьев, 1960, далее — Библиография).

2 Во время своей первой поездки по южнославянским землям И. И. Срезневский проявил серьезный интерес к словенскому языку и диалектам (см. карту с маршрутом в сборнике: Памяти Срезневского, 1916, с. 102). Он посетил Градец Штирийский, Марибор, Лембах, Птуй, Великую Неделю и Ормуж (февраль 1841 г.), затем Метлику, Ново Место, Любляну, Крань, Наклас, Целовец (Клагенфурт), Зильскую долину, Резьянскую долину, Горицу, Триест (апрель 1841 г.). Путь по Резьи лежал через Венцону, Джемону, Тарченто, Чивидале до Горицы; из Горицы И. И. Срезневский через Випаву приехал в Триест.

первого опыта классификации словенских диалектов, опыта, положенного в основу современной классификации Ф. Рамовша, несмотря на ряд более поздних попыток Миклошича, В. Облака и др. И. И. Срезневский в 1841 г. посетил Резью и сделал ряд интересных наблюдений, частично опубликованных уже с замечаниями Бодуэна. Срезневский руководил кафедрой в Санкт-Петербургском университете, когда в 1870 г. к нему приехал 25-летний Бодуэн для чтения курса по сравнительной грамматике индоевропейских языков. В 1872 г. кафедра направляет Бодуэна в первую научную, а не учебную командировку в Австро-Венгрию — Крайну, Горицу и в Италию — в Резью[3].

В Истрии он посетил Копар, Курт и Св. Ловеч. Итогом его экспедиции был ряд работ по словенским диалектам (подробнее см. наст. изд., с. 274–277. — *Прим. ред.*). Классификация словенских диалектов И. И. Срезневского изложена в книге Т. Флоринского «Лекции по славянскому языкознанию» (Флоринский, 1895, с. 503, 504).

Из отдельных диалектов наибольшее внимание И. И. Срезневский уделил резьянскому, при этом его интересовал не только язык, но и быт и нравы. См. Sreznewski, 1841; Срезневский, 1843; 1844; 1881; 1881а (с подстрочными примечаниями Бодуэна). В последнем издании опубликованы также рецензии Срезневского на труды Бодуэна: «Опыт фонетики резьянских говоров», 1875; «Резьянский катехизис», 1875 (с. 33–47); «Резья и резьяне», 1876 (с. 48–56).

И. И. Срезневский был, однако, не первым русским ученым, обратившим внимание на словенский язык. А. С. Шишков опубликовал в 1817 г. в «Известиях Российской Академии» (кн. 5, с. 23–59) статью «Сравнение краинского наречия с российским, взятым собственно за словенский язык». Несмотря на ряд существенных ошибок, статья эта давала общее и довольно полное для своего времени представление о словенском языке (см. оценку этого сочинения в кн.: Булич, 1904, с. 1175–1179).

Приходится с сожалением отметить, что возникший в русской науке в конце 70-х годов, видимо, в связи с работами И. И. Срезневского и И. А. Бодуэна де Куртенэ интерес к словенскому языку (см. Качановский, 1878; Соколов, 1878) к началу XX в. постепенно угас (см. Ляпунов, 1893; 1902; Шахматов, 1902). К более позднему времени относится лишь работа: Ляпунов, 1924.

3 Бодуэн указывает, что инициатива поездки принадлежала И. И. Срезневскому («Dank der Initiative des seligen И. И. Срезневский...» (Бодуэн де Куртенэ, I, с. XVII).

Первая экспедиция Бодуэна в южнославянские земли кратко описана им в статье «Отчеты командированного Министерством народного просвещения за границу с ученою целью И. А. Бодуэна де Куртенэ о занятиях по языковедению в течение 1872 и 1873 гг.» (см. Бодуэн де Куртенэ, 1876–1877). Бодуэн начал командировку с Вены (14–26.III.1872) (встреча с Ф. Левстиком и М. Цигале), затем направился

Но это, как я говорил, видимо, лишь внешний повод избрания Резьи для поля исследований, истинная причина заключалась в другом. Ее весьма удачно выявил сам Бодуэн в своей записке от 28 апреля 1886 г. на имя секретаря Академии наук К. С. Веселовского о первом сборнике «Материалов

в Грац (встреча с проф. Г. Креком, д-ром А. Иенттелесом, проф. Бидерманном и депутатом Германном) и в Марибор (здесь он виделся с И. Юрчичем — «одним из лучших словенских писателей» и Валенчаком). Из Марибора Бодуэн выехал в Поникву (встреча с Д. Трстеняком, редактором журн. «Zora») и в Целье, затем в Загреб и в Любляну (встреча с Блейвейсом, Разлагом, Вошняком и др.), а оттуда направился в Горицу (знакомство с Коцианчичем, Лавричем, Эръявцем, Левцем и Доленцем, редактором газеты «Soča»).

В Горице и Резье Бодуэн провел около полугода. Лето и осень 1872 г., а отчасти весна и лето 1873 г. были посвящены ознакомлению с западнословенскими говорами, а именно (сохраняем терминологию Бодуэна) с бохиньско-посавским в Верхней Крайне, випавским в Средней Крайне и Горицком графстве, цирклянским, немецко-рутским, толминским и бердо-салкано-первачинским в Горицком графстве, канало-дорнбернго-бердо-старогорским в Горицком графстве и в Чидадском уезде Видемской провинции в Италии, св.-петровским в Св.-Петровском уезде, теро-платище-мажарольским в уездах Чидадском, Тарченском и Джемонском и, наконец, резьянским в Мужацком уезде той же Видемской провинции в Италии (см. Бодуэн де Куртенэ, 1875, с. III). Но все же основное время было уделено резьянским и терским говорам (список обследованных населенных мест в Резье и Тере см. в: Бодуэн де Куртенэ, I и II). Летом 1877 г. Бодуэн вновь собирал резьянские тексты, а летом 1890, 1892 и 1893 гг. он ездил в основном для проверки собранных «образцов» перед изданием первого тома своих «Материалов» (Бодуэн де Куртенэ, I). Точно так же поступил Бодуэн перед выходом в свет второго тома «Материалов» (Бодуэн де Куртенэ, II). Тексты, собранные в Тере в 1873 г., были проверены и дополнены летом 1901 г. В 1901 г., помимо известных ему по 1873 г. населенных пунктов Бердо, Заверх, Седлис, Визонта, Чянебол, Мажаролы и др., он исследовал более основательно Тер, Брег, Нижнее Ольше, Верхнее Ольше, или Подкрас, Проснид и Корнахту. Кроме того, Бодуэн посетил Удине, Резьюту, Венцоне, Музец, Подбердо, Флайпану, Джемону, Тарченто, а также «по старой памяти» Резью.

Бодуэн интересовался также проблемой итальянско-сербскохорватского языкового дуализма и с этой целью в 1895 г. посетил «молизских славян» в Южной Италии. Вторично он был у них в августе 1911 г. В том же году, а также летом 1912 г. Бодуэн знакомился с истрийскими и северноприморскими чакавскими говорами. Дальнейшие события лишили Бодуэна возможности изучать сербскохорватские диалекты, и интерес к ним остался почти не отраженным в его научных трудах (см. Библиография, № 308, 312, 319). Всего в южнославянские земли Бодуэн совершил девять научных поездок — в 1872, 1873, 1877, 1890, 1892, 1893, 1901, 1911 и 1912 гг.

по южнославянской диалектологии и этнографии»: «Хотя резьяне представляют своеобразное славянское племя и хотя, следовательно, мой сборник содержит славянские тексты, то все-таки я полагаю, что обнародование этих текстов будет важно не столько для славянской филологии, *сколько для языковедения вообще*. Резьянские говоры принадлежат к числу весьма интересных языковых особей, к числу так называемых смешанных языков. В этих говорах исконный славянский элемент подвергся многосторонним и разновременным иноплеменным влияниям» (Бодуэн де Куртенэ, I, с. I–III).

Направляясь в Резью, 27-летний Бодуэн имел уже солидную лингвистическую школу: до того около двух лет он провел в Праге, Йене и Берлине, слушая лекции Шлейхера, Вебера и других крупных ученых. В языкознании назревал кризис шлейхеровской школы, на авансцену выходили младограмматики. Но Бодуэн искал сам своих новых, независимых от неограмматиков путей, и ему был необходим языковый материал, лишенный, с одной стороны, своей «классической» чистоты в смысле типологическом и генеалогическом, с другой — не отягощенный письменностью, нормами литературного языка, грамматической исследовательской традицией, которая с самого начала была для Бодуэна малоприемлема. Не случайно поэтому в своем лингвистическом credo, изложенном после автобиографической справки в 1897 г., Бодуэн выдвинул следующий постулат: «Для языковедения как науки, всесторонне обобщающей, гораздо важнее исследование живых, т. е. теперь существующих, языков, нежели языков, исчезнувших и воспроизводимых только по письменным памятникам. Только биолог (зоолог и ботаник), изучавший всесторонне живую флору и фауну, может приступить к исследованию палеонтологических остатков. Только лингвист, изучивший всесторонне живой язык, может позволить себе делать предположения об особенностях языков умерших. Изучение языков живых должно предшествовать исследованию языков исчезнувших»[4].

И. А. Бодуэн де Куртенэ выбрал, как и позже по его предложению Л. В. Щерба[5], пограничные, отчасти оторван-

---

4 См. Венгеров, 1897, с. 18–45. Здесь изложены Бодуэном основные черты его лингвистического мировоззрения к концу XIX в.

5 Л. В. Щерба свое предисловие к труду «Восточнолужицкое наречие» начинает следующими словами: «Настоящее исследование имеет длинную историю, будучи задумано еще в 1907 г., когда И. А. Бодуэн де

ные от основной массы диалектов, резьянский и терский говоры, лежащие на границе славянского и романского языковых массивов при ближайшем соседстве германского и подверженные процессу языкового смешения[6].

И в то время как ранние младограмматики использовали диалектный материал главным образом как дополнение к историческому материалу, извлеченному из памятников письменности, Бодуэн подошел к нему с задачей синхронного описания, которое, по его мнению, должно предшествовать диахроническому, с целью проверки на нем общелингвистических положений.

Результатом поездок Бодуэна в 1872 и 1873 гг. в южнославянские земли явилась его знаменитая докторская диссертация «Опыт фонетики резьянских говоров» (Бодуэн де Куртенэ, 1875). Оставляя в стороне вопрос об исключительном значении этого труда как первого эксперимента фонологического описания отдельного славянского диалекта, отмечу, что «Опыт» был первой монографией по словенским говорам, по полноте материала, точности и детальности описа-

---

Куртенэ в письмах предлагал мне заняться изучением влияния одного языка на другой и указывал, между прочим, на лужицкие наречия, как на подходящие для этого объекты» (Щерба, 1915, с. XVII).

6 Резьянский диалект во второй половине XIX в. и ранее находился под сильным влиянием фриульского диалекта (одного из диалектов ретороманского языка). На крайнем западе своего распространения (Трентино, Триест) итальянский язык вытеснил фриульский диалект, но последний распространился на запад за счет словенских диалектов. В настоящее время в Резье словенская речь исчезает. Любопытны этнографические наблюдения Дж. Д'Аронко и М. Матичетова, проведенные на основании данных анкеты, распространенной среди гимназистов для сбора фольклорного материала в Фурландии (Фриуле) в 1946 г. Часто вторично записывались песни и поговорки, собранные ранее Штрекелем, Эръявцем, Бодуэном и др. Эти записи свидетельствуют о том, что словенский язык и фольклор в Резье еще живы. Ср., например, загадку: у Бодуэна — Na bába pœjć múlicə za ŋú. — To je na jýhla. (Бодуэн де Куртенэ, I, с. 466. — Баба тянет кишки за собой. — Это — игла); по записи: Je na žanè ka na téze mülitse za nù (ýhla); то же в транскрипции Матичетова: Je na žanà ka na téže mülice za nju (Yhla). Любопытен пример фриульско-словенской поговорки, записанной в селе Штела, где старшее поколение еще говорит по-словенски, а младшее уже по-фриульски: sierre la chisiza e la pretchisiza e dopo met il ciuc in te scarbiniza; в транскрипции: Siere la «kišica» e la «predkišica» e dopo met il «ćuc» in te «škarbinica»; в переводе: Запри домик («kišica») и сени («predkišica») и потом положи ключ («ćuc») в щель («škarbinica»). См. D'Aronco, Matičetov, 1951.

ния не имеющей себе равной в южнославянской диалектологии того времени.

Благодаря трудам Бодуэна и сейчас, в середине XX в., полнее всего известными в науке оказываются крайние северо-западные словенские наречия, несмотря на то, что со времени опубликования этих работ прошло почти три четверти века и появились исследования В. Облака, К. Штрекеля, Ф. Рамовша, А. В. Исаченки, Т. Логара и др. Вслед за «Опытом» Бодуэн издал несколько резьянских рукописных памятников[7] и два тома «Материалов по южнославянской диалектологии и этнографии» (Бодуэн де Куртенэ, I–II) с записями текстов резьянского и терского наречий. Бодуэн не делал никаких грамматических описаний, если не считать нескольких мелких наблюдений по вопросам аналогии. Им не был создан «Опыт грамматики» этих говоров, но сам принцип записи материала, составление им так называемых глоссариев — больших картотек, где слово давалось в разнообразных морфологических формах и синтаксических связях, дают полную возможность будущему исследователю восстановить картину грамматического строя резьянского и терского наречий. Подобный способ сбора материала был для Бодуэна не случаен. Для докладов к съезду славистов в 1904 г. он выдвинул темы: «О составлении словарных инвентариев для грамматических целей» и «Об утилизации словарного материала для общелингвистических, психологических и культурно-исторических выводов»[8].

---

7 См. Библиография, № 51, 264, 285, 313, 330, 343б, 560.

8 Предполагавшемуся съезду Бодуэн предложил 16 тем. Среди них, помимо указанных, для изучения истории словенского литературного языка, вернее, истории словенской филологической мысли, интересна тема «О славянском "взаимном" (международном) языке Матии Маяра и Орослава Цафа» (см. Первый съезд, 1904, с. 13, 14). С М. Маяром и Цафом Бодуэн был знаком и состоял в переписке. В архиве Бодуэна письмо Цафа на 10 страницах хранится под № 136 — в нем, помимо рассуждений об общеславянской лексике и критики «Lexicon...» Миклошича, содержатся интересные рассуждения об общем (взаимном) славянском языке. Само письмо написано на таком «взаимном» языке с большим числом русизмов и старославянизмов. Графика письма — латинская с особой диакритикой. В этом же архиве под № 198 хранится любопытное письмо М. Маяра от 6/9.XII 1874 с просьбой поддержать его журнал «Slavjane», издающийся на «узаемно-славянском» языке, и напечатать в России его статью «Следы праславян». В качестве примера языка и орфографии можно приве-

Бóльшая часть материалов Бодуэна по словенским диалектам, к сожалению, не издана и потому неизвестна ученым. Можно прямо сказать, что почти девять десятых неизданных и сохранившихся трудов Бодуэна относится к словенской диалектологии. Находится в рукописном и необработанном виде большой словарь резьянских говоров и глоссарий терского диалекта[9]. Следует отметить, что при их со-

---

сти первые строки из письма: «Извиньте благовольно, да пишемъ те листъ сицеръ правописомъ русскимъ на языкомъ узаемно-славянскимъ...». М. Маяр был автором книги «Узајемнi правопис славјански то је: uzajemna slovnica ali mluvnica slavjanska» (V Zlatnom Pragu, 1865, 236 s.) и других сочинений подобного рода.

Интерес Бодуэна к попыткам создания «взаимного» международного славянского языка был значителен в связи с его общим интересом к искусственным языкам (см. Григорьев, 1960). Важно отметить также, что попытки создания искусственного словенско-славянского языка с большой примесью русизмов не были единичны (ср. деятельность Раича, Разлага, Позника и др.). Они сказывались особенно сильно на западной окраине словенской территории, где влияние словенского литературного языка было значительно слабее. Последней, видимо, попыткой этого рода была изданная в Триесте в 1891 г. кириллическим алфавитом маленькая антология Матвея Андреевича Ламурского «Китица повѣстиц» с приложением азбуки, в которой, помимо всех русских букв, вводились ѧ, ѫ, ѥ, ѩ, ѭ.

9 Словарь резьянского говора, или, как его обозначил в рукописи Бодуэн, «Резьянский словарь», хранится в Архиве Академии наук в Ленинграде под шифром: ф. 102, оп. 1, № 8, 9. Он состоит из двух частей. Первая часть (№ 8) заключает 248 листов писчей бумаги (формат 8°), где рукопись занимает в большинстве случаев лицевую сторону листа и оборот. По не очень точной пагинации Бодуэна (пагинация начинается дважды) в рукописи 445 страниц, на которых изложен словарный материал с многочисленными примерами и фонетическими (по говорам) и грамматическими формами слова, начиная с буквы *A* и кончая буквой *M* (до слова *mъj*, см. *mûj*, *möj*). В качестве примера можно привести одну словарную статью (транскрипция в целях облегчения набора упрощена):

bölý
bülý N.
γá bolý γláwa (у него болит голова)
tó bolý U. (cf. bûl) // tó ka to bolý O. = (*v*. 2. b'ol).
a bolý èrbăt S. = (v. bölan, 1. an *sg. m. Acc.*).
á bolý (ga boli) róka, mákoj pýsat O. = γa bolý... O.
wás bulý χárbat N. = χírbat G.
tú bulý, k ja mán wsíkano (zarznąłem się) N.

Заглавными буквами после слова и его форм обозначаются населенные пункты (N. = Нива; U. = Учья; O. = Осояне; S. = Солбица и т. п., ср. таблицу: Бодуэн де Куртенэ, I, с. 691). Переводы-толкования даются по-русски, немецки, итальянски, польски, словенски (лит. яз.). В

ставлении Бодуэн руководствовался не принципом отбора редких, областных слов, а стремился дать словарный состав полностью, обращая должное внимание и на заимствования, и в особенности на грамматическое окружение слова. Нельзя не подчеркнуть, что современное состояние словенской диалектологии таково, что этот словарь и глоссарий являют-

---

большинстве случаев переводы отсутствуют. Словарь насыщен личными именами и топонимами Резьи, весьма богата идиоматика, нередки фонетические и грамматические примечания.

Вторая часть словаря заключает около 2000 карточек от буквы *N* до *Ž*.

Первая карточка: nabásat = nad'át S. G. (caricare, nabasati); nabásat (caricare) N.

Последняя карточка: áworovœ žьnítkœ (золотая свадьба).

Пример карточки на *P*:

pléna (coperta) O. cf. *пелена́* (каранд. пометка. — *Н. Т.*).
pléna (dach drewnian) na ć náre = náret zi ščándulь (z gontów) O.
stréχa (é an ý) è nàrьt zi slámœ
(strzecha) (dach słomiany). O.
pléna ot χíšě (okap). O.

Резьянский словарь Бодуэн считал необработанным. К тому же занятия другими делами вынудили его отказаться от мысли об издании и сдать рукописный материал в библиотеку Академии наук (см. его опись в «Известиях Имп. Академии наук», т. XIX, 1903, с. 84–86).

Словарный материал терских говоров носит иной характер. Это, по-видимому, и есть «глоссарий» в бодуэновском смысле этого слова: на карточках без соблюдения алфавитного порядка нанесены отдельные слова, вернее, формы слов или фразы. В фонде 102 под № 11 и 12 хранится 429 листов, аккуратно разлинованных на карточки (по восемь карточек в листе).

Пример карточек (лист 122, номер Бодуэна 99):

1) tùča (grad) Pl. 99.
2) tù nin kosò (w jednym kawałku) Pl. 99.
3) platáťь Pl. 99.
4) (Post) O Prosnidzie:
± te sviět, ta u̯às
je perikulòus (z powodu
że stoi na gipsie, na ile) Pl. 99.

Часть терского словарного материала на карточках (ф. 102, № 10) — всего 1003 карточки записи 1873 г. — носит характер словарных статей по типу резьянского материала.

Пример карточки:

oblačílo:
káko oblačílo su méle ženè tá za
wàrχa?
Katére omá ragadź (composto di filo,
furl. ragadin, ital. rigatò). Kíšni meǯelánu. 19.10.

ся до сих пор единственными областными лексиконами словенского языка. Их значение увеличивается еще и тем фактом, что современный словенский литературный язык по природе своей довольно искусствен и в общем далек от той или иной диалектной базы (в отличие, например, от современного сербскохорватского литературного языка).

Талантливый диалектолог-практик[10], Бодуэн имел немалое число научных корреспондентов — главным образом

---

10 По дошедшим до нас разрозненным и отрывочным свидетельствам можно судить, что Бодуэн имел свой оригинальный и весьма продуктивный метод полевой работы. Перед тем, как появиться в Резье, он хорошо изучил разговорный словенский язык (в апреле 1872 г. в Горице он давал уроки русского языка и сам брал взаимно уроки словенского), а в деревнях старался изъясняться на местном диалекте. Кроме того, ему был не чужд эксперимент в языкознании (ср. позже рассуждения его ученика Л. В. Щербы) и особенно в условиях двуязычия способ перевода с одного языка или диалекта на другой. Владея итальянским и зная фриульский, Бодуэн задавал вопросы и фиксировал часто параллельные формы в своих записях. Очень часто был наводящий вопрос, воссоздающий ситуацию и требующий определенного, ожидаемого ответа. Любопытно высказывание самого Бодуэна: «Благодаря сметливости резьянского народа, мне почти не случалось при записывании резьянских слов и выражений, натыкаться на такого рода недоразумения, которые столь часты, например, в материалах для характеристики полабских говоров, и которые состоят в том, что спрашиваемый серьезно относится к вопросу и, например, на вопрос "как говорится по-вашему: вы ели?" отвечает на своем языке "я ел" (эта ошибка допущена Шлейхером; см. разбор Бодуэна в ЖМНП, 1873, ч. 168). В Резье мне случилось нечто подобное всего только один раз. Девушка никак не могла понять вопроса. Как нужно сказать по-резьянски "voi mangìate" ('вы едите'), несмотря на то, что смысл итальянских слов был для нее понятен. Сначала я спросил ее: "káko se dí: voi mangìate?" Она же ответила: "tji sta jèdly baj vý?" 'ели ли вы?'). Я повторил вопрос. Ответ: "nen mi hrémö jist" ('теперь мы идем есть'). Наконец, я изменил форму вопроса, но, к сожалению, неудачно: "kàko mará wán rïtjít, ko vý jíta?" ('как должно вам сказать, когда вы кушаете?'), неудачно, потому, что получил в ответ и, по правде сказать, совершенно справедливо: "búh wan žéhnaj" ('Бог вас благослови' — обыкновенная формула, заменяющая собой пожелание хорошего аппетита)». (Бодуэн де Куртенэ, 1876, с. 290).

Под влиянием совместной работы с Бодуэном в Истрии над изучением чакавских говоров А. Белич написал свое известное «Письмо проф. А. И. Белича к И. А. Бодуэну де Куртенэ о собирании диалектологического материала» (см. Известия ОРЯС. 1913. Т. XVIII, кн. I, с. 229–242; то же в переводе на сербский язык: JФ. 1926/1927. Књ. VI, с. 1–10).

учителей и представителей местной словенской интеллигенции. Много усилий было положено, чтобы организовать этот коллектив. Открытые письма в словенских газетах и журналах вроде своеобразных диалектологических инструкций и программ[11], личная переписка (вообще переписка Бодуэна со словенскими писателями и филологами А. Ашкерцем, Г. Креком, В. Облаком, М. Мурко, М. Маяром и др.) представляют большой интерес для истории словенского языкознания[12]. Весь полученный материал Бодуэн тщательно про-

---

Бодуэн ценил также косвенный материал: письма местных жителей или словенские глоссы — фразы в письмах на итальянском языке (здесь не обходилось, порой, без крепкого словца), записи детей и подростков.

11 Бодуэном была составлена и распространена небольшая популярная программа собирания диалектного материала и инструкция по фонетической транскрипции. Она была опубликована и в словенской периодической печати (см. Бодуэн де Куртенэ, 1877).

12 Переписка Бодуэна со словенскими учеными, писателями, общественными деятелями и отдельными частными лицами была обширной.

В Архиве АН СССР в Ленинграде хранится лишь часть переписки — письма к Бодуэну с 1872 по 1909 г. (см. ф. 102, оп. № 2; в скобках дается порядковый номер в описи; написание фамилий дано по описи). Отметим лишь письма словенцев и итальянцев из Резьи.

(№ 8) Арбоит Анджело — Удине, итал., 1875, 1 письмо, 5 стр.
(№ 9) Армеллини Луиджи — Удине, итал., 1909, 1 п., 1 стр.
(№ 44) Валенте Стефан, словенск., 1878, 1 п., 1 стр.
(№ 63) Водишек Андрей — Любляна, словенск., 1893–1898, 7 п., 14 стр.
(№ 77) Глобочник Янко — Горица, словенск., 1879, 2 п., 4 стр.
(№ 98) Доменик Иван — Удине, словенск., 1884, 1 п., 1 стр.
(№ 107) Енко Славой — Пот на Муне, словенск., 1877, 1 п., 3 стр.
(№ 109) Ержен Иван (Eržen Janko, Ržen J.), словенск., 1873–1890, 64 листа.
(№ 110) Он же, словенск., 1893–1898, 42 листа.
(№ 128) Калан Андрей — Любляна, словенск., 1879, 1 п., 1 стр.
(№ 136) Цаф Орослав, взаимн.-слав., 187(2), 1 п., 5 стр.
(№ 141) Клодич Антон — Триест, словенск., 1878–1884, значит. число.
(№ 155) Коцианчич Стефан — Горица, словенск., 1875–1882, 4 п., 4 стр.
(№ 162) Крек Грегор — Грац, словенск., 1872–1891, 86 листов.
(№ 163) Крижник Гаспар — Краина, словенск., 1874–1876, 4 п., 5 стр.
(№ 169) Кумар Валентин — Горица, словенск., 1877, 1 п., 1 стр.
(№ 198) Маяр Матия — Клагенфурт (Целовец), взаимн.-слав., 1874, 1 п., 1 стр.
(№ 220) Мурко Матвей — Загреб, Грац, словенск., 1879–1903, значит. число.

верял и исправлял — в некоторых случаях над текстом корреспондента шли новые строки, написанные Бодуэном. Таким образом, создалось большое собрание словенских диалектных текстов, собрание, не имеющее себе равного в архивах вне Словении, с материалом из пяти основных групп диалектов из общего числа одиннадцати[13]. Отметим, что сам

(№ 226) Облак Ватрослав — Вела и др., словенск., 1881–1896, 79 листов.

(№ 232) Пагон Джовани, итал., 1894, 1 п., 2 стр.

(№ 246) Пианекки Янко, итал., 1890, 1 п., 2 стр.

(№ 250) Подгорник Фран — Горица, словенск., 1881, 1 п., 2 стр.

(№ 251) Подрекка К. — Чивидале дел Фриуле, итал., 1885–1893, значит. число.

(№ 252) Полетти Франсуа — Удине, франц., 1889, 1 п., 2 стр.

(№ 289) Солла Р. — Триест, немецк., 1895, 1 п., 1 стр.

(№ 298) Терстеняк Д., словенск., 1872–1879, значит. число.

(№ 308) Торре делла Р. — Чивидале дел Фриуле, итал., 1900, 1908, 2 п., 2 стр.

(№ 310) Тринко Иван — Удине, словенск., 1890–1907, 12 п., 12 стр.

(№ 317) Ферфила Тоне и Пильбах Франц — Горица, словенск., 1873–1890, значит. число.

(№ 326) Хостник Мартин — Любляна, Вена, словенск., 1874–1878, 6 п., 10 стр.

(№ 331) Целестин Фран, словенск., 1872, 1 п., 1 стр.

(№ 334) Зорзи А. — Чивидале дел Фриуле, итал., 1892–1902, 3 п., 4 стр.

(№ 341) Шкрабец Станислав, словенск., 1894–1903, 15 п., 18 стр.

(№ 353) Штрекель Карл, словенск., 1880–1902, значит. число.

Отсутствие места и предварительность нашего знакомства с перепиской Бодуэна не дают возможности изложить ее подробно. Однако можно отметить, что наибольший интерес для науки представляют многочисленные письма Ержена (Ржена), постоянного корреспондента Бодуэна, снабжавшего его рукописным диалектным материалом (см. далее примечание 13), Клодича, Крека, Мурко, Облака, Трстеняка и Штрекеля. Эта любопытная переписка ожидает своего исследователя. Переписка Бодуэна с Ягичем (78 листов писем Ягича к Бодуэну) готовится к изданию Архивом АН СССР в Ленинграде.

13 В архиве Бодуэна (ф. 102, оп. 1) хранятся следующие неопубликованные материалы:

№ 1 «Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии, собранные И. А. Бодуэном де Куртенэ» (в дальнейшем сокр. МЮСДЭ, собр. БдК); II. «Резьянские тексты», записанные Бодуэном в 1890, 1892 и 1893 гг. 165 нумерованных листов тетради в четверку содержат: связные тексты, народные сказки, рассказы, легенды, народные песни.

№ 2 «МЮСДЭ, собр. БдК, IV»: 1. «Тексты на говорах недижских славян (Slavi del Natisone) в северной Италии»; 2. «Тексты на гово-

рах юдрских славян (Slavi del Judrio) на пограничьи Австрии и Италии»; 3. «Тексты на некоторых словинских говорах Горицкого графства в Австрии». Все тексты записаны Бодуэном и переписаны на 148 страницах тетради в четверку. Содержат: указатель сел, где велись записи, связные тексты, народные сказки, рассказы, анекдоты, загадки, песни (духовные, шуточные и др.), молитвы («Отче наш», «Символ веры»). Запись велась в населенных пунктах Сан Пиетро, Бернас, Петьях, Саводна, Шкрутове, Сенце, Квиско, Шломберк, Модана, Шемпас, Креда, Циркно.

№ 3 «МЮСДЭ, собр. БдК, V»: 1. «Говор Штандержа (Štanderž, St. Andreas) близ Горицы. 2. Образцы разных словинских говоров Горицы и Крайны». Образцы говора Штандержа, записанные Лютманом («Матеем Михайловичем Лютмановым»), листы 2–15 — краткое описание говора с поправками Бодуэна (фонетика, морфология), затем листы 16–96 — народные анекдоты, рассказы — с поправками Бодуэна, листы 97–146 — записи связных текстов, песен, поговорок, шуточных загадок Бодуэна с пометкой «ne popolnoma natanjčno». Записи из Дорубергa в Горице, Айдовшчины, Випавы, Святого Крижа, Офлицы, Випавской долины, Рацка из Штирии, Града (Veldes) около Бледа.

№ 4 «МЮСДЭ, собр. БдК, VI»: 1. Говор Штандержа близ Горицы — лист 1–32, запись Лютмана — тексты, народные песни; 2. Говор Барки в Красских горах, около краинской и истрийской границы — листы 36–39, запись Бодуэна в 1877 г. — связные тексты. 3. Толминский говор в Горицком графстве — листы 40–42, запись Бодуэна в 1872 г. — связный текст с пояснением значения транскрипции на полях. 4. Говор Немецкого Рута (Nemški Rovt. Deutschruth) в Горицком графстве — листы 43–51, автор Миха Голоб, гимназист из Горицы (1872 г.) — краткое описание говора с пометками Бодуэна (фонетика, морфология); листы 52–53, запись Бодуэном связного текста из Штржишча в Верхнем Немецком Руте.

№ 5 «МЮСДЭ, собр. БдК, VII»: Образцы цирклянского говора, собранные Иваном Рженом и другими лицами; листы 2–140 — народные сказки, рассказы, песни, загадки, поговорки и т. п.

№ 6 «МЮСДЭ, собр. БдК, VIII»: Образцы Мотникского говора в Крайне, записанные Гашпаром Крижником Подшавнишким. Листы 2–34 — народные анекдоты, поговорки, описание игр, заговоры, загадки с указанием источников и заметкой, что часть материала передана Slovenskej Matici.

№ 13 «VII. Словинский говор в Циркне в восточной части провинции Горица. Тексты записаны Иваном Рженом и другими лицами»; листы 2–125 — связные тексты, народные сказки, легенды, рассказы и анекдоты, солдатские песни, загадки. Листы 28–34, 94, 95 записаны школьником Францем Мавричем, 13 лет (янв. 1873 г.); листы 96–109 — Янезом Бойцем, нотариусом.

№ 14 «VIII. Словинский говор в Мотнике в Северной Крайне на границе Штирии. Тексты, записанные Гашпаром Крижником Подшавнишким. Листы 1–98 — связные тексты, народные легенды, анекдоты, поговорки, этнографические записи (игры, хозяйство), заговоры, загадки. На обороте 81 листа — Poročilo o naberanu narodnih reči».

Бодуэн не использовал этого материала — огромный подготовленный труд оказался законсервированным на многие годы. В 1903 г. Иван Александрович передал его в рукописный отдел Академической библиотеки и больше уже ни он сам, ни кто-либо другой не обращались к нему[14]. Работа Бодуэна по словенике осталась на полпути. Окончательное выяснение сложного комплекса взаимоотношения словенских говоров выпало позже на долю словенца Франа Рамовша, посвятившего этому вопросу всю свою жизнь.

Слависты нередко подчеркивали известную изолированность словенского языка от других славянских языков, с одной стороны, и изолированность отдельных словенских диалектов — с другой. Недавно на эту характерную черту вновь обратил внимание В. Н. Топоров. Он отметил, что географическое положение словенского языка «дает возмож-

---

№ 15 «IX. Образцы словинских говоров. 1) Крас — доставил Штрекль; 2) Пьюма под Горицей — доставил Микулуш; 3) Солкан под Горицей — доставил Вуга; 4) бохиньско-посавский говор — старинная рукопись». Тексты — народные рассказы и песни, отдельные слова, топонимы, ответы на вопросы (из программы?) Бодуэна. Многочисленные карандашные и чернильные поправки Бодуэна. Записи велись в 1872 г. (очевидно, все записи) Драготином Штрекелем, гимназистом III класса 11 лет, Антоном Микулушем, гимназистом VII класса, Ниха Вугой, гимназистом VIII класса Горицкой гимназии. «Старинная рукопись» на бохиньско-посавском говоре относится ко времени не ранее 1813 г., писана чернилами с построчной транскрипцией Бодуэна. На обратной стороне обложки, представляющей собой сложенный в четверть торговый рекламный листок (приблизительно 1839 г.), рукой Бодуэна написано: «cf. Pogumne Gorenjke. Zgodovinska igra s petjem v 3 dejanjih iz časov francoskega gospodarstva v Iliriji, po L. Germovnik-ovih «Die Weiber von Veldes» poslovenil Okiški-Preširen, godbo po narodnih napevih zložil A. Khom».

№ 18 «Подлинные диалектологические записи 1873 г. Rezyja I–24» (см. Бодуэн де Куртенэ, I).

№ 19 «Подлинные диалектологические записи 1873 г. Rezyja II–25» (см. Бодуэн де Куртенэ, I).

14 См. краткое описание переданного материала в «Известиях Имп. Академии наук», т. XIX. СПб., 1903, с. 84–86.

Весь переданный материал в настоящее время хранится в Архиве Академии наук в Ленинграде, кроме ед. хр. 1 (по описи Бодуэна) — «Тексты на славянских (сербохорватских) говорах южной Италии, записанные в 1895 г. на 88 лл.» и 9 (1) — «Молизские славяне в южной Италии (Slavi del Molise). Словарный материал на карточках. На 3981 карточке». Эти единицы были позже взяты обратно Бодуэном из Рукописного отдела АН, о чем свидетельствует запись в каталоге библиотеки. Дальнейшая судьба этих материалов мне неизвестна.

ность понять и однозначно объяснить две, казалось бы, исключающие друг друга особенности словенского языка, а именно: наличие в нем многих архаизмов, редких или вовсе отсутствующих в славянских языках, и, с другой стороны, обилие новообразований, многие из которых несомненно вызваны иноязычным влиянием и находят параллели, иногда удивительно точные, в других языках, положение которых напоминает в некотором отношении положение словенского языка (ср. сербо-лужицкие, кашубский и др.)» (Топоров, 1959, с. 90).

Эту особенность хорошо понимал Бодуэн, она была для него крайне важна при постановке проблемы о статике и динамике в языке, о языковом взаимодействии, но в общем плане словенской диалектологии она вызвала у него ряд заблуждений. Стремление освободиться от предвзятых мнений, от довольно прочно сложившихся во второй половине XIX в. генеалогических схем, стремление, свойственное и Шухардту, который также занимался словенскими диалектами и, выявляя смешанный характер языков, пытался расшатать устои современной ему младограмматической теории[15], и протест против теории волн Шмидта, с другой сто-

---

15 Следует отметить, что лингвистические взгляды Бодуэна, складывающиеся почти одновременно с формированием младограмматической школы, в некоторых случаях под влиянием последних, а в некоторых — прямо вопреки им, вынуждали его выступать против многих положений младограмматиков и их предшественников. Однако Бодуэн не поднимал знамени борьбы против младограмматической школы как нового направления в языкознании, считая его в принципе для его эпохи полезным, и его исключительная скромность не позволяла ему противопоставить свою «казанскую школу» младограмматической. Эта же скромность заставляла его вообще отрицать наличие «казанской школы». Цитируя письмо Н. В. Крушевского к нему, Бодуэн пишет: «Так, например, еще в письме, писанном ко мне 28 марта 1885, читаем "Я свято верю в направление и метод, которыми я Вам обязан, и не только Г. с М., но никто меня не убедит, что путь, который Вы нашли и по которому я пошел, «ложен» (перевод с польского)". Здесь очевидное преувеличение значения этого направления и метода: вовсе я не изобрел этот путь, но только применял его, может быть, в более обширных размерах, беседуя о лингвистических вопросах с моими учениками».

«"Н. В. (Н. В. Крушевский. — *Н. Т.*) первый ознакомил казанских лингвистов с так называемым юнгграмматическим направлением, возникшим в Германии" (стр. 72) (цитата из некролога Крушевского некоего Л. К. в РФВ, 1888, т. XIX, № 1. — *Н. Т.*). Не знаю, кого г. Л. К. понимает под названием "казанские лингвисты". Если эта

роны, привел Бодуэна при его несколько изолированном рассмотрении отдельных диалектов к ошибкам. Правда, они довольно легко отметаются и не ставят под сомнение достоверность материала и многих выводов, но исследователь словенского языка едва ли может обойти их молчанием.

Я имею в виду, во-первых, утверждение Бодуэна о том, что резьянский диалект является, в общем, отдельным славянским языком, возникшим в результате смешения славянского и туранского (аварского) этнического элемента, язык, по сути дела, не относящийся ни к словенской, ни к сербскохорватской группе диалектов. Об этой малоправдоподобной гипотезе можно было бы сейчас, пожалуй, не говорить, если бы она не имела в свое время последователей среди словенских лингвистов и историков (Д. Трстеняк, Л. Гауптман, Ф. Таппайнер)[16]. В качестве самостоятельного, не сербскохорватского, не словенского наречия трактовался Бодуэном и терский говор[17]. Наконец, сама попытка классификации словенских диалектов по принципу изменения задненебных *k, g, x* перед *e* и *i* на юго-восточные и северо-западные, а также по принципу сохранения предтонической долготы (хотя это явление совершенно чуждо словенским

кличка должна относиться тоже ко мне, то он в данном случае несколько ошибается. Я всегда держался тех же начал, что и так наз. "юнгграмматики", и не нуждался в чьем бы то ни было посредничестве для ознакомления с этим направлением. А так как я, в качестве профессора, проводил свои научные начала в своих чтениях и на практических занятиях, то об основаниях юнгграмматического направления молодые "казанские лингвисты" узнавали прежде всего от меня» (см. Ответ Бодуэна на некролог Крушевского *Л. К.* — Бодуэн де Куртенэ, 1888, с. 299, 300).

16 См. *D. Trstenjak*. Zora. Maribor, 1876, s. 109; *Lj. Hauptmann*. Статья в изд.: Mitteilungen des Instituts fur österreichische Geschichte. Wien, 1915. Bd. 36. S. 232, 233; *Fr. Tappeiner*. Статья в изд.: Sitzungsberichte der anthropologischen Gesellschaft. Wien, 1895. S. 66.

17 См. мнение Бодуэна, высказанное в 1905 г.: «Терские говоры, по своим фонетическим и другим особенностям, должны быть причислены скорее к сербохорватской или иллиро-славянской языковой области, нежели к области словинской или крайно-словенской. Во всяком случае со строго лингвистической, вполне объективной точки зрения, их следует рассматривать особо, не смешивая пока ни с тою, ни с другою областью» (см. Бодуэн де Куртенэ, 1905, с. 266). Приблизительно то же мнение было высказано Бодуэном несколько ранее в результате поездки 1901 г.: «С гораздо большим правом можно причислять к словинцам так называемых "кайкавцев" Хорватии, нежели резьян и терских славян» (Бодуэн де Куртенэ, 1901, с. 97).

говорам) должна быть признана неудачной[18]. Спорным в плане общей диалектологии было положение, выдвинутое Бодуэном в качестве первого итога в его «Опыте фонетики резьянских говоров»: «Новейшая *географическая* теория о родственных отношениях между отдельными ариоевропейскими языками и группами языков, отрицающая всякое деление и принимающая целый ряд переходных, постепенно друг в друга переходящих языков, наречий и говоров, не находит себе ни малейшего подтверждения в исследованной мною языковой области, которая состоит из многих словинских говоров Крайны и Горицкой земли, из сербо-хорватских говоров северной Италии и, наконец, из говоров резьянских. Везде есть возможность определить с полнейшею точностью границы одного говора или же одной группы говоров, в различие от других говоров или же других групп говоров» (Бодуэн де Куртенэ, 1875, с. 124). В вопросе о диалектном членении словенского языка правильнее была характеристика его учителя И. И. Срезневского.

Интерес к отдельному диалекту как к материалу для общеязыковедческих выводов, вызванный отчасти полемикой с научными противниками, а также отсутствие во второй половине XIX в. такой важной дисциплины, как лингвистическая география, отвлекли Бодуэна от рассмотрения всех словенских диалектов как единого сложного целого.

После 1904 г. Бодуэн уже не занимался словенским языком. К словенскому материалу он стал вновь обращаться к концу своей жизни в связи с дискуссией (в Варшаве) о языковом родстве[19]. Он повторил свою критику генеалогического древа Шлейхера и теории волн Шмидта, обвиняя и то, и другое направление в максимализме. Не отрицая фактов языкового родства в плане генетическом, он подчеркнул значение фактора географического, ведущего к взаимодействию языков разных семей и систем, подчеркивая при этом большое значение той характеристики языков и диалектов, которую мы теперь часто называем типологической. В том же плане он высказался и по вопросам славянского лингвистического атласа, вернее, определения основных изоглосс, в своем посмертно опубликованном докладе на I съезде сла-

---

[18] См. критику классификации Бодуэна и некоторых других его ошибочных положений, относящихся к словенским говорам, в монографии Ф. Рамовша (Ramovš, 1935, s. XXIII, XXIV и s. 31, 32).

[19] См. Baudouin de Courtenay, 1930.

вистов[20], где он настаивал на необходимости в первую очередь «трактовки чисто описательной, принимая во внимание общее положение славянского языкового мира, без оглядки на его историю».

Можно полагать, что именно с этих позиций были выполнены все работы Бодуэна де Куртенэ по словенской диалектологии, и в этом непреходящая их ценность как надежного и полного материала, способного послужить исследователям многих последующих поколений.

---

[20] См. Baudouin de Courtenay, 1932, s. 448.

О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни

С той поры, когда блестящий харьковский лингвист, филолог, философ и мифолог писал и публиковал свои основные труды, прошло немногим более или немногим менее ста лет. В развитии нашей филологической науки этот срок — очень значительный. Сменилось множество научных направлений и поколений, имен и коллективов, многие из которых или преданы забвению, или привлекают лишь историков науки. Разыскания ряда ученых 70–80-х годов XIX в. интересуют нас теперь только либо как этап в развитии лингвистической, или шире — филологической мысли, либо как источник материалов, уже недоступных, исчезнувших в наше время.

Иная судьба, как мы постоянно убеждаемся, постигла творческое наследие Александра Афанасьевича Потебни. Его идеи во многом остаются современными для нас плодотворными и необесцвеченными; мы обращаемся к ним не для того, чтобы отдать им дань уважения и признательности, а для того, чтобы получить новый импульс в наших научных поисках.

Так было в начале XX в., в 40-х годах нашего столетия, так происходит сейчас. Нужно, однако, учесть, что наряду с постоянно повторяющимся признанием научных достоинств наследства Потебни, признанием созвучия его идей творческим исканиям определенной эпохи, время от времени раздавались голоса об устарелости концепции выдающегося лингвиста, о его неоригинальности или об ошибочности его исходно-методологической базы и т. п.[1]. Но эти и подобные упреки были недолговечны, — к счастью, они довольно быстро предавались забвению.

В наше время научное наследие А. А. Потебни изучается интенсивно, плодотворно, с должным глубоким вниманием и пиететом, без ненужных ярлыков, без модернизации и без

---

[1] См. Финкель, 1930, с. 26; Петров, 1924. См. возражения в защиту А. А. Потебни: Ветухов, 1926; Харцієв, 1925.

мертвящей канонизации или гиперболизации. Академическому подходу к творчеству Потебни во многом способствовали В. В. Виноградов, изучавший в конце 30-х и в 40-х годах грамматическую, в частности синтаксическую концепцию харьковского слависта (Виноградов, 1938а; 1946; 1949; 1938, с. 6–24 и другие работы), и Л. А. Булаховский, создавший первую послевоенную монографию о Потебне (Булаховский, 1952). Вслед за работами этих ученых появился ряд значительных исследований грамматических идей Потебни. Не остались без внимания и труды Потебни — теоретика литературы, автора оригинальных построений по поэтике, столь отличных от последующих поисков и постулатов русской формальной школы, но в то же время актуальных для современной науки. Эту сторону научной деятельности А. А. Потебни по достоинству оценили еще в начале нашего века его харьковские воспитанники и продолжатели В. И. Харциев, Б. А. Лезин, А. Г. Горнфельд. Недавно с привлечением новых материалов ее широко рассмотрел и ярко представил А. П. Чудаков (Чудаков, 1975). Глубокое философское и философско-эстетическое содержание потебнянских идей еще в начале 20-х годов привлекло внимание его первого биографа Т. Райнова (Райнов, 1924), а в нашу пору — И. Иваньо и А. Колодной, составивших объемистый сборник работ Потебни, связанных с эстетикой, и предпославших ему развернутое предисловие (Иваньо, Колодная, 1976).

К сожалению, еще мало изучен, мало освещен, а отчасти и вовсе забыт Потебня — миф олог, Потебня — этнолингвист, Потебня — исследователь славянских народных древностей. Трудно назвать работу, где бы специально, а не в связи с поэтикой или эстетикой, подробно рассматривалась или освещалась эта важная сторона деятельности выдающегося филолога-мыслителя. Рецензия П. А. Лавровского (Лавровский, 1866), о которой речь будет ниже, была разбором по частям, преимущественно по деталям, ранней монографии «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (Потебня, 1865). Разбор был сделан сгоряча, под свежим впечатлением прочитанного, в стиле пометок раздосадованного учителя на полях сочинений еще «не созревшего» ученика. Если не принимать в расчет «Разбор», или, вернее, нотацию П. А. Лавровского и небольшую рецензию Э. Вольтера на «Объяснения малорусских и сродных народных песен» в ягичевском «Archiv für slavische Philologie» (1884, VII, S. 629–639), то,

кроме отдельных замечаний и экскурсов о трудах Потебни в работах и статьях харьковского этнографического круга в начале XX в. (Н. Ф. Сумцова, А. В. Ветухова, В. И. Харциева и др.), мы не найдем ничего. И дело здесь не только в невнимании к работам исключительно А. А. Потебни (даже М. К. Азадовский в своей «Истории русской фольклористики» [Азадовский, 1963, с. 205–208] отводит Потебне более чем скромное место), а скорее в общем длительном пренебрежении и отсутствии интереса к мифологической школе (хотя Потебня непосредственно к ней не принадлежал), которая со времени ее вытеснения исторической школой, а затем иными направлениями была незаслуженно отвергнута[2]. Вместе с отклонением ошибок, или, лучше сказать, крайностей, наивных этимологий, филологически и этнографически мало обоснованных сравнений и романтических схем и опытов реконструкции, надолго была дискредитирована или оставлена в стороне сама идея возможности и полезности мифологических реконструкций на основе современного славянского фольклорно-этнографического материала.

Потебня — мифолог и этнолингвист формировался в ту пору, когда в России уже были распространены и признаны работы А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, А. А. Котляревского и др., а в Германии, где, как известно, А. А. Потебня одно время учился, — труды братьев Гримм, В. Маннгардта, Х. Вольфа, А. Куна и др. По свидетельству самого А. А. Потебни (см. его автобиографическую справку в кн.: Пыпин, 1891, с. 420–424), среди первых научных работ, прочитанных им в университете, были «Об историческом значении русской народной поэзии» Н. И. Костомарова и «Об эпической поэзии» Ф. И. Буслаева. С некоторыми из ученых, в частности с Ф. И. Буслаевым и А. Н. Афанасьевым, Потебня позже полемизировал, и небезуспешно. Но все же при всем широком знании и пользовании литературой предмета и современной ему научной методологией, при частом обращении к материалу и положениям его старших современников «харьковский отшельник»

---

[2] Отрадно отметить позитивно-критический разбор мифологической школы А. И. Баландина, основанный на всестороннем освещении фактов (см. Баландин, 1975). В начале 60-х годов нашего века на сложность и многогранность «мифологической школы», как в отношении ее состава, так и в отношении программы и методов исследования указывал М. К. Азадовский (Азадовский, 1963, с. 47–84).

остается самобытным и оригинальным и потому отличным от других и часто непонятым другими. Сам того, быть может, не сознавая, А. А. Потебня больше обращался к будущим читателям, чем к современникам[3], и посмертная судьба его книг, статей и особенно лекций — тому подтверждение.

Почти все исследования А. А. Потебни по этнолингвистике и мифологии были его ранними работами. К ним относятся два крупных разыскания: «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (Харьков, 1860, 155 с.) и «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (М., 1865, 310 + VII с.), небольшие работы «О связи некоторых представлений в языке» (Воронеж, 1864, 32 с.), «О доле и сродных с нею существах» (М., 1867, 44 с.), «О купальских огнях и сродных с ними представлениях» (М., 1867, 19 с.), «Переправа через воду как представление брака» (М., 1868, 12 с.). Книга «О некоторых символах...» была первой опубликованной работой А. А. Потебни, защищавшейся 22 июня 1860 г. в качестве магистерской диссертации. Это и остальные исследования относятся к первым восьми годами научного творчества А. А. Потебни, когда были выполнены и такие разыскания, как «Мысль и язык» (М., 1862), «Два исследования о звуках русского языка» (Воронеж, 1866) и др. Ко второму периоду творчества А. А. Потебни, который, на наш взгляд, открывается серией «Из записок по русской грамматике» (1873–1874 гг.), относятся две этнолингвистические работы: рецензия на книгу Я. Ф. Головацкого «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (Записки Имп. Академии наук. Приложение к т. 37. СПб., 1880, 88 с. — см. Потебня, 1880) и «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (Варшава, 1883, 268 + XII с. и 1887, 809 с.), печатавшиеся в «Русском филологическом Вестнике». «Объяснения» были одним из последних прижизненно опубликованных трудов А. А. Потебни. 29 ноября (11 декабря) 1891 г. он скончался в Харькове.

---

3 По свидетельству Н. Ф. Сумцова (Сумцов, 1926, с. 7), в повести Д. Эварницкого «За чужой грех» (Екатеринослав, 1907) А. А. Потебня выведен под именем профессора Хмары: «Как истинный мудрец и глубокий критик Хмара читал свои лекции так, что его для полного понимания нужно было слушать с большой натугой. Недоумки и тяжелодумы или совсем не понимали его, или долго не могли понять и сбегали на другой факультет... Не совсем способные начинали понимать Хмару через год или через два».

Из посмертно опубликованных сочинений А. А. Потебни по интересующей нас тематике большое значение имеет третий раздел книги «Из записок по теории словесности» (Харьков, 1905) — «Мышление поэтическое и мифическое» и приложения: «Миф и слово», «Об участии языка в образовании мифов», «Религиозный миф», «Отношение язычества к христианству, веры к знанию».

Уже приведенный перечень мифологических и этнолингвистических трудов А. А. Потебни и их общий объем (свыше 2000 страниц) убеждают нас, сколь значительно место и роль этих трудов во всем творчестве и в научных исканиях знаменитого филолога. При этом, естественно, между перечисленными трудами и другими исследованиями невозможно провести четкой грани, ибо этнолингвистическая проблематика присутствует и в этимологических заметках А. А. Потебни (например, в статьях «Кобылья голова (костяк)», «Присяги и договоры относительно владения», «Русалки и петрушки», «Соловей разбойник на дубах», «Тур печной» и др.), и в лекциях по теории словесности, и в исследовании, посвященном «Слову о полку Игореве». Но самое существенное, естественно, не в общности тематики отдельных работ А. А. Потебни, не в их взаимной «перекличке», а в том, что этнолингвистический подход и мифологическая тема были неотъемлемой частью всей его общелингвистической или, лучше сказать, общефилологической концепции.

В своих лекциях по теории словесности А. А. Потебня утверждал: «Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли»; «Сказанное о слове вполне применяется к поэтическим произведениям. Разница здесь между словом и поэтическим произведением только в большей сложности последнего» (Потебня, 1894, с. 132). «В языке человек объективирует свою мысль и, благодаря этому, имеет возможность задерживать перед собой и подвергать обработке эту мысль» (там же, с. 133); «Слово только обозначает известное течение в развитии мысли» (там же, с. 127); «Все свойства поэтического произведения находят соответствие в свойствах слова» (там же, с. 126). С этими мыслями Потебни, выраженными в 80-е годы XIX в., важно сравнить его же мысли, высказанные в 1860 г. в книге «О некоторых символах...». Эта книга начинается с положения: «Слово выражает не все содержание понятия, а один из признаков, именно тот, кото-

рый представляется народному воззрению важнейшим» (Потебня, 1814, с. 1)[4]. Далее следует: «Новые понятия, входя в мысль и язык народа, обозначались звуками (лексемами. — *Н. Т.*), уже прежде имевшими смысл, и основанием при этом служило единство основных признаков в новых и прежде известных понятиях»; «Известный признак в каждом новом слове получал особенные оттенки... и звук (лексема. — *Н. Т.*), сживаясь с новым понятием (с новой семемой. — *Н. Т.*), тоже изменял первоначальное значение»; «Новые слова роднились уже со словами не первичного, а позднейшего образования и в свою очередь удалялись от первичного значения признака» (там же). Так представлял себе А. А. Потебня «ход лексического развития» в известной семье языков. Это представление ему было нужно для того, чтобы объяснить происхождение, эволюцию и функцию символа в языке. Он писал: «Близость основных признаков, которая видна в постоянных тождесловных выражениях, была и между названием символа и обозначаемого предмета»; «На основании связи символов с другими эпическими выражениями, можно бы назвать символами и те предметы и действия, которые, изображая другие предметы и действия, нисколько при этом не одухотворяются»; «Зная, например, — заключает А. А. Потебня, — что гниение обозначается в языке огнем, можно бы огонь назвать символом гниения» (там же, с. 2); «В тех способах выражать символ, какие застаем в народной поэзии, видно тоже стремление к потере изобра-

---

[4] Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что слово, вернее, значимая его часть, семема, содержит дифференциальные семантические признаки, относящиеся к предмету-референту (денотату), и не содержит (не выражает) интегральных признаков. Мысль о том, что древний человек называл предметы и явления по какому-либо одному, мотивирующему признаку принадлежала и старшим современникам А. А. Потебни — М. Мюллеру и А. Н. Афанасьеву. Дальнейшее объяснение происхождения мифа у М. Мюллера, А. Н. Афанасьева и А. А. Потебни было различно. М. Мюллер считал, что из-за близости ряда признаков разные предметы и явления могли иметь одинаковое название, — так развивались синонимия и метафоричность в языке. Однако первоначальное значение постепенно забывалось, «портилось», и это определило появление мифов, фантастических представлений о природных явлениях. Момент «порчи языка» как источника мифа («мифология — болезнь языка») не принимался русской мифологической школой и А. А. Потебней, но общим у них с М. Мюллером было отношение к слову как к источнику мифа (см. подробнее Баландин, 1975).

зительности слова и связи поэзии с языком» (там же), — отмечает А. А. Потебня. Его интересуют архаические языковые тексты, как отражающие более ранний этап поэтического творчества и мышления: «Так как символизм есть остаток незапамятной старины, то встретить его можно преимущественно там, где медленнее происходит отделение мысли от языка, куда медленнее проникает новое» (там же, с. 5).

Несколько схематизируя идеи А. А. Потебни, отметим, что и сам автор излагал их весьма схематично и нередко в своих фундаментальных трудах, руководствуясь ими, он опускал их изложение, предпочитая материал теоретическим выкладкам. Ранняя работа «О некоторых символах...» — счастливое исключение; другие же мифологические и этнолингвистические штудии не снабжены теоретической частью, и теоретические позиции автора приходится выводить из всего исследования. Однако, если в своих печатных работах по мифологии и этнолингвистике А. А. Потебня или воздерживался от общих рассуждений, или был скуп на них[5], то в своих лекциях по теории словесности и в черновых записях он чаще находил возможность раскрывать «глубинный смысл» исследований и обращаться к обоснованию своих концепций[6].

В опубликованных В. И. Харциевым и М. В. Потебней материалах «Из записок по теории словесности» (Харьков, 1905) и именно в той части, которая была несколько перекомпонована и вновь издана Б. А. Лезиным под заглавием

---

5 Примечательна характеристика метода чтения лекций А. А. Потебни, данная его учеником В. И. Харциевым: «Приводя целые груды примеров, объединенных общими положениями или типичными образцами, по методу санскритских грамматик (этот прием он высоко ставил), Потебня всегда занимал по отношению к ним положение постороннего наблюдателя. Примеры объяснялись примерами же» (Ветухов, 1898, с. 63). Подобный метод был характерен и для некоторых спецкурсов и работ акад. В. В. Виноградова.

6 Нетрудно увидеть определенный параллелизм в творческой манере и в отношении к публикуемому и лекционному материалу у Ф. де Соссюра и А. А. Потебни. Оба ученых наиболее ценные, глубоко теоретические мысли излагали в лекциях и оба постоянно меняли текст лекций, считая его незаконченным, недостаточно обработанным, оба подвизались в университетах, несколько обособленных от основных лингвистических и филологических центров, и т. п. Творческое наследие А. А. Потебни, так же как и Ф. де Соссюра, было бы гораздо беднее и одностороннее без записей лекций, сделанных слушателями, и без черновых набросков (см. Соссюр, 1977).

«Из черновых заметок А. А. Потебни о мифе» (I. Теория творчества, II. Мифотворчество)[7], находим ряд кардинальных положений, касающихся мифа и его отношения к поэтическому произведению и к слову.

Для концепции А. А. Потебни существенно прежде всего широкое понимание мифа. «Под мифом, — говорил он, — разумеется, между прочим, такие простые поэтические объяснения явлений, как "облако — это камень, гора", "душа — это дыхание, пар, дым, ветер". В то же время к области мифов относятся и те, предметом коих служат деяния высших человека существ, управляющих миром и человеком и во всех мифологиях относимых преимущественно к небу. Очевидно, последние мифы должны быть позднее по времени образования, так как они предполагают более-менее значительную степень широты и единства миросозерцания» (Потебня, 1976, с. 447). Отношения между простой (первичной) и осложненной (вторичной) мифологией сводятся к тому, что «по общему правилу (сначала) объясняется отдаленное близким» (там же). Для первобытного человека, согласно Потебне, «самое первоначальное название земного огня, коровы и т. д. было уже мифом (разрядка наша. — *Н. Т.*), но этот миф послужил только материалом для создания мифов, имеющих предметом явления более потрясающие и потому божественные» (там же, с. 448). Иначе говоря, предметы, явления повседневного мира и их соотношения в повседневном мире были восприняты как модели, как аналоги мира «потрясающего», мифического, «небесного» — мифологическая модель была построена в естественных условиях — «на земле», спроецирована затем в условия сверхъестественные — «на небо» и затем вновь обращена «на землю» как некоторая достаточно абстрагированная, хотя и не лишенная образного воплощения модель, объясняющая и организующая представления о повседневном земном. По А. А. Потебне, пользуясь современной терминологией, древний человек, древний славянин (или даже индоевропеец) произвел сначала индуктивную операцию, индуктивным путем построил модель, а затем дедуктивным способом, дедуктивным путем обратил ее на тот земной повседневный

---

[7] См. Вопросы теории, 1914, с. 494–509. Эта часть размышлений А. А. Потебни о мифе была недавно переиздана (Потебня, 1976, с. 414–448).

материал, на который опирался индуктивный процесс. Это были поиски божества, но не осознание божества. Потебня записал в своих черновых заметках: «Земной огонь, земные коровы послужили ответом на вопросы, что такое огонь небесный, что такое туча. Лишь затем вновь возник вопрос: что же такое земной огонь, что такое земная корова? Ответ: земной огонь есть тот же небесный, нисшедший на землю; земная корова есть таинственное воплощение небесной и потому известными своими действиями может указывать на деяния первой» (там же, с. 448).

С потебнянской диахронической концепцией мифа связана и диахроническая концепция слова, концепция образности и поэтичности[8]. Гумбольдтово понимание внутренней формы слова было модифицировано Потебней и применено к его пониманию образности слова. «Образность слова равна его поэтичности», — прокламировал А. А. Потебня, полагая, что слово, сохранившее внутреннюю форму, — образно, а утратившее ее — безóбразно. Поэтому народная поэзия своими эпическими формулами *красна-девица, косу чесать, плакать-рыдать* восстанавливает эту внутреннюю форму (Чудаков, 1975, с. 316).

Что же касается соотношения мифа и поэзии, мифичности и поэтичности, то, по представлениям А. А. Потебни, «миф принадлежит к области поэзии в обширном смысле этого слова... Миф отличен лишь от поэзии, понимаемой в тесном значении, позднейшем по времени появления». «Вся разница между мифом и такой позднейшей поэзией, — поясняет далее А. А. Потебня, — состоит в отношении сознания к элементам того и другого. Не приняв во внимание этого..., различить этих явлений нельзя. Для нас миф, приписываемый нами первобытному человеку, есть лишь поэтический образ. Мы называем его мифом лишь по отношению

---

8 Можно говорить и о желании Потебни связать грамматическую концепцию с общей мифологической концепцией. А. А. Потебня писал 17 июня (по ст. стилю) 1883 г. И. В. Ягичу: «В истекшем учебном году я был занят, между прочим, одним из вопросов, связывающих, как мне кажется, историю граммат[ических] форм с историею религиозных верований и философских воззрений, именно вопросом о вытеснении грамматических субстанций как подготовок в языке научного рационализма. Этот последний имеет, по-видимому, в безличной умственной деятельности... непоколебимые основания» (см. Јагић, 1934, с. 61).

к мысли тех, которыми и для которых он создан. В позднейшем поэтическом произведении образ есть не более как средство создания (сознания) значений, средство, которое разлагается на свои стихии, то есть как цельность разрушается каждый раз, когда оно достигло своей цели, то есть в целом имеющее только иносказательный смысл (разрядка наша. — *Н. Т.*). Напротив, *в мифе образ и значение различны не в такой степени, как образ и значение в поэзии; иносказательность образа существует, но самим субъектом не сознается, образ целиком (не разлагаясь) переносится в значение*» (Потебня, 1976, с. 432).

На этом основании А. А. Потебня строит следующую диахроническую последовательность. Он говорит: «Их различение (образа и значения. — *Н. Т.*) ведет от мифа к поэзии, от поэзии к прозе и науке» (там же, с. 433). Это одна из ярких и лаконичных формул потебнянского представления о стадиальности мышления и в связи с этим о различных функциях языка. В тех же черновых заметках он записывает: «Язык есть главное и первообразное орудие мифического мышления. Но немыслимо орудие, которое своими свойствами не определяло бы свойств деятельности, производимой при его посредстве... Стало быть, влияние языка на мифы бесспорно», и продолжает: «С другой стороны, влияние языка... простирается как на словесные мифы, так и на прочие словесные произведения... Поэтому в определение мифа должно войти указание на *разницу во влиянии языка на мифическое и немифическое мышление*» (там же, с. 433–434). Таким образом, А. А. Потебня определенно говорит о стадиальности мышления, но не решается говорить о стадиальности развития языка и лишь указывает на связь языка и мышления. По его представлению, мифическое мышление возникло раньше поэтического, которое знаменовало собой более высокую ступень абстракции; следующей ступенью было научное (логическое) мышление. Мифическое мышление утратилось, а поэтическое и логическое продолжают существовать.

Объем и значение темы «мышление и язык» предостерегают нас от дальнейшего ее рассмотрения и от соблазнительных сопоставлений взглядов Потебни со взглядами других лингвистов, философов, этнографов и мифологов. Отметим только, что после А. А. Потебни этот кардинальный вопрос ставился неоднократно, а решение его служило фундамен-

том многих известных теорий и концепций. Достаточно напомнить положение о «первобытном мышлении» (mentalité primitive), о «дологическом мышлении» Н. Я. Марра, о «стадиальной теории» И. И. Мещанинова и о «диком мышлении» (pensée sauvage) К. Леви-Строса.

Мифолога и этнолингвиста А. А. Потебню более всего интересовало зарождение и функционирование мифического и поэтического мышления, их соотношение и использование ими языковых средств.

Первая печатная работа А. А. Потебни, о которой уже шла речь, «О некоторых символах...», ставила своей задачей, как можно судить по поздним черновым заметкам о мифе и по предпосланным ей теоретическим страницам, — выяснение техники, способов и форм создания простейших мифов-тропов, мифов-метафор и т. п. (если все же допустимо, после изложенных выше взглядов Потебни, применение поэтической терминологии к мифологии), мифов-символов (как обозначил их сам Потебня). Были рассмотрены символы, связанные с понятиями, предметами, действиями или выраженные словами: *огонь* (печаль), *свет, еда, горечь, сладость, таяние, кование, огонь* (любовь), *дым, пыль, огонь* (гнев), *мороз, белый, зеленый, красный, калина, золото, черный, черная туча, темная ночь, слабый свет* и *мрак, быстрота, быстрота — ум, найти, вода холодная, вода быстрая, вода* и *ветер, слюна, утопить, разлив, светлая вода, обливание, обсыпание, разливание, рассыпание, облако, листья, рой, вить* и *вязать, тонкое дерево, нить, путо — узда, ключ* и *замо́к, рвать, платье, дорога, пахать, равнина, горы.*

Для примера приведем одну из самых кратких статей — «Кованье».

> КОВАНЬЕ. Если *ковать* значит не только бить молотком, но и раскалять, или, как говорилось исстари, «варить» (*вар* — жар) железо и вообще металл, то понятно следующее выражение, в котором девица сравнивает себя с золотом, а любовника жениха — с кузнецом: «Злату ће се кујунџија наћи, И мени ће мој суђеник доћи» (Срп. пјес. 1, 376). Не одного ли происхождения пол. *kochać*, чеш. *kochati* с серб. *кухати — кувати* «варить»? Близость их по корню довольно вероятна. Раскаленное железо сближается с печальным сердцем: To moje serdeczko takie rozżalone, Jako to żelazko w ogniu rozpalone (Zejszn, P. L. Podh., 103) [Потебня, 1914, с. 19].

На связь свадебного мотива с кузнецом указывают и новейшие работы, притом в них еще ярче выступают колдовство, чары, ворожба, а весь мифологический комплекс, связанный у славян с кованием, оказывается довольно сложным (см. Иванов, Топоров, 1973, с. 155–158).

Большинство других статей в книге Потебни «О некоторых символах...» более развернуты, с бóльшим материалом и подробностями; к ним примыкают статьи из этимологических заметок и из монографии «Объяснения малорусских и сродных народных песен». В последней работе, правда, рассматриваются не только парадигматически определяемые символы, но выявляется и их синтагматика, связь с другими символами в народной поэзии и функционирование в поэтическом тексте. Потебнянская идея создать индекс основных славянских символов и описать их в парадигматическом плане получила отчасти свое воплощение в интересной работе В. В. Иванова и В. Н. Топорова, посвященной минимальным семиотическим (символическим) парам в славянском фольклоре и мифологии: *доля — недоля, жизнь — смерть, чёт — нечет, правый — левый, верх — низ, небо — земля, день — ночь, огонь — влага, дом — лес* (см. Иванов, Топоров, 1965). Правда, во многих отношениях эти работы несопоставимы, как несопоставим и объем материала, который был доступен Потебне и который может быть использован современным исследователем. Значительно повысился и уровень этимологических штудий. На недостатки некоторых этимологий Потебни прежде всего с формальной (фонетической) стороны указывал еще П. А. Лавровский в своей рецензии (Лавровский, 1866), отмечая неудачное этимологизирование слов *борошно, жук* и ряда других. Много позже Л. А. Булаховский справедливо отметил, что «Потебня этимологизирует, сопоставляя между собой факты разных индоевропейских языков, без предварительной обработки их в хронологическом отношении и без достаточно надежного учета вероятностей, что его сопоставления касаются однородных фактов» (Булаховский, 1952, с. 22). Обращаясь сразу к древнему состоянию или предполагая такое состояние, Потебня не обобщал и научно не препарировал факты, не устанавливал промежуточных этапов, например, праславянского при рассуждении об индоевропейском, а смело сопоставлял прямо древнеиндийские (санскритские) формы с отдельными славянскими, довольствуясь иногда одним и при-

том случайным семантическим соответствием, которое он воспринимал очень широко.

Подобную свободу в обращении с фактами он позволял себе не только в этимологических исследованиях, но и в работах по мифологической и поэтической символике («О некоторых символах...», «О мифическом значении...», «Объяснения малорусских и сродных народных песен»). По сути дела, исследования по символике требовали принципиально того же подхода, что и этимологические разыскания, во всяком случае, в сфере наиболее трудной и тонкой, до сих пор окончательно методически не разработанной, — в сфере сопоставления значений, в сфере семантики.

Неудачи и промахи в области реконструкции находим у Потебни при попытке восстановить славянскую «высшую» мифологическую систему, славянские божества, при анализе колядного цикла, образа бабы Яги и образа Змея (а также волка и ведьмы) в монографии «О мифическом значении...». На ряд сомнительных реконструкций и неоправданную смелость отдельных сопоставлений указывал еще в свое время П. А. Лавровский. К его упрекам можно было бы добавить и другие претензии, в частности, предъявить требование при реконструкции различать и учитывать разные фольклорные жанры (сказки, загадки, народные песни, заклинания) и разные виды обрядов (свадьба, купала, колядки), равно как и типы вербальных формул в фольклоре и в обрядах (эпитеты, сравнения, имена собственные и нарицательные и т. п.), но в нашу задачу не входит критический разбор мифологических сочинений А. А. Потебни и демонстрация несовершенства его методики в целом или в отдельных ее частях, — наша задача преследует обратные цели: увидеть в творчестве харьковского слависта мотивы, созвучные нашим современным научным устремлениям и исканиям. Пусть такой подход покажется несколько односторонним, но он, безусловно, плодотворен. Этимология наших дней, достигнув больших успехов в формальном — фонетическом и морфолого-словообразовательном плане, серьезное внимание обращает на семантическую сферу и, что самое главное, на сферу экстралингвистическую, на историю слова вне языка, на историю того предмета или явления, к которому относилось слово, которое обозначалось этим словом. Именно эта сторона дела всегда интересовала Потебню, и он не упускал ее из виду. Внимание к экстралингвистическим

фактам, к истории культуры, к сфере, в которой бытовало слово, к обряду и обрядовой реальности, обрядовым действиям и предметам — было сильной стороной научного метода А. А. Потебни, которая вырабатывала в нем глубокую интуицию. Именно эта интуиция позволила А. А. Потебне правильно увидеть параллелизм и общую (инвариантную) глубинную семантику в таких свадебных (и похоронных) действиях, как посыпание зерном и разбивание горшков, и во многих других случаях. П. А. Лавровский, однако, был иного мнения, он писал: «Связи между битьем горшков и посыпанием нигде и ничем г. Потебня не доказал», и добавлял: «кроме этого, трудно удержаться от удивления к столь смелому обобщению на основании единичного, определенного тесною местностью, факта» (Лавровский, 1866, с. 46).

Дальнейшее развитие этнографической науки подкрепило предположения А. А. Потебни, а факты оказались совсем не единичными, но широко распространенными (почти общеславянскими и индоевропейскими) (см. Филиповић, 1950).

За век, отделяющий нас от той поры, когда мыслил, творил и обобщал глубоко чтимый нами «харьковский отшельник», индоевропейская и славянская мифология и этнолингвистика добилась значительных успехов. Однако мы и сейчас полагаем, что она не достигла еще необходимого уровня, далеко не исчерпала своих возможностей, не внедрила в свою практику новых методов (лингвистической и этнолингвистической географии, семантического поля, внутренней реконструкции), не собрала все еще бытующий, до сих пор не исчезнувший полевой материал и не создала диалектологии славянской мифологии, столь необходимой для реконструкции ее древнейшего состояния. Впереди еще много увлекательной и окрыляющей большой работы. В этой работе идеи и исследования А. А. Потебни будут необходимы как стимул, как пример научного подвига, как источник прозрений и веры в гуманистическое предназначение филологической науки.

Д. К. Зеленин–диалектолог*

В ту пору, когда появились первые печатные труды Д. К. Зеленина, русская диалектология была на подъеме и входила, благодаря усилиям А. А. Шахматова и ряда других ученых, в новый этап своего развития. И хотя все настойчивее и яснее вырисовывались контуры новой диалектологии, довольно автономной по своим научным задачам и методам описания и исследования говоров, причастность диалектологии к широкому комплексу народоведческих дисциплин ощущалась еще четко и незыблемо. А. А. Шахматов видел в русских говорах неизменный и первостепенный по полноте и важности источник для истории русского языка; его ученики и коллеги сознавали неразрывную связь этнографии и диалектологии, полевой этнографии и полевой диалектологии при решении вопроса об исторических судьбах русского народа, его материальной и духовной культуры. Диалектология родилась в недрах этнографии и в ее же недрах она пережила свое раннее развитие. Начало XX в. было началом ее «эмансипации», приведшей в 30-е и 40-е годы в ряде случаев к полному разграничению и расхождению диалектологии и этнографии. Диалектология все более превращалась в диалектографию, в науку описательную и чисто языковедческую, удаленную от исторических и народоведческих проблем. На этом новом пути она достигла определенных результатов и успехов, как в области фонетического и экспериментально-фонетического, так и в области грамматического анализа, но уже проблема детального изучения диалектной лексики столкнула ее снова с необходимостью сближения с этнографией, а метод и цели географического анализа в лингвистике оказались очень близкими к методу и целям такого же анализа в этнографии. Лингвистика, в первую очередь диалектология, связанная с созданием атласов и словарей, вновь осознает свою близость к этнографии во всех случаях, когда речь идет об историческом народоведении в широком смысле этого слова, о проблемах этно- и глоттогенеза, древнейших этнических миграций и

---

* Статья написана в соавторстве с С. М. Толстой.

этнического членения славянства в целом и отдельных его частей. Современные направления этнолингвистики и этнографии, так же как и опыт и практика полевых исследований языковедов и этнографов, все чаще напоминают нам о том, что идеи и методы работы Д. К. Зеленина созвучны и близки нашей эпохе.

Одной из кардинальных и теоретически принципиальных проблем современной славянской науки о диалектах остается проблема диалектного членения отдельных языков, проблема диалектных границ и классификаций в крупных и более мелких масштабах. Монографические диалектные разыскания и атласы дали в руки исследователей обильный материал, усовершенствовали методы исследования, но вместе с тем показали, сколь важен при решении отмеченных выше проблем историко-этнографический принцип выделения диалектов и проверка или оценка лингвистических результатов результатами этнографическими (см. Терновская, 1975).

В этом отношении для современных диалектологов и этнографов очень поучительна первая большая опубликованная монография Д. К. Зеленина (Зеленин, 1913), посвященная великорусским говорам. В ней он скромно говорил о своих принципах работы, к которым в наше время вновь начинают обращаться диалектологи, как о принципах уже испытанных и утвердившихся в науке. Он писал, что его метод в сущности не нов, что почти все русские диалектологи придают этнографическим и историческим данным большое значение (акад. А. И. Соболевский, акад. А. А. Шахматов, М. Г. Халанский и Е. Ф. Будде, В. А. Богородицкий) (с. 3–4).

Магистерская диссертация «Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных...» — самое крупное и, несомненно, самое значительное диалектологическое исследование Д. К. Зеленина. В обстоятельной рецензии на эту работу акад. А. А. Шахматов писал: «Книга Д. К. Зеленина должна быть признана ценнейшим вкладом в русскую диалектологию, и ценность ее особенно значительна потому, что автор сумел проложить ряд новых путей, которыми неминуемо воспользуются будущие исследователи» (Шахматов, 1915а, с. 332)[1]. Книга содержит ис-

---

1 Впоследствии солидарность с лингво-этнографическим методом Д. К. Зеленина, выдвинутым им в диссертации, высказали академики Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, В. Н. Перетц и П. А. Лавров, назвав его подхо-

черпывающий для своего времени материал, касающийся широко распространенной в великорусских говорах диалектной черты — прогрессивной ассимиляции задненебных (типа *Ван'к'а, тол'к'о, д'ен'г'ам* и т. п.). Главным результатом исследования, не утратившим значения и в настоящее время, следует считать точное определение ареала этого явления и границ его распространения, степени и характера его представленности в различных областях Европейской России. Недавнее специальное исследование данной диалектной черты, выполненное на базе новых материалов русских атласов и дополнительных полевых наблюдений Л. Л. Касаткиным, почти полностью подтвердило установленные Зелениным границы (им упущен лишь один ареал в Новгородской зоне, а прочие несоответствия современной карты с картой Зеленина незначительны и объясняются либо отсутствием в распоряжении Зеленина некоторых фактов, либо в ряде случаев позднейшим вытеснением данной черты в отдельных пограничных зонах) (Касаткин, 1968).

Вместе с тем собственно лингвистические проблемы, такие как системный характер, позиционные условия палатализации задненебных, генезис и относительная хронология явления, его связь с другими диалектными чертами, явно не имели для Дмитрия Константиновича первостепенного значения. Для Зеленина рассматриваемая им диалектная черта была важна лишь как один из этнических признаков определенной великорусской зоны (по его заключению, коломенско-московской), откуда она, как черта модная, распространилась на остальные южновеликорусские, а затем, в ходе колонизационных процессов — и на северновеликорусские территории. Из внутренних языковых причин, обусловивших ее возникновение в говорах разных типов, Зелениным учитывалась лишь «физиологическая» природа ассимиляции, но не принимались во внимание функционально-языковые причины, т. е. прежде всего различные для разных русских диалектов соотношения согласных по признаку твердость—мягкость. Основные лингвистические выводы Зеленина, касающиеся генезиса и хронологии смягчения задненебных в великорусских говорах, были убедительно опровергнуты уже в рецензии Шахматова, который писал: «Ра-

---

дом, ведущим к «богатым научным обобщениям и открытиям». См. Карский и др., 1925.

бота Д. К. Зеленина страдает отсутствием в ней достаточной лингвистической отделки. У автора оказывается много значительных промахов при определении звуковых явлений и при историческом их освещении» (Шахматов, 1915а, с. 333). Тем не менее Шахматов дает в целом чрезвычайно высокую оценку труду Зеленина, подчеркивая важность собранного им огромного фактического диалектного материала, сопоставленного и согласованного с данными исторической географии, местной истории и этнографии.

В книге о неорганическом смягчении задненебных Дмитрий Константинович по существу уже обосновал чрезвычайно важный для восточнославянской диалектологии взгляд, который окончательно был сформулирован им позже (Zelenin, 1927)[2], о членении великорусской диалектной зоны на два самостоятельных диалектных типа — северновеликорусский и южновеликорусский — и соответственно о четырехчленном этническом и диалектном составе восточных славян (украинцы-малорусы, белорусы, северновеликорусы, южновеликорусы).

Главная особенность рассмотренного труда Зеленина, выделяющая его на фоне диалектологических исследований того времени, — это внимание к внелингвистическим и внешнелингвистическим вопросам, к диалектной ситуации, взаимоотношению территориальных, социально-экономических, сословных и прочих факторов и групп населения (равно как и их говоров), вопросы языкового престижа и моды, т.е. вопросы, которые впоследствии надолго исчезли из проблематики «чистой» диалектологии, а в наше время интересуют преимущественно так называемых социолингвистов и специалистов по языковым контактам.

Более ранним диалектологическим работам Дмитрия Константиновича также свойственны эти ценные особенности. Его обширный и оригинальный по исполнению отчет о летней диалектологической поездке (1902 г.) в его родной

---

2 Но еще в 1915 г., подводя итоги своему исследованию «Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных...», Зеленин говорил в речи на диссертационном диспуте, помимо прочего, следующее: «Диалектологическая разница южновеликорусских, акающих, и северновеликорусских, окающих, говоров настолько велика и существенна, что вопрос о существовании особой эпохи правеликорусского единства подвержен весьма большому сомнению» (Зеленин, 1915, с. 124).

Вятский край (Зеленин, 1903)[3] почти целиком состоял из словаря и исследования вятской лексики, где, как правило, каждое третье слово сопровождалось ценными комментариями, сравнениями и иллюстрациями.

Несколько извлечений из этого словаря могут дать о нем представление лучше любого описания.

> *Ку́зница* (Урж. у.). Магницкий в св[оей] статье «Поверья и обряды в Урж[умском] у. В[ятской] губ.» (В. 1884) сообщает, что так здесь называют иногда баню (№ 380), — но почему-то не повторил этого в своей статье об урж[умском] говоре.
>
> *Ку́зов.* В дополнение к Далю сообщу: это род пестеря; бока кузова из лубка, а спинка и перед берестяные, крышка привязывается веревками и снимается совсем; носят в нем грибы, ягоды, хлеб и т. п. (Кузьмодемьянско).
>
> Кот[ельнический] у.: деревянный короб на телеге (вопреки Далю, у коего: вязаная и обшитая клетка на дрогах).
>
> *Ку́корочки* (Слоб[одской] у.). Даль: прм. влгд. — «на кукорочках спит (пьяный)»...
>
> *Кума́шник.* Сарафан из кумачу (срв. Даль). В песне (Колосов, с. 262):
>
> Отцы-матери велят,
> По ширинoчке сулят,
> По кумашницку.
>
> *Купа́льница.* Праздник 23 июня. По народному поверью (Яр[анский] у.), купаться можно только со дня купальницы и до Спасова дня (1-го авг.), до конца жатвы, когда «олель в воду рога опустит, и опять вода холоднее станет».

В отдельных случаях уточняется и расширяется география слова (*ку́корочки*), в некоторых — дополняется семантика вместе с географией лексемы (*ку́зов*$_2$), во многих — устанавливается или детализируется предметная соотнесенность слова (*ку́зов*$_1$), определяется роль слова в песенном тексте (*кума́шник*) и, наконец, толкуется обрядовый термин (*купа́льница*). В последних случаях нередко даются очень ценные формулы, за которыми скрываются довольно сложные и очень старые мифологические представления («олель в воду рога опустит...»), или приводится синоним к какому-нибудь слову: *баня — кузница*, указывающий также на сак-

---

3 Изучению говоров Вятского края было посвящено несколько студенческих исследований Зеленина, где давалось краткое описание фонетики и морфологии и более подробно — лексики, см. Зеленин, 1901; 1902.

ральность и одну из мифологических сущностей русского народного помещения для омовения (см. Vahros, 1966).

Число примеров можно было бы стократно умножить, но и взятые почти наугад несколько подряд идущих статей на буку *К* хорошо иллюстрируют метод собирания и подачи материала юного Дмитрия Константиновича, не устаревший и в наши дни метод, который в западной науке в начале XX в. именовался «Wörter und Sachen».

Приведем только еще одну статью на ту же букву.

> *Круглый пиро́г* (Юрьево). Почти то же, что *корова́ец*. Мясной (в последнее время часто и сладкий) пирог круглой формы (*защипанный* кругом, а не *поливно́й*); подают его на стол *под закрытием* (под тарелкой) в конце обеда, бывающего перед благословением к венцу, как *на мужичьёй*, так и на женской свадьбе. За столом он играет роль *разго́ни*. Едят его в *хле́бины* (на третий или четвертый день свадьбы, когда пропируются).

В словарной статье *Круглый пиро́г* по сути дела содержится восемь свадебно-обрядовых терминов, причем многие из них, что особенно ценно, даны во взаимном соотношении — противопоставлении или зависимости — и охарактеризованы с функциональной (обрядовой, этнографической) стороны. В нашей диалектологической литературе, к сожалению, лишь четверть века спустя появился небольшой словарь пермского исследователя П. С. Богословского, посвященный части свадебной терминологии, где, увы, многие термины были поданы отнюдь не с зеленинской тщательностью и полнотой (Богословский, 1927)[4].

При внимательном чтении «Дополнений и критических заметок о вятской лексике», которые по сути дела являлись основной частью «Отчета», можно убедиться, что уже в этом студенческом сочинении Д. К. Зеленина были заложены и практически применены все те принципы подачи «областного», диалектного лексического материала, которые потом были так успешно им, совместно с А. А. Шахматовым, разработаны в академическом «Словаре русского языка». Над составлением и редактированием этого словаря Д. К. Зеленин трудился с 1903 по 1926 г., оставив эту работу незадолго до фактического прекращения этого фундаментального предприятия.

---

[4] В наше время над севернорусской свадебной терминологией работает А. В. Гура. См. его словарь севернорусских свадебных кушаний (Гура, 1977).

Единый этнолингвистический подход к диалектной лексике представлялся Дмитрию Константиновичу необходимым условием диалектного лексиколога и лексикографа. Отсутствие этнографического плана он считал серьезным упущением и обеднением словаря, так как с ним связана вся материальная и духовная культура носителей говора (или диалекта, «наречия»). Исключение этого плана означало, по справедливому суждению Дмитрия Константиновича, сосредоточивание внимания лишь на одной сфере — сфере «общего, разговорного языка»[5]. В рецензии на словарь своего земляка Н. М. Васнецова, брата известных художников В. М. и А. М. Васнецовых (Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1908), Зеленин писал: «Что же касается этнографического значения рассматриваемого словаря, то оно, в полную противоположность областным словарям Куликовского и Подвысоцкого, несравненно слабее лингвистического. Автор совсем не задавался целью дать сокровищницу народной культуры данной области. Термины столь развитых на Вятке и столь разнообразных кустарных промыслов совсем, например, не вошли в словарь Васнецова, исключая очень немногих, более общего характера. Не вошли также хотя бы термины детских игр и не вошли совсем не потому, что не были собраны словарником: Васнецов представил в свое время, как о том замечает в примечании к слову *панок* (с. 197), подробное описание местных детских игр изучавшему эти игры московскому профессору (Покровскому?). Просто целью автора было составление не терминологического словаря, а словаря общего, разговорного языка» (ЖС. 1910. Т. 19, вып. 2, с. 260–262).

Естественно, применительно к историческим словарям этот подход был принципиально еще более важным, так как исторические тексты изобилуют терминологической лексикой. В этом плане, казалось бы, не было и не могло быть инакомыслящих, но в другом отношении, в отношении «областного», диалектного подхода к исторической лексике Зе-

---

5 Изучение словаря только «общего, разговорного языка» возведено, к сожалению, в современной русской диалектной лексикографии даже в принцип (см. ССРНГ). Этому принципу менее сознательно или бессознательно следуют многие составители новых областных и диалектных словарей, см. Беляева, 1973; ССУ; Гецова, 1970 и др. Есть, однако, и авторы, придерживающиеся противоположных позиций, хотя этнографический материал вводится ими неполно и непоследовательно, см. Иванова, 1969; ССГ.

ленин выступил новатором, так как до него вопрос о региональных словарях старорусской лексики, как нам известно, никем серьезно не ставился. В своей скромной, но весьма содержательной записке в Вятскую ученую архивную комиссию Дмитрий Константинович писал, что «словарик старинного вятского наречия имел бы, помимо практического удобства, весьма большое научное значение, так как сколько-нибудь полного словаря древнерусского языка до сих пор нет» и что «... во всяком случае полный словарь к вятским актам послужил бы прекрасным материалом для будущего общерусского исторического словаря» (Зеленин, 1912, с. 74, 78)[6].

Дмитрий Константинович отлично понимал, что наиболее трудной проблемой такого словаря будет проблема разработки значения «исторического» слова. Вот что он писал по этому поводу: «Главное затруднение при составлении словаря представит, конечно, вопрос о том, где искать объяснения непонятных слов? Но для разработки старорусской терминологии и лексики сделано не так-то уж мало: беда лишь в том, что соответствующие материалы не собраны воедино, а разбросаны по разным изданиям в виде отдельных замечаний и примечаний. В трудах наших историков (особенно Забелина), в названных уже нами словарях и других исторических и лексикологических изданиях заключается весьма богатый и ценный материал для разрешения поставленной нами задачи; остается лишь этот материал сгруппировать — в нужном объеме — в словарном порядке.

При этом, правда, окажется много пробелов. Но тут является на помощь другой источник, на который мы хотели бы обратить особенное внимание г.г. членов Вятской архивной комиссии. Разумеем областные говоры и областные словари. Источник этот известен историкам. Уже давно-давно на основании словарного богатства областных говоров историки наши разгадали такие термины, как “олекъ” Русской Правды и многие другие. Но источник этот часто, кажется, забывают; по крайней мере, по нашим наблюдениям,

---

6 Проблему регионального исторического словаря вновь поставил почти полвека спустя Б. А. Ларин в связи с работой над псковским словарем (см. Ларин, 1962, с. 253 и 270), предложивший подавать исторический материал наряду с современным. В качестве одного из первых опытов тематического областного исторического словаря можно назвать труд Е. Н. Поляковой по диалектной зоне, близкой к вятской (Полякова, 1972).

историки пользуются им не всегда, когда бы это было нужно. В "Сборнике актов" Н. П. Лихачева (СПб., 1895) мы с удивлением встретили недоуменные вопросы издателя при таких общеупотребительных в народных говорах словах, как "веко" (с. 118: 89; кухонная принадлежность; род чашки, служащей обыкновенно крышкою, а также и сеяльницею), "пон(ь)ка" (с. 197; уменьшительное название женской одежды поневы), "полазик" (с. 89; весьма знакомое вятчанам название ковра).

Впрочем, мы, пожалуй, напрасно ходили так далеко за примерами. Вятский историк, бывший редактор "Трудов" Вятской комиссии А. С. Верещагин также не всегда пользовался отмеченным источником и даже допускал на этой почве грубые ошибки. Так, при издании "жалованной правой грамоты" 1693 г. неясное ему слово "атаръ" он ошибочно поправил на "татаръ" ("до сухова врага, что нижъ Тойзаворыхъ татаръ": см.: "Труды", 1906, вып. 5–6, с. 355), а несколько ниже (с. 357) "оторища" подлинника изменил на "урочища". Между тем, едва ли не каждый нолинский мужичок знает, что "отарами" ("отар нарубить") зовутся колья с необрубленными сучками, а в дальнейшем также и мелкий лес, пригодный на такие колья; "отарищем", значит, будет такое место, где был такой мелкий лесок, после вырубленный или выжженный. Другое подобное же недоразумение произошло со словом "шабала". А. Верещагин привел для объяснения его цитату из статьи С. В. Максимова о том, как делают деревянные ложки: "шабалой" называют при этом осиновую плаху, которую потом колют на "баклуши" для ложек ("Труды", 1905, № 5–6, с. 49). Но для чего же были нужны такие шабалы для ложек "на воеводцкой двор"? Кто здесь делал ложки, когда корыта, ушаты, "окончины", уполовники и все подобные вещи покупались за деньги? Да и для ложечных шабал была бы дорога по тому времени цена: две деньги за три шабалы. Из говоров мы знаем, что шабалою называют, между прочим, особый вид поваренки (шумовки, уполовника), с отверстиями в лодочке, или же плетеной (вроде камышевки); такого рода поваренки употребляются, например, для вынимания пельменей из котла» (Зеленин, 1912, с. 76–78)[7].

---

[7] О пельменях и способе их подачи Зеленин писал в отдельной заметке «Пельмени и колдуны» (ЖС, 1906, вып. 3, с. 57). Ему возражал Н. Н. Виноградов (там же).

Сочетание исторического материала с диалектным (предпочтительно одинаковой географической приуроченности), при серьезной этнографической документации, в случаях, когда дело касается отдельных сторон материальной и духовной культуры, — вот та гарантия точности, без которой, по мнению Зеленина, задача определения значения слова трудновыполнима[8].

Профессиональность постановки ряда проблем исторической лексикологии, в том числе и исторической диалектологии, на материале лексики была обусловлена большим предварительным трудом над источниками, над древнерусскими текстами, который был проведен при подготовке монографии «Германские, романские и латинские элементы, вошедшие в русский язык до XV века»[9]. Монография эта не опубликована, а рукопись ее утеряна, однако о ней можно судить по развернутому «Отчету о сочинении Д. К. Зеленина...» Ф. Е. Корша. Ф. Е. Корш пишет, что основными критериями заимствованности слова для автора монографии были: «1) звуковые неправильности в отношении между данным словом и его предполагаемым чужим подлинником; 2) отсутствие родичей в русском и других славянских языках». Кроме того, для определения принадлежности слова к древнерусскому языку до XV в. учитывалась хронология памятника и «распространенность слова в наречиях русского языка». Как видно, в этой исчезнувшей работе проблемы исторической диалектологии и ее связи с современным диалектным ландшафтом ставились и достаточно широко, и достаточно конкретно. Об этом мы можем лишь догадываться, ибо несомненным остается только заключение акад. Ф. Е. Корша: «Этот труд, несмотря на все его недостатки, обнаруживает в его авторе как недюжинные знания и способности, так и умение работать. Главное достоинство его словаря состоит в полноте материала: не только собраны чуть ли не все старые слова, объясняемые из западных языков, но и разысканы в памятниках и толково сопоставлены места, в которых они встречаются, почему некоторые статьи пред-

---

8 При этом нельзя не вспомнить об обширных познаниях Зеленина в области русской материальной культуры, отраженных во многих его трудах и в подробной библиографии: Зеленин, 1913а.

9 Работа являлась кандидатским сочинением и была удостоена в 1904 г. академической премии им. М. И. Михельсона.

ставляют собою целые исследования (напр., *Русь* на четырех страницах)» (Корш, 1905).

Монография о древних иноязычных элементах относится к ранним, еще студенческим работам Зеленина. Безусловно, в связи с изучением заимствований появился и ряд этимологических заметок, в которых автор часто и не без некоторых оснований отстаивал русское (славянское) происхождение слов (*корец, хват, кметь, зга* и др.) (Зеленин, 1903а; 1903б)[10]. В дальнейшем Д. К. Зеленин специально этимологией не занимался, но широкие лексико-этимологические познания ощущаются во многих его трудах.

Среди работ, где обильно представлен и исследован диалектологический материал, следует назвать и монографию о восточноевропейском и северноазиатском табуировании слов (Зеленин, 1929–1930). Эта монография хорошо известна лингвистам: она часто служит источником этимологических исследований (словарь М. Фасмера, статьи О. Н. Трубачева, В. Н. Топорова и др.). Однако она ценна и сама по себе — не только как собрание многочисленных «подставных» слов и формул, связанных с народными демонологическими, метеорологическими, медицинскими и иными представлениями, но и как опыт изучения диалектно-языковой базы, на которой эти представления строятся. В этом отношении монография дополняет знаменитую докторскую диссертацию Зеленина «Очерки русской мифологии» (Пг., 1916) и проливает свет на некоторые семантико-структурные особенности русского народного словотворчества, устанавливая связь «подставных слов» с заклинаниями, загадками, комплементарной речью, заимствованным фондом (причем такое заимствование часто производится преднамеренно) и т. п.[11] При этом учитываются не только территориальные диалекты, но и социальные, в первую очередь язык охотников (ему посвящен целый большой раздел труда).

Социальная диалектология и ее особенности, прежде всего лексический фонд социальных диалектов, рано заинтере-

---

[10] К сожалению, М. Фасмер в своем этимологическом словаре оставляет почти без внимания эти работы Зеленина, хотя в отдельных случаях ему принадлежит приоритет в установившейся этимологии.

[11] См. также: Зеленин, 1935. Это, пожалуй, единственная работа Дмитрия Константиновича, в которой он пытался солидаризироваться с некоторыми марровскими положениями.

совали Д. К. Зеленина. В 1905 г. бывший воспитанник Вятской духовной семинарии пишет статью «Семинарские слова в русском языке» (РФВ. 1905. Т. 54, вып. 3, с. 109–119), обращая внимание на небольшой, но эмоционально ярко окрашенный разряд русской речи, примыкающий к просторечию (*антимóнии разводить, ахинéя, бéстия, грубия́н, дзинькáтори, дубинорóдный, ермолáфия, ерундá, заведéнция, изведéнция, лупсéнция, пивомéдие, поведéнция, прокурат, рацéя, ракáлия, свúнтус, семпитэ́рия, секýция*), и объясняя причину его появления и характер функционирования. Некоторые из этих слов стали впоследствии предметом более полного и глубокого рассмотрения. Так, в частности, В. В. Виноградов, воспитанник другой провинциальной семинарии — Рязанской, обратившись к слову *ахинея*, дал блестящий образец анализа истории слова во всех его лингвистических и экстралингвистических аспектах (см. Виноградов, 1928)[12]. Дмитрий Константинович интересовался и уже исчезнувшими социальными диалектами, т. е. по сути дела русской исторической социальной диалектологией, восстанавливая отдельные ее звенья. Одним таким звеном была бурлацкая профессиональная речь, оставившая свои следы в современном русском языке (*тянуть лямку, дела наши — табак!, шишка* 'главный'). Ее происхождение и состав определил Зеленин в одной из работ последнего периода его творчества (Зеленин, 1947). «Бурлаки, — писал он, — оказали влияние не только на язык, но и на фольклор. Известны бурлацкие песни и бурлацкие сказки. Бурлаки переносили из одних мест в другие фольклорные произведения и диалектологические особенности. В старину бурлацкие артели на Волге были едва ли не единственным местом, где непосредственно сталкивались между собой в быту представители двух крупнейших этнографических групп русского народа — северновеликорусов "окальщиков" и южновеликорусов "акальщиков". Последние среди волжских бурлаков численно преобладали, и на верхней Волге, например в Рыбинске, бурлаков прежде называли: "ягутки", т. е. произносящие родительный падеж прилагательных и местоимений по-южному: "яго", а не "ево"» (Зеленин, 1947, с. 397).

---

[12] В. В. Виноградов пользовался зеленинскими наблюдениями в своей работе по истории слов. Так, часть этнографических сведений, относящихся к слову *свистопляска*, была почерпнута из «Очерков русской мифологии» (с. 104–105). См. Виноградов, 1947а, с. 5–6.

Этот заключительный тезис статьи о бурлаках и бурлацкой терминологии очень типичен для Зеленина. Его интересовали прозвища отдельных, часто небольших, этнических групп как некие «простонародные» этнонимы-ориентиры, дающие материал для восстановления прежних миграционных потоков и этно-языковых родственных связей (Зеленин, 1906а; 1903в; 1904; 1905). Даже при исследовании территориальных, а не социальных диалектов внимание Дмитрия Константиновича было обращено на социальные, социально-лингвистические факты и факторы, на вопрос о престиже того или иного диалекта при диалектном контакте или смешении. Так, рассматривая диалект оренбургских казаков в поселке Благословенном, Дмитрий Константинович отмечал, что говор поселка «явился плодом победы одного из составных элементов над всеми другими»; «притом есть основания предполагать, что переселившиеся в Благословенку не-казаки, а также хохлы сознательно избрали за образец для себя говор своих новых соседей казаков. Предполагать, что казаки составляли самую многолюдную группу среди первых жителей поселка, мы не имеем основания» (Зеленин, 1906а)[13]. Он особенно настаивал на сознательном выборе «того, что считается лучшим, образцовым или самым модным». «В силу того же принципа, — заключал Зеленин, — «питерский» и московский говоры распространились в целом ряде великорусских губерний» (там же, с. 235).

Стремление в ряде диалектных черт и показателей, например, в отвердении *р*, смешении *с* и *ш* или в форме *ушод* 'ушел' на конкретных территориях, увидеть не только результаты фонетических (resp. морфологических и лексических) процессов, но и судьбы носителей говоров, отражающих эти черты, результаты определенных миграционных потоков — очень характерно для Зеленина-диалектолога. Можно сказать, что в его работах явственнее, чем у его современников и даже у его несравненного учителя Шахматова, ощущается твердая методологическая позиция: диалектология и лингвистика — это «лопата для историка»; особенно для историка, исследующего летопись народа, его труда, его миграций и освоения земель, его материальной и духовной культуры, а не его властителей и его внешних

---

[13] Аналогичные по методу наблюдения приведены в статье «Усень-ивановский говор» (Зеленин, 1905а).

врагов, его войн и смут. Незадолго до смерти Д. К. Зеленин написал большую статью, касающуюся участия западнославянского этноса в формировании отдельных великорусских этнических (resp. диалектных) групп (Зеленин, 1954). Работа эта свидетельствует о широких славистических познаниях и интересах автора, которые, судя по ряду неопубликованных исследований, усилились в последние годы его жизни. В ней вновь рассматривался затронутый еще киевским летописцем вопрос («Радимичи бо и Вятичи от Ляхов») о «ляшских» чертах в русских диалектах (resp. этнических группах), который живо заинтересовал Шахматова и затем привлекал внимание (хотя и не пристальное) ряда ученых. Нерешенный и поныне[14], но не закрытый и ожидающий своего детального рассмотрения, он не был лингвистически достаточно широко поставлен и аргументированно рассмотрен и Д. К. Зелениным, но вся сопроводительная, очень значительная по объему и материалу внелингвистическая часть — историческая и этнографическая — убедительно свидетельствует о древних новгородско-западнославянских (преимущественно поморских) этнических связях, о вероятных довольно крупных переселениях с запада на восток, о фактах, которые не могут быть сняты со счетов при дальнейших историко-этнологических, а также историко-диалектологических исследованиях.

Подводя итог нашему краткому и во многом очень фрагментарному обзору деятельности Зеленина как диалектолога, следует сказать, что по сути дела не было ученого-диалектолога наряду с ученым-этнографом, не было различных задач и методов исследования, не было гетерогенного материала. Был один ученый широкого профиля с одной научной методологией и с одним комплексом нечленимых научных задач, касающихся этногенеза и глоттогенеза восточных славян (прежде всего — великорусов), для разработки которых одинаково важен как собственно этнографический, так и диалектологический материал.

---

[14] Из последних работ, затрагивающих этот вопрос, отметим: Ларин, 1960. Б. А. Ларин пытается модифицировать проблему, поставленную А. А. Шахматовым, в несколько ином плане: он видит в так называемых ляшских чертах следы исчезнувшей группы диалектов, переходных от славянских к балтийским. См. также: Мокиенко, 1969. Возможно, что некоторые языковые черты на восточнославянской территории, воспринимавшиеся как западнославянские («ляшские»), являются просто общеславянскими архаизмами. См. Толстой, 1977.

Зеленина интересовали не только настоящее русского народа, его быт, его материальная и духовная культура, его язык, но и его прошлое. Это прошлое за отсутствием прямых свидетельств часто приходилось восстанавливать, реконструировать. Он понимал трудность реконструкции и был последователен в проведении этой нелегкой операции. Его метод — метод тщательного сбора современных фактов, их описания и классификации, а затем уже ретроспективного пути в прошлое, обращения к прошлому. Изучая женские головные уборы, Зеленин писал: «Этнографические исследования, идущие от форм древнего быта, будут стоять на вполне прочной почве, если для исследователя уже ясна система — классификация современных типических форм быта и их взаимные воздействия» (Зеленин, 1926, s. 303). Переводя эти слова на современный «лингвистический язык», можно сказать, что историко-генетические этнографические исследования и реконструкция форм древнего быта получат прочную основу лишь тогда, когда будут предварительно проведены типологические исследования и классификация современных форм быта с учетом этнических контактов.

Современность и актуальность такой методологии не требует доказательств. Не нужно доказывать также, что она полностью применима и к языковедческим, диалектологическим исследованиям.

Предисловие к книге Р. Бошковича «Основы сравнительной грамматики славянских языков»

Возникновение сравнительно-исторического индоевропейского языкознания в нашем сознании обычно ассоциируется с началом научного языкознания вообще, с появлением того импульса и тех работ, которые привели к формированию лингвистики как науки в том ее виде, в каком мы ее воспринимаем в наши дни. Безусловно, многие современные лингвистические идеи, подходы, положения и даже термины содержались еще в средневековой филологической традиции и особенно в традициях более ранних — античной (греческой и римской), древнеиндийской, староарабской, древнекитайской и тибетской. Однако создание мировой лингвистики связано с европейской традицией, с началом XIX в., с трудами Р. Раска, Я. Гримма, Ф. Боппа, А. Х. Востокова, которые несколько десятилетий спустя нашли свое продолжение в исследованиях А. Шлейхера, Ф. Миклошича и других ученых-филологов. С этого времени лингвистика интернационализировалась, перестала быть локально ограниченной и в отношении методологического подхода к материалу, и в отношении самого материала. Европейское языкознание первой половины и середины XIX в. отличалось еще одной особенностью, которую, учитывая процесс развития филологической науки в целом, можно для своего времени оценить скорее как положительную, чем негативную. Оно, в отличие от языкознания современного, признающего полезность разнообразных подходов к одному и тому же явлению и к языку вообще, стремилось к единству метода, к установлению единого источника для группы языков — праязыка индоевропейского, а затем и праязыка отдельных индоевропейских языковых семей — прагерманского, праславянского, пракельтского и т. п. Естественно, древний общий язык понимался по-разному: то как некая реальность (ср. попытки А. Шлейхера писать басни на индоевропейском языке), то как модель или инструмент исследования,

способ установления генетического родства, определения соответствий между элементами родственных языков, на чем особенно настаивал уже в XX в. известный французский индоевропеист и славист А. Мейе.

Как бы то ни было, историко-генетический подход и метод в XIX в. и в начале XX в. претендовал на главный, основной, почти универсальный метод изучения языка, притом не только в его историческом, но и в современном аспекте, так как и многие грамматики современных языков индоевропейской группы строились по образцу исторических. Что же касается классификации и описания диалектов, то в принципе почти все они были подчинены той же основе. Единство метода способствовало единообразию подхода к материалу, его сбора и систематизации, его пригодности для сравнения на исторической основе. Так, сравнительно-историческая «младограмматическая» (школа К. Бругмана, Б. Дельбрюка и др.) дисциплина научного труда способствовала накоплению множества фактов на единой основе, фактов, которые многими были затем по-разному интерпретированы и объяснены далеко не традиционным для своего времени способом. На смену младограмматическому подходу приходил системный, или структурный подход, придавший языкознанию XX в. иное лицо и иную тональность, чем в веке XIX. Однако основатели и предтечи современного структурного подхода — и И. А. Бодуэн де Куртенэ, и Ф. де Соссюр, — занимаясь поисками новых путей, прокладывая их и находя, писали в то же время работы в довольно строгом младограмматическом стиле. И в этом не было особых противоречий, была, отметим еще раз, дисциплина научного труда.

Мы остановились на роли индоевропейской компаративистики в развитии общего языкознания и в отношении методологии, и в отношении охвата языкового материала потому, что история славянского языкознания повторила путь индоевропейского языкознания, с одной стороны, в более узких, с другой — в более широких масштабах. Впрочем, это и не удивительно, историко-лингвистическая славистика в значительной мере является частью индоевропеистики.

Успех и быстрое развитие славистических компаративно-лингвистических исследований был обеспечен появлением в середине XIX в. многотомной «Сравнительной грамматики

славянских языков» словенца Ф. Миклошича, получившей свой цельный и законченный вид при втором авторском издании 1875–1883 гг. и содержащей разделы фонетики, морфологии, словообразования и синтаксиса (Miklosich, I–IV). Преемник Ф. Миклошича по венской славистической кафедре, не менее известный славист хорват И. В. Ягич считал, что «уже появление первой части сравнительной грамматики Миклошича сделало эпоху», и в то же время отмечал, что «исторический момент в исследованиях Миклошича везде отходил на задний план; языко-сравнительное направление во всех трудах его брало верх над историческим» (Ягич, 1910, с. 700, 707). Высказывание это характерно в том отношении, что уже на раннем этапе развития сравнительной грамматики славянских языков вопрос об историзме и его характере возникал и трактовался по-разному. Почти полвека спустя после внедрения в науку грамматики Миклошича появилась двухтомная фундаментальная «Сравнительная славянская грамматика» чеха В. Вондрака, рассматривающая особенности фонетики, словообразования, морфологии и синтаксиса (Vondrák, I–II). Как и Миклошич, Вондрак предварительно много занимался изучением старославянских памятников и их описанием; как и Миклошич, он, особенно в словообразовательной и синтаксической части своего труда, приводил множество славянских соответствий наряду с неславянскими, не всегда углубляясь в вопрос исторической последовательности и соотношения отдельных языковых процессов.

Уже несколько иначе ставил задачу и распределял материал в своей «Праславянской грамматике» Г. А. Ильинский, считая, что «если славянская сравнительная грамматика дает нам понятие преимущественно о *конечных* этапах эволюции праславянского языка, то сравнительная грамматика индоевропейских языков знакомит нас с первыми моментами его жизни». «Отсюда, — заключает Г. А. Ильинский, — и вытекает огромное значение сравнительного языкознания для праславянской грамматики: ведь только установив основные точки развития праславянского языка, можно приступить к изучению тех многочисленных фонетических и морфологических процессов, которые мало-помалу привели к образованию современных славянских языков, конечно, в их эмбриональном состоянии» (Ильинский, 1916, с. 6–7).

Такая постановка вопроса вела к расширению хронологических рамок праславянского языка и рассматриваемого материала, к необходимости обращения к языковым процессам, явлениям и причинам, вызывающим языковую эволюцию, требовала большей историчности в подходе и описании фактов. Правда, Г. А. Ильинский еще не обосновывал важности системного подхода ко всем уровням языка и к внутриязыковым отношениям и ограничивался рассмотрением лишь фонетической стороны языка. Такое ограничение, впрочем, было характерно для многих славистов, в том числе и для Радосава Бошковича, автора публикуемых «Основ сравнительной грамматики славянских языков».

Женевская и пражская лингвистические школы, к которым был близок и московский лингвистический кружок начала 20-х годов, внесли в теорию и практику славянского сравнительно-исторического языкознания новые начала и принципы. Они не сразу отразились в сравнительных грамматиках славянских языков, ибо каждая такая грамматика есть итог довольно длительного периода развития науки, однако в трудах Н. С. Трубецкого, Н. Н. Дурново, Я. Розвадовского, Т. Лер-Сплавинского и других ученых был заложен структурный подход к историческим явлениям языка, были предложены опыты периодизации праславянского языка, были уточнены или вновь выявлены отдельные праславянские изоглоссы, рассмотрены в историческом (праславянском) аспекте многие факты современных славянских языков и диалектов.

В таких условиях развития славянской компаративистики уже в послевоенный период, в 1950 г., начала выходить «Сравнительная грамматика славянских языков» известного французского слависта А. Вайана (Vaillant, I–V). Как и его предшественники Миклошич и Вондрак, А. Вайан много занимался древнеславянскими текстами и в 1948 г. издал превосходное «Руководство по старославянскому языку» (Vaillant, 1948). Как и его предшественники, он хорошо знал материал памятников и современных славянских языков и был искусен в этимологическом анализе (ему принадлежит ряд интересных славянских этимологий). Все это мы находим в пяти томах его сравнительной грамматики (т. I — Фонетика, т. II — в двух книгах — Морфология имени, т. III — Глагол, т. IV — Именное словообразование, т. V —

Синтаксис), где предложена подробная классификация фактов и дан большой, однако в некоторых случаях, как, например, в словообразовании, несколько архаический материал. Общая и частная интерпретация фактов выполнена при этом в довольно традиционной манере, что особенно ощущается в разделе фонетики.

Впрочем, традиционность свойственна и такой полной, содержащей разделы фонетики, морфологии и синтаксиса (раздел словообразования отсутствует), но не очень большой по объему грамматике, как «Славянская сравнительная грамматика» хорватского лингвиста С. Ившича (Ivšić, 1970), и менее полной, охватывающей лишь разделы сравнительной фонетики и морфологии, книге словенского филолога Р. Нахтигала «Славянские языки» (Nahtigal, 1952). Обе книги предназначались студентам-филологам и преследовали не чисто научные, а научно-педагогические цели. С той же задачей в 60-х годах было создано украинское пособие по сравнительно-историческому славянскому языкознанию (под ред. А. С. Мельничука), в котором не только помимо фонетики, морфологии и синтаксиса впервые была дана и лексика, но была также сделана серьезная попытка периодизации и показа процессов развития праславянской и отдельных славянских фонетических и грамматических систем (Вступ, 1966).

В 1969–1973 гг., опираясь отчасти на опыт американской славистики, но в большей мере на собственную фонологическую концепцию, известный польский славист З. Штибер создал компактно и четко изложенную учебную сравнительную грамматику, которую в то же время можно считать значительным вкладом в науку (Stieber, I–II; Stieber, 1979). И хотя ее фонетическая часть, благодаря последовательному фонологическому подходу, относительной хронологизации явлений и связанных с ними преобразований системы, отличается от более обширной и несколько иначе построенной второй части, трактующей судьбы именной и глагольной флексии (словообразование и синтаксис в книге З. Штибера отсутствуют), в основном, в отдельных славянских языках по сравнению с поздне-праславянским периодом, в целом книга известного польского слависта ценна своим четким распределением богатого исторического и диалектного материала, принадлежащего всем славянским языковым груп-

пам и польскому языку в первую очередь. Национальность авторов почти всегда давала о себе знать тем, что материал родного языка в перечисленных работах был представлен полнее, четче, систематичнее. Здесь, безусловно, сказывался и учет самой аудитории, для которой усвоение сравнительной грамматики прежде всего через факты родного языка было естественно и педагогически оправдано. Такой «крен» в материале оправдывает себя и в научном отношении, так как в целом ведет к более широкому и вместе с тем более глубокому охвату фактов.

В 1955 г. известный чешский славист Карел Горалек предпринял удачную попытку создания фундаментального пособия, сочетающего в себе сравнительную грамматику славянских языков и введение в изучение славянского языкознания (филологии), охватывающее все уровни языка, историю славянской компаративистики, историко-типологическую характеристику современных славянских языков, подробную библиографию (2-е изд.: Horálek, 1962).

К особому типу сравнительно-грамматических исследований принадлежит серия книг болгарского компаративиста И. Лекова, посвященная тенденциям развития фонетических (фонологических), грамматических, словообразовательных и лексических явлений славянских языков в отдельности и в целом (Леков, 1960; 1958; 1958а; 1955). Лишь в фонологическом исследовании обнаруживается стремление связать относительно поздние фонетико-фонологические процессы с праславянским состоянием, в то время как рассмотрение других уровней ведется без стремления опереться на праславянскую систему или установить ее в общих чертах. Таким образом, сравнительные штудии И. Лекова направлены на современный и так называемый «исторический» период развития отдельных славянских языков, т. е. период, зафиксированный памятниками, хотя автор почти не опирается на материал памятников, а использует преимущественно факты славянских литературных языков нового периода.

В виде курса лекций построена и первая книга сравнительной грамматики С. Б. Бернштейна, содержащая вводную часть и фонетику. Следует сразу же отметить, что при несомненной доступности изложения, она далеко выходит за пределы обычного университетского курса. Это видно хотя бы из поставленных задач и из понимания предмета на-

уки, который автором определяется следующим образом: «Сравнительная грамматика славянских языков должна содержать историю праславянского языка и историю общеславянских процессов в отдельных славянских языках» (Бернштейн, 1961, с. 15). Грамматика С. Б. Бернштейна была в свое время высоко оценена специалистами и остается до сих пор в нашей стране основным источником сведений по праславянской и общеславянской исторической фонетике. Еще один том сравнительной грамматики того же автора посвящен чередованиям и истории именных основ (Бернштейн, 1974). Чередования разобраны очень подробно, и это — открытие в компаративной славистике, не имеющее прецедента. Столь серьезное внимание к морфонологии открывает широкие горизонты для этого раздела сравнительной грамматики, приближая ее отчасти к грамматике типологической. Сама лингвистическая дисциплина, рассматривающая чередования, — морфонология — возникла на материале славянских языков, в первую очередь благодаря работам Н. С. Трубецкого. В наше время она переживает период интенсивного развития и совершенствования своей методики.

Таков общий, безусловно, довольно богатый красками и оттенками фон (см. также Birnbaum, 1975), на котором появилась сравнительная грамматика славянских языков Р. Бошковича, вернее, первая ее часть — фонетика. Как и большинство перечисленных выше пособий, она традиционна в лучшем смысле этого слова. В ней нет излишней схематизации, отрыва от материала во имя четкости реконструируемой структуры и приглаженной «последовательности» описываемых изменений, при этом, однако, Р. Бошкович не чуждается фонологической трактовки праславянских звуковых процессов, применения понятия корреляции, системного развития, взаимосвязи явлений и учитывает особенности системы. Во всех наблюдениях и выводах у Р. Бошковича присутствует и четко «работает» контрольный аппарат — критерий достоверности, определяющий степень достоверности или просто указывающий на достаточность (недостаточность) документированности тех или иных явлений или особенностей звуков (фонем).

Имея ясное и вполне четкое представление о праславянском звуковом строе, его историческом развитии и особенностях, автор между тем нигде не навязывает своего подхо-

да, своей концепции, которая представлена имплицитно, подчас как бы скрыто, как вытекающая из самого материала или комментирующая его. В то же время он не упускает возможности показать дискуссионность ряда узловых и более частных проблем сравнительной фонетики славянских языков, изложить разные точки зрения специалистов и рассмотреть их аргументы. Следует ли говорить, сколь важен такой прием и в научном, и в педагогическом отношении? Проф. Р. Бошкович четко осознает диалектное дробление праславянского языка и часто показывает его на конкретных примерах — см. разделы: Гласный *ě* (ять), Дифтонги с *r* и *l*, вторая регрессивная палатализация (§ 3. Сочетания *kvě*, *gvě*) и др. При этом он не ставит под сомнение единство этого языка — он воспринимает его как реальность, а не как абстрагированную систему соответствий фонетических и грамматических явлений отдельных славянских языков, не как некоторую, говоря словами А. Мейе, «совокупность этих соответствий».

Живые черты или рефлексы праславянского языка Р. Бошкович зорко видит в отдельных славянских языках. Поэтому он не пользуется стандартными, кочующими из одного учебника по сравнительной грамматике славянских языков или по старославянскому языку в другой наборами слов, а приводит, как правило, свой, свежий материал. Русский читатель может в этом убедиться, обратив внимание на русские примеры. Однако не менее ценен и материал других славянских языков, из коих особенно интересны сербскохорватские и словенские факты, ранее не вводившиеся в сравнительно-исторический научный обиход, которыми изобилуют «Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика» (Основи упоредне граматике словенских језика. Фонетика) проф. Р. Бошковича. Вполне в духе времени и обращение автора к древнему славянскому антропонимическому и топонимическому материалу, главным образом, отраженному в иноязычных источниках (греческих и латинских), при выяснении звуковой характеристики тех или иных праславянских фонем. В свое время, в 30-х годах нашего века, словенский лингвист Ф. Рамовш показал пример подобного использования довольно обширного исторического топонимического фонда для иллюстрации или даже определения древнейших звуковых процессов

в истории словенского языка (Ramovš, 1936). Его традицию удачно продолжил Р. Бошкович.

Нельзя не отметить еще одну характерную черту автора-исследователя, а именно связь его труда с русской научной традицией. Эта связь ощущается и через отношение Р. Бошковича к его старшему современнику и коллеге по Белградскому университету А. Беличу, считавшему себя учеником Ф. Ф. Фортунатова, и в обращении к идеям и трудам А. А. Шахматова, Г. А. Ильинского, Н. С. Трубецкого, С. М. Кульбакина и др. В ряде случае Р. Бошкович полемизирует с этими авторами, что скорее свидетельствует о его причастности к дальнейшему развитию славянской сравнительной грамматики, чем об отказе от предшествующего этапа, от традиции.

Наконец, весьма привлекательной стороной «Основ сравнительной грамматики» является их краткость, четкость, переходящая иногда в конспективность изложения и фактов, и эволюционных процессов. Эта конспективность, однако, нигде не переходит в отрывочность и не обнаруживает неполноту материала или его объяснения. Все это делает «Основы» удобным, полезным, ценным учебным пособием для вузов с филологическим профилем, где готовятся специалисты по русскому языку или по другим славянским языкам, в том числе и по украинскому и белорусскому. Естественно, «Основы» не заменяют имеющуюся учебную литературу, а во многом дополняют и обогащают ее.

Выше были перечислены основные сравнительные грамматики славянских языков, появившиеся в свет более чем за вековой период. Лишь трем авторам этих грамматик — Ф. Миклошичу, В. Вондраку и А. Вайану — удалось дать обширные разделы по словообразованию. При этом самым объемистым, насыщенным материалом и новым является раздел сравнительной грамматики А. Вайана, вышедшей в 1974 г. в качестве отдельного, четвертого тома (объем 809 стр.). Тем не менее у всех упомянутых авторов разделы по словообразованию, особенно по словообразованию суффиксальному, представляют собой более или менее подробный перечень примеров из разных славянских языков, иногда с вариантами, но, как правило, без диалектного материала, без особого внимания к географии фактов и без специального обращения к семантическим процессам и вопросам разви-

тия словообразовательной системы (или отдельных ее блоков) в целом.

Монографию Р. Бошковича «Развитие суффиксов в южнославянской языковой группе» (Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници), опубликованную впервые в 1936 г. и переизданную в 1978 г. (Бошковић, 1936; а также отдельно в книге: Бошковић, 1978), нельзя считать отдельным разделом или отдельной главой из сравнительной грамматики славянских языков, хотя бы потому, что она базируется на южнославянском, а не на общеславянском материале, и потому, что ее задачей является изучение периода «общего развития южнославянских языков». Сам автор монографии пишет, что проблему древней общности южнославянских языков, проблему южнославянского «праязыка», который предположительно должен был выделиться из праславянского, решали исключительно на материале фонетики и морфологии, в то время как словообразование, лексика и синтаксис оставались в стороне, хотя эти уровни языка обладают не менее показательным и ценным материалом для решения различных глоттогенетических проблем. Проф. Р. Бошкович отмечает, что еще А. Белич на материале уменьшительных суффиксов выяснил, что южнославянские языки по этому словообразовательному показателю представляют собой одно целое, противопоставленное остальным западно- и восточнославянским языкам. Поэтому помимо той же задачи он стремится «показать, какие именно суффиксы важны для определения общей эпохи языкового развития всех южнославянских языков и каково их значение в этом отношении». Это, по мнению Р. Бошковича, и является предметом его исследования. Автор определил ряд таких суффиксов и показал роль каждого из них в отдельных южнославянских языках и во всем южнославянском континууме, привлекая при этом в необходимых случаях факты других славянских языков. Но он сделал и большее: он вскрыл механизм внутренних семантических соотношений в именной суффиксальной системе и показал историческую последовательность развития этой системы. Только на фоне этой системы становится понятным «историческо-функциональное развитие» каждого отдельного суффикса в конкретных южнославянских языках. Не упуская из виду общих тенденций и постоянно их объясняя, Р. Бошкович дает

подробное описание развития каждого суффикса в отдельности (из общего числа избранных им суффиксов). Прокладывая новые пути в области сравнительно-исторического словообразования, автор монографии «Развитие суффиксов в южнославянской языковой группе» был вынужден вырабатывать и новые понятия, новую терминологию, которая, однако, не во всем согласуется с общепринятой в нашей время. Переводчица, однако, в целом сочла нужным ее сохранить или прибегнуть к различным, в зависимости от контекста, способам передачи одного термина (например, *општи део*, дословно 'общая часть', переводится то как *производящая основа*, то как *основа*, то как *корень*). Модернизация терминологии вела бы в ряде случаев к нарушению смысла и стиля автора.

За истекшие почти полвека после выхода в свет монографии Р. Бошковича «Развитие суффиксов в южнославянской языковой группе» славянская дериватология как наука достигла больших успехов, главным образом, в области синхронного описания и исследования словообразовательных систем славянских языков. Достигнуты определенные результаты и в области исторической дериватологии отдельных славянских языков (см. работы по польскому языку В. Дорошевского и варшавской группы дериватологов, по чешскому языку — Г. П. Нещименко и Р. В. Кравчука, по русскому языку — Н. С. Шапошниковой и др.). С работой над общеславянским атласом и над национальными атласами во многом прояснилась картина в области географии суффиксов (здесь также следует отметить большие достижения польской лингвистики), однако сравнительно-историческая славянская дериватология, вскрывающая механизм развития славянской суффиксальной и префиксальной системы, — еще дело будущего. Однако среди основателей это дисциплины в ряду других имен всегда будет упоминаться имя Радосава Бошковича.

В славистике проф. Бошкович известен также как автор значительного числа небольших по объему, но весьма содержательных статей и исследований по нескольким темам.

По сравнительной грамматике славянских языков проф. Р. Бошкович читал не только курс фонетики, публикуемый в этой книге, но и курс морфологии, оставшийся в рукописи. Лишь небольшая его часть, касающаяся общей характе-

ристики праславянского склонения и типов его основ, была опубликована в 1977 г. и переиздана в 1978 г.[1] под заглавием «О праславянском именном склонении со славянской точки зрения». Она свидетельствует об оригинальности и продуманности курса сравнительной морфологии, который, надо надеяться, станет достоянием широкого круга специалистов. О том, как тщательно исследовалась праславянская морфология Р. Бошковичем, свидетельствует его статья 1968 г. «О славянских именных основах», в которой дается сравнение славянской деклинационной системы с индоевропейской, и статья 1975 г. «Следы праславянского склонения основ на -ĭ с редуцированным тематическим суффиксом в casus obliqui», обнаруживающая в формах серб.-хорв. диалектн. чакавск. *oracī*, *ā*, чеш. *picí*, *šicí*, *krycí*, *mycí*, *rycí*, *secí* и т. д. остатки индоевропейского варианта склонения основ на -ĭ с редуцированным суффиксом типа др.-инд. *ávis*, *ávyas*, *ávyē*.

Интересны наблюдения Р. Бошковича над генезисом праславянских грамматических и словообразовательных форм. К таковым относятся этюды: «О происхождении славянского инфинитива», где формант *-ti* (*-tь*) объясняется как именительный падеж основ на *-ti*; «Праславянский творительный падеж *kostьjǫ*», где флексия выводится из первоначального *-ei̯* + *ǫ* (**kosteiǫ* > *kosti̯jǫ* > *kostьjǫ*); «О некоторых формах прежних славянских коллективных имен на *-a*», где рассматриваются формы местного падежа мн. числа типа *vъ vislěch*(*ъ*), имевшие и топонимическое, и этнонимическое значение; «О праславянских прилагательных на *-ŭs*», которые в силу двойственности функции, присущей элементу *ŭ* — грамматической и суффиксальной, стремились сочетаться с суффиксом **-ko* (*gladъkъ*, *kratъkъ*, *lьgъkъ* и т. п.); «По поводу суффикса *-ica*», где доказывается тройственность происхождения этого суффикса на основании его акцентной характеристики; наконец, «Некоторые вопросы именной моции и праславянской деривации», где рассматривается образование суффиксов и суффиксальных отношений в дополнение к монографии «О развитии суффиксов в южнославянской языковой группе», публикуемой в настоящей книге.

---

[1] Все упомянутые ниже статьи Р. Бошковича опубликованы в его книге «Одабрани чланци и расправе» (Бошковић, 1978).

К морфологическо-словообразовательным исследованиям Р. Бошковича тесно примыкают его статьи по славянским историко-фонетическим проблемам: «Метатеза и изменение *tl, dl* > *l* в славянских языках — их хронологическое соотношение», где утверждается, что упрощение групп согласных *tl, dl* происходило до метатезы типа **dolnь* > *dlanь* (рус. *долонь*); «О некоторых случаях утраты сонантов в конце слова», где рассматриваются случаи типа *mrt* 'мертвый', *plis* 'плесень' и ставится вопрос о характере конечного сонанта в позднепраславянский и последующий период; наконец, «Возможные следы диспалатализации слогового *r* в южнославянских языках» — о влиянии твердых зубных согласных на характер предшествующего гласного в южнославянских фонетических системах.

В связи со словообразовательными проблемами Р. Бошкович в последние годы обратил серьезное внимание на морфологию некоторых классов антропонимов и топонимов. Эти вопросы он рассматривает на широком общеславянском фоне, но в центре его внимания оказывается исторический и современный сербскохорватский материал, которым он владеет в совершенстве. Так появился ряд статей: «Из ономастической деривации и по ее поводу» — об ономастических суффиксах *-av, -osta, -n, -t*; «Категория древних сербскохорватских собственных ласкательных имен типа *Andre, Andreta* (*Andrete*) в интерпретации Даничича и др.»; «О боснийско-герцеговинском склонении *Sálko, Salkē*»; «Старославянские adiectiva possessiva на *-ьnь*»; «По поводу некоторых топонимов» — о различных словообразовательных типах топонимов; «О некоторых старосербских гипокористических именах» — об антропонимах типа *Драгље* и *Будља*; «Лужицкое *tkalča* — *Weberin*» — о топонимах типа *Борча* и именах нарицательных типа лужицк. *sudniča* и т. п. и ряд других заметок (об имени *Немања*, антропониме *Срби* и т. п.).

Работы Р. Бошковича по истории сербскохорватского языка связаны в основном с дериватологическими проблемами и с частными вопросами сравнительной грамматики славянских языков. Они посвящены рассмотрению прилагательных типа *орећи*, средневековым формам *oratī, oratā, oratō* — 'arabilis', существительному *korenь, мрваљ* и им подобным, суффиксу *-ać*, произношению древнесербского *ы* и другим вопросам.

Наконец, нельзя не отметить ярких работ Р. Бошковича по сербскохорватской диалектологии. С них он начал свой научный путь, им он уделял внимание в более зрелые годы. Две зоны особенно заинтересовали известного белградского слависта: его родная черногорская зона и зона говоров полуострова Истрия. Черногорские говоры Р. Бошкович изучал еще в самом начале 30-х годов. Этим говорам посвящена небольшая монография под заглавием «Обзор диалектов старой Черногории (с учетом соседних говоров)» и самостоятельно выполненная работа «О характере, развитии и замене звука *x* в говорах Черногории». Истрийские говоры привлекли внимание Р. Бошковича двумя характерными чертами — разнообразием рефлексов группы *tj*, *dj* и подобных и акцентологическими особенностями. Этим вопросам посвящены: монография «Рефлексы групп *tj*, *dj*, *tьj*, *dьj*, *stj*, *zdj*, (*sk*^{e}, *zg*^{e}) в диалектах южной и юго-западной Истрии» и статья «Об одной особенности ударения в диалектах западной и южной Истрии», посвященная проблеме замены долгого восходящего ударения долгим нисходящим. Во всех диалектологических работах Р. Бошковича обращает на себя внимание полнота материала, подробность и точность описания в сочетании с легендарным для окружающих его лингвистов лаконизмом языка.

Работы Р. Бошковича по проблемам литературного сербскохорватского языка немногочисленны. Этому не приходится удивляться, так как это «не сфера его деятельности». Тем не менее и в них автор проявил свой тонкий вкус, наблюдательность, точность и даже некоторую, свойственную крупным ученым, остраненность и терпимость. В таком ключе написаны статьи «О лексической и стилистической дифференциации сербского и хорватского литературного языка» и «Джуро Даничич и наш литературный язык». В первой статье противопоставляются сербский и хорватский лексический фонд 30-х годов нашего века, во второй — подходы к литературному языку В. Караджича и Д. Даничича.

Проф. Р. Бошкович любил противопоставление фактов, процессов, концепций. Это давало ему возможность четче мыслить, четче излагать свою позицию, четче обрисовывать контуры языковой эволюции, языковой истории. Его можно сравнить с художником-графиком, мастером своего дела, для которого точность пропорций и чистота линий — необ-

ходимая форма искусства. О проф. Р. Бошковиче — человеке, ученом и педагоге пишет его ученик Р. Йовичевич, которому Р. Бошкович поручил от его имени участвовать в издании этой книги.

Можно надеяться, что книга найдет хороший прием у читателя как в нашей стране, так и за ее пределами и принесет пользу всем учащимся и ученым, которым славянское языкознание близко и дорого. Проф. Р. Бошкович, скончавшийся в июле 1983 г., был талантливым педагогом и лектором, большим другом студентов, аспирантов и молодых ученых, и надо полагать, что эта книга обретет множество новых почитателей его научного таланта.

Курс «Введение в славянскую филологию» и его отношение к курсу «Старославянский язык»

I. Курс «Введение в славянскую филологию», или, несколько шире, «Введение в славяноведение», — курс во многом традиционный. Уже в середине XIX в., вскоре после создания первых славистических кафедр в России, читался цикл лекций, вводящий молодых студентов-русистов (славистов) в их специальность. Он назывался по-разному и бывал наполнен разным материалом; но его назначение, смысл и основное содержание оставались в общем теми же. Говоря современным языком, он всегда сохранял неизменным свой смысловой инвариант.

Едва ли не первым лектором по славистической пропедевтике в нашей стране был И. И. Срезневский. Он читал, согласно программе 1849 г., курс введения в славянскую филологию, называвшийся «Общим филологическим обозрением славян». Курс заключал в себе:

1) вступительную часть, в которой, кроме общего этнографического обзора славянских народов (с рассмотрением вопроса об их границах в древности и теперь), исторического обзора славян в отношении к общественному быту, религии и образованности (с современными статистическими данными), было представлено «общее обозрение содержания и успехов славянской филологии как науки вообще и в применении к нашим ученым нуждам»;

2) рассмотрение основных черт славянского языка, включавшее общий взгляд на славянский язык и на его видоизменения сравнительно с другими индоевропейскими языками, фонетику, обозрение корней, форм образования слов, форм словоизменения, синтаксис;

3) характеристику славянских наречий («перечень их с разбором мнений относительно отделения одних наречий от других и систематического их распределения») и рассмотрение каждого из них по трем группам: «юго-западные — старославянское церковное, болгарское, сербское с хорватским,

хорутанское (словенское. — *Н. Т.*); северо-западные — чешское с словацким, лужицко-сербские, балтийские, польское; восточное — великорусское с белорусским и малорусское» (Срезневский, 1913, с. 19).

Помимо «Общего филологического обозрения славян», или «Введения в славянскую филологию», И. И. Срезневский по той же программе 1849 г. читал одновременно курс «Славянские древности в филологическом отношении», в котором, кроме предмета курса, источников и литературы предмета, излагалось географическое обозрение древних славян по византийским, арабским, западноевропейским и древнерусским свидетельствам, сообщалось о быте, нравах, образе жизни, социальном устройстве, земледелии, скотоводстве, ремеслах, войске и вооружении, промыслах и торговле славян вообще и отдельных славянских племен и народностей до X в. Особое внимание уделялось славянскому язычеству, верованиям и обрядам и наслаивающемуся на них или вытесняющему их раннему христианству.

К названным курсам добавлялись еще два: «История и литература славянских наречий» и «Древние памятники русской письменности», которые также велись И. И. Срезневским. Таким образом, цикл лекций по «Введению...» сочетался с лекциями по «Славянским древностям», «Истории и литературе славянских наречий» и «Древним русским памятникам». С 1860 г. этот цикл дополнялся обязательным курсом славянской палеографии того же неутомимого лектора. С утверждения в 1848 г. кафедры славянских наречий в петербургском Главном педагогическом институте и до его закрытия в 1859 г. И. И. Срезневский читал в институте курсы по славянской филологии, приспособив университетскую программу к нуждам будущих учителей.

Согласно официально утвержденной Министерством народного просвещения и изданной в 1855 г. программе, общий курс по славянской филологии распадался на два главных раздела: 1) подготовительный, обязательные для всех студентов историко-филологической специальности (I и II курсы), и 2) чисто филологический для студентов филологической ветви (III и IV курсы). В первый круг лекций и занятий входило «общее филологическое обозрение славян (1. о славянском племени и народах, его составляющих; 2. основные черты славянского языка; 3. филолого-литературное обозрение славянских наречий) и практический курс

наречий старославянского, сербского, польского и чешского» (Срезневский, 1913, с. 23). Во второй круг лекций, читавшихся на третьем и четвертом году обучения, входил «курс древностей славянского языка (1. исторические припоминания о судьбах славян в IX–XIV веках; 2. обозрение памятников языка; 3. судьбы народного языка и народной словесности; 4. судьбы книжного языка и литературы) и курс новой истории славянской литературы (введение, литература сербская, чешская и польская)» (там же).

Как видно из изложенного, старославянский язык и по университетской, и по пединститутской программе И. И. Срезневского изучался наряду с другими славянскими языками и теоретически (в университете — «характеристика наречия... старославянского церковного»), и практически (в Главном институте — «практический курс наречия старославянского»). Однако элементы современного вузовского курса старославянского языка (обозрение памятников, сведения о славянских азбуках, об изводах старославянского языка) содержались во всех четырех больших университетских лекционных курсах, о которых шла речь выше. В третьем курсе — «История и литература славянских наречий» — было семь разделов, в которых «разбиралась история и литература славянских наречий, каждого самостоятельно: старославянского, чешского и словацкого, сербо-лужицких и балтийских и польского» (там же, с. 20). Таким образом, старославянский язык дважды рассматривался и излагался самостоятельно — в курсе введения («общего обозрения») и в курсе «История литературы славянских наречий».

После И. И. Срезневского (и одновременно с ним) многие русские слависты читали курсы славистической пропедевтики. Среди них были и курсы введения в славяноведение В. И. Ламанского, А. Л. Петрова, К. Я. Грота, В. Н. Щепкина и др. (Ламанский, 1881; 1882[1]; Петров, 1893; 1897; Грот, 1897; Щепкин, 1914), было и знаменитое «Введение в исторические судьбы русского языка» А. А. Шахматова (Шахматов, 1916). Эти курсы назывались по-разному и отличались друг от друга по содержанию: у историков преобладал исторический, а у филологов (лингвистов) — филоло-

---

[1] В 1891–1892 гг. В. И. Ламанский читал курсы «Введение в славяноведение» (для студентов 1-го и 2-го семестров) и «Славянские древности» — в 5–8 семестрах (курсы эти не литографированы).

гический (лингвистический) аспект; однако общая историко-филологическая направленность сохранялась, что и соответствовало характеру и программам историко-филологических высших учебных заведений того времени.

История чтения и эволюции курса введения в славянскую филологию на историко-филологических (и «философских») и филологических факультетах нашей страны — особый, безусловно, интересный и, увы, еще не исследованный историками славистики вопрос. Его рассмотрение было бы весьма полезно и для указанной в заглавии темы, но оно потребовало бы слишком много места в нашем по необходимости лаконичном и конспективном реферате.

В XX в. в период между двумя войнами курс введения в славянскую филологию почти не читался или не читался вовсе. Он был возрожден во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на немногочисленных славянских отделениях филологических факультетов, а на русских отделениях его ввели лишь в начале 60-х годов. На новом этапе этот курс еще нельзя считать вполне определившимся по содержанию, ибо, несмотря на единую министерскую программу, курс «Введение в славянскую филологию» в разных университетах страны все же читается по-разному, о чем свидетельствуют хотя бы вышедшие пособия по этой дисциплине (по преимуществу краткие) (см. Дуличенко, 1978; Собинникова, 1979; Супрун и Калюта, 1981). Поэтому, откладывая до более подходящего случая попытку сопоставительного анализа курсов, читаемых на филологических (историко-филологических) факультетах разных университетов, например, Ленинградского, Белорусского (Минского), Тартуского и Воронежского, ограничусь описанием положения, установившегося в наше время в Московском университете.

II. Курс «Введение в славянскую филологию» читается на филологическом факультете МГУ для студентов славянского и русского отделений (а также отделения «Русский язык как иностранный»). Обычно этот курс студенты слушают на первом году обучения. Автор этих строк ведет славистический пропедевтический курс уже в течение длительного времени и строит его по следующему плану.

За первой вступительной лекцией, характеризующей предмет славистики вообще и славянской филологии — в частности, структуру и соотношение дисциплин, входящих

в круг славянской филологии, методы и приемы научного исследования, типичные для славянских филологических разысканий в прошлом и настоящем, и прежде всего методику сравнительно-исторических разысканий, следует лекция на тему «Обзор современного славянства». Обзор дается в демографическом плане, с привлечением статистических данных и показателей не только 70-х и 80-х гг. XX в., но и данных исторических — начала XX в. и 70-х гг. XIX в.[2] Это дает возможность показать динамику демографического развития славянства в целом и по частям, изложить ряд важных фактов, относящихся к новой истории славянских этносов и государств, и, наконец, дать картину этнографического и диалектологического членения славянских народов, в некоторых своих частях более ярко вырисовывавшуюся в недалеком прошлом — в конце XIX — начале XX в. Третьей темой курса являются древнейшие известия о славянах. Она делится на две части: сведения о славянах преимущественно I–II вв. н. э. (сообщения Плиния Старшего, Тацита, Птолемея и др.) и сведения VI–VII вв. н. э. (сообщения Прокопия Кесарийского, Иордана, Иоанна Эфесского, Псевдо-Маврикия, Феофилакта Симокатты и других византийских историков, а также арабских хронистов). Из этих сведений с особым вниманием разбираются славянские этнонимы «венеды», «склавины», «анты» и топонимы *Vistula* (*Висла*), *Sinus Codanus* (*Kъdanьskъ* > *Гданьск*) и другие как ценные факты для определения славянской прародины. Методы установления прародины — «колыбели славян» и научные гипотезы, выдвинутые археологами и лингвистами, излагаются в отдельной теме, распадающейся на две подтемы — две лекции: определение славянской прародины методами археологических наук и то же определение лингвистическими методами. В одной из лекций сообщаются сведения об археологических культурах — зарубинецкой, пшеворской, черняховской, тшинецкой и других, рассказывается об археологических показателях культуры, об археологических ареалах[3] и их историческом истолковании; в другой — о роли

---

[2] Такое сопоставление возможно благодаря монографии Любора Нидерле «Обозрение современного славянства» (в серии «Энциклопедия славянской филологии», вып. 2, СПб., 1909) и ряда более ранних исследований (см. библиографию в книге Л. Нидерле).

[3] При этом важно пользоваться разными наглядными пособиями, прежде всего картами. Для темы о славянской прародине считаю очень полезной книгу: Jamka, 1975.

лингвистических данных в определении прародины славян и в разработке проблем славянского этногенеза. Особое внимание обращается на топонимию (преимущественно гидронимию) и на лексику, как исконно славянскую, так и заимствованную в древнюю пору, что дает возможность ставить вопрос о соседях славян не только на историческом и археологическом материале, но и на материале лингвистическом и этнографическом. В этом случае уже освещается не только проблема славянской прародины, но и славянского «прасуществования», т. е. ставится задача ответа не только на вопрос, где жили славяне, но и как они жили. Естественно, что при этом, наряду с лингвистическими и прочими данными, очень большую роль приобретают данные этнографические, обследованные и упорядоченные сравнительно-историческим методом. По сути дела, и археологию можно рассматривать как историческую этнографию.

Важной темой славянского прасуществования и народной культуры более поздних веков (даже нынешнего фольклорно-поэтического восприятия мира) является тема славянской мифологии, древней славянской языческой религии. Ей посвящается одна или две лекции — в зависимости от общего числа часов, приходящихся на курс «Введения». При таком положении, несомненно, может быть избран лишь один или два аспекта этой большой проблемы. Мне лично представляется целесообразным подробнее освещать те вопросы, в которых лингвистические (этимологические) и филологические (текстологические) методы оказываются превалирующими, т. е. вопрос так называемого киевского пантеона (*Перунъ, Велесъ, Хърсъ, Даждьбогъ, Стрибогъ, Мокошь* и т. д.) и поморского пантеона (*Святовитъ, Чьрнобогъ, Бѣлобогъ, Триглавъ* и др.), вопрос терминологии и структуры славянской календарной обрядности и т. п. Этимологические принципы и методика не излагаются отдельно — они находят свое рассмотрение и в лекциях о древнейших свидетельствах о славянах, и в лекциях о прародине, о мифологии и народной культуре (этнонимы, топонимы, гидронимы, бытовая лексика, теонимы).

Следующей отдельной обширной и методологически важной темой является типологическое и историческое рассмотрение славянских литературных языков. Все славянские литературные языки характеризуются по принципу их принадлежности в прошлом к одному из двух культурных миров: Slavia Orthodoxa, где была распространена кириллическая

графика, и Slavia Latina, где вошла в употребление латинская графика. Та или иная принадлежность определяет и тип прежнего двуязычия (диглоссии) — гомогенный (церковнославянско-инославянский) и гетерогенный (латинско-славянский, реже и позже немецко-славянский и др.). Наконец, те же языки могут характеризоваться по принципу сохранения традиции или разрыва с ней, по связи с диалектной традицией или отсутствию таковой, непрерывности или прерывности развития и т. п. История отдельных славянских литературных языков дается на широком культурно-историческом фоне и на фоне развития древней и новой литературы каждого славянского народа в отдельности. Изложить весь этот материал в одной лекции трудно, поэтому ему отводится полторы—две лекции.

Тесно примыкающей к этой теме оказывается «История идеи славянского единства и взаимности у славян». Эта тема охватывает период с XII по XVII в. и касается проблемы становления славянского самосознания (и самопознания), развития исторической (историографической) и общественно-исторической мысли у славян, «донаучных» и начала научных представлений о славянах в среде самих славян. Здесь выделяются три периода: XII век (Нестор Летописец, Козьма Пражский, Галл Аноним), XIV век (Далимил, Прибиж Пулкава), XVI век (польский «сарматизм» — Матвей Меховский, Мартин Кромер, Мартин Бельский и др.; хорватский «иллиризм» — Винко Прибоевич, Фауст Вранчич и др.). В XVII в. ярким сторонником идеи единства славянской культуры, языка и исторической миссии славян был филолог и экономист Юрий Крижанич.

Собственно говоря, с Юрия Крижанича можно было бы начинать изложение последней темы курса — истории славянской филологии; но она по традиции начинается с конца XVIII — начала XIX в., с деятельности «патриарха славянской филологии» Иосифа Добровского. О его предшественниках, ученых XVIII в. (о Ломоносове, Шницере, Гердере, Дурихе), говорится очень кратко, в то время как развитие славянской филологии в XIX и XX вв. излагается подробно. В принципе история делится на три периода: более общий, синкретический период становления славянской филологии в отдельных странах и в мировом масштабе — до середины XIX в. (1848–1850 гг.); затем период специализации и выделения ряда дисциплин (сравнительной грамматики сла-

вянских языков, сравнительной мифологии, фольклористики, истории литературы, палеославистики, исторической лексикологии и лексикографии, истории отдельных языков и т. д.) и период первой половины XX в. — еще большей специализации (диалектология, фонология, топонимика и др.) и опытов обобщения и синтеза дисциплин на новом этапе развития науки.

Период от середины XX в. и до наших дней еще нельзя назвать историческим; он воспринимается как современный, и потому его материал входит в последнюю тему, составляет содержание последней лекции, которая, однако, из-за недостатка времени не всегда читается: «Современное состояние славистики в нашей стране и за рубежом»[4]. Эта тема охватывает и организационные формы славистической науки (международные съезды, комиссии, международные научные предприятия и т. п.).

Нетрудно заметить, что последовательность тем вызвана определенными хронологическими, содержательно-структурными и пропедевтико-педагогическими мотивами. Кроме того, бо́льшая часть тем не просто вводит студента в круг филологических дисциплин и знаний, а информирует его о фактах, методах и научных направлениях, которые затем в течение всех остальных девяти (или восьми) семестров не будут излагаться и обсуждаться.

III. «Введение в славянскую филологию» начинает цикл исторических дисциплин филологического образования, к которым относятся старославянский язык, историческая грамматика русского (или иного славянского) языка, история русского литературного языка, сравнительная грамматика славянских языков, а также история русской (или иной славянской) литературы и специальные курсы типа русской (славянской) палеографии, источниковедения и т. п. Это же «Введение» в какой-то мере компенсирует отсутствие или малое количество курсов и часов для чисто исторических дисциплин, каковыми являются курс русской исто-

---

4 Несколько исторических тем в лекциях не излагается, и студенты сами готовят их к зачету или экзамену по пособиям по истории славян. К таковым относятся: заселение славянами Балканского полуострова; древнейшие славянские государства: государство Само, Великая Моравия, Пястовская Польша, Первое Болгарское царство, ранняя сербская государственность и Сербия Неманичей, ранняя хорватская государственность и королевство.

рии, или истории СССР, средневековой истории и т. п. В послевоенный период на филологическом факультете МГУ еще читалась серия курсов древней, средневековой и новой истории, истории СССР, а на славянском отделении — и истории славян.

Автору этих строк довелось в течение ряда лет читать курс старославянского языка на филологическом факультете Московского университета. Курс этот был двусеместровым, имевшим еженедельно два часа лекционных и два часа практических занятий. Он состоял фактически из трех разделов: вводного, синхронного фонетико-грамматического и диахронического фонетико-грамматического. Первые два раздела излагались в первом семестре, третий — во втором. Под синхронным фонетико-грамматическим разделом понимается изложение фонетических и морфологических особенностей старославянских памятников. Отдельные отклонения от «образцовых» старославянских норм характеризуют динамику в синхронии, динамическую структуру старославянской фонетики и грамматики. Что касается диахронического фонетико-грамматического раздела, то он состоит из изложения фонетической и отчасти морфологической эволюции языковой системы праславянского языка от раннего до позднего периода и результатов этой эволюции, отраженных в старославянском языке.

Подробнее следует остановиться на содержании вводного раздела, так как именно в нем находится больше всего точек соприкосновения с курсом введения в славянскую филологию. Лекции этого раздела включают следующие темы: а) старославянский язык как предмет, как историческое явление и роль старославянского языка в развитии русского литературного языка и других славянских языков; б) исторические условия возникновения старославянского языка, кирилло-мефодиевская миссия, кирилло-мефодиевская традиция и ее роль в формировании славянского этнического самосознания; в) старославянские азбуки — глаголица и кириллица, их происхождение, распространение, культурная и сакральная роль; г) памятники старославянского языка, их характеристика, состав кирилло-мефодиевской литературы как первоисточника общеславянской (церковнославянской, древнеславянской) литературы и отдельных славянских литератур. Почти все эти темы, в случае, если учебным планом предусмотрено малое число часов для старосла-

вянского языка, могут быть перенесены в курс «Введение в славянскую филологию».

Следует отметить, что до включения курса «Введение в славянскую филологию» в учебный план русского отделения филологических и историко-филологических факультетов общие, хотя и очень краткие сведения о славянских народах и языках, славянской прародине и т. п. давались именно в курсе «Старославянский язык». Теперь курс старославянского языка от таких тем освобождается; однако материал праславянского языка остается неотъемлемой его частью, и проблема сводится к большей или меньшей дозе форм «под звездочкой». Вопрос праславянского языка тесно связан с вопросом славянской прародины, который, строго говоря, является внелингвистической и внешнелингвистической стороной праславянской темы. То же можно сказать и о культурологической роли старославянского (церковнославянского) языка, по существу — межславянского литературного языка, роли, проявляющейся в качестве его внешней функции по отношению к его внутренней сущности — к форме и структуре, к грамматическому, фонетическому и лексическому строю. Наконец, лексический фонд старославянского языка, к сожалению, почти не находящий отражения в учебных пособиях и вузовских курсах, может служить источником многих наблюдений, примеров на практических занятиях и лекционных иллюстраций, связанных с древнейшей славянской духовной и материальной культурой, с этногенезом славян, развитием книжности, с историей текстов, служивших долгое время в истории славянских литературных языков и литератур в качестве образцов языковой нормы и литературно-языкового стиля.

Таковы основные линии связи курсов «Введение в славянскую филологию» и «Старославянский язык». Последний тесно соприкасается с курсом исторической грамматики русского языка (особенно в сфере фонетики и грамматики), с курсом истории русского литературного языка (при этом помимо фонетических и грамматических моментов существенную роль играет лексика) и более всего — с курсом сравнительной грамматики славянских языков, читающимся обычно только для лингвистов и повторяющим в большем объеме и с более специальным подходом многое из того, что излагается в третьем разделе курса «Старославянский язык». Все это, вместе со специальными курсами и семина-

рами, создает единый последовательный ряд дисциплин, освещающих с разных сторон и отчасти на различном материале длительный процесс развития славянских языков, в первую очередь русского языка, на широком культурно-историческом фоне.

ЛИТЕРАТУРА

Автомонов, 1908. *Я. Автомонов.* Нечленные прилагательные в качестве определения // ЖМНП. Ч. XV (новая серия). 1908. С. 398–414.

Азадовский, 1963. *М. К. Азадовский.* История русской фольклористики. М., 1963. Т. II.

АИЯЭ. Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

Алексић 1930–1931. *Р. Алексић.* Језик Матије Антуна Рељковића // ЈФ. 1930. Књ. IX. 1931.

Андрейчин, 1942. *Л. Андрейчин.* Основна българска граматика. София, 1942.

Андрейчин, 1949. *Л. Андрейчин.* Грамматика болгарского языка. Рус. пер. М., 1949.

Баландин, 1975. *А. И. Баландин.* Мифологическая школа // Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 15–99.

Балахонова, 1961. *Л. И. Балахонова.* История составления «Опыта областного великорусского словаря» и «Дополнения» к нему // История русской диалектологии. М., 1961. С. 98–125.

Балахонова, 1966. *Л. И. Балахонова.* И. И. Срезневский как диалектолог // Лексика русских народных говоров. М.–Л., 1966. С. 192–214.

БД. Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962–1981. Кн. I–X.

БДА, I. Български диалектен атлас. I. Югоизточна България. София, 1964.

Белић, 1905. *А. Белић.* Дијалекти Источне и Јужне Србије. Београд, 1905.

Белић, 1910. *А. Белић.* О Вуковим погледима на српске дијалекте и књижевни језик // Глас краљевске академије. Београд, 1910. Књ. XXXII. С. 101–242.

Белић, 1913. *А. Белић.* Чакавско *zi* — *vi* // ЈФ. 1913. Књ. 1. С. 110–113.

Белић, 1933–1934. *А. Белић.* [Рец. на книгу Gunnarsson, 1931] // ЈФ. 1933–1934. Књ. XIII. С. 211–217.

Белић, 1941. *А. Белић.* О језичкој природи и језичком развитку. Београд, 1941.

Белић, 1962. *А. Белић.* Историја српскохрватског језика. Београд, 1962. Књ. II, св. 1.

Белич, Голенищев-Кутузов, Радошевич, 1939. *А. Белич, И. Голенищев-Кутузов, Н. Радошевич.* [Сложена придевска форма у прасловенском језику и њено основно значење] // III Međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa). Beograd, 1939. [T.] 1. Zbirka odgovora na pitanja. S. 43–45.

Беляева, 1973. *О. П. Беляева.* Словарь говоров Соликамского района Пермской области. Пермь, 1973.

БЕР. Български етимологичен речник / Съст. Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. София, 1971–. Т. I–.

Бернштейн, 1961. *С. Б. Бернштейн.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.

Бернштейн, 1962. *С. Б. Бернштейн.* Об одной особенности глагольной флексии 1 л. ед. настоящего времени в юго-восточных говорах Болгарии // Slavica Pragensia. Praha, 1962. IV. P. 241–245.

Бернштейн, 1968. *С. Б. Бернштейн.* Контракция и структура слога в славянских языках // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 19–31.

Бернштейн, 1974. *С. Б. Бернштейн.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.

Бірыла, 1975. *М. В. Бірыла.* З лексікі Чырвонаслабодчыны // З народнага слоўніка. Мінск, 1975. С. 96–109.

Богородицкий, 1935. *В. А. Богородицкий.* Общий курс русской грамматики. М., 1935. Изд. 5.

Богословский, 1927. *П. С. Богословский.* К номенклатуре, топографии и хронологии свадебных чинов // Пермский краеведческий сборник. Пермь, 1927. Вып. 3. С. 1–64.

Бодуэн де Куртенэ, 1875. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Опыт фонетики резьянских говоров. Варшава – Петербург, 1875.

Бодуэн де Куртенэ, 1876. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Резья и Резьяне // Славянский сборник. СПб., 1876. Т. III. Отд. I. С. 223–371.

Бодуэн де Куртенэ, 1876/1877. Отчеты командированного Министерством народного просвещения за границу с научною целью И. А. Бодуэна де Куртенэ о занятиях по языковедению в течение 1872 и 1873 гг. // Известия и ученые записки Имп. Казанского университета. Раздел «Известия». Казань, 1876, № 1. С. 45–80; 1877, № 2. С. 122–206; № 3. С. 270–299 [то же отд. изданием: Казань – Варшава – Петербург, 1877].

Бодуэн де Куртенэ, 1888. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Заметка к некрологу Николая Вячеславовича Крушевского // РФВ. 1888. Т. XX.

Бодуэн де Куртенэ, 1901. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Отчет о поездке за границу с целью изучения говоров терских славян // Отчет о деятельности ОРЯС АН за 1901 г. СПб., 1901. С. LIV–LVIII.

Бодуэн де Куртенэ, 1905. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Несколько случаев психически-морфологического уподобления и уоднообразения в терско-славянских говорах Северо-восточной Италии. I–VI // Известия ОРЯС. 1905. Т. X, кн. 3. С. 266–283.

Бодуэн де Куртенэ, I–II. *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. СПб., 1895. [Т.] I; 1904. [Т.] II. Образцы языка на говорах Терских славян в Северо-Восточной Италии. [Сборник ОРЯС. Т. 78, № 2.]

Бокарева, Леонтьев, 1960. *Л. Е. Бокарева, А. А. Леонтьев.* Список трудов И. А. Бодуэна де Куртенэ // И. А. Бодуэн де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти). М., 1960. С. 82–119.

Бондалетов, 1965. *В. Д. Бондалетов.* Словарь условного языка арзамасских ремесленников // Вопросы русской диалектологии. Куйбышев, 1965.

Борковский, Кузнецов, 1963. *В. И. Борковский, П. С. Кузнецов.* Историческая грамматика русского языка. М., 1963.

Бородина, 1977. *М. А. Бородина.* Понятие маргинального ареала в лингвистическом континууме // АИЯЭ. С. 108–118.

Бошковић, 1936. *Р. Бошковић.* Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници // ЈФ. 1936. Књ. XVI.

Бошковић, 1978. *Р. Бошковић.* Одабрани чланци и расправе. Титоград, 1978.

Бояджиев, 1968. *Т. Бояджиев.* Аналитични форми с глагола *имам* в тракийските говори // Известия на Института за български език. София, 1968. Кн. XVI. С. 459–465.

БРІ. Беларуска-рускія ізалексы (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1973.

БРС. Беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. К. К. Крапівы. М., 1962.

БТР. *Л. Андрейчин, В. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров.* Български тълковен речник. София, 1955.

Булаховский, 1952. *Л. А. Булаховский.* Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952.

Булич, 1904. *С. К. Булич.* Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. I.

БЎІ. Беларуска-ўкраінскія ізалексы (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1971.

Бялькевіч, 1970. *І. К. Бялькевіч.* Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.

Вайан, 1952. *А. Вайан.* Руководство по старославянскому языку. Рус. пер. М., 1952.

Ван-Вейк, 1957. *Н. Ван-Вейк.* История старославянского языка. М., 1957.

Ващенко, 1960. *В. С. Ващенко.* Словник полтавських говорів. Харків, 1960.

Венгеров, 1897. *С. А. Венгеров.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1897. Т. 5.

Вендина, 1973. *Т. И. Вендина.* К вопросу о результатах прогрессивной палатализации заднеязычных согласных (конкуренция суффиксов *-ик(а)* / *-иц(а)* в восточнославянских языках) // Славянская филология. М., 1973. Вып. 9.

Вендина, 1973а. *Т. И. Вендина.* К вопросу о результатах прогрессивной палатализации задненебных (конкуренция суффиксов *-ik(a)* / *-ic(a)* в южнославянских языках) // Советское славяноведение. 1973, № 4.

Ветухов, 1898. *А. Ветухов.* Александр Афанасьевич Потебня // РФВ. 1898. Т. 39.

Ветухов, 1926. *О. В. Ветухов.* До розуміння Потебні (критично-біографічні уваги) // Науковий збірник Харк. наук.-досл. кафедри історії укр. культури. Харків, 1926. Вып. 2–3. С. 11-38.

Виноградов, 1928. *В. В. Виноградов.* О слове «ахинея» в русском литературном языке // Русская речь. III. Новая серия. Л., 1928.

Виноградов, 1938. *В. В. Виноградов.* Современный русский язык. М., 1938. Вып. 1.

Виноградов, 1938а. *В. В. Виноградов.* А. А. Потебня // Русский язык в школе. 1938, № 5–6. С. 111–121.

Виноградов, 1946. *В. В. Виноградов.* Учение А. А. Потебни о стадиальности развития синтаксического строя в славянских языках // Вестник МГУ. 1946, № 3–4. С. 3–27.

Виноградов, 1947. *В. В. Виноградов.* Русский язык. М., 1947.

Виноградов, 1947а. *В. В. Виноградов.* Из истории русской литературной лексики // Вестник МГУ. 1947, № 7.

Виноградов, 1949. *В. В. Виноградов.* О IV томе «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни // Труды Института русского языка АН СССР. М., 1949. Т. 1. С. 239–263.

Вопросы теории, 1914. Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1914. Т. V.

Востоков, 1863. *А. Х. Востоков*. Грамматика церковнословенского языка, изложенная по древним оного письменным памятникам. СПб., 1863.

Востоков, 1865. Филологические наблюдения А. Х. Востокова / Издал И. Срезневский. СПб., 1865.

Вступ, 1966. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов. Київ, 1966.

Вушовић, 1930. *Д. Вушовић*. Прилози проучавању Његошева језика // ЈФ. 1930. Књ. IX.

ВЯ. Вопросы языкознания. Москва.

Георгиев, 1957. *В. Георгиев*. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомогателен глагол *имам* // Известия на Института за български език. София, 1957. Кн. V.

Георгиев, 1958. *В. Георгиев*. Въпроси на българската етимология. София, 1958.

Георгиев, 1960. *В. Георгиев*. Българска етимология и ономастика. София, 1960.

Георгиева, 1952. *В. Л. Георгиева*. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. Автореферат канд. диссертации. Л., 1952.

Гецова, 1970. *О. Г. Гецова*. Проект Архангельского областного словаря. М., 1970.

Глускина, 1968. *С. М. Глускина*. О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров) // Псковские говоры. Псков, 1968. Вып. II. С. 20–43.

Горов, 1962. *Г. Горов*. Странджанският говор // БД. 1962. Кн. I.

Горяев, 1896. *Н. В. Горяев*. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896.

Григорьев, 1960. *В. П. Григорьев*. И. А. Бодуэн де Куртенэ и интерлингвистика // И. А. Бодуэн де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти). М., 1960. С. 53–66.

Грінченко (Гринченко), I–IV. *Б. Д. Грінченко*. Словарь української мови. Київ, 1907–1909. Т. 1–4.

Грот, 1897. *К. Я. Грот*. Славянские древности (Лекции, читанные студентам...). Варшава, [1897].

Гура, 1977. *А. В. Гура*. Из севернорусской свадебной терминологии (Хлеб и пряники. — Словарь) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 131–180.

Гълъбов, 1950. *И. Гълъбов.* За члена в български език // Известия на Народния музей Бургас. София, 1950. Т. 1. С. 173–227.

Гълъбов, 1954. *И. Гълъбов.* Към вопроса за члена в славянските езици с особен оглед към старобългарския език // Известия на Института за български език. София, 1954. Кн. III. С. 356–371.

Даль, 1852. *В. И. Даль.* О наречиях русского языка: По поводу «Опыта областного великорусского словаря», изданного Вторым отделением Имп. Академии наук // Вестник Имп. Русского географического общества. СПб., 1852. Ч. VI. Кн. I. Отд. IV. [Перепечатано в т. I «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. СПб., 1880. Изд. 2-е.]

Даль, I–IV. *В. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.–М., 1904–1912. Т. I–IV. Изд. 4.

Даничић, 1925. *Ђ. Даничић.* Српски акценти. Београд–Сремски Карловци, 1925.

Десницкая, 1977. *А. В. Десницкая.* К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики // АИЯЭ. С. 22–29.

Джурович, 1913. *Д. П. Джурович.* Говоры общеславянского языка (с лингвистической картой). Варшава, 1913.

Добровский, 1833. Грамматика языка славянского по древнему наречию. Сочинение I. Добровского / Перевел с латинского М. Погодин. СПб., 1833. Часть I.

Дополнение, 1858. Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.

Дуличенко, 1971. *А. Д. Дуличенко.* К вопросу о литературно-письменном и народном языке у бачско-сремских русин в XVIII–XIX вв. // ЗФЛ. 1971. Књ. XIV/2.

Дуличенко, 1972. *А. Д. Дуличенко.* Становление и развитие русинского литературного языка в Югославии // Советское славяноведение. 1972, № 3.

Дуличенко, 1978. *А. Д. Дуличенко.* Введение в славянскую филологию. Тарту, 1978.

Дурново, 1924. *Н. Дурново.* Очерк истории русского языка. М.–Л., 1924.

Елезовић, I–II. *Г. Елезовић.* Речник косовско-метохиског дијалекта. Београд, 1932–1935. Књ. I–II. (СДЗб. Књ. IV–V).

ЕСУМ. Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–1989. Т. I–III.

ЖМНП. Журнал Министерства народного просвещения. СПб.

ЖС. Живая старина. СПб. (Пг.)

ЖСл. Живое слова. Мінск, 1978.

Захарова, Орлова, 1970. *К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Зеленин, 1901. *Д. К. Зеленин.* Особенности в говоре русских крестьян юго-восточной части Вятской губернии // ЖС. 1901. Т. 11, вып. 1. С. 81–96.

Зеленин, 1902. *Д. К. Зеленин.* Отчет о поездке (летом 1901 г.) в Яранский уезд Вятской губернии для изучения народного говора // Ученые записки Юрьевского университета. 1902. № 3. С. 1–17.

Зеленин, 1903. *Д. К. Зеленин.* Отчет о диалектической поездке в Вятскую губернию // Сборник ОРЯС. СПб., 1903. Т. 76, № 2. С. 1–189 отд. пагинации.

Зеленин, 1903а. *Д. К. Зеленин.* Этимологические заметки. 1–3. К этимологии русских слов: *кметь, хват, корец, зга* и др. // Филологические записки. Воронеж, 1903. Вып. 2. С. 1–32.

Зеленин, 1903б. *Д. К. Зеленин.* Этимологические заметки. 4. К этимологии русских слов: *чередить, душка, коек, лыва, комната, сыворотка, шест* и некоторых других // Известия ОРЯС. СПб., 1903. Т. 8. Кн. 4. С. 256–269.

Зеленин, 1903в. *Д.К. Зеленин.* Народные присловья о «владимирцах» // Живописная Россия. 1903. № 151. С. 557–560.

Зеленин, 1904. *Д. К. Зеленин.* Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии... на 1905 год. Вятка, 1904. Отд. 2. С. 1–52.

Зеленин, 1905. *Д. К. Зеленин.* Великорусские народные присловья как материал для этнографии // ЖС. 1905. Вып. 1–2. С. 57–76.

Зеленин, 1905а. *Д. К. Зеленин.* Усень-ивановский говор // Известия ОРЯС. СПб., 1905. Т. 10. Кн. 2. С. 93–108.

Зеленин, 1906. *Д. К. Зеленин.* Два слова к вопросу о курских и тульских говорах // ЖС. 1906. Вып. 2. С. 31–33.

Зеленин, 1906а. *Д. К. Зеленин.* О говоре оренбургских казаков // РФВ. 1906. Т. 56. № 3–4. С. 234–246.

Зеленин, 1912. *Д. К. Зеленин.* Докладная записка о подготовке материалов для толкового словаря непонятных слов, встречающихся в древних актах Вятской губернии, и об источниках для этой работы // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1912. Вып. 3.

Зеленин, 1913. *Д. К. Зеленин.* Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб., 1913.

Зеленин, 1913а. *Д. К. Зеленин.* Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700–1910. Жилище, одежда, музыка, искусство, хозяйственный быт. СПб.,1913.

Зеленин, 1915. *Д. К. Зеленин.* К вопросу об изучении социальной стороны жизни языка // Известия ОРЯС. СПб., 1915. Т. 20. Кн. 3.

Зеленин, 1926. *Д. К. Зеленин.* Женские головные уборы восточных (русских) славян // Slavia. Praha, 1926. Roč. 5. Seš. 2.

Зеленин, 1929–1930. *Д. К. Зеленин.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Запреты на охоте и иных промыслах. Ч. II. Запреты в домашней жизни // Сборник МАЭ. Л., 1929. Т. 8. С. 1–151. 1930. Т. 9. С. 1–166.

Зеленин, 1935. *Д. К. Зеленин.* Магическая функция слов и словесных произведений // XLV. Академику Н. Я. Марру. Л., 1935. С. 507–516.

Зеленин, 1947. *Д. К. Зеленин.* Терминология старого русского бурлачества // А. А. Шахматов. 1864–1920. Сборник статей и материалов. М.–Л., 1947. С. 391–397.

Зеленин, 1954. *Д.К. Зеленин.* О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода // Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. М., 1954. Вып. 6. С. 49–95.

ЗНС, 1975. З народнага слоўніка. Мінск, 1975.

ЗФЛ. Зборник за филологију и лингвистику. Матица Српска. Нови Сад.

Иванов, Топоров, 1965. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965.

Иванов, Топоров, 1973. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 153–169.

Иванова, 1969. *А. Ф. Иванова.* Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.

Иваньо, Колодная, 1976. *И. Иваньо, А. Колодная.* Эстетическая концепция А. Потебни // А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 9–31.

Ивић, 1957. *П. Ивић.* О говору Галипољских Срба. Београд, 1957. (СДЗб. Књ. XII).

Ивић, 1957–1958. *П. Ивић.* Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и

њихових односа према осталим словенским језицима // ЈФ. 1957–1958. Књ. XXII/1–4. С. 179–206.

Ивич, 1966. *П. Ивич.* Письмо в редакцию // ВЯ. 1966, № 2. С. 166–168.

Ильинский, 1916. *Г. А. Ильинский.* Праславянская грамматика. Нежин, 1916.

Ильинский, 1918. *Г. А. Ильинский.* Славянские этимологии. I–XXXV // Известия ОРЯС. Пг., 1918. Т. XXIII. Кн. 1. С. 125–182.

Исаев, Йоич, 1948. *Г. Исаев, М. Йоич.* Сръбска граматика. София, 1948.

Исаченко, 1941. *А. В. Исаченко.* Судьбы формы *есть*. Древнерусские этюды. Любляна, 1941.

Исаченко, 1953. *А. В. Исаченко.* О сравнительно-историческом изучении грамматических категорий в славянских языках // Slavia. Praha, 1953. Roč. XXI, seš. 2–3. S. 200–213.

Исаченко, 1954. *А. В. Исаченко.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Ч. I. Морфология. Братислава, 1954.

Истрина, 1918. *Е. С. Истрина.* Употребление именных и местоименных форм имен прилагательных в Синодальном списке 1 Новгородской летописи // Известия ОРЯС. Пг., 1918. Т. XXIII. Кн. 1.

Јагић, 1934. *В. Јагић.* Спомени мојега живота, II. Београд, 1934.

ЈФ. Јужнословенски филолог. Београд.

Кабасанов, 1963. *С. Кабасанов.* Един старинен български говор. Тихомирският говор. София, 1963.

Кабасанов, 1974. *С. Кабасанов.* Съкратени и контрахирани форми в родопските говори // Езиковедски изследвания. В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). София, 1974.

Караџић, 1936. *Вук Караџић.* Српски ријечник. Београд, 1936. Изд. IV.

Кардашевский, 1956–1960. *С. М. Кардашевский.* Курско-орловский словарь. А–И // Ученые записки МОПИ. М., 1956. Т. XXXV. [Труды кафедры рус. яз. Вып. 3]. С. 161–268 (А–Б); Т. XLIII. [Труды кафедры рус. яз. Вып. 4]. С. 135–358 (В–Ж); 1960. Т. LXXXVIII. [Труды кафедры рус. яз. Вып. 5]. С. 71–219 (З–И).

Карский, 1924. *Е. Ф. Карский.* Русская диалектология. Л., 1924.

Карский и др., 1925. *Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, В. Н. Перетц, П. А. Лавров.* Записка об ученых трудах проф. Д. К. Зеленина

(В связи с избранием его в члены-корреспонденты Академии наук СССР) // Известия АН СССР. 1925. № 18. С. 878–883.

Касаткин, 1968. *Л. Л. Касаткин.* Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненебных согласных в русских говорах. М., 1968.

Касьпяровіч, 1927. *М. І. Касьпяровіч.* Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927.

Качановский, 1878. *В. Качановский.* Заметки о словенском языке XV и XVI века // ЖМНП. 1878. Ч. 205.

КДА. *С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева.* Карпатский диалектологический атлас. М., 1967. Кн. I, II.

Клепикова, 1970. *Г. П. Клепикова.* О некоторых южнославянско-севернорусских лексических параллелях // Советское славяноведение. 1970, № 3.

Кодов, 1936. *Х. Кодов.* Езикът на тракийските българи // Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Част II. Език. София, 1936.

Кондрашов, 1958. *Н. А. Кондрашов.* Материалы для словаря наречий горных словаков, собранные И. И. Срезневским // Jazykovedný časopis. Bratislava, 1958. Roč. IX, č. 1–2.

Кондрашов, 1959. *Н. А. Кондрашов.* Словацкие материалы в архиве И. И. Срезневского // НДВШ. Филологические науки. 1959, № 4. С. 160–168.

Корш, 1905. *Ф. Е. Корш.* Отчет о сочинении Д.К. Зеленина «Германские, романские и латинские элементы» [Отчет о первом присуждении премий имени М. И. Михельсона] // Сборник ОРЯС. СПб., 1905. Т. 78, № 3. С. 10–11 отд. пагинации.

Крамко, 1976. *І. І. Крамко.* Мясцовыя словы адной прынёманскай гаворкі // Народнае слова. Мінск, 1976. С. 83–91.

Крамко, 1978. *І. І. Крамко.* З лексікі в. Беражна // Жывое слова. Мінск, 1978. С. 67–78.

Крижанищ, 1859. *Ј. Крижанищ.* Граматѝчно изка̂занје... / Издано О. Бодянским. М., 1859.

Лавровский, 1852. *П. А. Лавровский.* О языке северных русских летописей. СПб., 1852.

Лавровский, 1866. *П. А. Лавровский.* Разбор исследования «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий». Сочинения А. Потебни. М., 1865 // ЧОИДР. 1866. Апрель–июнь. Раздел 5. С. 1–102.

Ламанский, 1881. *В. И. Ламанский.* Лекции по славянским наречиям, читанные... за 1880–1881 акад. год. Литогр. СПб., [1881].

Ламанский, 1882. *В. И. Ламанский.* Обозрение народностей и наречий славянских. Лекции, читанные за семестр 1881–1882 гг. Литогр. СПб., [1882].

Лампрехт, 1956. *А. Лампрехт.* Несколько замечаний к развитию фонетической системы праславянского языка // Sborník prací Filosofické fakultý Brněnské university. Brno, 1956. Řada A. Roč. V, č. 4.

Ларин, 1960. *Б. А. Ларин.* Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад. А. А. Шахматова и наши задачи // Ученые записки ЛГУ. 1960. № 267. Серия филол. наук. Вып. 52.

Ларин, 1962. *Б. А. Ларин.* Иструкция Псковского областного словаря // Псковские говоры. Псков, 1962. Вып. I.

Лаучюте, 1982. *Ю. А. Лаучюте.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.

ЛББМ. Лексічныя балтызмы ў беларускай мове. Мінск, 1969.

Леков, 1955. *И. Леков.* Единството и национално своеобразие на славянските езици в техния основен речников фонд. София, 1955.

Леков, 1958. *И. Леков.* Общност и многообразие в граматическия строй на славянските езици. София, 1958.

Леков, 1958а. *И. Леков.* Словообразователни склонности на славянските езици. София, 1958.

Леков, 1960. *И. Леков.* Насоки в развоя на фонологичните системи на славянските езици. София, 1960.

Лисенко, 1961. *П. С. Лисенко.* Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. Київ, 1961.

ЛП. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.

Лысков, 1926. *И. П. Лысков.* О частях речи. М., 1926.

Ляпунов, 1893. *Б. М. Ляпунов.* Краткий обзор главнейших явлений словенской литературы с введением об отношении словенского языка к старославянскому и другим славянским языкам // Записки Харьковского университета. Харьков, 1893.

Ляпунов, 1902. *Б. М. Ляпунов.* Несколько замечаний о словенсконемецком словаре Плетершника. СПб., 1902.

Ляпунов, 1924. *Б. М. Ляпунов.* Родственные связи словенцев с сербами и хорватами // JФ. 1924. Књ. IV. С. 29–43.

Макаев, 1964. *Э. А. Макаев.* Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.–Л., 1964.

Максимович, 1839. *М. А. Максимович.* История древней русской словесности. Киев, 1839.

Матић, 1939. *С. Матић.* Употреба дужих и краћих придевских облика у народном и Његошевом десетерцу // Наш језик. Београд, 1939. VII, 2–3.

Мейе, 1938. *А. Мейе.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.–Л., 1938.

Мейе, 1951. *А. Мейе.* Общеславянский язык. Рус. пер. М., 1951.

Мельниченко, 1961. *Г. Г. Мельниченко.* Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961. Т. 1.

Милетич, 1932. *Л. Милетич.* Прилагателни членни форми в старобългарския език // Македонски преглед. София, 1932. VIII. Кн. 2.

Мирчев, 1963. *К. Мирчев.* Историческа граматика на българския език. София, 1963. Изд. 2.

Младенов, 1936. *С. Младенов.* Принос към изучаване на българските говори в Източна и Западна Тракия // Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Част II. Език. София, 1936.

Младенов, 1951. *Ст. Младенов.* Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951. Т. 1. А–К.

Младенов, 1963. *М. Младенов.* Дълги гласни в българския език // Език и литература. София, 1963. XVIII. Кн. 6. С. 23–28.

Младенов, 1966. *М. Младенов.* Ихтиманският говор. София, 1966.

Можаева, 1975. *И. Е. Можаева.* Вопросы интерференции языков и диалектов карпатского ареала в освещении советских ученых // Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.

Мокиенко, 1969. *В. М. Мокиенко.* Ареальный анализ местной географической терминологии и его интерпретация // Советское славяноведение. 1969, № 5. С. 57–68.

МСБГ. Матеріали до словника буковинських говірок. Чернівці, 1971–1976. Вип. I–IV.

МСММГ. Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Мінск, 1970–1977. Вып. I–III.

МСНДМ. Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960.

МСРГЛ. Материалы для словаря русских говоров Латвийской ССР. Рига, 1970–1974. Вып. 1–6.

Надеждин, 1847. *Н. И. Надеждин.* Об этнографическом изучении народности русской // Записки Имп. Русского географического общества. СПб., 1847. Кн. 2. С. 61–115.

НДВШ. Научные доклады высшей школы. Москва.

Назарова, 1965. *Т. В. Назарова.* Проблема перехідних говірок між українською і білоруською мовами // Праці XI республіканьскої діалектологічної наради. Київ, 1965.

НЛ. Народная лексіка. Мінск, 1977.

НЛГ. Народная лексіка Гомельшчыны у фальклоры і мастацкай літаратуры. Слоўнік. Мінск, 1983.

НОС. Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–. Вып. 1–.

Носович, 1870. *И. И. Носович.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

НС. Народнае слова. Мінск, 1976.

НСТ. Народная словатворчасць. Мінск, 1979.

Обнорский, 1946. *С. П. Обнорский.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М., 1946.

Онишкевіч, 1984. *М. И. Онишкевіч.* Словник бойківських говірок. Київ, 1984. Ч. I–II.

Онишкевич, ркп. *М. О. Онишкевич.* Словник бойківського діалекту. Львів. Рукопись.

Описание выставки, 1913. 1812–1912. Описание выставки в память столетия со дня рождения И. И. Срезневского. СПб., 1913.

Опыт, 1852. Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.

Оссовецкий, 1961. *И. А. Оссовецкий.* Начальные этапы развития русской диалектологии // История русской диалектологии. М., 1961.

Павловић, 1939. *М. Павловић.* Говор Сретечке Жупе. Београд, 1939.

Павский, 1850. *Г. Павский.* Филологические наблюдения. Рассуждение второе. СПб., 1850.

Памяти Срезневского, 1916. Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916.

Пенчев, 1968. *Й. Пенчев.* Конструкции с глагола *имам* // Славистичен сборник. София, 1968. С. 173–177.

Первый съезд, 1904. I съезд славянских филологов и историков. I. Материалы по организации съезда. СПб., 1904.

Перльмуттер, 1948. *Л. Б. Перльмуттер.* Переход прилагательных в существительные // Русский язык в школе. 1948, № 1. С. 12–21.

Петров, 1893. *А. Л. Петров.* Лекции по славяноведению, читанные... в 1892–1893–гг. II–IV курсы. Литогр. СПб., [1893] (то же, читанное для III курса в 1893–1894 гг.: СПб., 1894).

Петров, 1897. *А. Л. Петров.* Лекции по славяноведению, читанные на Высших Женских курсах... 1896–1897. I курс. Литогр. СПб., 1897.

Петров, 1924. *В. Петров.* Потебня й Лотце // Записки іст.-філол. відділу ВУАН. Київ, 1924. Кн. 4. С. 259–263.

Пешковский, 1938. *А. М. Пешковский.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. Изд. 6.

Погорелов, 1925. *В. Погорелов.* Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы. Bratislava, 1925 [Sborník Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě. Roč. III].

Подгаецкая, 1950. *И. М. Подгаецкая.* Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка XVIII–XX вв. М., 1950.

Полякова, 1972. *Е. Н. Полякова.* Материалы к словарю географических терминов пермских памятников XVII в. Пермь, 1972.

ПОНЯС. Памятники и образцы народного языка и словесности русских и западных славян. [Тетрадь] I–IV. [Прибавления к Известиям Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности]. СПб., 1852–1856.

Поспелов, 1953. *Н. С. Поспелов.* Соотношение между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке // ВЯ. 1953, № 6.

Потебня, 1860. *А. А. Потебня.* О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860.

Потебня, 1865. *А. А. Потебня.* О мифическом значении некоторых обрядов и поверий // ЧОИДР. 1865. Кн. 2. С. 1–84; Кн. 3. С. 85–232; Кн. 4. С. 233–310.

Потебня, 1880. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Рецензия члена-корр. Имп. Академии наук А. А. Потебни // Записки Имп. Академии наук. Т. XXXVII. Кн. II. СПб., 1881. Приложение № 4. Отчет о двадцать втором присуждении наград графа Уварова. СПб., 1880. С. 64–152.

Потебня, 1894. *А. А. Потебня.* Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.

Потебня, 1914. *А. А. Потебня.* I. О некоторых символах в славянской народной поэзии. II. О связи некоторых представлений в языке. III. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. IV. О доле и сродных с нею существах. Второе издание. Харьков, 1914.

Потебня, 1976. *А. А. Потебня.* Эстетика и поэтика. М., 1976.

Потебня, I–IV. *А. Потебня.* Из записок по русской грамматике. I. Введение. II. Составные части предложения и их замены. Харьков, 1888. Изд. 2-е; III. Об изменении значения и заменах существительного. Харьков, 1899. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. М.–Л., 1941.

Приймак, 1957. *І. І. Приймак.* До особливостей місцевої лексики північно-західних районів Сумської області. Нова Каховка, 1957.

Прышчэпчык, 1976. *А. М. Прышчэпчык.* Рэгіяналізмы вёскі Стары Свержань Стаўбцоўскага раёна. Мінск, 1976. С. 148–156.

Пыпин, 1891. *А. Н. Пыпин.* История русской этнографии. Т. 3. Этнография малорусская. СПб., 1891.

Райнов, 1924. *Т. Райнов.* Александр Афанасьевич Потебня. Пг., 1924.

Расторгуев, 1973. *П. А. Расторгуев.* Словарь народных говоров Западной Брянщины. Минск, 1973.

РМЈ. *Г. Димитровски, В. Корубин, Т. Стаматоски.* Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1961–1966. [Т.] I–III.

РСХКНЈ. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–1989. Књ. I–XIV.

РСХКЈ. Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад–Загреб, 1967–1976. Књ. I–VI.

Русское и славянское языкознание, 1980. Русское и славянское языкознание в России середины XVIII–XIX вв. Л., 1980.

РФВ. Русский филологический вестник. Варшава.

Рыбаков, 1974. *Б. А. Рыбаков.* Языческое мировоззрение русского Средневековья // Вопросы истории. 1974, № 1. С. 3–30.

СбНУ. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София.

Северьянов, 1904. Супрасльская рукопись. Труд С. Северьянова. СПб., 1904. Т. 1.

Селищев, 1941. *А. М. Селищев.* Славянское языкознание. Т. I. Западнославянские языки. М., 1941.

Селищев, 1941а. *А. Селищев.* Заметки по истории русского языка // Ученые записки МГПИ. М., 1941.

Селищев, 1952. *А. М. Селищев.* Старославянский язык. М., 1952. Ч. 2.

Серебренников, 1957. *Б. А. Серебренников.* Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции // ВЯ. 1957, № 4.

Серебренников, 1977. *Б. А. Серебренников.* Общеязыковедческие аспекты теории волн Иоганна Шмидта // АИЯЭ. С. 29–37.

Симони, 1896. *П. К. Симони.* Русский язык в его наречиях и говорах // Известия ОРЯС. СПб., 1896. Т. I. Кн. 1.

Славяноведение, 1979. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979.

Смотрицкий, 1619. *Мелетій Смотрицкій.* Грамматіки славенския пра́вилное сvнтагма. Евье, 1619. 3-е изд. — М., 1721.

Собинникова, 1979. *В. И. Собинникова.* Введение в славянскую филологию. Воронеж, 1979.

Соколов, 1878. *А. Соколов.* Зарождение литературы у словенцев. Киев, 1878.

Соссюр, 1977. *Ф. де Соссюр.* Труды по языкознанию. М., 1977.

СПЗБ. Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1979–1984. Т. 1–4.

СРДГ. Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1975–1976.

Срезневский, 1832. Словацкие песни / Издал И. И. Срезневский. Харьков, 1832.

Срезневский, 1841. *И. И. Срезневский.* О наречиях славянских // ЖМНП. Сентябрь, 1841. Ч. XXXI. Отд. II. С. 133–164.

Срезневский, 1843. *И. И. Срезневский.* Словины во Фриуле // Денница. Славянское обозрение. 1843. Ч. II. С. 191–205.

Срезневский, 1844. *И. И. Срезневский.* Славянские известия. Фриульские славяне (Резияне и Словины) // Москвитянин, 1844. Ч. V, № 9. С. 207–234.

Срезневский, 1845. *И. И. Срезневский.* Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских // ЖМНП. 1845. Ч. XLVIII. Отд. II. С. 149–186.

Срезневский, 1851. *И. И. Срезневский.* Замечания о материалах для географии русского языка // Вестник Имп. Русского географического общества. СПб., 1851. Ч. I. Кн. I.

Срезневский, 1881. *И. И. Срезневский.* Фриульские славяне // Сборник ОРЯС. 1881. Т. XXI.

Срезневский, 1881а. *И. И. Срезневский.* Фриульские славяне // Приложение к XXXVIII тому Записок Имп. Академии наук. СПб., 1881. № 4. С. 1–32.

Срезневский, 1887. *И. И. Срезневский.* Мысли об истории русского языка. СПб., 1887.

Срезневский, 1895. Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842. СПб., 1895.

Срезневский, 1913. 1812–1912. Измаил Иванович Срезневский. Краткий биографический очерк. СПб., 1913.

Срезневский, 1959. *И. И. Срезневский.* Мысли об истории русского языка. М., 1959.

Срезневский, архив. Архив И. И. Срезневского // ЦГАЛИ, фонд 436.

СРНГ. Словарь русских народных говоров. М.–Л. (СПб.), 1965–. Вып. 1–.

ССГ. Словарь смоленских говоров / Под ред. А. И. Ивановой. Смоленск, 1974. Вып. 1. А–Б.

ССРНГ. Словарь современного русского народного говора — д. Деулино Рязанского района Рязанской обл. / Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969.

ССУ. Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964–1971. Т. I–II.

Станић, I–II. *М. Станић.* Ускочки речник. Београд, 1990–1991. Књ. I–II.

Стевановић, 1949. *М. Стевановић.* Двојство облика посесивних придева и заменица на *-ов, -ин* // Наш језик. Београд, 1949. Нова серија. Књ. I. Св. 1–2. С. 24–38.

Стевановић, 1964. *М. Стевановић.* Савремени српскохрватски језик. Београд, 1964.

Строгова, 1970. *В. П. Строгова.* О слове *снага* в древнерусском языке и в новгородских говорах // Программа и краткое содержание докладов к XII научно-методической конференции Северо-Западного зонального объединения кафедр русского языка педагогических институтов. Л., 1970. С. 140–142.

Сумцов, 1926. *М. Сумцов.* До історії наукового впливу О. Потебні // Науковий збірник Харк. наук.-досл. кафедри історії укр. культури. Харків, 1926. [Вип.] 2–3.

Супрун, Калюта, 1981. *А. Е. Супрун, А. М. Калюта.* Введение в славянскую филологию. Минск, 1981.

Сцяцко, 1970. *П. Сцяцко.* Дыялектны слоўнік (З гаворак Зэльвеншчыны). Мінск, 1970.

Сцяшковіч, 1972. *Т. Ф. Сцяшковіч.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972.

Сцяшковіч, 1983. *Т. Ф. Сцяшковіч.* Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мінск, 1983.

Сэпир, 1934. *Э. Сэпир.* Язык. М.–Л., 1934.

Теодоров-Балан, 1940. *А. Теодоров-Балан.* Нова българска граматика. София, 1940.

Терновская, 1975. *О. А. Терновская.* Понятие диалекта и принципы классификации славянских диалектов // Советское славяноведение. 1975, № 5. С. 47–58.

Тодоров, 1930. *Цв. Тодоров*. Говорът на град Лом // СбНУ. 1930. Кн. XXXVIII.

Толкачев, 1952. *А. И. Толкачев*. История членных прилагательных русского языка. Смоленск, 1952.

Толстая, 1971. *С. М. Толстая*. Фонетические наблюдения над ономатопеическими образованиями с суффиксом *-ot* в верхнелужицком // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971. С. 272–280.

Толстой, 1957. *Н. И. Толстой*. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. Вып. 2. С. 43–122.

Толстой, 1960. *Н. И. Толстой*. О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // И. А. Бодуэн де Куртенэ. К 30-летию со дня смерти. М., 1960. С. 67–81.

Толстой, 1962. *Н. И. Толстой*. Из географии славянских слов. 1. 'дождь', 2. 'саламандра' // Вопросы славянского языкознания. М., 1962. Вып. 6. С. 140–155.

Толстой, 1962а. *Н. И. Толстой*. Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля // Всесоюзная конференция по славянской филологии. Программа и тезисы докладов. Л., 1962. С. 125–127.

Толстой, 1965. *Н. И. Толстой*. Из географии славянских слов. 3. *Правый — левый*. 4. *Хорохориться*. 5. *Класть* // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965. С. 133–147.

Толстой, 1968. *Н. И. Толстой*. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 339–365.

Толстой, 1968а. *Н. И. Толстой*. Об изучении полесской лексики // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968. С. 3–19.

Толстой, 1971. *Н. И. Толстой*. *Не* не 'не' // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971. С. 282–287.

Толстой, 1971а. *Н. И. Толстой*. [Ответы на вопросы анкеты по проблеме «Белорусско-украинские изолексы»] // Беларуска-ўкраінскія ізалексы. (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1971. С. 74–80.

Толстой, 1972. *Н. И. Толстой*. Из географии славянских слов. 6. *Сажа — чад*. 7. *Пот — зной* // Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972. С. 240–257.

Толстой, 1972а. *Н. И. Толстой.* Опыт семантического анализа славянской географической терминологии. Автореферат докт. диссертации. Л., 1972.

Толстой, 1973. *Н. И. Толстой.* К реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 272–293.

Толстой, 1973а. *Н. И. Толстой.* [Ответы на вопросы анкеты по проблеме «Белорусско-русские изолексы»] // Беларуска-рускія ізалексы. (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1973. С. 82–87.

Толстой, 1973б. *Н. И. Толстой.* Об одной карпатско-южнославянской изопрагме // Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24–26 апреля 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. М., 1973. С. 50–55.

Толстой, 1974. *Н. И. Толстой.* Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 16–33.

Толстой, 1974а. *Н. И. Толстой.* Из блокнота диалектолога. 2. Рефлекс *ѣ* и *'а* в говоре с. Кондолово (Мързево) // Езиковедски изследвания. В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). София, 1974. С. 179–182.

Толстой, 1977. *Н. И. Толстой.* О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // АИЯЭ. С. 37–56.

Толстой, 1977а. *Н. И. Толстой.* Уз проблем словенских лексичких изоглоса. Српскохрватска лексика у општесловенском оквиру // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1977. Књ. 6. Св. 1. С. 113–121.

Толстой, 1978. *Н. И. Толстой.* О непоследовательности первой палатализации славянских задненебных согласных // Linguistica. Ljubljana, 1978. Knj. 17. S. 33–47.

Томсон, 1903. *А. И. Томсон.* К синтаксису и семасиологии русского языка. Одесса, 1903.

Топоров, 1959. *В. Н. Топоров.* Slovenica // Вопросы славянского языкознания. М., 1959. Вып. 4.

Трубачев, 1963. *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря: Проблемы и задачи // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 159–196.

Трубачев, 1963а. *О. Н. Трубачев.* Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963.

Трубачев, 1968. *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (проблемы и результаты) // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.

ТС. Тураўскі слоўнік. / Склад. А. А. Крывіцкі, Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін. Мінск, 1982–1987. Т. I–V.

УРС. Українсько-російский словник / Под ред. І. М. Кириченко. Київ, 1953–1963. Т. I–VI.

Фасмер, I–IV. *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. I–IV.

Фекете, 1969. *Е. Фекете.* Облик, значење и употреба одређеног и неодређеног придевског вида у српскохрватском језику // ЈФ. 1969. Књ. XXVIII, св. 1–2. С. 321–386.

Филиповић, 1950. *М. Филиповић.* Мађијско разбијање судова // Научни зборник Матице Српске. Нови Сад, 1950. Књ. I. С. 110–125.

Филин, 1962. *Ф. П. Филин.* Образование языка восточных славян. М.–Л., 1962.

Филин, 1972. *Ф. П. Филин.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

Финкель, 1930. *А. Финкель.* [Вступительная статья] Критическое введение к Потебне // А. А. Потебня. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1930.

Флоринский, 1895. *Т. Флоринский.* Лекции по славянскому языкознанию. Киев, 1895. Ч. I.

Хамм, 1965. *Й. Хамм.* Некоторые замечания к диахроническим исследованиям // ВЯ. 1965, № 1. С. 22–36.

Харцієв, 1925. *В. Харцієв.* Потебня й «лапки» (З приводу однієї академічної рецензії) // Червоний шлях. 1925, № 5. С. 158–164.

Цонев, 1934. *Б. Цонев.* История на българский език. София, 1934. Т. II.

Цыхун, 1974. *Г. А. Цыхун.* Беларуска-паўднёваславянскія лексічныя сувязі. Некаторыя праблемы і вынікі // Беларуская лінгвістыка. Мінск, 1974. Вып. 5. С. 41–45.

ЧОИДР. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Москва.

Чудаков, 1975. *А. П. Чудаков.* А. А. Потебня // Академические школы в русском литературоведении. М., 1975.

Чыгрын, 1978. *Т. П. Чыгрын.* З лексікі нашай вескі // Жывое слова. Мінск, 1978. С. 152–162.

Шаталава, 1975. *Л. Ф. Шаталава.* Беларускае дыялектнае слова. Мінск, 1975.

Шатэрнік, 1929. *М. В. Шатэрнік.* Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Менск, 1929.

Шахматов, 1902. *А. А. Шахматов.* Русское и словенское аканье // Сборник статей, посвященных... Ф. Ф. Фортунатову. Варшава, 1902. [РФВ. Т. XLVIII.] С. 1–91.

Шахматов, 1915. *А. А. Шахматов.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Шахматов, 1915а. *А. А. Шахматов.* [Рецензия на кн.] Д. К. Зеленин. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб., 1913 // Известия ОРЯС. 1915. Т. XX, кн. 3. С. 332–358.

Шахматов, 1916. *А. А. Шахматов.* Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916. Ч. 1.

Шахматов, 1941. *А. А. Шахматов.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Шведова, 1948. *Н. Ю. Шведова.* Возникновение и распространение предикативного употребления членных прилагательных в русском языке XV–XVII вв // Доклады и сообщения Ин-та русского языка АН СССР. М., 1948. Вып. 1 (автореферат канд. дисс.)

Шведова, 1948а. *Н. Ю. Шведова.* Возникновение и распространение предикативного употребления членных прилагательных в русском языке XV–XVII вв. Канд. диссертация. М., 1948.

Шведова, 1952. *Н. Ю. Шведова.* Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке // Ученые записки МГУ. М., 1952. Вып. 150.

Щепкин, 1914. *В. Н. Щепкин.* Введение в славяноведение (курс лекций, читанный в Имп. Московском университете). Литогр. М., 1914.

Щерба, 1915. *Л. В. Щерба.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915.

ЭСБМ. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В. У. Мартынаў. Мінск, 1978–. Т. I–.

ЭССЯ. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974–. Вып. 1–.

Ягич, 1910. *И. В. Ягич.* История славянской филологии. СПб., 1910.

Якубинский, 1952. *Л. П. Якубинский.* Из истории имени прилагательного // Доклады и сообщения Института языкознания. М., 1952. Т. 1. С. 52–61.

Якубинский, 1953. *Л. П. Якубинский.* История древнерусского языка. М., 1953.

Янкова, 1982. *Т. С. Янкова.* Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны. Мінск, 1982.

Янкоўскі, I–III. *Ф. Янкоўскі.* Дыялектны слоўнік. Мінск, 1959–1970. [Вып.] I–III.

Bąk, 1974. *S. Bąk.* Mowa polska na Śląsku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1974.

Bajec, Kolarič, Rupel, 1964. *A. Bajec, R. Kolarič, M. Rupel.* Slovenska slovnica. Ljubljana, 1964.

Bartoš, 1895. *F. Bartoš.* Dialektologie moravská. Brno, 1895. D. 2.

Bartoš, 1905. *F. Bartoš.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1905.

Baudouin de Courtenay, 1930. *J. Baudouin de Courtenay.* Zagadnienia pokrewieństwa językowego // Biuletyn Polskiego Towarzystwa językoznawczego. Kraków, 1930. Z. 2. S. 104–116.

Baudouin de Courtenay, 1932. *J. Baudouin de Courtenay.* Izoglosy w świecie językowym Słowiańskim // Sborník prací I. Sjezdu Slovanských filologů v Praze. 1929. Praha, 1932. Sv. I. Přednášky. S. 448–450.

Bernard, 1959. *R. Bernard.* Quelques mots du dialecte de Balgari. Notules II // Revue des Études slaves. Paris, 1959. T. XXXVI. P. 67–68.

Berneker, I. *E. Berneker.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1913. Bd. I.

Bezlaj, 1967. *F. Bezlaj.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.

Bezlaj, 1974. *F. Bezlaj.* Zajednička problematika južnoslovenske leksike // XXIV Seminar za strane slaviste. Predavanja. Sarajevo, 1974. S. 5–17.

Bezlaj, 1974a. *F. Bezlaj.* Zakonitosti arealov v slovanski leksiki // X Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Predavanja. Ljubljana, 1974. S. 7–13.

Bezlaj, I–III. *F. Bezlaj.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1976–1995. Knj. I–III.

Bidwell, 1961. *Ch. Bidwell.* The chronology of certain changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin // Word. New York, 1961. Vol. 17. P. 105–127.

Birnbaum, 1975. *H. Birnbaum.* Common Slavic. Progress and Problems in its Reconstruction. Cambridge, Mass., 1975.

Brodowska-Honowska, 1956. *M. Brodowska-Honowska.* Staro-cerkiewno-słowiańskie przymiotniki o sufiksie *-ovъ* na tle porównawczym // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1956. Nr. 9. Filologia. Z. 2. S. 205–222.

Brodowska-Honowska, 1956a. *M. Brodowska-Honowska.* Uwagi o prostej i złożonej odmianie przymiotników staro-cerkiewno-słowiańskich // Там же. S. 265–267.

Brückner, 1957. *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

Budziszewska, 1965. *W. Budziszewska.* Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1965.

Brunôt, 1899. *F. Brunôt.* Précis de grammaire historique. Paris, 1899.

ČDL. Čakavisch-deutsches Lexikon von M. Hraste und P. Šimunović / Red. R. Olesch. Köln–Wien, 1979–1983. Teil I–III.

D'Aronco, Matičetov, 1951. *G. D'Aronco, M. Matičetov.* Folklorna anketa v Furlaniji 1946: Odgovori slovenskih šolarjev // Slovenski Etnograf. Ljubljana, 1951. Letnik III–IV. S. 297–330.

Dejna, 1972. *K. Dejna.* Dialektologiczna regionalizacja polskiego obszaru etnicznego // Lud. R. 55, 1971 druk 1972; S. 69–82. Mapy.

Dejna, 1973. *K. Dejna.* Dialekty polskie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973. 70 map.

Dejna, I–II. *K. Dejna.* Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. Łódź, 1951–1953. Cz. I–II.

Dobrovský, 1822. *J. Dobrovský.* Institutiones linguae slavicae dialecti veteris. Vindobonae, 1822.

Dostál, 1954. *A. Dostál.* K otázce slovotvorných tipů, zvláště slovanských // Studie a práce lingvistické I. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka. Praha, 1954.

Duličenko, 1974. *A. D. Duličenko.* Die Entwicklung des literarischen Schaffens bei den Russinen in Jugoslawien // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin, 1974. Rjad B, čislo 21/1.

Furdal, 1961. *A. Furdal.* Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.

Gavazzi, 1936. *M. Gavazzi.* Problem karakterističnoga razmještaja nekih etnografskih elemenata na Balkanu // Comptes rendus du IV-e Congrès de géographes et des ethnographes slaves. Sofia, 1936. P. 231–236.

Gavazzi, 1960. *M. Gavazzi.* Zapadno-panonski slavenski pojas u davnini // Etnografia polska. Wrocław, 1960. T. III. S. 159–171.

Gebauer, I–II. *J. Gebauer.* Slovník staročeský. Praha, 1970. D. I–II.

Glonar, 1936. *J. Glonar.* Slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1936.

Gołąb, 1955. *P. Gołąb.* Gwara Schodni i okolicy. Wrocław, 1955.

Gregor, 1959. *A. Gregor.* Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Praha–Brno, 1959.

Gunnarsson, 1931. *G. Gunnarsson.* Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal dans les langues slaves et particulièrement dans le russe. Stockholm, 1931.

Hadrovics, 1974. *L. Hadrovics.* Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Wien, 1974.

Hamm, 1958. *J. Hamm.* Staroslavenska gramatika. Zagreb, 1958.

Hamm, Hraste, Guberina, 1956. *J. Hamm, M. Hraste, P. Guberina.* Govor otoka Suska // Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1956. Knj. 1.

Horálek, 1954. *K. Horálek.* Evangeliáře a čtveroevangelia. Praha, 1954.

Horálek, 1962. *K. Horálek.* Úvod do studia slovanských jazíků. Praha, 1962.

Horečka, 1941. *F. Horečka.* Nářečí na Frenštátsku. Frenštat, 1941.

Hruška, 1907. *T. F. Hruška.* Dialektický slovník chodský. Praha, 1907.

Ivić, 1956. *P. Ivić.* Einige Beiträge zur slavischen Etymologie und Wortgeographie // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1956. H. 1. S. 143–147.

Ivšić, 1970. *S. Ivšić.* Slavenska poredbena gramatika / Priredili J. Vrana i R. Katičić. Zagreb, 1970.

Jakubaš, 1954. *F. Jakubaš.* Hornjoserbsko-němski słownik. Budyšin/ Bautzen, 1954.

Jamka, 1975. Słowianie w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia. Skala 1:1000000. Opracował R. Jamka. Warszawa, 1975.

Janežić, 1893. *A. Janežić.* Slovensko-nemški slovar. Celovec, 1893. Nat. 3.

Jedvaj, 1956. *J. Jedvaj.* Bednjanski govor // Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1956. Knj. 1.

Jeżowa, 1968. *M. Jeżowa.* Z problemów tak zwanej trzeciej palatalizacji tylnojęzykowych w językach słowiańskich. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1968.

Jurančič, 1955. *T. Jurančič.* Srbohrvatsko-slovenski slovar. Ljubljana, 1955.

Jurkowski, 1963. *M. Jurkowski.* Losy prasłowiańskich grup *kv-*, *gv-*, *xv-* // Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1963. Seria 2. S. 51–64.

Karłowicz, I–VI. *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. I–VI.

Kálal, 1923. *K. a M. Kálal.* Slovenský slovník z literatúry aj nareči. Banska Bystrica, 1923.

Kolarič, 1960. *R. Kolarič.* Določna in nedoločna oblika slovenskega pridevnika // Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад, 1960. Књ. V. С. 185–197.

Kopečny, 1981. *F. Kopečny.* Základní všeslovanská slovní zasoba. Praha, 1981.

Kurz, 1939. *J. Kurz.* [Сложена придевска форма у прасловенском језику и њено основно значење] // III Međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa). Beograd, 1939. [T.] 1. Zbirka odgovora na pitanja. S. 46.

Kurz, 1937–1947. *J. Kurz.* K otázce členu v jazycích slovanských, se zvláštním zřetelem k staroslověnštině // Byzantinoslavica. Praha, 1937–1938. R. VII. P. 212–340; 1939–1947. R. VIII. P. 172–288.

Lamprecht, 1963. *A. Lamprecht.* Slovník středoopavského nářečí. Ostrava, 1963.

Leskien, 1909. *A. Leskien.* Grammatik der altbulgarischen Sprache. Heidelberg, 1909.

Machek, 1971. *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.

Maciejewski, 1969. *J. Maciejewski.* Słownik chełmińsko-dobrzyński (Siemoń, Dulsk). Toruń, 1969.

Malina, 1946. *I. Malina.* Slovník nářečí mistřického. Praha, 1946.

Maretić, 1899. *T. Maretić.* Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1899.

Maretić, 1910. *T. Maretić.* Jezik slavonskijeh pisaca. Prilog istoričkoj gramatici hrvatskoj ili srpskoj // Rad JAZU. Zagreb, 1910. Knj. 180. S. 146–233.

Matejčík, 1972. *T. Matejčík.* Slovník východonovohradského nárečia. Banska Bystrica, 1972.

Mathesius, 1947. *V. Mathesius.* Čestina a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

Meillet, 1905. *A. Meillet.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. Paris, 1905. T. II.

Miklosich, 1879. *F. Miklosich.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien, 1879. Bd. I. Zweite Auflage.

Miklosich, 1883. *F. Miklosich.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien, 1883. Bd. IV. Syntax. Zweiter Abdruck.

Miklosich, I–IV. *F. Miklosich.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien, 1852, 1856–1874. Bd. I–IV.

Moszyński, 1957. *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław–Kraków, 1957.

Muka, I–II. *E. Muka.* Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. Petrohrad–Praha, 1911–1928. [T.] I, II.

Nadeschdin, 1841. *N. Nadeschdin.* Mundarten der russischen Sprache // Jahrbücher der Literatur. Wien, 1841. Bd. XCV.

Nahtigal, 1952. *R. Nahtigal.* Slovanski jeziki. Ljubljana, 1952.

Nalepa, 1968. *J. Nalepa.* Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad. Poznań, 1968.

Oblak, 1894. *V. Oblak.* Die Halbvocale und ihre Schicksale in den südslavischen Sprachen // Archiv für slavische Philologie. Berlin, 1894. Bd. 16. S. 153–197.

Orlovský, 1982. *J. Orlovský.* Gemerský nárečový slovník. [Rimavská Sobota, 1982].

Pfuhl, 1866. *Ch. Pfuhl.* Łužiski serbski słownik. Budyšin, 1866.

Pleteršnik, I–II. *M. Pleteršnik.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895. D. I–II.

PSJČ. Přiruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. I–VIII.

Ramovš, 1931. *F. Ramovš.* Dialektološka karta slovenskega jezika. Ljubljana, 1931.

Ramovš, 1935. *F. Ramovš.* Historična gramatika slovenskega jezika. Ljubljana, 1935. Knj. VII. Dialekti.

Ramovš, 1936. *F. Ramovš.* Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana, 1936.

Ramovš, 1939. *F. Ramovš.* Obči momenti iz razvoja slovenskega jezika // III Međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa). Beograd, 1939. [T.] 4. Govori i predavanja. S. 37–44.

Ramovš, 1952. *F. Ramovš.* Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana, [1952].

Rešetar, 1907. *M. Rešetar.* Der štokavische Dialekt. Wien, 1907.

RHKKJ. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. / Ured. B. Finka. Zagreb, 1984–1991. Knj. I–II. Sv. 1–6.

RHSJ. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje JAZU. Zagreb, 1880–1976. D. I–XXIII.

Ripka, 1981. *I. Ripka.* Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí. Bratislava, 1981.

Safarewiczowa, 1964. *H. Safarewiczowa.* Oboczność *я имею* i *у меня есть* w języku rosyjskim dziś i dawniej. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1964.

Shevelov, 1964. *G. J. Shevelov.* Prehistory of Slavic. The historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.

SJP. Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. T. I–XI.

SJSS. Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958–. Seš. 1–.

Skok, I–IV. *P. Skok.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974. Knj. I–IV.

Sławski, I–V. *F. Sławski.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–1982. T. I–V.

Smułkowa, 1963. *E. Smułkowa.* O białoruskim *ǵéga* 'krzemień' (Przyczynek do zagadnienia substratu bałtyckiego w historii języków słowiańskich) // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 2. Językoznawstwo. Prace na V Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Warszawa, 1963. S. 215–221.

SP. Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1974–. T. 1–.

Sreznewski, 1841. *I. Sreznewski.* Zpráwa o Rezianech. Dopisy I. Sreznewského a P. Preisa W. Hankowi // Časopis Českého Muzeum. Praha, 1841. Roč. XV. S. 341–346.

SSP. Słownik staropolski / Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1953–1997. T. I–XI.

SSHS. *Š. Skerlj, R. Aleksić, V. Latković.* Slovensko-srbskohrvatski slovar. Ljubljana—Beograd, 1964.

SSKJ. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. Knj. I–V.

Steffen, 1984. *W. Steffen.* Słownik warmiński. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1984.

Stieber, 1938. *Z. Stieber.* Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych. Kraków, 1938.

Stieber, 1968. *Z. Stieber.* Druga palatalizacja tylnojęzykowych w świetle atlasu dialektów rosyjskich na wschód od Moskwy // Rocznik slawistyczny. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1968. T. XXIX. Cz. 1.

Stieber, 1974. *Z. Stieber.* W sprawie pierwotnego podziału dialektalnego języka prasłowiańskiego // Z. Stieber. Świat językowy Słowian. Warszawa, 1974.

Stieber, 1979. *Z. Stieber.* Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, 1979.

Stieber, I–II. *Z. Stieber.* Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, 1969. [Cz. I]. Fonologia; Cz. II, z. 1. Fleksja imenna; 1973. Cz. II, z. 2. Fleksja werbalna.

Svane, 1958. *G. O. Svane.* Grammatik der slowenischen Schriftsprache. Kopenhagen, 1958.

SW. *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1927. T. I–VIII.

Sychta, I–VII. *B. Sychta.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1967–1976. T. I–VII.

Świderska-Koneczna, 1930. *H. Świderska-Koneczna.* Użycie czasownika *mieć* jako słowa posiłkowego w języku polskim // Prace Filologiczne. Warszawa, 1930. T. XV. Cz. 1.

Tarnacki, 1939. *J. Tarnacki.* Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie–Mazowsze). Warszawa, 1939.

Tentor, 1950. *M. Tentor.* Leksička slaganja creskoga narječja i slovenskoga jezika protiv Vukova jezika // Razprave SAZU. Ljubljana, 1950. Knj. I. S. 69–92.

Tésnière, 1933. *L. Tésnière.* Les diphones *tl, dl* en slave // Revue des Études slaves. Paris, 1933. T. XIII, f. 1–2.

Tomici, 1967. *M. Tomici.* Unele observaţii în legătură cu adjectivul calificativ în graiul sîrbesc din locatitatea Sviniţa, regiunea Banat // Studii şi cercetări lingvistice. Bucureşti, 1967. An. XVIII. Nr. 2. P. 223–230.

Toporišić, 1965. *J. Toporišić.* Slovenski knjižni jezik. Maribor, 1965.

Trávníček, 1951. *F. Trávníček.* Mluvnice spisovné češtiny. Praha, 1951. Část I.

Utěšený, 1960. *S. Utěšený.* Nářečí přehodného pásu česko-moravského. Praha, 1960.

Vahros, 1966. *J. Vahros.* Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. Helsinki, 1966.

Vaillant, 1948. *A. Vaillant.* Manuel du vieux slave. Paris, 1948.

Vaillant, I–V. *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. (Lyon –) Paris, 1950–1977. T. I–V.

Varlyha, 1970. *A. Varlyha.* Krajovy słoŭnik Łahojščyny. New York, 1970.

Vážný, 1927. *V. Vážný.* Čakavské nářečí v slovenskem Podunají. Bratislava, 1927.

Vondrák, I–II. *W. Vondrák.* Vergleichende slavische Grammatik. Göttingen, 1924–1928. Bd. I–II.

Wieś śląska, 1973. *E. Kucharska, A. Nasz, S. Pospond.* Wieś śląska w 1840 r. Relacje z podróży naukowej I. I. Sriezniewskiego po Śląsku. Wrocław, 1973.

Winkler-Leszczyńska, 1964. *I. Winkler-Leszczyńska.* Sufiksy przymiotnikowe *-ity, -isty, -aty, -asty* w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1964.

Wissemann, 1939. *H. Wissemann.* Die Syntax der nominalen Determination im Großrussischen. Leipzig, 1939.

Zaręba, I–VIII. *A. Zaręba.* Atlas językowy Śląska. Warszawa–Kraków, 1969–1996. T. I–VIII.

Zečević, 1975. *V. Zečević.* Ogled kajkavsko-štokavskog dijalekatskog kontakta // Rad JAZU. Zagreb, 1975. Knj. 368.

Zelenin, 1927. *D. K. Zelenin.* Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin–Leipzig, 1927.

Первые издания публикуемых работ

— О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 37–56.

— Этнолингвистический аспект исследования древней славянской духовной культуры // Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы: Итоги и перспективы исследований. М., 1979. С. 17–26.

— Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Диалектика развития языка». Тезисы докладов. М., 1980. С. 149–159.

— К вопросу о классификации славянских диалектов // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка (Ереван, 2–5 окт. 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. М., 1973. С. 46–49.

— Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (на материале евангельских кодексов) // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. Вып. 2. С. 43–122.

— К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976. С. 148–166.

— Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля // Всесоюзная конференция по славянской филологии [Ленинград], 17–22 дек. 1962 г. Программа и тезисы докладов. Л., 1962. С. 125–127.

— Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах // Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков (15–16 янв. 1974 г.). Предварительные материалы. М., 1973. С. 56–57.

— О непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках. Работа была опубликована в виде серии статей: О непоследовательности первой палатализации славянских задненебных согласных // Linguistica. Ljubljana, 1978. Knj. 17. S. 33–47; О непоследовательности первой

палатализации задненебных согласных в славянских языках. II // Filologia. Zagreb, 1978. Br. 8. S. 355–361; О непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках. III // Slawistyczne studia językoznawcze. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1987. S. 407–410; О непоследовательности палатализации задненебных согласных в славянских языках. IV // Symbolae Slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej / Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa, 1996. S. 295–304.

— Из блокнота диалектолога: 1. Странджанский предикатив *нѐма* // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 381–388.

— Из блокнота диалектолога: 2. Рефлекс *ѣ* и *'а* в говоре с. Кондолово (Мързево) // Езиковедски изследвания. В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). София, 1974. С. 179–182.

— Из блокнота диалектолога: 3. Контракция гласных в с. Горска Поляна, Елховско // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. К. Мирчев. София, 1979. С. 353–358.

— Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 г. // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Књ. XXVII–XXVIII за 1984–1985. Нови Сад, 1984–1985. С. 789–799.

— И. И. Срезневский — диалектолог // Из истории славяноведения в России. Тарту, 1981. С. 27–45 [Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 573. Труды по русской и славянской филологии].

— О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // И. А. Бодуэн де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти). М., 1960. С. 67–81.

— О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни // Потебнянські читання. Київ, 1981. С. 68–81.

— Д. К. Зеленин — диалектолог // Проблемы славянской этнографии. К 100-летию со дня рождения члена-корр. АН СССР Д. К. Зеленина. Л., 1979. С. 70–83. В соавторстве с С. М. Толстой.

— Предисловие к книге Р. Бошковича // Р. Бошкович. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984. С. 3–14.

— Курс «Введение в славянскую филологию» и его отношение к курсу «Старославянский язык» // Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка. Материалы I научно-методического совещания-семинара преподавателей старославянского языка университетов. Москва, 16–18 окт. 1979 г. М., 1984. С. 34–43.

Приложение

Библиография печатных трудов Н. И. Толстого*

1948

1. Пер.: *О. Давичо.* Среди партизан Маркоса: Пер. с серб.-хорв. // Знамя. 1948, № 6. С. 54–117; № 7. С. 69–138.

1949

2. Классики марксизма-ленинизма о народном творчестве (Семинар на филол. фак-те) // Вестник МГУ. 1949, № 12. Серия общественных наук. Вып. 4. С. 190–191. — Соавт. В. Вомперский.

1951

3. Пер.: *И. Вазов.* Отверженные. Повесть / Пер. с болг. В. Дилевской и Н. Толстого. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1951.

1952

4. Пер.: *И. Вазов.* Отверженные. Повесть / Пер. В. Дилевской и Н. Толстого // *И. Вазов.* Избранные произведения: Пер. с болг. М.–Л., 1952. С. 169–268.

1953

5. Отчет о диалектологической экспедиции в болгарское село Суворово летом 1951 года // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. 1953. Вып. 3. С. 110–149. — Совм. с др.
6. Караджич Вук Стефанович // БСЭ. 2-е изд. М., 1953. Т. 20. С. 107–108. — Без подписи.
7. Кашубский язык // Там же. С. 432. — Без подписи.
8. Копитар Варфоломей (Ерней) // Там же. Т. 22. С. 541. — Без подписи.
9. Костич Лаза // Там же. Т. 23. С. 127. — Без подписи.
10. Лескин Август // Там же. Т. 24. С. 608. — Без подписи.
11. [Падежи: Выступление на дискусии по проспекту «Основные вопросы болгарской грамматики»] // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1953. Вып. 10. С. 49–52.

---

* Работы, публикуемые в настоящем издании, отмечены звездочками: * — в I томе «Избранных трудов», ** — во II томе, *** — в III томе; звездочки в скобках означают, что работа опубликована частично, в переработанном виде или в переводе на русский язык.

12. Пер.: Болгарские повести и рассказы XIX и XX вв. В 2-х т. Пер. с болг. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1953. Т. 1. — Совм. с др.: *И. Вазов.* Отверженные / Пер. В. Дилевской и Н. Толстого. С. 111–175; *Елин Пелин.* Летний день / Пер. И. Воробьевой и Н. Толстого. С. 389–395.
13. Пер.: *Елин Пелин.* Рассказы и повести: Пер. с болг. М.: Гос. изд-в худ. лит., 1953.— Совм. с др.: Пер. И. Воробьевой и Н. Толстого: Косари. С. 13–18; Летний день. С. 19–27; На том свете. С. 28–32; В гости к куму. С. 33–24; Грязь. С. 89–97; Несжатая полоса. С. 102–105; Бедняцкое счастье. С. 117–121; Пер. Н. Толстого: Хитрюга. 133–136; Скворец. С. 137–141.

1954

14. Краткие и полные прилагательные в старославянском языке: Автореферат кандидатской диссертации. М.: МГУ, 1954. — 12 с.
15. Линде Самуэл Богумил // БСЭ. 2-е изд. М., 1954. Т. 25. С. 143. — Без подписи.
16. Лось Ян // Там же. С. 423. — Без подписи.
17. Македонский язык // Там же. Т. 26. С. 103. — Без подписи.
18. Малецкий Мечислав / Там же. С. 147. — Без подписи.
19. Милетич Светозар // Там же. Т. 27. С. 480. — Без подписи.
20. Милутинович Сима Сарайлия // Там же. С. 489. — Без подписи.
21. Младенов Стефан // Там же. С. 640–641. — Без подписи.
22. Николай Негош // Там же. Т. 30. С. 10. — Без подписи.
23. Нитш Казимеж // Там же. С. 39. — Без подписи.
24. Нушич Бранислав // Там же. С. 223. — Без подписи.
25. Облак Ватрослав // Там же. С. 313. — Без подписи.

1955

26. Орфелин Захарийе // БСЭ. 2-е изд. М., 1955. Т. 31. С. 246–247. — Без подписи.
27. Палмотич Джоно // Там же. С. 613. — Без подписи.
28. Полабский язык // Там же. Т. 33. С. 502. — Без подписи.
29. Прешерн (Prešéren, Prešern) Францэ Ксаверий // Там же. Т. 34. С. 454–455. — Без подписи.
30. Радичевич (Радичевић) Бранко // Там же. Т. 35. С. 579. — Без подписи.
31. Ракич (Ракић) Милан // Там же. С. 669. — Без подписи.
32. Ранкович (Ранковић) Светолик // Там же. Т. 36. С. 22. — Без подписи.

33. Релькович (Reljković) Матия Антун // Там же. С. 342. — Без подписи.
34. Сербскохорватский язык // Там же. Т. 38. С. 556–557. — Без подписи.

1956

35. Краткие и полные прилагательные в старославянском языке // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1956. Вып. 18. С. 37–45.
36. Скерлич (Скерлић) Йован // БСЭ. 2-е изд. М., 1956. Т. 39. С. 224. — Без подписи.
37. Словенский язык // Там же. С. 354. — Без подписи.
38. Стритар (Stritar) Йосип // Там же. Т. 41. С. 114. — Без подписи.
39. Теодоров-Балан Александр // Там же. Т. 42. С. 223. — Без подписи.
40. Трдина (Trdina) Янез // Там же. Т. 43. С. 178. — Без подписи.
41. Трифкович (Трифковић) Коста // Там же. С. 265. — Без подписи.
42. Трубар (Trubar) Примож // Там же. С. 306. — Без подписи.
43. Ускокович (Ускоковић) Милутин // Там же. Т. 44. С. 361. — Без подписи.
44. Финжгар (Finžgar) Фран // Там же. Т. 45. С. 170. — Без подписи.
45. Новые работы югославских лингвистов по сербскохорватскому языку (Краткая информация за 1945–1955 гг.) // Вопросы языкознания. 1956, № 4. С. 104–111.
46. Заседание Международного комитета славистов в Москве [17–22 мая 1956 г.] // Вопросы языкознания. 1956, № 5. С. 156–159.
47. Восьмидесятилетие академика А. И. Белича // Славяне. М., 1956. № 8. С. 35–36. — Без подписи.

1957

48. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (На материале евангельских кодексов) // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. Вып. 2. С. 43–122. ***
49. Сремац Стеван // БСЭ. 2-е изд. М., 1957. Т. 40. С. 390. — Без подписи.
50. Станкович (Станковић) Бора (Борисав) // Там же. С. 478–479. — Без подписи.

51. Цанкар (Cankar) Иван // Там же. Т. 46. С. 434. — Без подписи.
52. Цонев Беню // Там же. С. 666. — Без подписи.
53. Чипико (Ћипико) Иво // Там же. Т. 47. С. 382. — Без подписи.
54. Шантич (Шантић) Алекса // Там же. С. 515. — Без подписи.
55. Языкознание // Там же. Т. 49. С. 347–348. [Югославия. Гл. 16. Естествознание, философия, историография, языкознание]. — Без подписи.
56. Юрчич (Jurčić) Иосип // Там же. С. 420. — Без подписи.
57. Якшич (Јакшић) Джура // Там же. С. 552. — Без подписи.
58. Общее собрание Отделения литературы и языка Академии наук СССР [Москва, 21 февр. 1957 г.] // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1957. Т. 16, вып. 4. С. 380–383.

1958

59. Андрич (Андрић; Andrić) Иво // МСЭ. 3-е изд. М., 1958. Т. 1. Стб. 407–408. — Без подписи.
60. Белич (Белић) Александр // Там же. Стб. 881. — Без подписи.
61. Белорусский язык // Там же. Стб. 909. — Без подписи.
62. Бернекер (Berneker) Эрих // Там же. Стб. 969. — Без подписи.
63. Болгарский язык // Там же. Стб. 1112. — Без подписи.
64. Итоги IV Международного съезда славистов [Москва, 1–10 сент. 1958 г.] // Вестник АН СССР. М., 1958. № 11. С. 52–55.
65. Зарубежные отклики на дискуссию о структурализме // Вопросы языкознания. 1958, № 2. С. 66. — Без подписи.
66. Ред.: Вопросы славянского языкознания / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. Вып. 3.
67. Ред.: Сборник ответов на вопросы по языкознанию (К IV Международному съезду славистов) / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1958.
68. От редакции // Там же. С. 5–6. — На рус. и фр. яз. — Соавт. С. Б. Бернштейн, С. И. Котков.
69. Ред.: Славянская филология. IV Международный съезд славистов / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. Вып. 1.
70. Предисловие // Там же. С. 5–6. — На рус. и фр. яз. — Соавт. В. В. Виноградов, М. П. Алексеев.
71. Ред.: Славянская филология. IV Международный съезд славистов / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. Вып. 2.

72. Ред.: Славянская филология. IV Международный съезд славистов / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. Вып. 3.

1959

73. Об образовании восточнославянских национальных литературных языков // Вопросы языкознания. 1959, № 6. С. 64–67.
74. Вопросы славянского языкознания на IV Международном съезде славистов [Москва, 1–10 сент. 1958 г.] // Вопросы языкознания. 1959, № 1. С. 3–15. — Без подписи.
75. Доманович (Домановић) Радое // МСЭ. 3-е изд. М., 1959. Т. 3. Стб. 653. — Без подписи.
76. Дучич (Дучић) Йован // Там же. Стб. 750. — Без подписи.
77. Караджич (Караџић) Вук Стефанович // Там же. Т. 4. Стб. 518. — Без подписи.
78. Копитар (Kopitar) Варфоломей (Ерней) // Там же. Стб. 1211. — Без подписи.
79. Обрадович (Обрадовић) Досифей // Там же. Т. 6. Стб. 764–765. — Без подписи.
80. Пер.: Избранные произведения болгарских революционных демократов: Пер. с болг. / Под общ. ред. П. Зверева и Л. Воробьева. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. — Совм. с др. Перевод статей Л. Каравелова: Бухарест, 6 ноября. С. 65–68; О женских обществах в Болгарии. С. 68–69; Политика «Молодой Турции». С. 70–72; Свиштов, 26 ноября. С. 73–74; Сербохорватское движение в Австрии. С. 75–78: Бухарест, 11 ноября. С. 78–80; Политическое обозрение. С. 81–84; Литература. С. 84–87; Литературные известия. С. 87; Бухарест, 18 ноября. С. 87–90; Мы должны быть полезными нашим братьям по ту сторону Дуная. С. 91–93; Литературные известия. С. 93; Бухарест, 25 ноября. С. 94–96: Бухарест, 2 декабря. С. 97–99: Известия из Далмации. С. 99–101; Наша литература. С. 101–107; Несколько слов г-ну Блыскову. С. 107; Бухарест, 16 декабря. С. 107–109; Литературные известия. С. 110: Бухарест, 3 января. С. 110–113; Краткий обзор турецких дел. С. 113–115; Литературные известия. С. 115; Бухарест, 7 января. С. 115–117; Бухарест, 21 января. С. 117–120; Александр Герцен. С. 120; Литературные известия. С. 121; О языке. С. 121–122; Бухарест, 4 марта. С. 122–125; Наши счеты с турками. С. 125–129; Бухарест, 21 апреля. С. 129–132; Бухарест, 6 мая. С. 132–135; Литература. С. 136–140. Перевод статей Х. Ботева: Газета «Отечество», или орган нотаблей. С. 301–302; О преобразованиях в Турции. С. 302–303; Заметка. С. 303; Частная жизнь гражданина. С. 303–305; Зло. С. 321–323; Фабрика попов. С. 327; Прокрустово ложе для учителей.

С. 328; Вена, 16 августа. С. 330–331; Рущук, 26 августа. С. 332–334; Бухарест, 31 мая. С. 351–355; Бухарест, 29 августа. С. 360–364; Царьград, 22 сентября. С. 364–367; Царьград, 10 декабря. С. 386–390; Рущук, 11 декабря. С. 391–395; Рущук, 18 декабря. С. 402–405; Царьград, 28 декабря. С. 408–411; Тырново, 1 января. С. 411–413; Царьград, 11 февраля. С. 458–463; Царьград, 8 марта. С. 478–482; Рущук, 10 марта. С. 482–487; Диар-Бекир, 25 апреля. С. 528–531; Книжное обозрение. С. 531; [Об издании газеты «Знамя»]. С. 546–547; Редакции сербской газеты «Исток». С. 554–560; Турецкие зверства в Македонии. С. 570–573; Царьград, 8 июля. С. 576–578.

81. Ред.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 4. Славяно-романские языковые отношения. Проблемы истории праславянского языка / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1959.

1960

82. О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // И. А. Бодуэн де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти). М., 1960. С. 67–81. ***

83. Древнеславянский язык как общий литературный язык южных и восточных славян // Тезисы докладов на Совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени, 27–30 нюня 1960 г. М., 1960. С. 33–38.

84. Древнеславянский литературный язык позднего периода (XVII–XVIII вв.) и его роль в истории русского, сербского и болгарского литературных языков донациональной эпохи // Тезисы докладов на Совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков, 12–14 дек. 1960 г. М., 1960. С. 8–14.

85. Сербо-лужицкие языки // МСЭ. 3-е изд. М., 1960. Т. 8. Стб. 416. — Без подписи.

86. Сербскохорватский язык // Там же. Стб. 417. — Без подписи.

87. Славянизмы // Там же. Стб. 576. Без подписи.

88. Словенский язык // Там же. Стб. 596. — Без подписи.

89. Старославянский язык // Там же. Стб. 1081. — Без подписи.

90. А. И. Белич [Некролог] // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. 19, вып. 3. С. 269–270. — Соавт. Н. С. Поспелов.

91. Об общеславянском лингвистическом атласе (Анкета) // Вопросы языкознания. 1960, № 5. С. 45–46.

92. Ред.: *О. Н. Трубачев.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (Этимологическое исследование) / Отв. ред. — М.: Изд-во АН СССР, 1960.
93. Ред.: IV Международный съезд славистов (Отчет) / Чл. редкол. — М.: Изд-во АН СССР, 1960.
94. От редакции // Там же. С. 3–4. — Соавт. А. Н. Робинсон.

1961

95. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // Вопросы языкознания. 1961, № 1. С. 52–66. **
96. Обзор исследований сектора языкознания Института славяноведения АН СССР за 1958–1959 гг. // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М, 1961. Вып. 30. С. 110–117.
97. Основные задачи изучения в СССР языков южных и западных славян // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1961. Вып. 33/34. С. 171–178.
98. Задачи изучения южно- и западнославянских языков в СССР // Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения, 24–27 янв. 1961 г. Программа совещания и тезисы докладов. М., 1961. С. 39–46.
99. Можно ли представить структурную типологию лексики славянских языков в лингвогеографическом плане? // Межвузовская конференция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя, 27 сент. — 6 окт. 1961 г. Тезисы докладов. Л., 1961. С. 4–6.
100. Принципы построения Резьянского диалектного словаря И. А. Бодуэна де Куртенэ // Там же. С. 21–22.
101. Ред.: Исследования по славянскому языкознанию [Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов, Москва, 1–10 сент. 1958 г.]. М.: Изд-во АН СССР, 1961. [Кн. 3.]

1962

102. Из географии славянских слов: 1. 'Дождь', 2. 'саламандра' // Вопросы славянского языкознания. М., 1962. Вып. 6. С. 140–155. *
103. Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII–XVIII вв. // Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962. С. 5–21.
104. Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля // Всесоюзная конференция по славянской филоло-

гии. [Ленинград], 17–22 дек. 1962 г. Программа и тезисы докладов. Л., 1962. С. 125–127. ***

105. Болгарский язык // Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1. Стб. 679–680. — Без подписи.

106. Ред.: *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья / Отв. ред. — М.: Изд-во АН СССР, 1962.

107. Ред.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М.: Изд-во АН СССР, 1962.

1963

108. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [1] // Вопросы языкознания. 1963, № 1. С. 29–45. *

109. Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1963. Вып. 39. С. 27–38.

110. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI–XVII в.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 230–272. **

111. Роль кирило-мефодієвської традиції в історії східно- і південнослов'янської писемності // Питання походження і розвитку слов'янської писемності. Київ, 1963. С. 30–42.

112. [Ответ на вопрос] Каква е ролята на двуезичието в историята на славянските литературни езици (Като се има предвид слав.-неслав. двуезичие)? // Славянска филология. Материали за V Международни Конгрес на славистите. София, 1963. Т. 1. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание. С. 24–25.

113. [Ответ на вопрос] Създаване на койне в славянските езици и неговото влияние върху литературните езици // Там же. С. 44–46.

114. [Ответ на вопрос] Как се установява границата между билингвизма и взаимните влияния в славянските езици? // Там же. С. 326–327.

115. [Ответ на вопрос] До каква степен лингвистичната география допринася да се установи структурата на диалекта? // Там же. С. 333–334.

116. Языкознание // История Югославии. В 2-х т. М., 1963. Т. 2. С. 280–282. [Югославская культура в 1918–1945 гг.].

117. Международные встречи славистов [Расширенный пленум Международного комитета славистов, Москва, 2–5 окт. 1962 г.] // Вестник АН СССР. М., 1963. № 1. С. 94–95.

118. Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945–1963 гг. М.: АН СССР, 1963. — Совм. с др.

119. Рец.: *G. Mihăilă.* Împrumuturi vechi sud-slave în limba romînă. Studiu lexico-semantic. Bucureşti, 1960. // Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963. С. 278–281.

120. Ред.: *Д.Толовски, В.М.Иллич-Свитыч.* Македонско-русский словарь. М.: ГИС, 1963.

1964

121. Заметки о славянских именах собственных и их транскрипции // Топономастика и транскрипция. М., 1964. С. 103–121. *

122. Проблемы истории древнеславянского литературного языка на V Международном съезде славистов [София, 17–23 сент. 1963] // Вопросы языкознания. 1964, № 4. С. 155–164.

123. Обзор исследований сектора славянского языкознания Института славяноведения АН СССР за 1960–1962 гг. // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1964. Вып. 41. С. 91–99.

124. О некоторых возможностях лексико-семантической реконструкции праславянских диалектов // Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии. Тезисы докладов. М., 1964. С. 37–39. *

125. Вплив української словесної культури на південнослов'янську в XVII–XVIII ст. // Тези доповідей VI Української славістичної конференції, 13–18 окт. 1964. Чернівці, 1964. С. 103–106.

126. Ред.: Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии. Тезисы докладов / Отв. ред. — М.: Наука, 1964.

1965

127. Из географии славянских слов: 3. *правый — левый*; 4. *хорохориться*; 5. *класть* // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965. С. 133–147. *

128. О последней попытке применения «общеславянской азбуки» к словенскому литературному языку // Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. М., 1965. С. 260–266.

129. Страничка из истории македонского литературного языка (Перевод «Любушиного суда» из «Краледворской рукописи»

на македонский язык в XIX в.) // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. М., 1965. Вып. 43. С. 17–34. **

130. Основная литература по топонимике Югославии // Иностранная литература по топонимике. Библиографический обзор. М., 1965. С. 28–34.

131. Какой тип диалектного словаря нам нужен? // XII Республіканська діалектологічна нарада. Київ, квітень 1965 р. Тези доповідей. Київ, 1965. С. 37–39. *

132. VI Украинская славистическая конференция [13–17 окт. 1964 г., Черновцы] // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1965. Т. 24, № 4. С. 370–372. — Соавт. Л. С. Кишкин.

1966

133. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. 2 // Вопросы языкознания. 1966, № 5. С. 16–36. *

134. Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића // Анали филолошког факултета Београдског универзитета. Год. 1965. Св. 5. Београд, 1966.С. 227–234.

135. Зависимость элементов стиля литературного (стандартного) языка от характера его «стандартности» (На материале славянских языков) // Тезисы докладов конференции «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР». Ашхабад, 1966. С. 44–47.

136. Некоторые проблемы и задачи изучения славянских географических терминов // Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений. М., 1966. С. 16–19.

137. К изучению балтизмов в восточнославянской лексике // Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии (24–31 янв. 1967 г.). Программа и тезисы докладов. М., 1966. С. 34–35.

138. Пер.: *А. Назор.* О словаре хорватско-глаголической редакции общеславянского литературного (церковнославянского) языка. Пер. с серб.-хорв. // Вопросы языкознания. 1966, № 5. С. 99–105.

139. Ред.: *И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Резьянский словарь // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966. С. 190–226.

140. Предисловие редактора // Там же. С. 183–190.

141. Ред.: Местные географические термины в топонимии. Тезисы докладов и сообщений / Чл. редкол. — М.: АН СССР, 1966.

1967

142. Старославянский язык // Советское языкознание за 50 лет. М., 1967. С. 64–72.
143. Из истории собирания и исследования славянской (преимущественно русской) географической терминологии // История топонимики в СССР. Тезисы докладов. М., 1967. С. 14–17.
144. О славянских областных словарях географических терминов // Топонимика. 1967. Вып. 2. С. 5–8.
145. Новые издания [Журнал «Мовознавство» и «Anzeiger für slavische Philologie»] // Вопросы языкознания. 1967, № 4. С. 121.
146. Пер.: *Д. Брозович.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод. Пер. с серб.-хорв. // Вопросы языкознания. 1967, № 1. С. 3–33.

1968

147. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, авг. 1968 г.). Доклады советской делегации. М., 1968. С. 339–365. *
148. К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности» (На материале славянских языков) // Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР. Ашхабад, 1968. С. 124–134.
149. О лингвистическом изучении Полесья (Предисловие редактора) // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 5–17. (*)
150. Об изучении полесской лексики // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968. С. 3–19. (*)
151. Sur quelques problèmes de semasiologie comparée slave // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení. Praha, 1968. S. 79.
152. Андре Мазон [Некролог] // Советское славяноведение. 1968, № 2. С. 127.
153. Ред.: Библиографические материалы к книжной выставке от СССР на VI Международном съезде славистов (Прага, 7–13 авг. 1968 г.) / Науч. ред. — М.: АН СССР, 1968.
154. Ред.: Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. — М.: Наука, 1968.
155. Ред.: Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика) / Отв. ред. В. В. Мартынов, Н. И. Толстой. М.: Наука, 1968.

156. Ред.: Славянское языкознание. IV Международный съезд славистов (Прага, авг. 1968 г.). Доклады советской делегации / Чл. редкол. — М.: Наука, 1968.

1969

157. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды / Отв. ред. С. Б. Бернштейн. М.: Наука, 1969. — 262 с.
158. Об одном балтизме в восточнославянских диалектах: *пелька* // Этимология. 1967. Материалы Международного симпозиума «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии», 24–31 янв. 1967 г. М., 1969. С. 145–157. *
159. Славянские региональные литературные языки и их функции в современный и донациональный период // Славянские литературные языки в донациональной период. Тезисы докладов. М., 1969. С. 14–16.
160. [Лексические балтизмы в белорусском языке (Ответы на вопросы анкеты)] // Лексічныя балтызмы ў беларускай мове (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1969. С. 45–49. *
161. Новые издания [Вести Белорусского гос. ун-та. Сер. Филология. Журналистика] // Вопросы языкознания. 1969, № 6. С. 147–148.
162. «Свет разумения книжного». О возникновении славянской письменности // Комсомольская правда. 1969. 23 мая.
163. Ред.: Славянские литературные языки в донациональный период. Тезисы докладов / Чл. редкол. — М.: АН СССР, 1969.

1970

164. К проблеме изучения славянских местных географических терминов // Местные географические термины. М., 1970. С. 46–53. [Вопросы географии. Сб. 81].
165. Академик В. В. Виноградов [Некролог] // Советское славяноведение. 1970, № 1. С. 132–133.
166. Академик Виктор Владимирович Виноградов [Некролог] // Вопросы языкознания. 1970, № 1. С. 3–18. — Без подписи.
167. Еще раз о «семантике» имени собственного // Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции (17–20 июня 1970 г.). Минск, 1970. С. 200–201. *
168. [Выступления] // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze [Praha, 7–13. VIII. 1968]. Akta sjezdu. Praha, 1970. Vol. 1. S. 118–119, 145, 256–257.

169. [Выступления] // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze [Praha, 7–13. VIII. 1968]. Akta sjezdu. Praha, 1970. Vol. 2. S. 462.

170. Ред.: Местные географические термины / Отв. ред. Е. М. Поспелов, Н. И. Толстой. М.: Мысль, 1970. [Вопросы географии. Сб. 81].

1971

171. Из блокнота диалектолога: 1. Странджанский предикатив *нѣма* // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 381–388. ***

172. Из великорусской диалектной семантики // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М., 1971. С. 259–266. *

173. Из поэтики русских и сербскохорватских народных песен (Приглагольный творительный тавтологический) // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971. С. 348–354.

174. *Не* — не 'не' // Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-летию А. А. Реформатского. М., 1971. С. 282–287.

175. Белорусско-украинские изолексы (Ответы на вопросы анкеты) // Беларуска-ўкраінскія ізалексы. (Матэрыялы для абмеркавання). Мінск, 1971. С. 74–80. *

176. Самуил Борисович Бернштейн (К 60-летию со дня рождения и 40-летию научной и педагогической деятельности) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1971. № 2. С. 123–126.

177. О традициях и результатах исследований, связанных с этнолингвистической школой К. Мошинского // Ареальные исследования в языкознании и этнографии, 9–12 февр. 1971. Тезисы докладов и сообщений. Л., 1971. С. 5–7.

178. Славистические съезды // Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 929–930.

179. Словенский язык // Там же. Стб. 958.

180. Серболужицкая литература // Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 775–776.

181. Серболужицкие языки // Там же. Стб. 776–777.

182. Сербскохорватский язык // Там же. Стб. 786–787.

183. Славистические съезды // Там же. Стб. 929–930.

184. Славяноведение // Там же. Стб. 911–915, 925–929.

185. Словенский язык // Там же. Стб. 958.

186. Мате Храсте [Некролог] // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1971. Т. 30. Вып. 3. С. 286.
187. Ред.: Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия проф. С. Б. Бернштейна / Чл. редкол. — М.: Наука, 1971.

1972

188. Опыт семантического анализа славянской географической терминологии. Автореферат докторской диссертации. Л.: ЛГУ, 1972. — 27 с. (*)
189. Из географии славянских слов: 6. *сажа — чад*; 7. *пот — зной* // Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972. С. 240–257. *
190. Rutheno-serbica // Беларускае і славянскае мовазнаўства. Да 75-годдзя акад. АН БССР К. К. Крапівы. Мінск, 1972. С. 270–274.
191. «Свѣт разуменія книжнаго» // Делото на Константин-Кирил Философ. Година на световна прослава, 1969. Сборник. София, 1972. С. 152–153.
192. Новые издания [Čakavska rič. Сплит] // Вопросы языкознания. 1972, № 6. С. 144–145.
193. Рец.: *M. Jurkowski.* Ukraińska terminologia hydrograficzna. Wrocław etc., 1971; *І. Я. Яшкін.* Беларускія геаграфічныя назвы. Мінск, 1971 // Вопросы языкознания. 1972, № 5. С. 136–142.

1973

194. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов, Варшава, авг. 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 272–293.
195. Об одной карпатско-южнославянской изопрагме // Симпозиум по проблемам карпатского языкознания, 24–26 апр. 1973 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 1973. С. 50–55.
196. К вопросу о лингвистической интерпретации происхождения белорусов // Этногенез белорусов. Тезисы докладов на научной конференции по проблеме «Этногенез белорусов» (3–6 дек. 1973 г.). Минск, 1973. С. 141–144.
197. Некоторые перспективы дальнейшего комплексного изучения Полесья // Там же. С. 165–168.
198. Из славянской погребальной лексики // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Ужгород, 25–28 сент. 1973 г.). Тезисы докладов. М., 1973. С. 76–79. *

199. К вопросу о классификации славянских диалектов // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка (Ереван, 2–5 окт. 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. М., 1973. С. 46–49. ***

200. Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах // Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков (15–16 янв. 1974 г.). Предварительные материалы. М., 1973. С. 56–57. ***

201. Древние представления о диалектной основе церковнославянского языка // История славянских языков и письменности. М., 1973. С. 22–23. [Кузнецовские чтения, 1973].

202. Белорусско-русские изолексы (Ответы на вопросы анкеты) // Беларуска-рускія ізалексы. (Матэрыялы для абмеркавання.) Мінск, 1973. С. 82–87. *

203. Абрадавая тэрміналогія ў складзе абласнога слоўніка // Рэгіянальныя асаблівасці беларускай мовы, літаратуры і фальклору. Тэзісы дакладаў рэсп. навуковай канферэнцыі, 25–26 мая 1973 г. Гомель, 1973. С. 74–78.

204. Славянская обрядовая терминология — сравнительно-типологические и лингвогеографические методы ее изучения // Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх моў і літаратур. Тэзісы дакладаў і паведамленняў II рэсп. навуковай канферэнцыі, 17–19 мая 1973 г. Мінск, 1973. С. 210–212.

205. О реконструкции праславянской фразеологии // VII Międzynarodowy Kongres slawistów, Warszawa, 21–27 VIII. 1973. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973. S. 67–68.

206. Рец.: Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски. Скопје, 1970. Кн. 1–2 // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1973. Т. 32, № 4. С. 378–381.

207. Ред.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов, Варшава, авг. 1973 г. Доклады советской делегации / Чл. редкол. — М.: Наука, 1973.

1974

208. Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований // Проблемы картотрафирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 16–33. *

209. Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературного языков // Исследование по славянской филологии. (Сборник, посвященный памяти акад. В. В. Виноградова.) М., 1974. С. 319–329.

210. Из блокнота диалектолога: 2. Рефлекс ѣ и 'а в говоре с. Кондолово (Мързево) // Езиковедски изследвания. В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). София, 1974. С. 179–182. ***

211. Из заметок по славянской демонологии: 1. Откуда дьяволы разные? // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. [Т.] 1 (5). С. 27–32.

212. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами // Там же. С. 42–45. — Соавт. С. М. Толстая.

213. Памяти И. И. Ревзина [Некролог] // Советское славяноведение. 1974, № 5. С. 126–127.

214. Пер.: *Б. Конеский.* Языковые связи македонской поэзии с фольклором. Пер. с макед. // Исследование по славянской филологии. (Сборник, посвященный памяти акад. В. В. Виноградова.) М., 1974. С. 33–39.

215. Ред.: Исследование по славянской филологии. (Сборник, посвященный памяти акад. В. В. Виноградова.) / Отв. ред. В. А. Белошапкова, Н. И. Толстой. — М.: Изд-во МГУ, 1974.

216. Ред.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии / Чл. редкол. — Л.: Наука, 1974.

217. От редколлегии // Там же. С. 3–7. — Совм. с др.

218. Ред.: *Ю. В. Эвангелопулос.* Лексические особенности новогреческого языка в Западной Македонии (Материал для диалектного словаря). Ташкент: ФАН, 1974.

1975

219. О болгаро- и македоно-русских изолексах // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Гомель, 9–12 сент. 1975 г.). Тезисы докладов. М., 1975. С. 9–14. *

220. К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г. Москва. Вып. 2. Славянская историческая лексикология (исторический анализ древнеславянского слова). М., 1975. С. 47–51. *

221. Лингвистические аспекты исследования славянского язычества // Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции, нояб. 1975 г. Днепропетровск, 1975. С. 25–28.

222. Противопоставлены ли в современной Славии центральный и маргинальный ареалы? // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы III конференции на тему «Методика лингво- и этногеографических исследований. Маргинальные и центральные ареалы», 10–12 февр. 1975 г. Л., 1975. С. 6–7.

223. Ред.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы III конференции на тему «Методика лингво- и этногеографических исследований. Маргинальные и центральные ареалы», 10–12 февр. 1975 г. / Чл. редкол. — Л.: Наука, 1975.

224. Ред.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Москва, окт. 1975 г. / Чл. редкол. — М.: АН СССР, 1975. Вып. 1–2.

225. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов / Чл. редкол. — М.: Наука, 1975.

1976

226. Из географии славянских слов: 8. 'радуга' // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1974. М., 1976. С. 22–76. *

227. Из заметок по славянской демонологии: 2. Каков облик дьявольский? // Народная гравюра и фольклор в России XVIII–XIX вв. (Материалы научной конференции. 1975. К 150-летию со дня рождения Д. А. Ровинского). М., 1976. С. 288–319.

228. К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976. С. 148–166. ***

229. Из эпистолярного наследия академика А. Белича (письма А. Белича к П. К. Симони, 1898–1904 гг.) // Зборник радова о Александру Белићу. Београд, 1976. С. 221–230. [САНУ. Посебна издања. Књ. 498. Одељење језика и књижевности. Књ. 28].

230. Ђура Даничић као историјски лексикограф и руска лексикографија XIX века // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1976. Књ. 5. С. 495–503.

231. Старославянский язык // БСЭ. 3-е изд. 1976. Т. 24, кн. 1. С. 431.

232. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI–XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976. Вып. № 1. С. 177–204. **

233. «Плакать на цветы» (Этнолингвистическая заметка) // Русская речь. 1976, № 4. С. 27–30.

234. К вопросу о белорусско-(полесско)-болгарских этнолингвистических соответствиях // Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици. София, 1976. Год. 1. бр. 5. С. 79–88. — Соавт. С. М. Толстая.

235. Zu einigen südslawisch-russischen lexikalischen Parallelen // Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1976. Bd. 21, № 6. S. 834–838.

236. Pour une sémantique des cotés gauche et droit dans leurs rapports avec d'autres éléments symboliques // Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu. Bruxellés, 1976. P. 69–72. — Co-aut. S. M. Tolstaja.

237. Предисловие // *А. Ф. Иванова.* Практические занятия и курсовые работы для студентов литературного факультета (Материалы к изучению московских говоров). М., 1976. С. 3–5.

238. Ред.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. Методология и историография / Чл. редкол. — М.: Наука, 1976.

239. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков / Чл. редкол. — М.: Наука, 1976.

1977

240. О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 37–56. ***

241. К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977. С. 267–281. **

242. Скрытый плач по покойнику (Русско-сербская фольклорная параллель) // Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977. С. 255–258.

243. Заметки по славянской фразеологии: *Здрав као риба* // Zbornik radova povodom 70. godišnjice života akademika J. Vukovića. Sarajevo, 1977. S. 397–405. [Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. Knj. 34. (Odeljenje društvenih nauka. Knj. 6)].

244. Уз проблем словенских лексичких изоглоса. Српскохрватска лексика у општесловенском оквиру // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1977. Књ. 6, св. 1. С. 113–121. (*)

[пропуск] История литературы – история литературного языка (Некоторые общие проблемы и возможности синхронического исследования) // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур. Тэзісы дакладаў III Рэспубліканскай канферэнцыі 2–3 снежня 1977 г. Мінск, 1977. С. 282–284. (Выдавецтва БДУ).

245. О болгаро-русских изолексах. 2 // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Черновцы, 4–7 окт. 1976 г.). Тезисы докладов. М., 1977. С. 135–138. *

246. О возможности исследования Полесья как модели славянского этнолингвистического прасостояния // XIV Республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей. Київ, 1977. С. 11–13.

247. Памяти Татьяны Викторовны Назаровой // Slavia orientalis. Warszawa, 1977. R. 26, z. 2. S. 269–273. [В журн. ошибочно дано: Толстой Н. Л.] — Соавт. С. М. Толстая.

248. Рец.: Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф. Раевского, 40–80-е годы XIX века. М., 1975. // Вопросы истории. 1977, № 2. С. 167–170. — Соавт. Н. Д. Ратнер.

249. Рец.: *Э. В. Померанцева.* Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. // Советская этнография. 1977, № 1. С. 176–179.

250. Ред.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии / Чл. редкол. — Л.: Наука, 1977.

251. От редакции // Там же. С. 3–5. — Совм. с др.

252. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Античная балканистика и сравнительная грамматика / Чл. редкол. — М.: Наука, 1977.

253. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста / Чл. редкол. — М.: Наука, 1977.

1978

254. Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX века // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 269–328. **

255. Заметки по славянскому язычеству: 2. Вызывание дождя в Полесье // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978. С. 95–130. — Соавт. С. М. Толстая.

256. К реконструкции древнеславянской духовной культуры: (Лингво-этнографический аспект) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сент. 1978 г. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 364–385. — Соавт. С. М. Толстая.

257. О славянских названиях деревьев: *сосна — хвоя — бор* // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978. С. 115–127. *

258. О непоследовательности первой палатализации славянских задненёбных согласных [1] // Linguistica. Ljubljana, 1978. Knj. 17. S. 33–47. ***
259. О непоследовательности первой палатализации задненёбных согласных в славянских языках. 2 // Filologija. Zagreb, 1978. Br. 8. S. 355–361. ***
260. Труды В. В. Виноградова по истории русского литературного языка // *В. В. Виноградов.* Избранные труды. [Кн. 4]: История русского литературного языка. М., 1978. С. 1–9.
261. Комментарии // Там же. С. 298–311.
262. Ареальные аспекты изучения славянской духовной культуры // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Краткие сообщения. Л., 1978. С. 46–47. — Соавт. С. М. Толстая.
263. Некоторые балтийско-славянские параллели из области архаической духовной культуры // Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом», 11–15 дек. 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978. С. 134–135. — Соавт. С. М. Толстая.
264. О диалектологии славянской мифологии // Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. Тези доповідей. Ужгород, 1978. С. 188–190.
265. Uz problem rekonstrukcije stare slovenske duhovne kulture // VIII. Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Zagreb, 1978. T. 2. S. 894. — Co-aut. S. M. Tolstaya.
266. Памяти Мечислава Карася [Некролог] // Советское славяноведение. 1978, № 3. С. 127. — Соавт. Т. М. Судник.
267. Земля и люди: [О сезонных обрядах славян] // Курьер ЮНЕСКО. М., 1978. Сент.-окт. С. 13–17. — Соавт. А. В. Гура, О. А. Терновская.
268. [Интервью] *M. Tafra.* Tolstoj u Zagrebu // Večerni list. Zagreb. God. XXII, br. 5861. 2 i 3.IX. 1978. S. 7.
269. Рец.: *Л. П. Жуковская.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. // Вопросы языкознания. 1978, № 6. С. 130–135. — Соавт. Е. М. Верещагин.
270. Ред.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Краткие сообщения / Чл. редкол. — Л.: Наука, 1978.
271. Ред.: *В. В. Виноградов.* Избранные труды. [Кн. 4]. История русского литературного языка / Отв. ред. — М.: Наука, 1978.
272. Ред.: Конференция «Проблемы реконструкции» (Тезисы докладов) / Чл. редкол. — М.: АН СССР, 1978.

273. Ред.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сент. 1978 г. Доклады советской делегации / Чл. редкол. — М.: Наука, 1978.

1979

274. Литературный язык сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979. С. 154–197. **

275. Д. К. Зеленин — диалектолог // Проблемы славянской этнографии (К 100-летию со дня рождения члена-корр. АН СССР Д. К. Зеленина). Л., 1979. С. 70–83. — Соавт. С. М. Толстая. ***

276. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // Театральное пространство. Материалы научной конференции (1978). М., 1979. С. 308–326.

277. Этногенетический аспект исследования древней славянской духовной культуры // Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований. М., 1979. С. 17–26. ***

278. О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры (СДК) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 51–54. — Соавт. С. М. Толстая.

279. О жанре «обмирания» (посещения того света) // Там же. С. 63–65. — Соавт. С. М. Толстая.

280. Из блокнота диалектолога: 3. Контракция гласных в с. Горска Поляна, Елховско // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. К. Мирчев. София, 1979. С. 353–358. ***

281. Славянские языки // Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1979. Knj. 64. [Odeljenje društvenih nauka. Knj. 20.] S. 11–22.

282. Славянское языкознание // Русский язык (Энциклопедия). М., 1979. С. 300–301.

283. Один архаический тип обрядового славянского текста-диалога // Balcano-balto-slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М., 1979. С. 69.

284. К семантике и структуре сербских заклинаний градовой тучи // Там же. С. 70–75. — Соавт. С. М. Толстая.

285. Za semantiku leve i desne strane u njihovim odnosima sa drugim simboličkim elementima // Treći program. Beograd, 1979. Br. 42, № 3. S. 407–409. — Co-aut. S. M. Tolstaja.

286. Ред.: Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность / Чл. редкол. — М.: Наука, 1979.

1980

287. Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Диалектика развития языка». Тезисы докладов. М., 1980. С. 149–159. ***

288. Обзор ответов на анкету об ономастических ареалах // Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980. С. 169–179.

289. Атлас духовной культуры Полесья — лингвистический, фольклорный и этнографический аспекты // Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратурах і фальклоры: Тэзісы дакладаў II рэсп. навуковай канферэнцыі, 24–25 верасня 1980 г. Гомель, 1980. С. 16–18.

290. Рец.: *Г. С. Маслова.* Орнамент русской народной вышивки. М., 1978 // Наш современник. 1980, № 8. С. 190–191.

291. Рец.: *В. К. Соколова.* Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов, XIX — начало XX в. М., 1979 // Советская этнография. 1980, № 3. С. 172–175.

1981

292. Заметки по славянскому язычеству: 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах // Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. М., 1981. С. 44–120.— Соавт. С. М. Толстая.

293. Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Межвузовский тематический сборник. Калинин, 1981. С. 98–119.

294. И. И. Срезневский — диалектолог // Из истории славяноведения в России. [Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 573. Труды по русской и славянской филологии]. Тарту, 1981. С. 27–45. ***

295. Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (На материале сербскохорватского, болгарского и словенского языка) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981. С. 122–134.

296. Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // Известия АН СССР.

Серия литературы и языка. 1981. Т. 40, № 4. С. 312–323. — Соавт. Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. **

297. О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни // Потебнянські читання. Київ, 1981. С. 68–81. ***

298. Заметки по славянскому язычеству: 1. Вызывание дождя у колодца // Русский фольклор. 1981. [Т.] XXI. Поэтика русского фольклора. С. 87–98. — Соавт. С. М. Толстая.

299. Конкуренција и коегзистенција норми у књижевном језику XVIII века код Срба // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1981. Књ. 10. С. 33–40.

300. Dalla geografia delle parole slave: 'arcobaleno' // Quaderni di semantica. Bologna, 1981. An. II, n. 1. P. 55–98.

301. Вербальный текст как ключ к семантике обряда // Структура текста–81. Тезисы симпозиума. М., 1981. С. 46–47.

302. Сербское народно-поэтическое *о̏блāк* 'жених' // Там же. С. 170–171.

303. Мифология // Украинская советская энциклопедия. Киев, 1981. Т. 6. С. 510–511.

304. Ред.: *А. Д. Дуличенко.* Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития / Отв. ред. — Тарту: Валгус, 1981.

305. Ред.: Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. / Отв. ред. — М.: Наука, 1981.

306. [Предисловие] // Там же. С. 3–4. — Без подписи.

307. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии / Чл. редкол. — М.: Наука, 1981.

308. Ред.: Формирование раннефеодальных славянских народностей / Чл. редкол. — М.: Наука, 1981.

309. Ред.: *Г. А. Цыхун.* Типологические проблемы балкано-славянского языкового ареала / Отв. ред. Минск: Наука и техника, 1981.

1982

310. Заметки по славянскому язычеству. 3. Первый гром в Полесье; 4. Защита от града в Полесье // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 49–83. — Соавт. С. М. Толстая.

311. Из «грамматики» славянских обрядов // Типология культуры. Взаимное воздействие культур. [Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 576. (Труды по знаковым системам. Т. 15)]. Тарту, 1982. С. 57–71.

312. Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян // Развитие этнического самосо-

знания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 236–249. **

313. О курсе истории русского литературного языка академика В. В. Виноградова // *В. В. Виноградов.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. 3-е изд. М., 1982. С. 3–9.

314. Диалектология в этнолингвистической перспективе // Системные отношения в лексике севернорусских говоров. Вологда, 1982. С. 3–7.

315. Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику (У вези са развојем жанрова у старој српској књижевности) // Научни састанак слависта у Вукове дане. 1978. Београд, 1982. Књ. 8. С. 15–23. (**)

316. История литературы — история литературного языка (Некоторые общие проблемы и возможности синкретического исследования). [Резюме] // Там же. С. 24–25.

317. *Блаже — Макарий* // Македонски јазик, 1981–1982. Скопје, 1982. Год. 32–33. С. 677–687.

318. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1982. Т. 41, № 5. С. 397–405.

319. Мифологические аспекты древней славянской духовной культуры и последующей народной традиции // Международная научная конференция «Славянские культуры и мировой культурный процесс», Минск, 28 сент. — 1 окт. 1982 г. Тезисы докладов и сообщений. Минск, 1982. С. 49–51.

320. Украинский материал в Этнолингвистическом словаре славянских народных древностей (ЭССНД) // Лексика української мови в її зв'язках з сусідніми слов'янськими і неслов'янськими мовами. Тези доповідей. Ужгород, 1982. С. 26–27.

321. On the origin of calendar rites and rituals // Problems of the European ethnography and folklore. Summary by the congress participants. Moscow, 1982. P. 180–183.

322. Неколико напомена о словенској демонологији: 1. Откуда разни ђаволи // Расковник. Београд, 1982. Год. 9, бр. 31. С. 103–108.

323. О возможности применения понятия «семантический регистр» в ономастике // Onomastica Jugoslavica. Zagreb, 1982. Vol. 9. S. 137–144.

324. Славянское язычество как древнейшая форма славянской культуры // Узловые вопросы советского славяноведения. Тезисы докладов и сообщений IX всесоюзной научной конфе-

ренции историков-славистов (21–23 сент. 1982 г.). Ужгород, 1982. С. 254–255.

325. Международный конгресс этнографов. Суздаль, 30 сент. — 6 окт. 1982 г. // Информационный бюллетень МАИРСК. М., 1983. Вып. 9. С. 14–17.

326. Ред.: *В. В. Виноградов.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. 3-е изд. / Науч. ред. В. П. Вомперский, Н. И. Толстой. — М.: Высшая школа, 1982.

327. Ред.: *Л. Н. Виноградова.* Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования / Отв. ред. — М.: Наука, 1982.

328. От редактора // Там же. С. 3–4.

329. Ред.: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья / Чл. редкол. — М.: Наука, 1982.

1983

330. Принципы, задачи и возможности составления Этнолингвистического словаря славянских древностей // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов, Киев, сент. 1983 г. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 213–231. — Соавт. С. М. Толстая.

331. О задачах этнолингвистического изучения Полесья // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983. С. 3–21. — Соавт. С. М. Толстая. (*)

332. Этюды по семантике славянских географических терминов (*дрезга, рудина, раменье*) // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983. С. 112–133. *

333. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983. С. 181–190.

334. Полесье и его значение для славянской ареалогии // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 6–8.

335. Три обряда: литовск. *Kalãdė*, украинск. *Колодий*, сербск. *Бадњак* // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов II Балто-славянской конференции. Москва, 29 нояб. — 2 дек. 1983 г. М., 1983. С. 46–48.

336. Полесский этнолингвистический атлас // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. XV респ. діалектологічна нарада. Тези доповідей і повідомлень. Житомир, 1983. С. 27–28.

337. Ethnolinguistic dictionary of Slavic antiquities. Principles, tasks, possibilities // IX Международный съезд славистов. Киев, сент., 1983. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983. С. 37–38. — Co-aut: S. M. Tolstaya.
338. Ред.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Сборник научных трудов / Отв. ред. — Л.: Наука, 1983.
339. От редколлегии // Там же. С. 3–4. — Совм. с др.
340. Ред.: *Ф. Д. Клімчук.* Гаворкі Заходняга Палесся. Фанетычны нарыс. Мінск: Навука і тэхніка, 1983.
341. Ред.: Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования / Отв. ред. — М.: Наука, 1983.
342. Ред.: Полесье и этногенез славян: Предварительные материалы и тезисы конференции / Отв. ред. — М.: Наука, 1983.
343. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии / Чл. редкол. — М.: Наука, 1983.
344. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов / Чл. редкол. — М.: Наука, 1983.
345. Ред.: Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Киев, сент. 1983 г. Доклады советской делегации / Чл. редкол. — М.: Наука, 1983.
346. Ред.: Советское славяноведение. Указатель литературы о зарубежных славянских странах, 1978–1982 гг. / Отв. ред. — М.: ИНИОН АН СССР, 1983. Вып. 1–7. [К IX Международному съезду славистов].

1984

347. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-диалог // Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели. М., 1984. С. 5–72.
348. Десна — 'dextra'? // Вопросы русского языкознания. М., 1984. Вып. 5. С. 189–223. *
349. Српскохрватска дијалекатска лексикографија у лингвогеографској перспективи // Лексикографија и лексикологија. Зборник радова. Нови Сад – Београд, 1984. С. 181–190.
350. Принципы составления Этнолингвистического словаря славянских древностей // Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. М., 1984. С. 6–22. — Соавт. С. М. Толстая.
351. Диалог-ритуал // Там же. С. 123–129.
352. Курс «Введение в славянскую филологию» и его отношение к курсу «Старославянский язык» // Актуальные проблемы

изучения и преподавания старославянского языка. Материалы I научно-методического совещания-семинара преподавателей старославянского языка университетов, Москва, 16–18 окт. 1979 г. М., 1984. С. 34–43. ***

353. Иван — аист // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 115–118.

354. Суффиксальное словообразование сквозь призму семантического микрополя // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. Тезисы международного симпозиума (дек. 1984 г.). М., 1984. С. 67–70. *

355. Язык — культура — этнос — территория // III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания «Типы языковых общностей и методы их изучения». Тезисы. М., 1984. С. 144–147.

356. Слово в сакральном тексте (ритуале): сербск. *Весел(ица)* — *Рад(ован)* // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Москва, 21–26 мая 1984 г. Тезисы докладов. М., 1984. С. 96–97.

357. Сербская, хорватская и словенская литературы // История всемирной литературы. М., 1984. Т. 2. С. 389–393.

358. Возникновение письма у славян // Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). М., 1984. С. 53–55.

359. Николай Николаевич Дурново (1876–1937) // Там же. С. 60–61.

360. Славянская филология // Там же. С. 280.

361. Славянские языки // Там же. С. 280–282.

362. Основоположники славяноведения (славянской филологии) // Там же. С. 282–283.

363. Язык фольклора // Там же. С. 343–346.

364. Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры. Вопросник и ответы на вопросы // Советская этнография. 1984, № 3. С. 52; № 4. С. 74–79. — Соавт. С. М. Толстая.

365. Ред.: *Р. Бошкович.* Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование / Общ. ред. — М.: Высшая школа, 1984.

366. Предисловие // Там же. С. 3–14. ***

367. Ред.: Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели / Отв. ред. — М.: Наука, 1984.

368. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте / Чл. редкол. — М.: Наука, 1984.

369. Ред.: Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы / Отв. ред. — М.: Наука, 1984.

370. Ред.: Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / Чл. редкол. — М.: Педагогика, 1984.

1985

371. Славянские литературные языки и их отношение к другим языковым идиомам (стратам): опыт сравнительного рассмотрения // Функциональная стратификация языка. М., 1985. С. 9–24.

372. Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д. П. Джуровича 1913 г. // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1984–1985. Т. 27–28. [Посвећено академицима М. Ивић и П. Ивићу поводом 60-годишњице живота.] С. 789–799. ***

373. Об одном раннем опыте картографирования праславянских диалектов (Карта Д. П. Джуровича 1913 г.) // История русского литературного языка и стилистика. Калинин, 1985. С. 5–17.

374. Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда название *шуликун*? // Восточные славяне. Языки, история, культура. К 85-летию акад. В. И. Борковского. М., 1985. С. 278–286.

375. Русские *ЧУР* и *ЧУШЬ* // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. The Hague, 1985. Vol. 31–32. P. 431–437.

376. Роль язычества в славянской культурной традиции // Славянские культуры и мировой культурный процесс. Материалы международной научной конференции ЮНЕСКО. Минск, 1985. С. 30–34.

377. К вопросу о жанровой структуре древнесербской литературы // Западноевропейская средневековая словесность. М., 1985. С. 19–22.

378. Виктор Владимирович Виноградов, 1895–1969 (К 90-летию со дня рождения) // Русская речь. 1985, № 1. С. 64–69. — Соавт. В. П. Вомперский.

379. Академик Виктор Владимирович Виноградов (К 90-летию со дня рождения) // Русский язык в национальной школе. 1985, № 1. С. 17–19.

380. Глаза и зрение покойников в славянских народных представлениях // Погребальный обряд. Конференция «Балто-славянские этнокультурные и археологические древности». Тезисы докладов. М., 1985. С. 83–86.

381. Рудименты форм древней духовной культуры в Полесье и их общеславянское значение // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения. Тезисы докладов и сообщений III республиканской конференции. Гомель, 1985. Ч. 2. С. 147–149.

382. О Полесском этнолингвистическом атласе // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы V конференции на тему «Проблемы атласной картографии». Уфа, 1985. С. 165–167.

383. К проблеме кавказско-славянских соответствий в области духовной культуры // Русский язык как средство интернационального воспитания учащейся молодежи. Тезисы докладов всесоюзной межвузовской научно-методической конференции (15–17 окт. 1985 г.). Орджоникидзе, 1985. С. 71–72.

384. Забелешке из словенског паганства. [1]. Заштита од града у Драгачеву и другим српским зонама // Повеља. Краљево, 1985. Год. 15, бр. 1. С. 6–17. — Соавт. С. М. Толстаја.

385. Забелешке из словенског паганства. 2. «Угошћавање» облака и «облаководитеља» (трпеза, хлеб и со, «чесница», тамјан, хлебна лопата, запаљена свећа и др.) // Повеља. Краљево, 1985. Год. 15, бр. 2/3. С. 3–12. — Соавт. С. М. Толстаја.

386. Language in the framework of ethnolinguistics // Social Sciences. Moscow, 1985. Vol. 4. P. 131–143.

387. Рец.: Ценное издание древнесербской псалтыри [О глаголической Синайской псалтыри XI в.] // Советское славяноведение. 1985, № 1. С. 105–106.

388. Рец.: Čakavisch-deutsches Lexicon. Köln, Wien, 1979. T. 1; 1981. T. 2; 1983. T. 3. Čakavische Texte // Вопросы языкознания. 1985, № 5. С. 121–123.

389. Рец.: *G. Gesemann.* Gesammelte Abhandlungen. 1981. Bd. 1; 1983. Bd. 2// Советское славяноведение. 1985, № 2. С. 108–110.

390. Рец.: Књига особите вриједности [*Р. Бошкович.* Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984.] // Овдје. Титоград, 1985. Мај. Год. XVII, бр. 192. С. 18–19.

391. Ред.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы V конференции на тему «Проблемы атласной картографии», Уфа, 28–30 янв. / Чл. редкол. — Уфа: Башкир. фил. АН СССР, 1985.

392. Ред.: Этногенез, ранняя этническая история и культура славян / Отв. ред. — М.: Наука, 1985.

393. Предисловие // Там же. С. 3–4.

394. Ред.: Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения. Тезисы докладов и сообщений III республиканской конференции / Отв. ред. — Гомель, 1985. Часть I–II. — Совм. с др.

1986

395. Духовная жизнь европейского крестьянства. Южнославянское крестьянство // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. Т. 3. С. 524–530.
396. Материалы к Полесскому этнолингвистическому атласу (Опыт картографирования) // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 3–8. — Соавт. С. М. Толстая.
397. Троицкая зелень // Там же. С. 14–18.
398. Невестка стала в поле тополем («тополей») // Там же. С. 39–44.
399. Из наблюдений над полесскими заговорами // Там же. С. 135–143.
400. Итоги и проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров по языкознанию в 1981–1985 гг. // Вопросы языкознания. 1986, № 5. С. 3–13. — Совм. с др.
401. Ред.: Зарубежная историография славяноведения и балканистики / Чл. редкол. — М.: Наука, 1986.
402. Ред.: Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970–1980 гг.). Итоги и перспективы. (Сборник обзоров) / Чл. редкол. — М.: ИНИОН АН СССР, 1986.
403. Ред.: Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне / Отв. ред. — М.: Наука, 1986.

1987

404. Становление хорватской литературы и литературный регионализм в XVI–XVIII вв. // Славянские литературы в процессе становления и развития (От древности до середины XIX века). М., 1987. С. 174–206. **
405. Вопросы культуры речи в трудах русских лингвистов 20-х годов // Развитие языковой жизни стран социалистического содружества. Praha, 1987. Т. 2. С. 507–523. **
406. О природе связей бинарных противопоставлений типа *правый–левый*, *мужской–женский* // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 169–183.
407. Из наблюдений над способом номинации в гидронимии («Семантический регистр» в аппелятивной и гидронимиче-

ской лексике) // Русский язык. Языковые значения в функциональном и эстетическом аспектах. [Виноградовские чтения. XIV–XV]. М., 1987. С. 23–32. *

408. О непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках. III // Slawistyczne studia językoznawcze. Wrocław etc., 1987. S. 407–410. ***

409. Из славянских этнокультурных древностей/ 1. Оползание и опоясывание храма // Символ в системе культуры. [Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 754 (Труды по знаковым системам. Т. 21)]. Тарту, 1987. С. 57–77.

410. Роль язычества в славянской культурной традиции // Изучение культур славянских народов. М., 1987. С. 21–25.

411. Из географии славянских слов. 9. *Полено* // Л. А. Булаховский и современное языкознание. К 100-летию со дня рождения. Киев, 1987. С. 230–234. *

412. Вопросы палеографии и кодикологии в трудах академика Д. С. Лихачева (К 80-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник... за 1986 год. М., 1987. С. 143–147. — Соавт. О. А. Князевская.

413. Христианизация как фактор усложнения структуры древнеславянской духовной культуры // Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси (Сборник тезисов). М., 1987. С. 50–53.

414. Реконструкция древней славянской духовной культуры (Основные проблемы, возможности и ограничения) // Материалы Всесоюзной конференции «Теория лингвистической реконструкции» (Москва, 12–14 окт. 1987 г.). М., 1987. С. 54–57.

415. Несколько вступительных слов о символике и языке поэмы [Н. Клюева «Погорельщина»] // Новый мир. 1987, № 7. С. 78–81.

416. Словарь-комментарий // Там же. С. 97–100.

417. Рец.: Памятники рукописной книжности [Сводный каталог славянорусских рукописей, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. М., 1985.] // Вестник АН СССР. М., 1987, № 2. С. 128–131.

418. «Толстой нам је одузео славу» [Беседа] // Илустрована Политика. Београд, 1987. Бр. 1508. С. 27.

419. Ред.: Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. Сборник тезисов / Отв. ред. — М.: Наука, 1987.

420. Ред.: Литературный текст. Проблемы и методы исследования. Межвузовский тематический сборник научных трудов / Отв. ред. — Калинин, 1987.

421. Ред.: *Н. С. Трубецкой.* Избранные труды по филологии / Под общ. ред. Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова, В. П. Нерознака и Н. И. Толстого. М.: Прогресс, 1987. [Серия «Языковеды мира»].

422. Послесловие // Там же. С. 492–519. — Соавт. Вяч. Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе.

1988

423. История и структура славянских литературных языков / Отв. ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1988. — 239 с.

424. Народная этимология и структура славянского ритуального текста // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сент. 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 250–264. — Соавт. С. М. Толстая.

425. Этнографический комментарий к древним славяно-русским текстам. 1. *сеть* (*мрежа*) // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 122–129.

426. Славянская фразеология sub specie этнографии // Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. Wrocław etc., 1988. T. 4. S. 15–25.

427. Из истории отечественного языкознания времен Отечественной войны 1941–1945 гг. (Доклад проф. Б. А. Ларина о Парижском словаре по разговорным диалектам Московской Руси XVI века, прочитанный 6 июня 1944 г. в Москве) // Славянская филология. Л., 1988. Вып. 6. С. 191–200.

428. Близнецы (Из Этнолингвистического словаря славянских древностей) // Русская речь. 1988, № 4. С. 107–110.

429. «Покаяние земле» (Этнолингвистическая заметка) // Русская речь. 1988, № 5. С. 132–139.

430. Заклинания, связанные с институтом побратимов и «одномесячников» // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Т. 1. С. 85–88.

431. Проклятия при предании анафеме у сербов // Там же. С. 115–117.

432. Переворачивание предметов в славянских народных ритуалах // Семиотика культуры. Тезисы докладов всесоюзной школы-семинара по семиотике культуры, 8–18 сент. 1988 г. Архангельск, 1988. С. 19–22.

433. Некоторые соображения о картографировании славянского фольклора // Фольклор. Проблемы сохранения, изучения, пропаганды. Всесоюзная научно-практическая конференция, 25–28 апр. 1988 г. Тезисы. М., 1988. Ч. 1. С. 188–190.

434. Paganism in the Slavic cultural heritage // Studies of the Slavic peoples' cultures. Moscow, 1988. P. 16–22.

435. Программы педагогических институтов. Фольклорная практика. Для специальности № 2101 «Русский язык и литература». М.: Просвещение, 1988. — 109 с. — Совм. с др.

436. [О значении фразеологических исследований в современной лингвистике. Доклад на IV Международном симпозиуме в рамках заседания Международной комиссии по проблемам славянской фразеологии при Международном комитете славистов, Москва, сент. 1987 г. Краткое изложение] // Вопросы языкознания. 1988, № 6. С. 150.

437. [1000-летие христианизации Руси. Выступление за Круглым столом] // Советское славяноведение. 1988, № 6. С. 56.

438. [О Кирилле и Мефодии. Доклад на Днях письменности и культуры. Новгород, 24–28 мая 1988 г. Краткое изложение] // Там же. С. 119.

439. [Литературно-языковые концепции у славян в XVIII–XIX вв. Доклад на советско-американском симпозиуме, Москва, нояб. 1987 г. Краткое изложение] // Там же. С. 122.

440. [Судьба аллилуйи в славянской народной традиции. Доклад на конференции, посвященной 1000-летию крещения Руси. Краткое изложение] // Вестник МГУ. Серия 9, Филология. 1988, № 6. С. 61–62.

441. Крещение Руси и русская культура // Новое время. 1988, № 24. С. 24–25.

442. [О христианизации как факторе усложнения структуры древнеславянской духовной культуры. Выступление на Научной конференции, посвященной 1000-летию принятия христианства в Древней Руси, 4–6 марта 1987 г. Краткое изложение] // История СССР. 1988, № 6. С. 196.

443. [Крещение Руси. Возникновение новой системы духовных представлений и ценностей. Доклад на конференции «Тысячелетие крещения Руси и проблемы развития культуры». Краткое изложение] // Общественные науки. 1988, № 6. С. 224.

444. Невидимый миру пожар (О судьбе наших библиотек и архивов) // Известия. 1988. 13 апр. (Московский вечерний выпуск). — Совм. с др.

445. Семейните предания // Народна култура. София, 1988. 16 септ. С. 7.

446. Славистите са единно семейство. Беседа // АБВ. София, 1988. 16 септ. С. 1, 12.

447. Славяните и светът // Литературен фронт. София, 1988. 22 септ. С. 7.
448. [Интервью] // Советская культура. 1988, 28 мая. С. 12.
449. [Интервью] Да пазим традицията // Пиринско дело. 20 септември 1988. [Пирин.] С. 4.
450. Рец.: *К. В. Чистов.* Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 1986. // Советская этнография. 1988, № 4. С. 150–154.
451. Ред.: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов, София, сент. 1988 г. Доклады советской делегации / Отв. ред. — М.: Наука, 1988.
452. Ред.: *В. П. Вомперский.* Риторики в России XVII–XVIII вв. / Отв. ред. — М.: Наука, 1988.
453. Ред.: Проблемы славянского литературоведения в СССР, 1983–1987 гг. (К X Международному съезду славистов, София, сент. 1988 г. Сборник обзоров) / Чл. редкол. — М.: ИНИОН АН СССР, 1988.
454. От редакции // Там же. С. 5–7. — Совм. с др.
455. Ред.: Проблемы славянского языкознания в СССР, 1983–1987 гг. (К X Междунар. съезду славистов, София, сент. 1988 г. Сборник обзоров) / Чл. редкол. — М.: ИНИОН АН СССР, 1988.
456. Ред.: Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. / Чл. редкол. — М., 1988. Ч. 1–2.
457. Ред.: Программы педагогических институтов. Фольклорная практика. Для специальности № 2101 «Русский язык и литература» / Отв. ред. — М.: Просвещение, 1988. — Совм. с др.

1989

458. Некоторые соображения о реконструкции славянской духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы. М., 1989. С. 7–22.
459. Древнеславянский литературный язык в XII–XIV вв. (Его функции и специфика) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 14–24. **
460. Этническое и культурное самосознание сербов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII–XIV вв. // Там же. С. 117–129. **

461. Этническое и культурное самосознание хорватов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII–XIV вв. // Там же. С. 152–164. **

462. Крещение Руси и русская культура // Крещение Руси. История и современность. (Сборник статей из периодической печати 1986–1988 гг.). М., 1989. С. 178–184.

463. Мифология имени собственного // Всесоюзная научно-практическая конференция «Исторические названия — памятники культуры», 17–20 апр. 1989 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 1989. С. 84–85.

464. [Выступление на годичном Общем собрании Отделения литературы и языка АН СССР. Краткое изложение] // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1989. Т. 48. № 5. С. 476.

465. «Глаголь добро!» [О создании Фонда славянской письменности и культуры] // Слово. М., 1989. № 12. С. 3–5.

466. [О православном кафедральном Петропавловском соборе, памятнике архитектуры начала XX века] // Огонек. 1989, № 35. С. 4–5. [Слово читателя]. — Совм. с др.

467. Аз, Буки, Веди... [О празднике славянской письменности и культуры, Киев, 1989 г. Беседа] // Юный художник. М., 1989. № 35. С. 24–25.

468. Homage to visual anthropology // CVA Review: Bulletin d'information. [by Commission on visual anthropology.] Montreal, 1989. P. 3–4.

469. [О создании Фонда славянской письменности и культуры] // Литературная Россия. 1989. 17 марта. С. 4.

470. Деревня: моя боль и надежда. Беседа // Сельская жизнь. 1989. 16 мая.

471. Српска култура као своја. Беседа // Политика. Београд, 1989. 23 септ. С. 14–15.

472. [Об экологической опасности. Обращение к Съезду народных депутатов СССР] // Литературная газета. 1989. 24 мая. С. 12. — Совм. с др.

473. Под знаком Кирилла и Мефодия. Всесоюзный праздник славянской письменности и культуры // Литературная Россия. 1989. 2 июня. С. 4.

474. Вернуть верующим! [О судьбе Петропавловского собора в Гомеле] // Советская культура. 1989. 26 авг. С. 4. — Совм. с др.

475. Голям интерес към славянската култура. Беседа // Работническо дело. София, 1989. 23 май. С. 1, 5.

476. Предисловие к публикации: *В. В. Виноградов.* Из истории слов // Вопросы языкознания. 1989, № 4. С. 98–99.
477. Предисловие и публикация: *П. А. Флоренский.* Троице-Сергиева Лавра и Россия // Советское славяноведение. 1989, № 4. С. 95–96.
478. Ред.: *Н. А. Баскаков, Ник. А. Баскаков.* Академик Ф. Е. Корш в письмах современников (К истории русской филологической науки) / Отв. ред. — М.: Наука, 1989.
479. Ред.: Всесоюзная научно-практическая конференция «Исторические названия — памятники культуры», 17–20 апр. 1989 г. Тезисы докладов и сообщений / Чл. редкол. — М.: Наука, 1989.
480. Ред.: Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США / Чл. редкол. — М.: Наука, 1989.
481. Ред.: Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы / Отв. ред. — М.: Наука, 1989.
482. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Просодия / Чл. редкол. — М.: Наука, 1989.

1990

483. К реконструкции семантики и функции некоторых славянских изобразительных и словесных символов и мотивов // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990. С. 47–67.
484. Два иностранных свидетельства о славянах, русских, о церковнославянском и русском языке // Язык: система и подсистемы. К 70-летию М. В. Панова. М., 1990. С. 265–280. **
485. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 119–128.
486. Язык и культура (Некоторые проблемы славянской этнолингвистики) // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 1990. Bd. 50. Hf. 2. S. 238–253.
487. Несколько размышлений о славянских литературных языках, литературно-языковых ситуациях и концепциях // Славянские и балканские культуры XVIII–XIX вв. Советско-американский симпозиум. М., 1990. С. 29–36. **
488. Новый славянский литературный микроязык? // Res philologica. Филологические исследования. Памяти акад. Г. В. Степанова (1919–1986). М.–Л., 1990. С. 265–272. **

489. Славянская легенда об угодной, но неправильной молитве // Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. Roma, 1990. P. 883–889.
490. Језичка ситуација у западним деловима источног и јужног Словенства у XVII веку (Покушај упоредног разматрања) // Књижевни језик. Сарајево, 1990. Год. 19, бр. 4. С. 161–167. (**)
491. К вопросу об историографическом слоге сербского («славено-сербского») литературного языка (Савва Владиславич — Иоанн Раич — Милован Видакович) // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1990. № 33. С. 479–486. **
492. Славистика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 458–459.
493. Словенский язык // Там же. С. 464.
494. Старославянский язык // Там же. С. 491–492.
495. Двоедушник // Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1990. С. 177.
496. Дворовой // Там же. С. 177.
497. Здухач // Там же. С. 217–218.
498. Караконджалы // Там же. С. 273.
499. Коровья Смерть // Там же. С. 291–292.
500. Лихорадки // Там же. С. 314.
501. Овинник // Там же. С. 401–402.
502. Полевик // Там же. С. 437.
503. Суденицы // Там же. С. 503–504.
504. Хала // Там же. С. 566.
505. Шуликуны // Там же. С. 609.
506. Южнославянские *тодорица / тодоровден*. Обряд, его структура и география // Балканские чтения–1. Симпозиум по структуре текста. Тезисы и материалы. М., 1990. С. 101–109.
507. [Предисловие к публикации: *Н. С. Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре] // Вопросы языкознания. 1990, № 2. С. 121–122.
508. [Предисловие] // *З. Н. Волкова*. Русский эпос (Учебное пособие по аналитическому чтению). М., 1990. С. 3.
509. Отаџбина Русија — завичај Србија // Политика-експрес. Београд, 1990. 2 јули. С. 14.
510. Что останется после «грозы». Беседа // Согласие. Вильнюс, 1990. 10–16 сент. С. 5–6.

511. A relic of war and peace // The Statesman. Calcutta, 1990. 21 Febr. P. 12.
512. Ред.: *В. В. Виноградов.* Избранные труды. [Т. 6]. Язык и стиль русских писателей (От Карамзина до Гоголя) / Чл. редкол. — М.: Наука, 1990.
513. Ред.: Основы балканского языкознания. Языки Балканского региона / Чл. редкол. — Л.: Наука, 1990. Ч. 1.
514. Ред.: *Н. С. Поспелов.* Мысли о русской грамматике (Избранные труды) / Отв. ред. — М.: Наука, 1990.
515. Ред.: Res philologica. Филологические исследования. Памяти акад. Г. В. Степанова (1919–1986) / Чл. редкол. — М.; Л: Наука, 1990.
516. От редколлегии // Там же. С. 3. — Совм. с др.

1991

517. Мифологизация грамматического рода в славянских народных верованиях // Историческая лингвистика и типология. М., 1991. С. 91–98.
518. Язык и культура (Некоторые проблемы славянской этнолингвистики) // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Всесоюзная научная конференция, Москва, 20–23 мая 1991 г. Доклады. М., 1991. Ч. 1. С. 5–22.
519. 60 лет служения славистике [С. Б. Бернштейн] // Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. (С. Б. Бернштейну к 80-летию). М., 1991. С. 19–26.
520. «Соленый болгарин» // Там же. С. 100–108.
521. О језичким реликтима старог словенског становништва у Албанији // Становништво словенског порије́кла у Албанији. (Зборник радова са Међународног научног скупа одржаног у Цетињу 21–23 јуна 1990). Титоград, 1991. С. 607–609.
522. Двоедушник // Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. [2-е изд.] М., 1991. С. 177.
523. Дворовой // Там же. С. 177–178.
524. Здухач // Там же. С. 220.
525. Караконджалы // Там же. С. 277.
526. Коровья Смерть // Там же. С. 296.
527. Лихорадки // Там же. С. 319.
528. Овинник // Там же. С. 409.
529. Полевик // Там же. С. 445.
530. Суденицы // Там же. С. 514.
531. Хала // Там же. С. 581.

532. Шуликуны // Там же. С. 626.

533. Il battesimo della Rus' la naseita di un nuovo sistema di idee e di valori spirituali // Il battesimo delle Terre Russe bilancio di un millennio: (a cura di Sante Graciotti). Firenze, 1991.

534. Сарматизм. Миф — история — национальное самосознание — культура // История и культура. Тезисы. М., 1991. С. 66–71.

535. Возникновение письма у славян // Слово о русском языке. Книга для чтения для студентов-филологов. Иностранцам о русском языке. М., 1991. С. 55–59.

536. Проспект I тома. Древность. Раннее средневековье // Очерки истории культуры славян. Проспект восьмитомного международного издания под эгидой ЮНЕСКО. М., 1991. С. 5–21. — Соавт. А. Рогов, В. Седов, Б. Флоря, В. Янин.

537. [Выступление] // X Международен конгрес на славистите, София, 14–22 септ. 1988 г. Науч.-информ. материали. София, 1991. С. 78–79.

538. Несколько слов о новой серии и книге Г. П. Федотова «Стихи духовные» // *Г. П. Федотов.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 5–9.

539. [Јубилеј — 65. рођендан. 15 септ. 1988 г. Беседа] // М. Јевтић. Са светским славистима. Горњи Милановац, 1991. С. 159–180.

540. Правды и красоты ради [О наследии художника Ю. И. Селиверстова] // Воскресенье. М., 1991. № 1. С. 49–52.

541. Предисловие // *К. А. Охомуш, А. Т. Сизько.* Архаічні елементи народної духовної культури степової України. Дніпропетровськ, 1991. С. 3–4.

542. Ред.: Историческая лингвистика и типология / Чл. редкол. — М.: Наука, 1991.

543. Ред.: *О. Н. Трубачев.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования / Отв. ред. М.: Наука, 1991.

1992

544. Южнославянские *вучари*. Обряд, его структура и география // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения–1. М., 1992. С. 46–57.

545. Вопросы культуры речи в трудах русских лингвистов 20-х годов // Język rosyjski epoki radzieckiej. Warszawa, 1992. S. 19–28.

546. Жизни магический круг // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 130–141. — Соавт. С. М. Толстая.

547. Mechovitiana I-II [О польском историке начала XVI в. Матвее Меховском] // Studia polonica. К 60-летию В. А. Хорева. М., 1992. С. 5–15.

548. Взгляды А. Н. Пыпина на историю русского литературного языка (Страничка из истории русской лингвистики) // Russian philology and history. In honour of prof. V. Levin. Jerusalem, 1992. P. 156–169. **

549. Язычество и христианство Древней Руси // The legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Thessaloniki, 1992. P. 341–348. **

550. Język a kultura (niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki) // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1992. T. 5. S. 15–25.

551. Южнославянские *вучари* — обходы с убитым волком // Балканские чтения–2. Симпозиум по структуре текста. М., 1992. С. 64–66.

552. К выходу в свет новых уроков по церковнославянскому языку // Славяноведение. 1992, № 3. С. 72–75.

553. Российское зарубежье в контексте мировой культуры // Первый конгресс соотечественников (19–31 авг. 1991 г.). Научно-информационные материалы. М., 1992. С. 50–56. — Соавт. О. Н. Михайлов, А. В. Лупырев.

554. Direccion etnolinguistica en la eslavistica moderna (Этнолингвистическое направление в современной славистике) // Jornadas andaluzas de eslavistica. Andalucia, 1992. № 1. P. 122–123.

1993

555. Заметки по славянской демонологии. 4. *Чемер* 'злой дух, черт' // Вопросы теории и истории языка. Сборник статей к 100-летию со дня рождения Б. А. Ларина. СПб., 1993. С. 124–130.

556. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика славянского **vesel-*) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 162–186. — Соавт. С. М. Толстая.

557. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. **vesel-*) // XI medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993. S. 101–102. — Соавт. С. М. Толстая.

558. Пчелиные песни в сербской и македонской народной традиции // Русский фольклор. Т. XXVII. Межэтнические фольклорные связи. СПб., 1993. С. 59–72.

559. Еще раз о славянском ритуальном диалоге // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993. С. 82–110.

560. Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г. А. Хабургаева. М., 1993. С. 4–12.

561. Этническое самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» // Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin, 1993. S. 67–75, 79–81.

562. Несколько вступительных слов // Н. С. Трубецкой и современная филология. М., 1993. С. 5–13.

563. Некоторые проблемы и задачи изучения истории славянских литературных языков // Историко-культурные и социолингвистические аспекты изучения славянских литературных языков эпохи национального возрождения. Тезисы докладов международной конференции. Ноябрь 1993 г. М., 1993. С. 66–69.

564. Культура и дух церковнославянского слова // Русская словесность. 1993, № 2. С. 28–31.

565. Некоторые соображения о реконструкции древней славянской духовной культуры [отрывки] // Mitologia Slava. I Studi sulla mitologia dei popoli slavi. Antologia / Prefazione a dura di N.Mikhailov. Pisa, 1993. P. 155–160.

566. Символика и ритуальные функции горшка у славян // Конференция «Истоки русской культуры (археология и лингвистика)». Тезисы докладов. М., 1993. С. 69.

567. [Фрагмент выступления на открытии XI Международного съезда славистов в Братиславе] // Správy a informácie. XI Medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 1993. № 3. Bratislava, 1993. S. 2.

568. [Интервью] // // Správy a informácie. XI Medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 1993. № 3. Bratislava, 1993. S. 2.

569. [Интервью] // [Газета] Práca. 6 septembra 1993. [Bratislava]. S. 7.

570. [Интервью] «Науката, църквата и армията трябва да бъдат аполитични» // Труд. 20 октомври 1993 г. София. Год. XLVIII, брой 245 (14124). С. 1, 4.

571. [Интервью] «Дойдох пак в България, защото обичам тази земя» // Земя. 20 октомври 1993 г. Год. IV, брой 205 (822). С. 1–2. [София].
572. [Интервью] «Я воевал с немцами совершенно сознательно»// Новости недели. 8 июля 1993 г. С. 19. [Иерусалим].
573. [Интервью] *А. Мостославский.* Подарок Никиты Толстого // День седьмой. Приложение к газете «Новости недели». 27 августа 1993 г. [Иерусалим].
574. [Интервью] Еще один подарок // Новости недели. 23 октября 1993 г. [Иерусалим].
575. Ред.: Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации / Отв. ред. — М., 1993.
576. Ред.: Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов / Чл. редкол. — М., 1993.

1994

577. Vita herbae et vita rei в славянской народной традиции // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 139–168, 263–266.
578. Еще раз о теме «тучи — говяда — дождь — молоко» // Там же. С. 3–16.
579. О вторичной функции обрядового символа (на материале славянской народной традиции) // Историко-этнографические исследования по фольклору. Сборник статей памяти С. А. Токарева. М., 1994. С. 238–255. — соавт. С. М. Толстая.
580. Тема библейского происхождения славян у славянских хронистов XII–XVII веков // Jews and Slavs. Vol. 2. The Bible in a Thousand Years in Russian Literature. Jerusalem, 1994. P. 91–99.
581. Южнослав. *Црна земльа, черна земя* и *бели бог, бел бог* в символико-мифологической перспективе // Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994. С. 22–32.
582. Истоки евразийства // Евразийская перспектива. М., 1994. С. 134–140.
583. Славянские народные толкования снов и их мифологическая основа // Сон — семиотическое окно. XXVI Випперовские чтения. М., 1994. С. 89–95.
584. Труды Д. К. Зеленина по духовной культуре // *Д. К. Зеленин.* Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994. С. 9–25.

585. Петр Григорьевич Богатырев и Роман Осипович Якобсон // Живая Старина. 1994, № 1. С. 10–13.

586. Мифологическое в славянской народной поэзии. 1. Между двумя соснами (елями) // Живая старина. 1994, № 2. С. 18–19.

587. Мифологическое в славянской народной поэзии: Между двумя соснами (елями) // Књижевна историја. Београд, 1994. Књ. XXVI/92. С. 5–13.

588. «...выходила потаскуха в чем мать родила» // Живая старина. 1994, № 4. С. 6–7.

589. Из словаря «Славянские древности»: Бердо // Славяноведение. 1994, № 2. С. 5–7. — Соавт. М. Р. Павлова.

590. Из словаря «Славянские древности»: Веретено // Там же. С. 13–15. — Соавт. М. Р. Павлова.

591. Из словаря «Славянские древности»: Гвоздь // Там же. С. 22–23.

592. Из словаря «Славянские древности»: Амулет // Там же. С. 27–28.

593. Из словаря «Славянские древности»: Вербное воскресенье // Славяноведение. 1994, № 3. С. 12–15.

594. Из словаря «Славянские древности»: Варварин день // Там же. С. 26–30.

595. Из словаря «Славянские древности»: Вол // Славяноведение. 1994, № 5. С. 52–55.

596. Толкование снов: беглый взгляд с филологической и этнографической точек зрения // Наука в России. 1994, № 3, май–июнь. [Москва]. С. 33–37.

[То же на англ. яз.:] Interpretation of Dreams: Brief Survey of Philological and Ethnographic Aspects // Science in Russia. 1994. No. 3, May-June. P. 33–37.

597. Язык — словесность — культура — самосознание // Русский язык и литература в современном диалоге культур [VIII Международный конгресс МАПРЯЛ. Регенсбург / Германия. 22–26 августа 1994 г.]. Тезисы докладов. Регенсбург, 1994. С. 3–4.

598. «Останавливающие» имена и их магические функции // Балканские чтения. 3. Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994. С. 74.

599. Некоторые формы обрядового хождения // Там же. С. 75.

600. Просветитель земли белорусской // Великою ласкою. Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 5–9.
601. К читателям «Живой Старины» // Живая Старина. 1994, № 1. С. 2–3.
602. [Интервью] *З. Зоћевић.* Рат и мир Толстојевих // Чачански глас. [Чачак], 29. април 1994 г. С. 5.
603. [Интервью] *З. Зоћевић.* Српски Толстојеви // Чачански глас. [Чачак], 13. мај 1994 г. С. 5.
604. [Интервью] *Ј. М. Галић.* Гроф Толстој, родно место Вршац // Политика. Београд, 30. октобар 1994 г. С. 11.
605. Ред.: *Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов.* «Дело славистов»: 30-е годы / Отв. ред. — М., 1994.

1995

606. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Составитель С. М. Толстая, отв. ред. А. Ф. Журавлев. М.: «Индрик», 1995. — 510 с.
607. Језик словенске културе / Перевод с рус. Љ. Јоксимовић, составление и послесловие др. Љ. Раденковић. Ниш: «Просвета», 1995. — 365 с.
608. Магические обряды и верования, связанные с южнославянскими «одномесячниками» и «однодневниками» // Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. М., 1995. С. 144–165.
609. Этнокультурное и лингвистическое изучение Полесья (1984–1994) // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995. С. 5–18.
610. Несколько болгарско-русских лексических соответствий // Dialectologia slavica. Сборник статей к 85-летию С. Б. Бернштейна. М., 1995. С. 36–39.
611. Н. С. Трубецкой и евразийство // *Н. С. Трубецкой.* История. Культура. Язык. М., 1995. С. 5–28.
612. La notion de frontière // La revue russe. Paris, 1995. № 8. P. 43–49.
613. Русское юродство как форма святости // Folklor — sacrum — religia. Lublin, 1995. S. 32–37.
614. Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации (Опыт предварительной оценки) // Ricerche slavistiche. Roma, 1995. Vol. XLII. P. 89–102.
615. Тема библейского происхождения славян у славянских хронистов XII–XVIII вв. // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1995, № 2. С. 5–12.

616. «Очерки русской мифологии» Д. К. Зеленина и развитие русской мифологической науки // *Д. К. Зеленин.* Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 10–27.
617. Язык — словесность — культура — самосознание // Facta universitatis. Series linguistics and literature. Niš, 1995. Vol. 1, № 2. P. 71–80.
618. Језик — књижевност — култура — самосвест // Теме. Часопис за друштвену теорију и праксу. Ниш, 1995. Год. XVIII, бр. 1–4. С. 7–16.
619. Секрет Колобка // Живая Старина. 1995, № 3. С. 41–42.
620. Бадняк // Живая Старина. 1995, № 4. С. 10.
621. О словаре «Славянские древности» // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1. А–Г. М., 1995. С. 5–14. — Соавт. С. М. Толстая.
622. Ад // Там же. С. 93–94. — Соавт. И. А. Морозов.
623. Алконост // Там же. С. 100.
624. Аллилуйя // Там же. С. 100–102.
625. Алфавит // Там же. С. 102–103.
626. Аминь // Там же. С. 105.
627. Амулет // Там же. С. 105–106.
628. Анафема // Там же. С. 106–107.
629. Ангел // Там же. С. 107–109.
630. Апокрифы // Там же. С. 113–115.
631. Астрономия народная // Там же. С. 117–119. — соавт. Э. Г. Азимов.
632. Баба // Там же. С. 122–123. — Соавт. О. А. Терновская.
633. Бадняк // Там же. С. 127–131.
634. Белый Бог // Там же. С. 151.
635. Белый цвет // Там же. С. 151–154.
636. Бердо // Там же. С. 154–155. — Соавт. М. Р. Павлова.
637. Берегини // Там же. С. 155–156.
638. Бить, битье // Там же. С. 177–180. — Соавт. И. А. Морозов.
639. Благовещение // Там же. С. 182–188. — Соавт. С. М. Толстая.
640. Близнецы // Там же. С. 191–193.
641. Бог // Там же. С. 202–203.
642. Богатство // Там же. С. 203–204.
643. Богородица // Там же. С. 217–219.
644. Болото // Там же. С. 228–229.
645. Братчина // Там же. С. 256–257. — Соавт. О. А. Терновская.

646. Бритье // Там же. С. 261–263.
647. Бык // Там же. С. 272–274.
648. Былички // Там же. С. 278–280.
649. Варвара // Там же. С. 286–291.
650. Верба // Там же. С. 333–336. — Соавт. В. В. Усачева.
651. Вербное воскресенье // Там же. С. 336–338.
652. Веретено // Там же. С. 340–342. — Соавт. М. Р. Павлова.
653. Верх — низ // Там же. С. 345–346.
654. Веселье // Там же. С. 346–348.
655. Вино // Там же. С. 373–374.
656. Висельник // Там же. С. 377–379.
657. Власий // Там же. С. 383–384.
658. Внутренний — внешний // Там же. С. 385.
659. Водка // Там же. С. 392–394.
660. Вол // Там же. С. 409–411.
661. Волосы // Там же. С. 420–424. — Соавт. В. В. Усачева.
662. Волочить // Там же. С. 426–427.
663. Восток — Запад // Там же. С. 445–447.
664. Вучары // Там же. С. 460–461.
665. Выворачивание одежды // Там же. С. 465–466.
666. Гвоздь // Там же. С. 493–494.
667. Гениталии // Там же. С. 494–495.
668. Георгий // Там же. С. 496–498.
669. Глаза // Там же. С. 500–502.
670. Говяда // Там же. С. 503–504.
671. Голошение // Там же. С. 513–515.
672. Горшок // Там же. С. 530–531.
673. Град // Там же. С. 535–537.
674. Граница // Там же. С. 537–540.
675. Грех // Там же. С. 545–546.
676. Гром // Там же. С. 558–560.
677. Громобой // Там же. С. 561.
678. Громовая стрела // Там же. С. 561–563.
679. Из словаря «Славянские древности». Близнецы // Славяноведение. 1995, № 3. С. 3–5.
680. Из словаря «Славянские древности». Глаза // Там же. С. 5–7.
681. Из словаря «Славянские древности». Гениталии // Там же. С. 7–9.

682. Из словаря «Славянские древности». Волосы // Там же. С. 19–23. — соавт. В. В. Усачева.
683. Славянские верования // Славянская Мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 15–26.
684. Ад // Там же. С. 28–29.
685. Апокрифы // Там же. С. 36–37.
686. Баба // Там же. С. 38–39.
687. Близнецы // Там же. С. 51–53.
688. Бог // Там же. С. 54–56.
689. Богатство // Там же. С. 56–57.
690. Богородица // Там же. С. 58–60.
691. Болото // Там же. С. 62–63.
692. Бык // Там же. С. 68–69.
693. Верба // Там же. С. 81–83. — Соавт. В. В. Усачева.
694. Власий // Там же. С. 94–96.
695. Волосы // Там же. С. 105–107. — Соавт. В. В. Усачева.
696. Восток — Запад // Там же. С. 120–122.
697. Георгий Победоносец // Там же. С. 131–133.
698. Двоедушник // Там же. С. 154.
699. Дворовой // Там же. С. 155.
700. Караконджалы // Там же. С. 221.
701. Лихорадки // Там же. С. 244.
702. Овинник // Там же. С. 282.
703. Полевик // Там же. С. 317–318.
704. Радуга // Там же. С. 330–331.
705. Сеть, мрежа // Там же. С. 357–358.
706. Суденицы // Там же. С. 370.
707. Хала // Там же. С. 384.
708. Шуликуны // Там же. С. 394.
709. Об авторе этой книги // *Б. О. Унбегаун.* Русские фамилии. М., 1995. С. 434–439.
710. Предходне слово // *А. Д. Дуличенко.* Jugoslavo-Ruthenica. Роботи з рускей филолоґиї. Нови Сад: Руске слово, 1995. С. 9–11.
711. Магическая сила голоса в охранительных ритуалах // Голос и ритуал. Материалы конференции. Май 1995 г. М., 1995. С. 103–106.
712. Этнолингвистика в современной славистике // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы междуна-

родной конференции. М., 1995. Т. II. С. 488–489. — Соавт. С. М. Толстая.

713. Бойцы вспоминают... 50 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне // Вестник Российской академии наук. М., 1995. Т. 65, № 5. С. 394–395.

714. [Приветствие международной научно-практической конференции «Современный фестиваль фольклора», Владикавказ, сент. 1994 г.] // Современный фестиваль фольклора. М., 1995. С. 7.

715. М. А. Михайлов [Некролог] // Славяноведение. 1995, № 2. С. 122–123.

716. Труды и дни мыслителя, ставшие национальным достоянием. К 100-летию со дня рождения М. М. Бахтина [Беседа] // Вестник Российской академии наук. М., 1995. Т. 65, № 11. С. 982–991. — Совм. с С. Г. Бочаровым и В. В. Кожиновым.

717. Православље — религија и култура [Интервью] // Јединство. Приштина, 1995. 26. април. С. 9.

718. [Интервью:] *Ж. Ристић.* Потомак Толстојевог племена // Недељна Борба. Београд, 1995. 28–29 окт. С. 21.

719. Културе нема без вере [Интервью] // Политика. Београд, 1995. 28 окт.

720. [Интервью:] «Язычество было экологией природы, христианство стало экологией духа» // Татьянин день. Студенческая православная газета МГУ. М., 1995. № 5. С. 16–17.

721. Ред.: Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. А–Г. М., 1995.

722. Ред.: Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья / Отв. ред. — М., 1995.

723. Ред.: Ученые записки Российского православного университета им. Иоанна Богослова / Отв. ред. — М., 1995. Вып. 1.

724. Вступительное слово // Там же. С. 3–4.

1996

725. Как называли сербы свой литературный язык в XVIII и начале XIX века? // Славяноведение. 1996, № 1. С. 32–38.

726. К юбилею В. М. Живова // Там же. С. 31.

727. О непоследовательности палатализации задненебных согласных в славянских языках. IV // Symbolae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej / Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Warszawa, 1996. S. 295–304.

728. Этнографический комментарий к древним славяно-русским текстам. II. Священный дуб // Русское подвижничество.

Сборник в честь 90-летия Д. С. Лихачева. М., 1996. С. 457–464.

729. Язычество древних славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 145–160.

730. Древнейшие черты славянской народной традиции // Там же. С. 196–222. — Соавт. Л. Н. Виноградова.

731. Мифологическое в славянской народной поэзии. 2. Предсказание смерти в колодце или сосуде // Живая Старина. 1996, № 1 (9). С. 28–29.

732. Две сказки в записях моих коллег // Там же. С. 34–35.

733. От А. Н. Веселовского до наших дней... // Живая Старина. 1996, № 2 (10). С. 2–5.

734. Мифологическое в славянской народной поэзии. 3. Месяц в горшке, звезды в посудине // Там же. С. 40–41.

735. Мифологическое в славянской народной поэзии. 4. Отчего перевелись богатыри на Святой Руси? // Живая Старина. 1996, № 4 (12). С. 36–37.

736. Przemówienie z okazji nadania doktoratu *honoris causa* w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (27 maja 1992 r.) // Etnolingwistyka. Lublin, 1996. T. 8. S. 317–318.

737. Несколько вступительных слов // *А. А. Плетнева, А. Г. Кравецкий.* Церковнославянский язык. М., 1996. С. 3–7.

738. Моя главная радость — жизнь среди русских людей [Интервью] // Российская провинция. М., 1996. № 3 (16). С. 2–8.

739. Марко Милянов и его «Примеры гуманности и героизма» // *Марко Милянов Попович.* Примеры гуманности и героизма (*Марко Миљанов Поповић.* Примјери чојства и јунаштва). Подгорица–Москва, 1996. С. II–XIV.

740. Словенска проучавања (Разговор у Москви са Никитом Толстојем) [Интервью] // Градина. Часопис за књижевност, уметност и културу. Ниш, 1996. Год. XXXI, јануар–фебруар 1996. С. 5–21.

741. Introduction // A new Slavic language is born. The Rusyn literary language of Slovakia / Ed. P. R. Magocsi. New York, 1996. P. XIII–XV.

742. Церковнославянский — живой или мертвый? // Татьянин день. Студенческая православная газета МГУ. М., 1996. № 8, сентябрь. С. 6.

743. Ред.: Ученые записки Российского православного университета им. Иоанна Богослова / Отв. ред. — М., 1996. Вып. 2.

1997

744. Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М.: «Языки русской культуры», 1997. — 520 с.
745. Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации (опыт предварительной оценки) // Вопросы языкознания. 1997, № 2. С. 16–23.
746. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. С. 17–27.
747. О возможности реконструкции славянского фольклора // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Studies in Slavic Folklore and Folk Culture. Вып. 1 / Под ред. А. Архипова и И. Полинской. [Berkeley], Oakland, 1997. P. 120–131.
748. Благовещение в славянских народных обрядах и верованиях // Введение в храм. Сборник статей. М., 1997. С. 660–666. — Соавт. С. М. Толстая.
749. Слово о Вуке Караджиче // Славяноведение. 1997, № 5. С. 8–13.
750. Из автобиографии // Живая Старина. 1997, № 2 (14). С. 2–3 обложки.
751. Из воспоминаний Н. И. Толстого / Публикация С. М. Толстой // Там же. С. 18–23.
752. Несколько вступительных слов // Славянский церковный букварь. Оптина Пустынь, 1997. С. 2–3.
753. Рец.: *S. Niebrzegowska.* Sennik jako gatunek polskiego folkloru. Słownik i semantyka. Rozprawa doktorska. Lublin, 1995. Cz. I, II; Polski sennik ludowy. Lublin, 1996 // Славяноведение. 1997, № 4. С. 104–109.

1998

754. Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М.: «Языки русской культуры», 1998. — 512 с.
755. Имя в контексте народной культуры // Проблемы славянского языкознания. Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998. С. 88–125. — Соавт. С. М. Толстая.
756. Имя в контексте культуры // XII Międzynarodowy kongres slawistów. Kraków 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Warszawa, 1998. S. 215–216. — Соавт. С. М. Толстая.
757. «Без четырех углов дом не строится» (Заметки по славянскому язычеству) // Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Pisa, 1998. № 1. S. 9–21.

758. Македонско-русские изолексы // Македонско-руски јазични, литературни и културни врски (Материјали од Првата македонско-руска славистичка конференција, Охрид, 23–24 август 1995 г.). Скопје, 1998. С. 9–11.

759. Воспоминания о русском языке // Лики языка. К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998. С. 359–362.

760. Ред.: Основы балканского языкознания. Языки балканского региона. Часть 2 (славянские языки) / Под ред. А. В. Десницкой и Н. И. Толстого. СПб.: Наука, 1998.

В печати

761. Два ценных свидетельства о сербских народных обрядах и воззрениях XVIII века Й. Раича и А. Везилича // Русско-сербские культурные и литературные связи. М. [Ин-т славяноведения].

762. Дополнительные суждения о реконструкции праславянской фразеологии // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры [Памяти Н. И. Толстого]. М.: Индрик. С. 47–63.

763. Византийская загадка в русском, сербском и болгарском фольклоре // GENNADIUS. Сборник в честь акад. Г. Г. Литаврина. М.: Индрик.

764. [**страсть, страстьнъ**, *страшный*] // Русская речь.

765. Ред.: *И. А. Бодуэн де Куртенэ*. Резьянский словарь. [Ljubljana.]

Литература о жизни и трудах Н. И. Толстого

1958

1. *A. Vaillant.* [Рец. на ст.: Н. И. Толстой. О значении кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (На примере евангельских кодексов). М., 1957] // Bulletin de la Société linguistique de Paris. 1957/1958. T. 53, pt. 2. P. 175.

1959

2. *L. Řeháček.* Sovětský slavistický sborník [Вопросы славянского языкознания. 1957. Вып. 2] // Československá rusistika. Praha, 1959. Roč. 4, č. 1. S. 46–47.

1963

3. *M. Honowska.* Geneza złożonej odmiany pzymiotników w świetle faktów języka starocerkiewno-słowiańskiego. Wrocław, 1963. S. 5–7.
4. *U. Weinreich.* Lexicology // Current trends in linguistics. The Hague, 1963. Vol. 1. P. 89.

1965

5. *Х. Поленаковиќ.* Значајни достигања на советската македонистика // Литературен збор. Скопје, 1965. Год. 12, бр. 6. С. 24–26.
6. *D. Brozović.* Dva sovjetska priloga izučavanju hrvatskosrpskoga jezika // Telegram. Zagreb, 1965. 17 dec. S. 2.

1966

7. *Х. Поленаковиќ.* Достигања на советската македонистика // Македонија. Скопје, 1966. Год. 14, бр. 155. С. 17–18.

1969

8. *М. Г. Булахаў.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Філалогія. Журналістыка. Мінск, 1969. № 3. С. 88–89.
9. *И. А. Дзендзелевский.* Два сборника о Полесье [Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968; Лексика

Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М. 1968] // Советское славяноведение. 1969, № 6. С. 80–85.

10. *Е. Фекете.* Облик, значење и употреба одређеног и неодређеног придевског вида у српскохрватском језику // Јужнословенски филолог. 1969. Књ. 28, св. 1/2. С. 343–344.

11. *J. Schütz.* [Рец. на кн.:] Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968; Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968 // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1969. Jg. 14, H. 2. S. 222–225.

1970

12. *Э. М. Мурзаев.* Местная географическая терминология славян [Рец. на кн.: *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология. М., 1969] // Известия АН СССР. Серия географическая. 1970, № 1. С. 145–146.

13. *A. Bednarczuk.* [Рец. на кн.:] Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968 // Etnografia polska. Wrocław, 1970. [R.] 14, z. 1. S. 293–296.

14. *J. Filipec.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). 1969 // Jazykovědné aktuality. Praha, 1970. Roč. 7, č. 1/2. S. 46–47.

15. *P. Ivić, J. Filipec, V. Blanár, F. Papp.* [Выступления по докладу Н. И. Толстого] // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968. Akta siezdu. Praha, 1970. T. 1. S. 117–118.

16. *J. Rieger.* [Рец. на кн.:] Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968; Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968 // Slavia orientalis. Warszawa, 1970. R. 19, z. 1. S. 102–106.

17. *S. Utěšený.* [Рец. на кн.:] Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968; Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968 // Slavia. Praha, 1970. Roč. 39, č. 3. S. 443–447.

1971

18. *Л. Оссовский.* Западное Полесье — прародина славян [По поводу сб.: Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968; Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968] // Вопросы языкознания. 1971, № 1. С. 111–118.

19. *Н. В. Подольская.* Комиссия обсуждает книгу Н. И. Толстого «Славянская географическая терминология». [М. 1969] // Топонимика. 1971. Вып. 5. С. 28–31. [Материалы Моск. филиала Географического общества СССР].

20. *A. Andrei.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Studii şi cercetări lingvistice. Bucureşti, 1971. An. 22, № 4. P. 448–449.

21. *H. Borek.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Język polski. Kraków, 1971. R. 51, z. 2. S. 155–158.

22. *M. Jurkowski.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Onomastica. Wrocław, 1971. R. 16, z. 1/2. S. 242–246.

1972

23. *П. А. Дмитриев.* Юбилей советского слависта [К 50-летию Н. И. Толстого] // Зборник за филологиiу и лингвистику. Нови Сад, 1972. Књ. 15/2. С. 235–241.

24. *Й. Шютц.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Вопросы языкознания. 1972, № 1. С. 136–138.

25. *G. Mihăilă.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Studii şi cercetări lingvistice. Bucureşti, 1972. An. 23, № 1. P. 79–81.

26. *S. Utěšený.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология (Семасиологические этюды). М., 1969 // Slavia. Praha, 1972. Roč. 41, č. 2. S. 217–219.

1973

27. *А. И. Корнев.* О некоторых славистических проблемах в работах Н. И. Толстого // Вестник ЛГУ. Серия История, язык, литература. 1973, № 8. Вып. 2. С. 142–145.

28. *В. М. Мокиенко.* Защита докторской диссертации в Ленинградском университете // Советское славяноведение. 1973, № 1. С. 109–110.

29. *Х. Поленаковиќ.* Во екот на народното будење. Скопје, 1973. С. 156–160. [То же, что *5*].

30. *D. Žváček.* Nikita Iljič Tolstoj padesátiletý // Rossica Olomucensia (Za rok 1972). Olomouc, 1973. T. 10. S. 16–20.

1974

31. *V. Blanár.* Tolstého semantická analýza slovanskej slovnej zásoby // Jazykovědný časopis. Bratislava, 1974. Roč. 25, č. 1. S. 53–59.

1975

32. *E. Eichler.* Ausblicke auf Linguistik, Ethnographie und Onomastik // Namenkundliche Information. Leipzig, 1975. № 26. S. 3–8.

1979

33. Толстой Никита Ильич [Список трудов Н. И. Толстого] // Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию (Библиографический указатель). М., 1979. Т. 3: 1968–1975. С. 261–280.

1980

34. *А. Младеновић.* Нови радови Н. И. Толстоја из историје књижевног језика код Срба // Зборник за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1980. № 23/1. С. 209–229.

1981

35. Никита Илич Толстој // Летопис [Македонска академија на науките и уметностите], 1980. Скопје, 1981. С. 191.

1983

36. Из истории славяноведения в России. Сборник в честь 60-летия д-ра филол. наук, проф. Н. И. Толстого. Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1983. — 136 с. [Ученые записки Тартус. гос. ун-та. Вып. 649. (Труды по русской и славянской филологии. Т. 2)].

37. *А. Д. Дуличенко.* Н. И. Толстой как славист (К 60-летию со дня рождения) // Там же. С. 3–14.

38. Библиография основных трудов Н. И. Толстого по славяноведению // Там же. С. 14–21.

39. Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию. [Вып. 1] Никита Ильич Толстой. Самарканд: Самарканд. гос. ун-т, 1983. — 111 с.

40. *В. М. Мокиенко.* Никита Ильич Толстой // Там же. С. I–XVIII.

41. *А. Д. Дуличенко.* Славист, объявший всю Славию // [Газета] Тартуский государственный университет. 1983. 15 апр. С. 2.

42. *E. Azimow, M. Basaj.* Sześćdziesiąta rocznica urodzin Nikity Iljicza Tołstoja // Slavia orientalis. Warszawa, 1983. R. 32, z. 3. S. 369–374.

1984

43. *J. Petr.* [Рец. на кн.:] Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию. Никита Ильич Толстой.

Самарканд, 1983 // Slavia. Praha, 1984. Roč. 53, č. 1. S. 109–110.

1985

44. *Н. К. Гаврилюк.* До створення «Етнолінгвістичного словника слов'янських старожитностей» // Народна творчість та етнографія. Київ, 1985. № 6. С. 70–72.
45. *Љ. Јоксимовић, В. Станишић.* Уз текст Светлане и Никите Толстој [Забелешке из словенског паганства: 1–2] // Повеља. Краљево, 1985. Год. 15, бр. 1. С. 5.
46. *С. Е. Никитина.* [Рец. на кн.:] Библиографический указатель по славянскому и общему языкознанию. Профессор Никита Ильич Толстой. Самарканд, 1983 // Советская этнография. 1985, № 6. С. 155–157.
47. *Л. В. Сорокоумская.* [О кн.:] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. М., 1983 // Реферативный журнал. Общественные науки в СССР. Серия 6. Языкознание. 1985, № 2. С. 39–42.
48. *Г. Хабургаев.* Круг интересов — славянское языкознание [К избранию Н. И. Толстого чл.-корр. АН СССР] // [Газета] Московский университет. 1985. 10 апр. С. 3.
49. *Г. А. Цыхун.* [Рец. на кн.:] Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983 // Беларуская лінгвістыка. Мінск, 1985. Вып. 27. С. 73–75.
50. *W. Budziszewska, N. Perczyńska.* Этнолингвистический словарь славянских древностей // Poradnik językowy. Warszawa, 1985. № 7. S. 464–468.

1986

51. *А. Л. Топорков.* Этнолингвистические исследования в области славистики в последнее десятилетие // Советская этнография. 1986, № 1. С. 137–140.
52. *R. Eckert.* [Рец. на кн.:] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. М., 1984 // Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1986. Bd. 31, № 1. S. 149–151.

1987

53. Толстой Никита Ил. // Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1341; 4-е изд., испр. и доп. 1990. С. 1352.
54. Nikita Iljič Tolstoj // Ljetopis JAZU. God. 1986, knj. 90. Zagreb, 1987. S. 533–534.

1988

55. *Р. А. Агеева.* Этнолингвистика // Проблемы славянского языкознания в СССР: 1983–1987 гг. К X Международному съезду славистов (София, сентябрь 1988 г.). М., 1988. С. 218–239.

56. *В. М. Живов.* Исследователь языка, исследователь старины // [Газета] Московский университет. 1988. 25 февр. С. 3.

57. Избрание действительным членом АН СССР Н. И. Толстого // Советское славяноведение. 1988, № 3. С. 110–111.

58. *J. Bartmiński.* Этнолингвистический словарь славянских древностей // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988. [T.] 1. S. 190–194.

59. *F. Czyżewski, M. Sajewicz.* Полесский этнолингвистический сборник // Там же. S. 195–202.

60. Nikita Iljič Tolstoj // Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1987. Ljubljana, 1988. Knj. 38. S. 90–91.

61. *W. Ziel.* [Рец. на кн.:] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. М. 1984 // Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. Berlin, 1988. Bd. 31. S. 284–285.

1989

62. *А. А. Алексеев.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988 // Вопросы языкознания. 1989, № 4. С. 149–155.

63. [Академик Никита Ильич Толстой: Краткая биографическая справка] // Слово. [М.,] 1989. № 12. С. 3.

64. *Е. М. Верещагин.* Проблемы истории древнеславянского и русского литературных языков (К выходу в свет книги акад. Н. И. Толстого) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1989. Т. 48, № 2. С. 126–136.

65. *Т. А. Новичкова.* К обсуждению «Этнолингвистического словаря славянских древностей» // Русский фольклор. Л., 1989. Т. 25. С. 193–200.

66. *H. Popowska-Taborska.* [Рец. на кн.:] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. 1984 // Rocznik Slawistyczny. Warszawa, 1989. T. 46, cz. 1. S. 85–90.

1990

67. *A. Jedlička, Z. Trösterová.* Prace N. I. Tolstého z oblasti dějin spisovných jazyků slovánských a jejích srovnávacího studia // Slavia. Praha, 1990. Roč. 59, č. 1. S. 51–56.

68. *Z. Michail.* Nichita Ilici Tolstoi // Romanoslavica. Bucureşti, 1990. [T.] XXVIII. P. 299–301.

1991

69. *М. Јевтић.* Никита Ильич Толстоj // *М. Јевтић.* Са светским славистима. Горњи Милановац, 1991. С. 157–158.

70. Толстой Никита Ил. // Большой энциклопедический словарь. М., 1991. Т. 2. С. 481.

1992

71. *J. Adamowski.* Doktorat honoris causa. Promocja doktora honoris causa UMCS Profesora Nikity Iljicza Tołstoja // Wiadomości uniwersyteckie. [Lublin.] Czerwiec 1992. Rok 2, № 6 (13). S. 6.

72. *J. Bartmiński.* Nikita Iljicz Tołstoj i program etnolingwistyki historycznej // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmińskiego. [T.] 5. Lublin, 1992. S. 7–13.

73. *F. Czyżewski, M. Sajewicz.* Seria wydawnicza «Славянский и балканский фольклор» // Там же. S. 137–142.

74. *A. Koper.* [Рец. на кн.:] Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. Ред. Н. И. Толстой. М., 1986 // Там же. S. 145–147.

75. *U. Majer-Baranowska.* [Рец. на кн.:] Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели. Ред. Н. И. Толстой. М., 1984 // Там же. S. 142–145.

76. *M. Łesiów.* Profesor Nikita Iljicz Tołstoj doktorem honoris causa UMCS // Wiadomości uniwersyteckie. [Lublin.] Maj 1992. Rok 2, № 5 (12). S. 1, 4.

77. *E. Mulawa-Pachoł, J. Pleszczyński.* Odwiedziny Tołstoja // Gazeta w Lublinie. 1992. 27 maja. № 107 (374). S. 1.

78. Tołstoj i Tołstoj // Dziennik Lubelski. Lublin. 1992. 27.V. S. 10.

1993

79. Никита Ильич Толстой [Материалы к биобиблиографии ученых. Серия литературы и языка. Вып. 23.] / Сост. Л. В. Шутько. М.: Наука, 1993. — 104 с.

80. *А. Д. Дуличенко.* [Н. И. Толстой.] Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности // Там же. С. 9–29.

81. Philologia Slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М.: Наука, 1993. — 427 с.

82. *В. Т.* [*В. Н. Топоров*]. К семидесятилетию Н. И. Толстого // Там же. С. 3–6.

83. 70 лет академику Н. И. Толстому // Славяноведение. 1993, № 5. С. 142–143.

84. *В. П. Вомперский.* Никита Ильич Толстой (к 70-летию со дня рождения) // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1993. Т. 52, № 3. С. 90–92.

85. *А. Ф. Журавлев.* Vir doctus, vir docens. К семидесятилетию академика Н. И. Толстого // Вопросы языкознания. 1993, № 3. С. 106–112.

86. *Ф. Клімчук.* Праўнук пісьменніка, даследчык Палесся // Звязда. Беларуская газета. 1993, 22 красавіка. № 74 (22106). С. 4.

87. *А. Тарасјев.* Писмо другу с поводом // Руски Алманах. Земун, Сремски Карловци, 1993. Год. II, бр. 3/4. С. 289–293.

88. *Р. П. Усикова.* Никите Ильичу Толстому — 70 лет // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. М., 1993. № 5. С. 77–78.

1994

89. Лауреат Демидовской премии Никита Ильич Толстой // Лауреаты Демидовской премии 1994 г. Екатеринбург, 1994. С. 12–16.

90. Tolstoj-Urenkel bei Russisten-Kongreß // Die Woche. 1994. 25. August. S. 15.

1995

91. *А. Журавлев.* Славянская этнолингвистика в работах Н. И. Толстого (Предисловие редактора) // *Н. И. Толстой.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 8–12.

92. [*Д. С.*] Тумач најдубљих корена српске културе // Народне новине. Ниш. 1995. 10 октобар. С. 4.

93. *Љ. Раденковић.* Погледи Никите И. Толстоја на словенску народну културу // *Н. И. Толстој.* Језик словенске културе. Ниш, 1995. С. 357–365.

94. *Ж. Требјешанин.* Дешифровање језика. [Рец. на кн.:] *Никита И. Толстој.* Језик словенске културе. Превела Љ. Јоксимовић. Ниш: Просвета, 1995 // Политика. [Београд.] 1995. 11 новембар.

95. *С. Шешунова.* Русский академик из Белграда // Вести Дубны. Народная газета. Дубна, 1995. 21 апреля. № 31 (542). С. 2.

96. [*V. Gašparíková.*] [О кн.:] *Н. И. Толстой.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингви-

В. Станишић. Никита Ильич Толстој. Језик словенске културе, "Просвета", Ниш, 1995 // Расковник, Београд 1995. Јесен. Зима. Број 81-8 С. 138-140.

стике. М., 1995 // Slavistická folkloristika. Informačný bulletin. Bratislava, 1995. № 1–2. S. 27–28.

97. [*V. Gašparíková.*] [О кн.:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995 // Там же. S. 27.

1996

98. 27 июня 1996 г. скончался Никита Ильич Толстой // Вопросы языкознания. 1996, № 4. С. 3.

99. *Е. М. Верещагин, А. В. Тарасьев.* Никита Ильич Толстой (1923–1996) // Журнал Московской патриархии. М., 1996. № 8. С. 69–72.

100. [*Е. М. Верещагин, А. В. Тарасьев.*] Памяти Никиты Ильича Толстого // Ученые записки Российского Православного университета им. Иоанна Богослова. М., 1996. Вып. 2. С. 3–19.

101. Всеславянский академик // Русский язык (Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»). Август 1996. № 30 (54). С. 2.

102. [*В. П. Гребенюк, В. Г. Костомаров.*] Памяти академика Никиты Ильича Толстого. Вместо некролога // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 1996. № 3. С. 319–327.

103. Страница главного редактора // Там же. С. 78.

104. *А. Дуличенко.* Боль о России (Памяти академика Никиты Ильича Толстого) // МЭ Русский телеграф. Таллинн. 1996. № 228 (11207) от 30 сент. С. 5.

105. *А. Дуличенко.* Памяти Никиты Ильича Толстого // Русская газета. [Тарту,] 1996. № 77 (518) от 12 окт. С. 6.

106. *А. Дуличенко.* Потомок рода Толстых (К кончине академика Никиты Ильича Толстого) // Studia Philologica. Rossica Slovaca V. Prešov, 1996. S. 57–60.

107. *А. Дуліченко.* Потомок роду Толстых (Ку кончіні академіка Нікіты Ільїча Толстого) // Русин. Культурно-хрістияньскый часопис. [Прешов], 1996. № 5–6. С. 24–26.

108. *Л. Ђаповић.* [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстој.* Језик словенске културе. Ниш, 1995 // Гласник Етнографског Института САНУ. Књ. XLV. Београд, 1996. С. 166–168.

109. *А. Ф. Журавлев.* [Рец. на кн.:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. А–Г. М., 1995 // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 1996. № 1. С. 340–344.

110. А. Ф. Журавлев. [Рец. на кн.:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В пяти томах // Славяноведение. 1996, № 5. С. 103–106.

111. В. К. Журавлев. Никита Ильич Толстой (некролог) // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1996. Т. 55, № 5. С. 93–94.

112. С. Златановић-Цветковић. [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстој.* Језик словенске културе. Ниш, 1995 // Гласник Етнографског Института САНУ. Књ. XLV. Београд, 1996. С. 168–169.

113. Е. Иванова. Памяти замечательного человека // Радонеж. [М.,] 1996. № 13–14 (3). Июль 1996. С. 2.

114. Игумен Иннокентий (Павлов). Академик Никита Ильич Толстой // Церковно-общественный вестник. № 1 (Приложение к газете «Русская Мысль». Окт. 1996. № 4145). Париж. 1996. Октябрь. С. XII.

115. [Извещение о смерти, портрет] // Живая Старина. 1996, № 3.

116. Ф. Клімчук. Палессем зачараваны // Наша слова. [Менск,] 1996. № 18 (282). 30 красавіка. С. 4.

117. Г. Комадинић. Волео је Драгачево // Драгачевски трубач. Бр. 27. Гуча, 23–25 август 1996. С. 18.

118. Ф. Конт. Памяти Никиты Ильича Толстого (1923–1996) // Информационный бюллетень МАИРСК. М., 1996. Вып. 30–31. С. 198–200.

119. У. Лешка. Никита Ильич Толстой // Rossica. Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. Praha, 1996. № 2. S. 185–186.

120. Р. М. Маринковић. У Јасној Пољани // Чачански глас. 1996. Год. LXV, бр. 34. 23 август. С. 7.

121. Н. В. Масленникова. Светлой памяти Никиты Ильича Толстого // Русский вестник. [М.,] 1996. № 23–25. С. 15.

122. Н. В. Масленникова. Ушел любимый преподаватель... Ушел учитель... // [Газета] Московский университет. 1996, сентябрь. № 12 (3790). С. 3.

123. Микита Ілліч Толстой (1923–1996) // Мовознавство. Київ. 1996. № 6. С. 79.

124. Н. Михайлов. Некоторые итоги работы по описанию и реконструкции славянской духовной культуры (К выходу в России двух книг по славянской мифологии и этнографии) // Russica Romana [Италия.] 1996. Vol. III. P. 363–371.

125. Ю. С. Осипов, В. Н. Кудрявцев, Е. П. Челышев, В. Л. Янин, Г. Н. Севостьянов, Е. В. Семенов, В. К. Волков. Никита Иль-

ич Толстой [Некролог] // Новая и новейшая история. 1996, № 6. С. 215–216.

126. Памяти академика Никиты Ильича Толстого // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. М., 1996. № 4. С. 202–206.

127. Памяти Н. И. Толстого (1923–1996) // Славяноведение. 1996, № 6. С. 117–119.

128. Памяти Н. И. Толстого // Татьянин День. Студенческая церковная газета МГУ. № 8, сентябрь 1996. С. 6.

129. [Памяти Никиты Ильича Толстого] // Информационный бюллетень МАИРСК. М., 1996. Вып. 30–31. С. 201–203.

130. *Љ. Раденковић.* Храстови умиру усправно. Последњи сусрет с Никитом Иљичем Толстојем // Расковник. Београд, 1996. Год. XXII, бр. 85–86. Јесен–зима. С. 105–108.

131. *Б. Ристовски.* Македонист со фундаментални трудови // [Газета] Нова Македонија. Скопје. 3.07.1996.

132. *Д. Станишева.* Никита Ильич Толстой (1923–1996) // Съпоставително езикознание. София, 1996. № 4. С. 156–159.

133. *Б. Терзић.* Човек са две отаџбине. Одлазак великог слависте и пријатеља // Политика. [Београд.] 1996. 13 јул. С. 24.

134. *Б. Терзић.* In memoriam. Никита Иљич Толстој (1923–1996) // Рад Матице Српске. Нови Сад, 1996. Год. CLXX, бр. 33. С. 125–127.

135. *Б. Терзић.* Никита Иљич Толстој (1923–1996) // Словенски гласник. Подгорица, 1996. Год. I, бр. 1. С. 262–268.

136. *Г. Цыхун.* Мікіта Ільіч Талстой (1923–1996) // Кантакты і дыялогі. Мінск, 1996. № 7–8. Ліпень–жнівень. С. 62–64.

137. Academician Tolstoj about the Rusyn language // Carpatho-Rusyn American. Vol. XIX, № 2. Summer 1996. P. 9.

138. *J. Bartmiński.* Pierwszy tom rosyjskiego słownika tradycyjnej kultury Słowian // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmińskiego. [T.] 8. Problemy języka i kultury. Lublin, 1996. S. 291–293.

139. *F. Conte.* In memoriam. Nikita Ilitch Tolstoï (1923–1996) // Ethnologie française. Paris, 1996. T. XXVI, № 4. P. 748–749.

140. In memoriam. Он не умел жить другой жизнью. [Подпись: ученики и коллеги.] // Независимая газета. [Москва.] 1996. 1 июля. С. 7.

141. *R. Lewicki.* W świecie kultury i mitologii Słowian. [Рец. на кн.:] Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал / Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1994 // Etnolingwisty-

ka / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1996. [T.] 8. S. 294–301.

142. M. Matičetov. Ob izgubi Nikite I. Tolstoja (1923–1996) // Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [T.] 25. Besede in reči. Ljubljana, 1996. S. 479–482.

143. B. Nikolaev. [Рец. на кн.:] Славянская мифология. Энциклопедический словарь. А–Я // Demos. Volkskundliche Informationen. Berlin, 1996. № 2. S. 115.

144. B. Putilov. [Рец.:] Tolstoj N. I. (Hg.) Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995 // Там же. S. 86–87.

145. B. Putilov. [Информация:] Живая Старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре // Там же. P. 91–92.

146. H. Rothe. Slawisches Altertum. Nikita I. Tolstoj gestorben // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1996. 04.07.

1997

147. Е. Анастасова. In memoriam. Никита Ильич Толстой (1923–1996) // Български фолклор. София, 1997. Кн. 1–2. С. 126–130.

148. А. Барандеев. Личность. Из воспоминаний о Н. И. Толстом // Культурное возрождение. [М.] 1997, № 1. Ноябрь. С. 5.

149. Е. Бартминьский. О словаре «Славянские древности» // Живая Старина. 1997, № 2 (14). С. 61–62.

150. Е. М. Верещагин, А. В. Тарасьев. Никита Ильич Толстой (1923–1996). Некролог // Путь православия. М., 1997. № 5. С. 201–211.

151. А. Д. Дуличенко. Потомок роду Толстойових (З нагоди шмерци академика Никити Ілїча Толстоя) // Studia Ruthenica. Нови Сад, 1996–1997. № 5 (18). С. 83–86.

152. Живая Старина. 1997, № 2 (14). [Номер посвящен памяти академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996)].

153. М. Ивић. Никита Иљич Толстој (15.IV.1923–27.VI.1996) // Годишњак САНУ за 1996. Београд, 1997. Год. CIII. С. 581–582.

154. А. Каўка. Высакароднасць па-талстоўску // Кантакты і дыялогі. Мінск, 1997. № 7–8. С. 10–11.

155. Логический анализ языка. Язык и время. Посвящается памяти Н. И. Толстого / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М.: Индрик, 1997.

156. От редактора // Там же. С. 5–16.

157. С. Ю. Неклюдов. Прерванный разговор // Живая Старина. 1997, № 2 (14). С. 29–30.

158. [*Г. В.*] Памяти Никиты Ильича Толстого // Славяноведение. 1997, № 4. С. 7.

159. Б. Н. Путилов. Никита Ильич Толстой // Живая Старина. 1997, № 2 (14). С. 2–6.

160. Л. Раденкович. Деревья умирают стоя. Последняя встреча с Н. И. Толстым // Там же. С. 24.

161. Љ. Раденковић. Језик — кључ за разумевање митологије. Допринос Никите Толстоја проучавању старе словенске културе // Књижевност и језик. XLV/4. Београд, 1997. С. 63–65.

162. Б. Сикимић. Никита Ильич Толстой (1923–1996) // Јужнословенски филолог. Београд, 1997. Књ. LIII. С. 267–269.

163. Б. Терзић. Никита Иљич Толстој. In memoriam // Зборник Матице Српске за славистику. Нови Сад, 1997. Бр. 53. С. 319–328.

164. С. М. Толстая. Толстой Никита Ильич (1923–1996) // Введение в храм. Сборник статей под ред. Л. И. Акимовой. М., 1997. С. 766.

165. О. Н. Трубачев. Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом // Вопросы языкознания. 1997, № 2. С. 5–15.

166. О. Н. Трубачев. [Без названия] // Культурное возрождение. [М.] 1997, № 1. Ноябрь. С. 5.

167. А. В. Юдин. [Рец. на кн.:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти томах // Вопросы языкознания. 1997, № 2. С. 169–173.

168. A. D. Duličenko. N. I. Tolstoj in rezijanščina // Slavistična revija. Ljubljana, 1997. Let. 45, št. 3–4. S. 567–573.

169. F. Jakopin. Nikita Iljić Tolstoj (1923–1996) // Letopis Slovenske Akademije znanosti in umetnosti. Knj. 47. 1996. Ljubljana, 1997. S. 110–111.

170. L. Spinozzi Monai. Hvala, Nikita Iljič Tolstoj // Trinkov koledar za leto 1997. Špeter, 1997. S. 38–45.

1998

171. Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого / Ред. Т. А. Агапкина. М.: Индрик, 1998. Т. 1, 2.

172. П. А. Дмитриев, Г. А. Лилич, Г. И. Сафронов. Н. И. Толстой и славистика в Ленинградском — Петербургском университете // Там же. Т. 1. С. 364–369.

173. А. Д. Дуличенко. Н. И. Толстой и резьянщина (К открытию «Резьянского словаря» И. А. Бодуэна де Куртенэ) // Там же. С. 394–405.

174. А. Младеновић. Неке мисли Н. И. Толстоја о српском књижевном језику новијег времена // Там же. С. 415–422.

175. Слово и культура. Международная научная конференция, посвященная 75-летию Никиты Ильича Толстого. [Программа]. 12–15 мая 1998 г. М.: Индрик, 1998.

176. Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi / Ред. А. Д. Дуличенко. Tartu, 1998 [Slavica Tartuensia, IV]. — 317 с.

177. [*А. Д. Дуличенко.*] Слово редактора // Там же. С. 7–8.

178. В. М. Мокиенко. Значение труда Н. И. Толстого «Славянские древности» для исторической фразеологии славянских языков // Там же. С. 13–25.

179. А. А. Алексеев. Никита Ильич Толстой (15 апреля 1923 – 27 июня 1996) // Slovo. Zagreb, 1998. Br. 47–48. 19

180. В. М. Мокиенко. Славистическое наследие Н. И. Толстого // Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Greifswalder Beiträge zur Slawistik. III. Greifswald, 1998. S. 66–87.

181. А. Я. Супрун. [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997 // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. Мінск, 1998. № 1. С. 77.

182. А. Я. Супрун. [Рец. на кн.:] *Н. И. Толстой.* Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998 // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. Мінск, 1998. № 3. С. 77 – 78.

183. Б. Терзић. Никита Иљич Толстој (1923–1996) // Славистика. Београд, 1998. Књ. II. С. 325–327.

184. S. Hafner. Nikita Il'ič Tolstoj // Almanach der Österreichen Akademie der Wissenschaften. 147. Jahrgang (1996/1997). Wien, 1998. S. 629–634.

185. S. Niebrzegowska. W rocznicę urodzin Nikity Iljicza Tołstoja // Wiadomości uniwersyteckie. Lublin, 1998. № 1–2 (48–49). (Rok 8). S. 22–23.

186. P. Plas. [Рец. на кн.:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. I. А–Г. М., 1995 // Slavica Gandensia. 25/1. 1998. [Belgian Contributions to the 12th International Congress of Slavists. Cracow, 26 aug. — 3 sept. 1998.] P. 193–199.

В печати

187. А. Младеновић. Академик Никита Иљич Толстој, 1923–1996 // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику. Нови Сад. Књ. XXXIX/2. С. 215–218. 1996.

188. А. Младеновић. Толстој, Никита Иљич // Енциклопедија српског народа. Београд.

Основные даты жизни и деятельности Н. И. Толстого

Никита Ильич Толстой родился **15 апреля 1923 г.** в г. Вршац (Югославия).

1941. Окончил I русско-сербскую мужскую гимназию в Белграде.

1941–1944. Участвовал в партизанском движении в Югославии.

1944. Добровольно вступил в ряды Красной Армии.

1944–1945. Участник Великой Отечественной войны. (Награжден боевыми медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями и орденом).

1945–1950. Студент филологического факультета Московского государственного университета (МГУ).

1949–1952. Участник экспедиций по изучению болгарских говоров в Бессарабии и Приазовье.

1950. Окончил филологический факультет МГУ по кафедре славянской филологии.

1950–1953. Аспирант МГУ.

1952–1956. Старший преподаватель Института международных отношений (Москва).

1954. Присуждена ученая степень кандидата филологических наук за диссертацию «Краткие и полные прилагательные в старославянском языке».

1954–1996. Младший, с 1962 г. старший научный сотрудник, с 1977 г. руководитель группы этнолингвистики и славянских древностей (с 1979 г. группа этнолингвистики и фольклора), с 1981 по 1992 г. заведующий сектором этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН; член Ученого совета Института.

1954–1971. Член редколлегии, ответственный секретарь журнала «Вопросы языкознания».

1955–1958. Секретарь Международного комитета славистов.

1955–1996. Член комитета, с 1986 г. — председатель Советского, с 1992 г. — Российского комитета славистов.

1956–1959. Ежегодные научные командировки, экспедиции в Болгарию для сбора материалов для «Болгарского диалектологического атласа».

1958. Участвовал в работе IV Международного съезда славистов (Москва).

1958–1993. Член Комиссии по «Церковнославянскому словарю» при Международном комитете славистов.

1961. Руководитель экспедиции по изучению эгейско-македонских говоров среди македонских беженцев в Ташкенте.

1962–1986. Руководитель диалектологических, с 1974 г. этнолингвистических экспедиций в Полесье.

1964. Принял участие в работе Симпозиума, посвященного Вуку Караджичу (Белград).

1964–1993. Член бюро Научно-технического совета по высшему образованию при Министерстве высшего и среднего специального образования.

1965–1987. Заместитель главного редактора журнала «Советское славяноведение».

1968. Принял участие в VI Международном съезде славистов (Прага).

— Чехословацким обществом международных отношений награжден золотой медалью с лентой «За развитие дружбы и сотрудничества с ЧССР».

1968–1996. Преподаватель, старший преподаватель, доцент, с 1976 г. профессор филологического факультета МГУ.

1972. Присуждена ученая степень доктора филологических наук за диссертацию «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии».

1973. Принял участие в VII Международном съезде славистов (Варшава).

1974–1996. Член Экспертного совета ВАК по языкознанию, с 1978 г. — по филологии и искусствоведению.

1975. Поездка в Югославию на международную встречу славистов «Вукове дане» (Белград, Нови Сад).

1976. Присуждено ученое звание профессора.

— Поездка в Югославию на международную встречу славистов «Вукове дане» (Белград, Приштина).

1977. Поездка в Словению на международную конференцию памяти Р. Нахтигала (Любляна).

— Поездка в Югославию на международную встречу славистов «Вукове дане» (Белград).

1977–1996. Член комиссии, с 1983 г. заместитель председателя Комиссии по истории филологической науки РАН.

1978. Принял участие в VIII Международном съезде славистов (Загреб).

— Поездка в Югославию на международную встречу славистов «Вукове дане» (Белград, Приштина).

1979. Избран иностранным членом Австрийской академии наук (Вена).

— Избран иностранным членом Македонской академии наук (Скопье).

1980. Поездка в Югославию на международную встречу славистов «Вукове дане» (Белград, Нови Сад).

1981–1996. Член редколлегии реферативного журнала «Общественные науки за рубежом. Языкознание».

1982. Принял участие в работе международной научной конференции «Славянские культуры и мировой культурный процесс» (Минск).

— Принял участие в работе II Конгресса Международного общества европейской этнологии и фольклора (Москва, Суздаль).

1983. Принял участие в работе IX Международного съезда славистов (Киев).

1983–1996. Член редколлегии журнала «Русская речь».

1984. Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

— Принял участие в работе Международного симпозиума по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии (Москва).

1985. Избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств (Белград).

— Поездка в Польшу на международную конференцию по фразеологии (Варшава).

— Принял участие в работе Советско-Американского симпозиума по семиотике (Москва).

1985–1996. Член бюро Отделения литературы и языка РАН.

— Член редколлегии научной серии Тартуского университета «Slavica Tartuensia».

1986. Избран иностранным членом Югославянской (ныне Хорватской) академии наук и искусств (Загреб).

— Поездка в Болгарию на заседание Международного комитета славистов (София).

1987. Избран действительным членом Академии наук СССР.

— Избран иностранным членом Словенской академии наук и искусств (Любляна).

— Избран почетным членом Союза сербских писателей (Белград).

— Поездка в Югославию на празднование 100-летия Сербской академии наук и искусств (Белград).

— Поездка в Югославию на заседание Международного комитета славистов (Белград, Нови Сад).

— Поездка в Македонию на празднование юбилея Македонской академии наук и искусств (Скопье).

— Поездка в Польшу на международную конференцию по русскому языку (Варшава).

— Принял участие в работе IV международного симпозиума по проблемам славянской фразеологии (Москва).

— Принял участие в работе Советско-американского симпозиума «Славянские и балканские культуры XVIII–XIX вв.» (Москва).

1987–1996. Вице-президент Международного комитета славистов.

— Член бюро Научного Совета по проблемам русской культуры РАН.

— зам. главного редактора, с 1993 — главный редактор журнала «Вопросы языкознания».

1988. Принял участие в X Международном съезде славистов (София).

— Поездка в Словению для подготовки совместного издания «Резьянского словаря» И. А. Бодуэна де Куртенэ (Любляна).

— Поездка в Словению для участия в торжествах по случаю юбилея Словенской академии наук и искусств (Любляна).

— Поездка в Италию на международную конференцию, посвященную 1000-летию Крещения Руси (Венеция).

— Поездка в Грецию на международную конференцию, посвященную 1000-летию Крещения Руси (Фессалоники).

1988–1996. Заместитель академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН.

1989. Избран почетным членом Славистического общества Сербии.

— Поездка в США на II Всеамериканскую конференцию русистов (Вашингтон).

— Поездка в Италию на итало-советский симпозиум «Диалог двух культур» (Рим).

1989–1990 гг. Председатель Совета Международного фонда славянской письменности и культуры.

1989. Избран членом Музейного совета при Президиуме РАН.

1990. Поездка в Сараево на югославско-советский симпозиум «Языковая ситуация в многонациональных государствах».

— Поездка в Индию на международный симпозиум «Бескорыстное служение» (Калькутта).

— Посетил Израиль для чтения лекций и участия в славистической конференции (Иерусалим).

— Поездка в Югославию для переговоров о сотрудничестве с академиями республик Югославии (Белград, Нови Сад, Любляна).

— Поездка в Югославию на международную конференцию «Славянское население Албании» (Цетинье).

— Поездка в Германию на заседание Международного комитета славистов (Бонн, Кёльн).

1990–1996. Председатель редколлегии полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

1991. Избран Членом научного общества «Матица Српска» (Белград).

— Избран доктором honoris causa Люблинского университета им. М. Кюри-Склодовской (Польша).

— Избран иностранным членом Польской академии наук и искусств (Краков).

— Поездка в Словакию на заседание Международного комитета славистов (Братислава).

— Принял участие в работе I конгресса соотечественников (Москва).

1992. Поездка в Польшу на международный симпозиум «Понятие Родины в европейских языках» (Люблин).

— Поездка в Италию на заседание Международного комитета славистов (Урбино).

— Поездка в Испанию на международную конференцию по славистике (Гранада).

1992–1996. Член Президиума РАН.

— Председатель Научного Совета по фольклору РАН.

1993. Посетил Грецию как член Общества друзей греческой культуры.

— Поездка в Израиль на международный симпозиум «Библия в славянских культурах» (Иерусалим).

— Принял участие в XI Международном съезде славистов (Братислава).

— Поездка в Италию на международный симпозиум по средневековой славянской культуре (Кастель Ивано).

— Поездка в Болгарию (София) и Македонию (Скопье) в составе делегации РАН.

1993–1996. Главный редактор журнала «Живая старина».

1994. Поездка в Хорватию (Загреб) в составе делегации РАН.

— Поездка в Германию на заседание Международного комитета славистов (Бонн).

— Поездка в Югославию в составе делегации РАН.

— Присуждена Демидовская премия.

1994–1996. Председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда.

— Член Совета по научно-технической политике при Президенте РФ.

— Профессор Православного университета им. Иоанна Богослова.

1995. Избран иностранным членом Белорусской Академии наук (Минск).

— Посетил Югославию в связи с открытием книжной выставки (Белград, Печ).

— Поездка в Словакию на заседание Международного комитета славистов (Братислава, Пряшев).

— Поездка в Югославию на международный симпозиум «Низшая мифология славян» (Белград, Сокобаня, Ниш).

— Поездка в Южную Корею для участия в симпозиуме по русскому языку.

— Награжден медалью Парижского университета Сорбонны.

1996. Избран действительным членом Европейской академии наук и искусств (Зальцбург).

— Награжден орденом Русской Православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

Скончался **27 июня 1996 г.** Погребен в семейном некрополе в Кочаках близ Ясной Поляны.

Сокращения

АН — Академия наук

БСЭ — Большая советская энциклопедия

ВАК — Высшая аттестационная комиссия

ВУАН — Всеукраинская академия наук

ГИС — Гос. издательство иностранных и национальных словарей

ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам РАН

ЛГУ — Ленинградский гос. университет

МАИРСК — Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур

МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы

МАЭ — Музей антропологии и этнографии. Санкт-Петербург

МГПИ — Московский городской педагогический институт

МГУ — Московский гос. университет

МОПИ — Московский областной педагогический институт

МСЭ — Малая советская энциклопедия

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук

РАН — Российская академия наук

САН(У) — Српска академија наука (и уметности). Београд

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства. Москва

JAZU — Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb

SAZU — Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana

UMCS — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin

Никита Ильич Толстой

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том III

Очерки по славянскому языкознанию

Издатель А. Кошелев

Редактор С. М. Толстая

В подготовке тома к печати принимали участие
Н. А. Замятина и М. Н. Толстая

Корректор М. Н. Толстая
Оригинал-макет изготовлен М. Н. Толстой

Подписано в печать 15.10.98. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура «Школьная».
Усл. печ. л. 37,41. Заказ № 105 Тираж 2000.

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел. 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru
С апреля 1998 г. каталог в ИНТЕРНЕТ
http://postman.ru/~lrc-mik

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН.
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.
*
Оптовая реализация — тел.: (095) 247-17-57.
Костюшин Павел Юрьевич.
Проезд: Метро «Парк Культуры», здание изд-ва «Прогресс».

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).

Н. И. ТОЛСТОЙ * ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том III